

Александр Толкачѳв



# Пасынки Родины

# Пасынки Родины

## Сап

Пролог



«В сущности, смерть ярчайшим образом высвечивает смысл жизни. Говорить о смерти - это один из наиболее разумных способов говорить о смысле жизни».

Андре Мальро.

«Я видел, как зло стало всеобщим».

В. Шмельгин,  
«1920».

Отмахав по просёлкам вёрст шестьдесят и растеряв в пути и в перестрелках обоз, полуразбитая сотня белых вышла на лесную просеку, уходившую в глубь тайги. Палило солнце. Слабонаезженная колея, едва заметная среди пожухлой травы, то пряталась за

густыми зарослями боярышника, то смело пробежала по поляне, покрытой редкой, чахлой растительностью.

Люди двигались осторожно, бросая тревожные взгляды по сторонам и вскидывая наизготовку винтовки и карабины при любом подозрительном движении веток. Гнус - враг всего живого в тайге - не щадил ни людей, ни лошадей, но страх смерти оказался сильнее укусов таёжной погани, и казаки лишь изредка давили на лице мошку, оставляя на коже широкие кровавые полосы.

Впереди ехала тройка разведчиков, боязливо выставив перед собой короткие дула заграничных винтовок. Они, всегда готовые при малейшей опасности нажать на курок, даже не отмахивались от гнуса, и тот залеплял им глаза, нос, уши.

Коричневый слой пыли, жирный и рыхлый, подрагивал в складках одежды всадников в такт движению лошадей, скопившись на фуражках, струился дымными ручейками по жестким, хрустящим в изломах гимнастёркам, марая солёные заливки бородачей рыжей мучицей.

Слева от дороги, в глубокой ложине, опутанной засохшими водорослями, блеснула вода. Ломкие камыши, словно пряча от посторонних влагу, сиротливо разбрелись по высохшему дну водоёма, причудливо распушив облетающие головки и угрожающе заострив поломанные ветром прошлогодние стебли.

Разведка, сделавши своё дело, возвращалась назад, кидая жадные взгляды на сверкающую под солнцем лужу. Лошади нервно дёргали ушами, втягивая спёкшимися ноздрями горячий воздух, тянули к болотцу.

- Стой! - прохрипел сотник и поднял руку. - Всем спешиться.

Мешком выпав из седла, он первый, сплёвывая камышинный пух, побрёл к воде.

Воды было много, и вся она, подёрнутая ржавой, радужной плёнкой, отдавала тиной и прелью, но казаки и ей были рады. Разогнав в стороны жуков и козявок, они по очереди падали на колени и, стараясь не замутить неосторожным движением отстоявшуюся лужу, пили, и довольно утирались большими носовыми платками или просто рукавом. Лошади, сдерживаемые коноводами, напоминая ржали, вытягивая искусанные оводами шеи к воде. Казаки грубовато успокаивали их, наполняли стеклянные баклажки про запас, и только после того, как последний казак напился, подвели лошадей. Брезгливо процеживая болотную гниль сквозь сильные зубы, лошади фыркали, мотали головами и, до конца не напившись, отходили в сторону, грустно позвякивая обжигающими удилами.

Кто-то отвязал от седла потрёпанное брезентовое ведро и попытался зачерпнуть им воду, но только измазался в грязи и, матюгнувшись, стал вытирать брезент о жёсткий камыш.

После короткого привала сотня прошла ещё версты две и втянулась в огромный кедрач. Здесь решили сделать днёвку и отдохнуть, выставив усиленные караулы. Вчерашнее ротозейство обошлось сотне почти взводом потерь, и люди, напуганные внезапным боем, ещё не пришли в себя и требовали передышки.

Слава Богу, раненых было мало, их просто забыли подобрать после боя, и сотня, благодаря этой «забывчивости», приобрела неоспоримое преимущество - маневренность. Это понимали все, и косо поглядывали на кровоточащие бинты ускользнувших из западни легкораненых: выдержат ли, не станут ли обузой?

Весь прошлый месяц казаки провели в карательных экспедициях по северным деревням, устали, потроша крестьянские избы, и мечтали об отдыхе в городе, не зная, что в городе уже красные. Красные ждали их у пригородной деревеньки за выгоном, и положили бы всех у той деревушки, неказистой и крошечной, если бы раньше времени не подняли шум новобранцы-«чоновцы».

Сотник скрипнул зубами и закашлялся:

- Ничё, поквитаемся ишо! Подискутируем на досуге о том, о сём... - пробурчал он, сплёвывая кровью. - Будет и у нас Христов праздничек!

Сотник нервно ходил под высоким кедром, и его изящные офицерские сапоги по щиколотку тонули в мягких жёлтых иголках, облетевших с деревьев, и неприятно пружинили, не нащупывая твёрдой почвы.

«Вот так и мы, - подумалось молодому сотнику, - летим по жисти, не доставая до чего-то самого главного, Летим, а куда - не знаем».

Болезнь лёгких, полученная молодым офицером на войне, сделала его эгоистом, нервным и вспыльчивым, философствующим по пустякам. Он со вниманием приглядывался к окружающим его людям и происходящим событиям, но ничего хорошего из своих наблюдений не вынес: Бога нет, люди - сволочи, и жить среди них - не самое большое удовольствие. Где-то здесь жили его родители, богатые низовские казаки, где-то рядом воевали братья, но ни видеть их, ни тем более жить рядом с ними ему не хотелось. На душе у него было постоянно муторно и скверно. Сейчас же он понимал только одно: надо уходить в тайгу, и чем быстрее, тем лучше. Позади красные, вокруг ненавистное с детства чалдонистое мужичьё, фронт неизвестно где. Сегодня спасают лошади, их сильные мускулистые ноги, завтра не спасут и они. А тайга... тайга примет всех. Ей всё равно, кто ты: красный, белый, зелёный...

Сотник уводил людей в глухомань, надеясь отсидеться в урманах, переждать до лучших времён, хотя и не знал, когда они настанут. Он просто хотел жить, очень хотел и, сотрясаясь в чахоточном кашле, мечтал о том времени, когда закончится эта бойня и он, ещё молодой и красивый, отправится лечиться за границу. Заграница!.. Сколько же потребуется денег на лечение? Он не знал, но доставал золото, где только мог. И мечтал, мечтал... Он даже втайне от всех писал стихи о будущем и виртуозно зарисовывал их в разрубленную пополам конторскую книгу, марая аккуратными завитушками синие линованные страницы. Он хотел жить, несмотря ни на что. Жить! Жить!.. И люто возненавидел своего бывшего командира сотни есаула Ковалёва, убившего красавицу жену и застрелившегося в припадке ревности несколько недель назад. Смерть есаула настолько потрясла больного молодого человека, что его даже не обрадовало новое назначение - командиром сотни - и ходатайство полковника о предоставлении его, хорунжего, к званию есаула, которое, как обещал полковник, хорунжий получит по возвращении с операции, согласованной с самим Верховным.

- Скотина! - сказал хорунжий на похоронах. - Нашёл время!

И больше старался не вспоминать о покойнике, которому некогда безумно завидовал. «Жена миллионерша, сам помещик!.. Чёрт, что ему ещё нужно было?»

В аду гражданской войны смерть от собственной руки возмущала и оскорбляла новоиспечённого командира сотни с погонами хорунжего. Нет, пусть стреляется слабый, а он, прошедший огонь и воду, видевший тысячи смертей, будет жить. Жить! Жить! Жить! И только жить! Жить всегда, жить вечно, вот чего бы хотел хорунжий и понимал, что умирает, что жить осталось немного. И от этого страдал невыносимо. Как ненавидел он здоровых и весёлых, беспечных и молодых! С каким удовольствием посылал в них пулю за пулей, если это были пленные, как изводил мелочными придирками, если это были подчинённые. Поэтому казаки в сотне большей частью были неразговорчивыми, молчаливыми.

К вечеру, когда стала спадать жара, двинулись дальше. Угрюмые, обросшие недельной щетиной лица не выражали ничего, кроме злобы. Злобы на жаркий день, на дорожную пыль, на начальство, пославшее их в тьмутаракань и удравшее неизвестно куда, не оставив никаких приказов. Ехали молча, лишь изредка кто-нибудь понукал усталого коня да гулко кашлял сотник.

Вечером на взгорье показалась деревня. Казаки заметно повеселели, радуясь долгожданному отдыху, но в ворота за поскотиной въехали с той же затаённой молчаливой злобой.

Небольшие крестьянские избы, стоящие за высокими плетнями, насторожённо встретили неожиданных гостей. Лишь ветерок катил по деревенской улице пучок соломы да жалобно бляяла за огородами напуганная кем-то овца. Деревня обезлюдела.

Неожиданно из проулка прямо под копыта лошади сотника выскочила юркая старушонка с берёзовым веником под мышкой и, испуганно перекрестившись, торопливо прижалась спиной к плетню. Сотник остановился, за ним остановились остальные.

- Чё, старуха, - спросил он, поглаживая рукой небритый подбородок. - Чай, суббота сёдни?

- Суббота, милый, суббота, - затараторила та.

- Чай, в баню пошла, - допытывался сотник.

- В баню, милый, в баню.

Сотник молодецки выпрямился в седле, окинул мутным взглядом усталый, пропылённый отряд и весело гаркнул:

- Ну, чтоб тебе, старуха, от бани до бани таскать ... зубами!

Дружный хохот повис в воздухе. От неожиданности старуха присела, разинув рот, да так и замерла. Сотник закашлялся, но, быстро оправившись, хмыкнул и, весьма довольный собой, пришпорил лошадь.

- Чтоб тебе, окаянному, шею сломать! - вдруг заверещала старуха. - Чтоб тебе костью, поганцу, подавиться! Чтоб тебе...

Бабка не успела договорить, как тяжёлая плеть, со свистом рассекая воздух, опустилась на её худые плечи. Не ойкнув, она упала.

-У-у, старая сука! - над ней склонился бородач в папахе. - Лаяться лайся, да знай меру!

И, лихо опустив нагайку на тощий старушечий зад, поскакал вдогон за повеселевшим сотником.

Налетевший ветер принёс крупный слепой дождь. Дождь весело забарабанил по спинам всадников, по тесовым крышам изб.

Охая, старуха полезла в проулок, забытый ею берёзовый веник, шелестя сухими листьями, валялся в дорожной пыли.

Через полчаса уже остывшие было бани вновь зачадили по всей деревне, расстилая над домами приятный горьковатый дымок. У двух глубоких колодцев выстроились молодайки, чертыхаясь, а кто побойчее - так и матерясь вполголоса, таскали на коромыслах воду в бочки и чаны.

После дороги казаки приводили себя и лошадей в порядок, намётанным глазом недобро выглядывая всяк себе на вечер бабёнку. Кто помоложе, так и вовсе ходили перед женщинами гоголем, нарочно задирая у колодцев редких прохожих мужиков, и без того напуганных до смерти. Забылась вчерашняя кровавая рубка и больше не вспоминалась. Раны и те, кажется, меньше болели. Каждый занимался своим делом. Со всех сторон слышались грубые солдатские шуточки и смешки, иногда жуткий разбойничий посвист догонял молодок в тихих переулках, и те шарахались в разные стороны, мелко-мелко крестясь.

Бородатый урядник, тот самый казак, что «приласкал» нагайкой старуху, деловито прохаживался по деревне в сопровождении целой своры злобно лающих псов. В одной руке у него был карабин, в другой нагайка. Возле каждой избы урядник сильно бил прикладом по ветхим плетням, окружавшим крестьянские дворы, и к чему-то прислушивался, внимательно глядя в хозяйственные постройки. Те деревенские собаки, что сидели на цепи по своей лютости, рвались к бородачу с диким лаем, готовые разорвать недоброго пришельца в считанные минуты, их яростный хрип сливался с общим злобным воем осатаневшей стаи. Бородач любовался произведённым шумом и с наслаждением дразнил их.

- Куси-куси! - неслоь по деревне. Остервенело напирали псы, звонко щёлкала нагайка, и трусливые собаки боязливо отступали на безопасное расстояние.

- Куси-куси!...

Наконец он нашёл то, что искал. Хлопнул выстрел, и молоденькая сучка с большим мягким животом до самой земли подпрыгнув в воздухе, рухнула на ветхое крыльцо покосившейся избушки. Оставшись одни, зашевелились, заскулили щенки, тыкаясь слепыми мордочками в зелёную траву у завалинки. Бородач ласково потрепал их по пушистым загривкам, посмотрел пасти, довольный поцокал языком и огляделся по сторонам, ища

собеседника, чтобы похвастаться перед ним своей удачей. Но никого во дворе не было. Не было ни души и на улице. Даже собаки, минуту назад преследовавшие его, куда-то исчезли.

- Эй, - крикнул бородач. - Эй, есть тут кто?

Во дворе стояла тишина, только гнулась под ветром черёмуха в палисаднике да продолжали скулить осиротевшие щенки.

- Эй, мать вашу так! - крикнул бородач. - Выдь кто-нибудь, а то хату спалю!

В сенях зашевелилось что-то, кто-то охнул, отворяя двери, и на крыльцо вышла красивая молодуха лет тридцати с небольшим. Удивлённый казак крикнул от неожиданности.

- Чё не откликаешься-то? Плетей захотела, што ли?

Баба отчаянно завывала, увидев мёртвую собаку.

- Цыц! - прикрикнул на неё казак. - Поварить умеешь?

- Могу-у... - захлюпала та в платок.

- «Могу-у!» - передразнил её бородач. - Тьфу! Господам никогда не стряпала?

- Не-а...

- Ну так будешь. - Бородач заторопился. - Наш сотник любит, чтоб всё по-городскому было, в аккурат вкусно. Поняла?

- Поняла.

- А раз поняла, на вот живность. - Бородач как бы случайно стукнул самого упитанного щенка головой о приклад и уже мёртвого подал бабе, та, заорав, будто её режут, кинулась в избу.

- Куда, ячмёна мать? - заорал бородач вслед. - А ну выдь сюда!

Баба ни жива ни мертва вернулась на крыльцо.

- Возьмёшь и сварить с картохой. В чистом сварить. Поняла? А то знаю вас, сволочей!..

Чуешь?

Баба согласно кивала головой.

- Муж-то у красных, поди?

- Что ты, бойся Бога! - совсем перепугалась молодуха. - В мировой погиб, в мировой.

В поминанье уже третий год записан. Спроси у батюшки.

- Лады, - усмехнулся бородач. - Лады!

И, оглядев бесстыдно бабу, прищёлкнул языком.

- Кода солнышко сядет, приду. Смотри, штоб всё как следоват было.

Осведомился:

- Одна вдовствуешь?

- Зачем же одна? Дети есть. - Баба заволновалась.

- Лады, лады, - повторил ещё раз бородач, покручивая усы. - Ты не пужайся, я к тем, кто ко мне ласков, сам добрый. А кутёнок што? Кутёнок сотнику для лекарству нужен. Чахотка, вишь ли, у него. - Бородач развёл руками. - Не жилец он на свете, ох, не жилец!.. Ну, да я пошёл. Так вечером, стало быть, жди.

И зашагал вон со двора, по-хозяйски прикрыв за собой жердёвые воротца.

\*\*\*

В это время чоновский отряд, преследовавший карателей, остановился верстах в двадцати от казачьей ночёвки, измученный и больной. Много дней гонялся он за белыми, громил их и сам нёс потери, пополняясь добровольцами и мобилизованными из молодёжи. Медленно продвигался с боями отряд вслед за фронтом, кочуя по заброшенным уездам, оставляя тяжело раненных по деревням, хоронил убитых на лучших деревенских улицах под звуки растерзанной гармошки, пока не убили самого гармониста, и некому стало играть последний «Интернационал» у братских могил. Измотались ребята страшно, измучились. Носы да глаза только из-под фуражек виднеются, но держатся бойцы на революционной сознательности да на ненависти к мировому капиталу. Всё им кажется, что вот-вот накроют они последнюю банду, шлёпнут последних мерзавцев, и тогда... Что будет тогда, точно не знал никто, однако слова «мир», «социализм», «интернационал» склонялись ими по любому

поводу. В каждый бой они шли как в последний и решительный, не трусая и не жалея себя. И вырвавшиеся из засады каратели казались им, уставшим и больным, самым великим злом на Земле, после уничтожения которого человечество ждало необыкновенное и прекрасное царство всеобщего братства. За карателями они шли по пятам давно, а достать не могли, сил было мало. Ещё месяц назад почувствовал командир - неладное творится в отряде. Будто дурман какой на людей и лошадей напал. Кони ведут себя странно, не то кашляют, не то фыркают. Жар у них появился, из носа жидкость потекла, и гнойнички по телу рассыпались. Срочно лечить коней надо, иначе бандитов не словить, да за ветеринаром аж в волость ехать. И послать-то некого, каждый человек на счету, а тут ещё напасть к самому прицепилась: жар командира вдруг на несколько дней залил, а потом большой озноб с липким потом. Прошло немного, да опять началось. И ординарец его тоже какой-то квёлый, и многие бойцы не лучше. «Что с вами?» - спросил командир. «Жар». Вот он и подумал: «Может, тиф?». Надо к фельдшеру срочно. А какое там срочно, когда к вечеру на банду напоролись. Да и не банду, а так, пять-шесть разбойников с большой дороги. Рассыпались бандиты кто куда, сыщи их! А впереди каратели. Снова вдогон кинулись...

Дней через пять совсем плохи дела: лошади на ноги слабы стали, на носу у них пупырышки с конопляное семя вскочили и в язвы превратились. Сопят лошади. Гноем отфыркиваются. Несколько коней вовсе пало. Жар да озноб почти весь эскадрон бьёт. После неудачной засады командир свернул недолгую погоню, вошёл с отрядом в первое же село и в одном месте всех бойцов поселил, приказав никуда не отлучаться. Ординарца за фельдшером послал...

Нехорошо, правда, с расселением получилось...

Разведка сходу, не таясь, вылетела на большой сельский луг. У самых домов какой-то старик пас двух тощих коров, а увидев вооружённых всадников, испугался и быстро погнал своё небольшое стадо в ближайший двор. Естественно, бойцы кинулись за ним... Пока разбирались кто да что, подошли соседи и тут же рассказали, что здесь, во дворе у старика, белые с месяц назад зарубили двух пришлых, вроде бы большевиков...

Когда подъехал командир, страсти накалились до предела. Чтобы не распалить и без того разгорячённые головы, решил он выслушать обе стороны. Правда, картина была ясна ему с самого начала, и сколько не объяснял тщедушный старик, что какие-то мужики, задержанные накануне колчаковцами, пытались бежать ночью из деревни через его двор, и что их за это зарубили шашками на его глазах прямо во дворе, у плетня, он в эту брехню не поверил.

«Не чист старик перед советской властью, иначе бы не прятался от бойцов Красной Армии», - подумал командир. Но, решив так, вида не подал, сказал: - «Хорошо... Иди, отец, своей дорогой». А когда обрадованный крестьянин повернулся и пошёл к своим бурёнкам, командир подал знак начштаба, и тот всадил в его затылок две пули из нагана...

Старик жил с малолетним внуком, и мальчонку, чтобы село не бузило, трогать не стали. Неизвестно, сколько стоять в карантине среди лесов. А лес, он не только кормилец...

Штаб, а по сути, лазарет, расположили тут же, в избе расстрелянного. Мальчишка сам не захотел ночевать в своей избе и куда-то ушёл к знакомым. Оно было и к лучшему.

\*\*\*

К той поре, когда солнышко закатилось за большую глиняную гору, что в верстах десяти от поскотины, сивушный смрад заполонил всю деревню. Тут и там слышались пьяные песни, трещали под нахальными руками бабьи одёжки, скрипели, ломаясь, плетни и ухали разбитые черепушки... Деревенские постояльцы веселились на славу.

Надвинув папаху до самых глаз, бородач шёл по деревне уже навеселе и пытался напевать в такт движению походную песню. Вдруг за пожарищем посредине деревни почудилась возня и сдавленные крики. Бородач выхватил из кобуры наган, взвёл курок и крикнул в темноту:

- Кто там?.. Выходи, стрелять буду!

- Свои, свои, Гнат! - откликнулся голос. - Спужал только, чёрт старый!

Послышался смехок.

- Ну ты, кобель хрипатый! Места себе, штоль, лучше не нашёл?

- Дак она родителей стесняется, - откликнулся другой голос. - А девка ничё, ядрёна. С ней и здесь не скушно. Гы-ы... Ну ты, лежи, стерва!

- Тьфу, поганцы! - сплюнул бородач и пошёл дальше, отплёвываясь на ходу. У знакомого плетня послышался поросячий визг и шум.

- Чё здесь такое? - ещё издали взревел он, размахивая нагайкой.

Двое пьяных казаков при свете жёлто-лимонной луны бегали, спотыкаясь, по двору за малым поросёнком, третий казак, отрубив голову гусаку, спускал кровь из вздрагивающей тушки на землю.

- Ко-онтрибу-цию берём, - едва пролепетал он.

- Я те покажу «контрибуцию»! - прошипел бородач. - Марш отседова!

И ткнул его рукояткой плети в шею. Казак поскользнулся, шлёпнулся прямо лицом в лужу с кровью. Лёжа на животе и растирая грязными руками по щекам чёрное в темноте месиво, пробормотал:

- Ты б колышек вбил, што, мол, застолбил энто место. А рукам волю не давай... Не давай! Я ить и обрубить их могу.

Бородач вытащил наган.

- Ну лады, лады! - примиряюще залепетал пьяный и пополз за плетень к своим давно потихоньку ушедшим товарищам. - Лады...

- Спужалась? - участливо спросил бородач бабу, стоящую, как и в прошлый раз, в проёме дверей.

- Спужаешься, однако, - истово перекрестилась она.

- Не бойсь, - бородач спрятал наган. - Теперь не тронут. Ну, зови в гости, хозяйюшка.

- Входи, - пролепетала баба побелевшими губами и отступила в темноту.

Согнувшись, бородач протиснулся в дверь и, пройдя сени, очутился в маленькой горенке, освещённой небольшой чадающей плоской с маслицем. Под маленькими оконцами, начиная от печи, валялись на полу овчины, подушки и лоскутное одеяло, на котором, прижавшись друг к другу, стояли три испуганных девочки-погодки. Четвёртый ребёнок качался в люльке. Бородач помрачнел, разом оценив обстановку.

- Все твои? Хм!.. Однако не скучаешь во вдовстве-то, - и кивнул на люльку.

- Не куковать же одной, - осмелела баба. - Когда мужики с ума посходили, и петуху будешь рада.

Бородач шагнул к ней, баба отпрянула к печке, нечаянно задев рукой цветную тряпку, скрывавшую за собой лежанку. И то, что она так усердно прятала от ненавистного гостя, внезапно открылось ему просто и бесхитростно. Крепкая мужская нога в подштанниках обнажилась из-под занавески едва ли не до колена. Широкая мозолистая пятка резко дёрнулась, прячась за качнувшейся тряпкой, и больше не появлялась, только белая завязка от кальсон предательски медленно ползла по чёрной овчине полушубка.

- Хык! - будто подавился бородач, рука привычно легла на кобуру.

- Что же ты? - засуетилась баба. - Сядь, откушай! Я и выпить что приготовила. Детки, ложитесь спать! Не бойтесь, дядя вас не тронет.

Лицо казака покраснело, поперёк лба вздулась синяя жилка. Он медлил.

- Не тронь тятьку! - заплакала старшая девчонка.

- Не трону, - сказал после паузы бородач и рассмеялся. - Хитра ты, баба, ой хитра!.. Детишкам спасибо скажи, а то бы... Давай варево!

Уже во дворе зло процедил сквозь зубы:

- Скажи своему петуху, чтоб с насеста не слезал. Поймаю на воле - живьём сварю!

...Марья Поливанова, по прозвищу Железкина, была замужем за местным кузнецом Ильёй Петровичем с семнадцати лет. Странная это была семья, во многом непонятная для строгих деревенских кумушек.



Илья Петрович Потапов пришёл в Сибирь из России пешком в начале века. За плечами у него была котомка с кузнечным инструментом, за поясом топор, в карманах гулял ветер. Пришёл он в глухую таёжную деревеньку и, в отличие от других пришлых, остался здесь навсегда. Мужики его полюбили за золотые руки, но побаивались за лютого характер. Чуть что не по нём - сейчас же в драку. И дрался насмерть. Бог силой его не обидел, с ним и втроём сладить было непросто, за это его шибко уважали. Уважали его и за рассудительность, столь несвойственную при его дрянном характере. Но когда что-либо решалось на сходе серьёзное, то всегда ждали, что скажет Илья Петрович Потапов. И уж как он скажет, так тому и бывать. Одно ещё было нехорошо у Потапова: в Бога не верил и в церковь не ходил. Сколько раз пенял ему за это батюшка, а он только усмехался и страшно лицом кривил... А лицо у него было, прямо сказать, не очень красивое, разбойное лицо. Всё большое: и нос, и рот, и глаза, и уши... Брови широкие, чёрные цыганские волосы... По отдельности брать - всё как у людей, а вместе... Что-то неприятное было не только в его лице, но и во всей коренастой фигуре, словно затаённая на кого-то обида прорывалась наружу и колола неосторожных, а на кого обида - поди гадай! Когда Илья Петрович смотрел своими голубыми глазами кому-нибудь в лицо, у того мурашки по спине бегали, и человек старательно отводил взгляд в сторону.

В своей деревне Илья Петрович ни с кем дружбу не водил, жил особняком, и никто ничего не знал о нём точно. Считали, что это и к лучшему. Пришёл человек и пришёл, живёт хороший мастер в деревне, и пусть себе живёт. Есть-пить чужого не просит, а земли в Сибири всем хватит. Тем более, что в тот же год сложил он самостоятельно махонькую кузницу на краю деревни, в которую потянулся народ со всей округи, и зажил небольшим, но хозяином. Правда, злые языки говорили, что будто кто-то где-то видел кузнеца на большой дороге с кистенём в руке, да мало ли что болтают злые языки. Как бы то ни было, но в деревне Илья Петрович прижился быстро, а через год высватал из соседней деревни красивую молодуху. И опять деревня судачила - пошто, да почему отдали родители такую красавицу за такого арестанта. А «арестант» и после женитьбы не успокоился. За каждый проступок бил жену смертным боем. Не выдержала она, и через год с небольшим сбежала от него в родительский дом, что было для Ильи Петровича уже вселенским срамом, который самостоятельному мужику стерпеть было нельзя. Но кузнец стерпел. И, смилив гордыню, не раз приезжал в дом тестя просить жену о возвращении домой. У всей деревни на виду просил, подарков ей навёз... И упросил.

Выехали они из родительского дома что жених и невеста, в телеге, украшенной цветами, в которую был запряжён купленный весной мерин. Выехали весёлые, радостные. Кузнец у всех на глазах ласкал жену, гладил её большие косы, смеялся... И дивились на его смех мужики и бабы.

За деревней выпряг Илья Петрович мерина, привязал молодую жену за косы к оглоблям и погонял её кнутом до самого дома. Пальцем, как и обещал, не тронул. И вот что удивительно: не ушла от него Марья. Народила ему детей, и все эти годы была тиха и послушна, будто решила нести свой земной крест безропотно. Кузнец же её с той поры не бил. Когда дети пошли, сердцем подобрел немного, но суровость в нём осталась.

На войну его не взяли. Говорили, что врачи болезнь какую-то нашли, но деревенские кумушки рассудили по-своему: золотишком откупился кузнец, золотишком... И снова про кистень на большой дороге вспомнили.

\*\*\*

Ординарец привёз старичка фельдшера довольно скоро. Он осмотрел людей и лошадей и пожелал с командиром один на один поговорить.

Вошли он в избу, старик бледный к стенке прижался, руки трясутся:

- Сап у вас. Сап!

Константин в горячке хватить его за грудки:

- Врёшь, гад белоглазый!

Фельдшер спокойно просит:

- Руки, сынок, уберите от меня... Я ещё жить хочу.

Отпустил его Константин, в сторону отошёл. А фельдшер пиджак, за который командир хватался, снял и скорёхонько в печку бросил. Заразы испугался.

В глазах у командира потемнело, чуть было не порешил старика как контру, да одумался. Брату своему старшему, Дмитрию, в волость написал (брат был волостным комиссаром), отдал письмо фельдшеру и ответ велел привезти. А чтоб почтальон не сбежал по дороге, в охрану двух бойцов выделил, что поздоровее.

Послал Константин фельдшера к брату, а сам отряд из деревни в поле вывел, охрану вокруг поставил, чтоб никто из посторонних близко не подходил.

Знал Константин, что такое сап. Жену вспомнил, детей, и плохо ему стало, но взял себя в руки. Провёл смотр своему войску и приободрил людей, как мог. Сообщил, что из города к ним врачи едут. Хорошие врачи. Наши врачи.

\*\*\*

Разложив на столе карту, сотник нервно кусал кончик карандаша.

- Не пойму, что происходит. Хоть убей, не пойму! Откуда здесь регулярные части красных, откуда?

- Может, фронт прорвали? - высказал предположение молодой подхорунжий с заячьей губой.

- Фронт?.. Где ты видел фронт, подхорунжий? Ты понимаешь, что это для нас с тобой тогда значит?

- Догадываюсь, любезнейший. Догадываюсь.

- А я знаю наверняка... И тебя, и меня, и всех нас... Эх, да что говорить! Живым попадать к ним не советую.

В горницу тихо вошёл казак.

- Ваше благородие, там лазутчика поймали.

- Что? - оторопел сотник.

- Я говорю, разведчик ихний попался, - пояснил казак.

- Разведчик? - сотник посмотрел на подхорунжего. - Значит, пронюхали, сволочи, где мы. Тащи его сюда!

Казак молча кивнул и вышел.

- Сейчас мы всё узнаем, всё выпытаем.

Подхорунжий поморщился:

- Только не здесь, уважаемый. Всю ночь кровью вонять будет. Противно!

- Тебе противно чужую нюхать, а когда твою по сусалам размажут, что скажешь?

Два казака втолкнули связанного по рукам мужика в военной форме без погон. Увидев сотника, мужик улыбнулся разбитыми губами.

- Привет, Маркелыч! Хорошо гостей встречаешь.

Сотник вздрогнул:

- Смотря каких... Петька, ты?

Мужик ухмыльнулся:

- Я, а то кто же!.. Вели развязать, руки затекли.

Сотник сделал знак, и казаки распутали арестованного. Помяв ладони одна о другую, поломав руки в затёкших местах, мужик сказал:

- Ты уж извини, Маркелыч, в долгу не люблю оставаться. - И, развернувшись, ударил коротким ударом одного из конвойных в челюсть. Конвойный упал, ударившись головой о стенку, и затих на полу под лавкой.

Второй казак моментально схватил мужика за горло и повалил рядом с упавшим.

Сотник схватился за наган.

- Отпусти эту паскуду! - приказал он казаку. - Отпусти, я сам его шлёпну.

Казак отпустил мужика, а тот сел на пол, вытянул вперёд ноги и сказал хорунжему, массируя одной рукой шею:

- Охолопись, не больно боюсь. Пуганные уже.

- Не мной пуганный! - скрипнул зубами хорунжий.

- И пострашней тебя видывали. Да ты не кипятись, земляк, должок у меня за ним небольшой был. - И мужик показал на разбитое лицо. - Я же вас, кошкины дети, уже сутки по тайге ишшу. Хорошо прячетесь!

- Зачем ищешь? - прищурил глаз хорунжий.

- Больно по тебе соскучился. Чай, не один годок не виделись! Здрате вам, Никифор Маркелович!

- Не стоило сапоги топтать, - зло буркнул хорунжий.

- А я на лошадке ехал, на красноармейской. У твою отца, кстати, леквизированной.

Подхорунжий усмехнулся. Он один из всех сохранял спокойствие в этой заварушке, и ему доставляло истинное удовольствие наблюдать за перепалкой бывших соседей. В это время зашевелился под лавкой конвойный.

- Ничё, отойдёт! - усмехнулся арестованный. - Я ему вполсилы должок отдал. Сроду не было привычки всё сразу отдавать.

- Красный? - спросил сотник, и лицо его нехорошо дёрнулось.

- По мобилизации. Не успел домой от Колчака вернуться, неделю назад взяли. Винтовку дали, будто я своей не мог принести. Лошадь... А третёвдня вас в засадке стерёг.

- Так... Значит, это твои дружки-товарищи нас приласкали? - вскипел сотник.

- Мои, мои... - усмехнулся мужик. - Только ты им спасибо должон сказать, Маркелыч, что раньше времени стрельбу начали. Молодые ишо, необстрелянные. Со стороны поглядеть - многие совсем пацанва... Будь там десятка два-три таких, как я, лежать бы вам под теми берёзовыми кусточками всем до единого.

- О себе подумай!

- А я и подумал. Чего, думаю, мне с голодранцами в казаки-разбойники играть, чего старый мир рушить, когда мне и раньше весело жилось?.. Чай, не забыл наших посиделок, Маркелыч? - засмеялся мужик. - Некоторые молодки до сих пор тебя поминают!

- Дальше! - угрюмо приказал хорунжий.

- А чё дальше? - усмехнулся мужик. - Сижу в засадке, вдруг - батюшки светы! - тебя увидел!.. Лихо ты офицерской задницей перед красными мелькаешь, думаю - чем я тебя хуже! Дай, думаю, за тобой пойду. И пошёл!

- Так я тебе и поверил!

- Выхода у тебя, Маркелыч, нету. - посерьёзнул мужик. - Я же сейчас один из всех вас разведку знаю: где красные, где белые, где вообще никого нет. Ну шшолкни меня, ежели хочешь, а дале чё? Куда пойдёшь? В какую сторону двинешь?

Сотник молчал.

- Вот то-то и оно! Я, один я правильную дорогу знаю. Запомни это, паря. Понял я вчера, куда ты вознамерился. На старые охотничьи зимовья потянуло? Сурьёзный человек в сурьёзное место и прячется. Только зря. Не ты один такой умный в нашей тайге.

- Чего ты хочешь? - насупился сотник.

- Остаться у тебя хочу, Маркелыч. Какая-никакая, а всё родственная душа. Меня ты знаешь. И моих до седьмого колена. Мне вроде ни к чему с товарищами. Скушно у них. Одной политграмотой замучили.

- Скушно? У нас веселья тоже нет.

- Так мы сами люди весёлые. Скучать не любим и другим не дадим.

Сотник всё больше мрачнел, глядя на земляка.

- Как красные очутились в Потаповке? - спросил он, спрятав наган.

- К себе берёшь? - дерзко спросил мужик.

- Посмотрим.

Мужик вздохнул.

- Ну, и на том спасибо. Значит, так... Как я понял, фронт прорвали выше по реке. Регулярные части соединились с партизанами с месяц назад. Наши, кто уцелел, отошли на низ, ну а вам, видать, не сообщили. Не до того было.

- Сволочи! - выругался сотник.

- Всяк о себе думает, чего дивиться? А тебя красные давно на примете держат, - мужик встал, отряхнул брюки. - Всё мужичьё против настроили.

- Плевать я на них хотел.

- Плюй не плюй, а у Вертикоса мужики вас на мякине провели.

- Как так?

- А вот так. - Мужик сел за стол. - Узнали от партизан, что ты в их сторону двинул, сход собрали. Ночь посидели, поговорили, а утром сели на коней почти всем селом, лопаты к спинам привязали, у кого ружья не было, и прогарцевали на глазах твоих разведчиков. Издалека-то они и полком со страха показаться могли.

- Сожгу! - закашлялся сотник.

- Не сможешь. Там теперь целая рота с пулемётами квартирует. Враз порешат.

- Что посоветуешь?

- А что советовать? Подумать надо. И выход, я думаю, есть... Вели стаканчик поднести. И закуски не пожалей. Что-то озноб меня бьёт, - мужик поёжился. - Харчатся красные хреново, совсем отошшал.

Сотник приказал принести самогон и закуски. В это время окончательно пришёл в себя побитый казак и теперь сидел на лавке, тупо уставившись на пьющего «красного» лазутчика. Он ничего не понимал.

- Красные вас ловить будут на низу, - продолжал мужик. - А ты иди в верховье. Так лучше будет.

- Там нам и крышка.

- Слушай сюда, - мужик порозовел от выпитого и явно пришёл в хорошее расположение духа. - У товарищей силов пока нет, чтобы на два фронта разом работать. Им бы сейчас самый раз отдышаться да раны зализать. Потрёпаны тоже, не приведи господь! Пережди шум и даvani в неожиданном месте.

- А сейчас куда идти прикажешь?

- Ну зачем мне приказывать? - мужик усмехнулся. - Я в чинах тебя пониже буду. Вели в Татьяновку лыжи вострить.

- Сто вёрст от большака? - присвистнул подхорунжий.

- А вам что, хочется на базаре лагерем стоять? - съязвил мужик.

Подхорунжий промолчал.

- Хорошо, - сказал сотник. - Иди к Ерофееву, он тебя определит.

- Винтовку-то пусть вернут. И лошадёнку тоже.

- Иди, иди!.. Всё отдадут, что положено. И лошадь тоже.

Мужик ушёл, за ним потянулись конвойные.

- Отставить! - приказал сотник. - К себе его беру. Скажи Ерофееву, чтоб всё в аккурат с ним было. Ступай! - приказал он одному казаку. Второго, битого, придержал.

- Выйдем к своим, ты его при случае... Понял?

- Понял, - кивнул казак.

- Но не раньше. И тихо.

- Сделаю. Возьму грех на душу.

Когда казак ушёл, сотник спросил подхорунжего:

- Когда тебя к нам направляли, что за обстановка на картах была?

- Не знаю! Честно говоря, мне тогда не до того было.

- А до чего тебе вообще дело есть? Эх ты, студент!

...За ужином сотник шалости ради потчевал собачинкой местного батюшку, в доме которого остановился, спаивая его самогоном и брагой.

- Вот вы, батюшка, человек учёный, - говорил он, подливая попу в стакан жёлтой браги. - В семинариях учились... А ответьте мне на вопрос - всегда ли человек смертным будет?

- Вы, наверное, хотели сказать, господин офицер, обретёт ли человек бессмертие души? - не понял батюшка. - В святом писании...

- Вы мне не про душу, а про обыкновенное человеческое тело в костях и с мясом скажите, - грубо прервал его сотник.

- Эх, господин офицер, господин офицер! - вздохнул поп и приналёг на капустку. - Где же это видано, чтобы брэнное тело вечно жило? В сказках только. Да и ваша шашка, прости меня Господи, не одну грешную душу, наверное, на волю выпустила, вам ли этого не знать?

- Верно, верно! - усмехнулся сотник. - Зачать жизнь легко, порешить и того легче, а я вот всё-таки интересуюсь, как её сохранить вечно?

- А собственно, зачем вам, господин офицер, жить вечно? Ведь так и со скуки околеть можно!

- Ну не вечно, а лет сто я бы не отказался.

- Сто лет! Адам и Ева жили намного больше. А всё почему? Потому что не знали вражды. Потому что не шёл брат на брата. Каинов не было. А ныне все заветы Божьи забыли. Прощать друг другу грехи разучились. Сказано в писании: «Брат брату прощать должен грехи не до семи, но до семижды семидесяти раз»... Чтоб жить сто лет, не нужно брать в руки оружия. «Не убий!» - вот заповедь от Бога.

- Не убий? - скрипнул зубами сотник. - А что ты будешь делать, когда красные безбожники повесят тебя за бороду на первой осине, а из рясы комиссарше юбку сошьют?

- Всё в руке Божьей, - развёл руками священник и осенил себя крестным знамением.

- Не по вере живёте, господин поп. Зря и нас обижаете, - насел на батюшку подхорунжий. - Ибо сказано в Евангелии от Матфея, что не нужно бояться убивающих тело - то бишь нас, христовых белых воинов, души не могущих убить, - а бояться нужно тех, кто может и тело погубить в геене огненной, и душу. «Не мир я вам принёс, но меч». Так Христос говорил, батюшка?

- Не совсем так, но... Все мы рабы его, и живём, и думаем, и дела наши делаем по его неисповедимому предначертанию. Ведь сказал же Христос о нашем смутном времени, что «предаст брат брата на смерть, и отец сына; и восстанут дети на родителей, и умертвят их; и будете ненавидимы всеми за имя моё, претерпевший же до конца спасётся. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой».

- Это что, намёк? - грозно спросил сотник.

- Ну что вы, это же святое Евангелие. Я хотел сказать, что Бог терпел и нам велел. Ваше здоровье, господа!

Поп выпил и снова полез ручищами в капусту. Это был крепкий на вид мужчина с красным угреватым носом на пол-лица, с широкой густой бородой, лохматой гривой и густым басом. На мир поп смотрел просто и принимал его как зло неизбежное. Если бы его спросили, верит ли он в Бога, он не смог бы ответить на этот вопрос достаточно правдиво. Во что-то верить надо...

- Культурный священник, а едите руками, - заметил подхорунжий, ещё не успевший забыть подзатыльников гимназического священника.

- Христос, вьюноша, вообще ел не омывая оных. Книжники и фарисеи порицали его за это, - усмехнулся поп, - но он отвечал им, что не та грязь грязью зовётся, которая входит в человека и выходит, а та, что душу пачкает.

И, уже не обращая внимания на слишком брезгливого подхорунжего, обратился к сотнику.

- Так вы, господин офицер, спрашивали о вечности? В христианском мире ни один из людей не был взят в рай живым. Такого не припомню.

- На нет и суда нет. - Сотник выпил и тоже потянулся к капустке, засоленной целым вилок. - Хороша у тебя попадьа, батюшка, рукодельница!

- Не жалуюсь! - Поп налил сотнику в стакан. - А вот у варваров, у греков, там было всякое. Всякое!

- Умирать не хочется! - признался разомлевший сотник. - Смерть перехитрить, побороть... Вот чего хочу!

- У древних греков, - продолжал поп ровным голосом, словно и не слышал признания сотника, - был полусвятой по имени Геракл. Содеял он великое множество подвигов при жизни и один из них таков: попал однажды Геракл к царю...

- Не к Миколаю Лександровичу? - пошутил сотник.

- Нет, не к нему, царствие небесное царю-великомученику! - перекрестился поп, задрал очи в передний угол. - Попал он к одному царю, имени не припомню, к которому, оный сотворил в честь великого гостя пир зело велик. - Увлекаясь, батюшка стал говорить так, будто он стоял перед паствой. Голос его звучал всё сильнее, завораживая слушателей красотой и силой звуков, вылетающих из огромной глотки. - Стали они трапезничать, и увидел Геракл, что грустен царь. И спросил он его: «Что с тобой?». Отнекивался царь, а потом сказал: «Смерть пришла за мной, и не смог я откупиться от неё великими дарами. И сказала она, что уступит мне лишь тогда, когда кто-то сам, своей охотой, вместо меня на смерть пойдёт». - Поп замолчал и грустно склонил голову над пустой тарелкой.

- Ну и что? - спросил заинтересованно сотник.

Собравшиеся за столом внимательно слушали поповский рассказ, даже Игнат, молчаливо сидевший на самом краю стола, и тот не отрывал глаз от потного и красного лица хозяина дома.

- Услышав эту весть, - продолжал поп, - любимая жена царя замуровала себя в фамильном склепе и с часу на час ждала прихода смерти. Только чтя закон гостеприимства, царь не захотел огорчать гостя и сел с ним за праздничный стол.

Хитрый поп, видя, что его рассказ вызвал неподдельный интерес, решил потянуть удовольствие. Ковырнул вилкой солёный гриб, с хрустом прожевал и не спеша запил самогоном. Сотник жадно наблюдал за попом, а поп пьянел на глазах, но продолжал говорить связно и громко.

- Так вот, значит, оный Геракл, зная, что смерть ещё не приходила к царю, вызвался помочь горю гостеприимного и щедрого хозяина дома. И пошёл Геракл в склеп к царице. И там дождался прихода Смерти и вступил с ней в битву, и поборол ея. Смерть отступила от царя и вернула к жизни Алкестиду. - Поп произнёс имя царицы и сам удивился этому: вот память! - Да, именно Алкестиду! Да!.. Вот так было у варваров, господа. У варваров, но не у христиан.

- Враки всё это! - сказал сотник. - Враки! Никакая баба на такое не пойдёт. Нет!

- Согласен, - сказал поп. - Потому что у греков этих было самое настоящее варварство, дикость!

Игнат просто смачно сплюнул. Подхорунжий, перебивавший на чугунной этажерке каслинского литья коллекцию цветных открыток под заглавием «Священное писание. Картины из Ветхого завета по оригиналам известного художника профессора Лейвенсберга», усмехнулся.

- А ещё у них одного отрока Зевс на небо живым взял, - вспомнил поп.

- Враки всё это, враки! - начал сердиться сотник.

- Нет, не враки, господин хорунжий, - сказал любитель живописи. - На сей раз батюшка правильно глаголет. Я эти истории ещё в гимназии во втором классе читал. Предмет у нас такой по древним мифам был. Учебник назывался, как сейчас помню, «Восток и мифы». Этакая красненькая книжица, а буквы золотые.

- Совершенно верно, молодой человек! - подтвердил поп и победно посмотрел на сотника. - Помню, ещё стихи были любопытные, кажется, Джона Мильтона. «О моей покойной маме» назывались.

Поп несколько раз кашлянул, прочищая горло, и продекламировал:

Казалось мне: умершая жена  
Явилась мне - мой нежный, кроткий друг!  
Так встарь Алкеста сыном Зевса вдруг  
К супругу в дом была приведена ...

- Поэзией интересуетесь, батюшка? - подхорунжий прищурился.

- Пустое! - отмахнулся батюшка. - Кто в юности стихов не читал? Сколько лет уж не притрагивался. С годами о словах меньше думаешь, чем о животе, о брюхе ненасытном.

- Греховное городите, батюшка. Сказано ведь в Библии: сначала бе слово... Грешно материальное во главу ставить.

- Так и жизнь наша полна греха. Рождается человек во грехе и в нём же умирает.

- А английских революционеров почему наизусть цитируете?

- Где? Когда? Каких революционеров? - изумился поп.

- Только что, батюшка, только что. Джон Мильтон - активный деятель английской революции.

- Побойтесь Бога, молодой человек! - испугался поп. - Какой же Мильтон революционер?

- Но, вспомнив, видно, кто был поэт на самом деле, поп сник. - Э, когда это было? Его и косточки давно мохом поросли!

- Однако читаете вы его сейчас, - наседали подхорунжий, - в наше беспокойное время!

- Отставить! - пресёк назревающий скандал сотник. - Пусть англичане сами в своём дерьме разбираются, нам бы со своим бы справиться. Вы-то, подхорунжий, откуда знаете, что этот англичанин революционер?

- Кое-какое образование имеем, - ехидно усмехнулся подхорунжий.

- Ну и помалкивайте, коли имеете.

Сотник замолчал, и, казалось, уже не обращал внимания ни на попа, ни на слишком учёного взводного, ни на урядника, по-звериному, с урчанием, поедающего мясо. И о чём он думал, угадать было трудно.

- Где гимназию кончать изволили? - робко поинтересовался батюшка у подхорунжего.

- В Харбине, - как ни в чём не бывало, ответил тот с улыбкой. - Заслушал полный курс в гимназии имени генерал-лейтенанта Хорвата Дмитрия Леонидовича, ныне верховного уполномоченного администрации Колчака по Дальнему Востоку... Хорошая гимназия была, чистенькая... Зайдёшь в неё - всё блестит... А на втором этаже, на лестничной площадке, у самого окна, огромный белый бюст самого генерал-лейтенанта. Вспомню - сердце щемит. Так всё было тихо, спокойно...

- Как же вас туда занесло? - искренне удивился поп.

- По торговым делам, - охотно вступил в разговор взводный. - Батюшка мой, царствие ему небесное, в магазине господина Чурина работал приказчиком.

- «Чурин и К» фирма известная!

- Да, известная... Почти до самой революции там прожили. Теперь вот здесь, с казаками, за веру и отечество.

- Сами, охотником?

- Охотником! - усмехнулся подхорунжий. - По приказу его высокопревосходительства и его личному желанию. А то бы вы видели меня здесь, батюшка!

- Алкестида!.. В красненькой книжице... - неожиданно произнёс сотник. - Слушай, поп! - он встряхнул попа за плечи. - Так, говоришь, у христиан такого не было?

- Какого «такого»? - не понял поп.

- Геракла не было?

- Нет, у христиан не было. Георгий-Победоносец был, Александр Невский был, а Геракла не было. Точно помню!

- Красные - безбожники, значит, они варвары?

- Варвары, самые настоящие варвары! - согласился поп.

- И, значит, у них может быть Геракл? Свой, красный Геракл?

- Может. У них всё может.
- Игнат! - позвал сотник.
- Слушаю, вашбродие!
- Далече отсюда красные нас попотчевали?
- Верстах в сорока.

- Далековато, однако. Но, может, успеет красный Геракл помочь красной Алкестиде, а?..  
Слушай приказ. Остаёмся здесь ещё на одни сутки. Ты понял? Ровно на сутки. Надо и нам напоследок зело велик пир устроить. Выслать дозоры вёрст на пять, на семь по дороге. В бой не вступать. Если чё, сразу ко мне! Да, из деревни днём выпускать всех. Пушшай идут, пушшай доносят, а мы сделаем вот чё... Нас заманили в засаду, и мы потешимся. На живца красных ловить будем, на живца!

Той же ночью в деревне взяли трёх мужиков.

...С утра не проспавшийся поп затянул в горнице густым басом: «Спаси, Господи, люди твоя и благослови достояние твое... Победы благоверному императору нашему Миколаю Александровичу... На супротивление даруя-я...». От его хриплого голоса потянуло чем-то родным и знакомым, засевшим в душу с самого детства. Как всё было хорошо раньше, Господи!.. Будет ли когда так хорошо ещё в жизни? Будет ли?..

Первый раз ранило сотника, а тогда подхорунжего, в начале 1916. Ранило не в бою, а при охране работающих на рытье окопов. Ранило глупо и тяжело. Щеголеватый молодой офицерик, видимо, оказался удобной мишенью для каких-то способных немецких или австрийских стрелков, которые с колокольни монастырской церкви попали в него двумя пулями в живот и одной пулей выше, в лёгкие. От пули в сердце спасла ладанка с Богом Саваофом, пришитая на внутренней стороне шинели, на уровне груди. Пуля от иконки ушла рикошетом, оставив на память о себе глубокую вмятину и порванную шинель. Согнанные на окопные работы крестьяне положили раненого на носилки, сооружённые из двух жердей, связанных чем попало, наспех перевязали полосками разорванного белья, тут же свернувшегося кровавыми верёвочками, и по ходам сообщения понесли до перевязочного пункта, удалённого от передовой на пять километров. Кажется, закрой глаза сотник, и тотчас же вспомнит те узкие проходы в сырых окопах... Те подъёмы и спуски самодельных носилок при неудобных поворотах в траншее... На перевязочном пункте врачи определили слишком большую потерю крови, сказали: «Не выживет». После этого очнулся сотник уже в тыловом госпитале. Как добрался до него, что с ним было - ничего не помнит, ничего не знает. Да и в госпитале первое время почти ничего не соображал. Не кормили долго, это запомнил хорошо, пищеварительный тракт был перебит, не поили. Как страшно хотелось пить!.. Голод почти не мучил, а вот жажда!.. Казалось, пил бы даже конскую мочу... А ухаживала за ним прехорошенькая «сестра милосердия», самая разная графиня. Молодая, красивая... Или ему просто тогда она казалась красивой?.. Муж у неё был на фронте, как узнал потом подхорунжий, детей не было. Вот она и попала в госпиталь, нашла себе занятие от скуки. Правда, ничего между ними не было, да и быть не могло: кто он и кто она? Она видела в нём всего лишь маленький винтик, выпавший на время из жерла огромной машины войны, и не видела в нём человека. Жертву - видела, видела и восхищалась: надо же, ранен был казачок почти смертельно, и выжил! Человека - нет! По выходе из госпиталя прочитал он в справке, что потеря крови была «свыше 40%». «Взвешивали они меня, што ли? - терялся подхорунжий в догадках, читая об этих сорока процентах. - Врут, поди!»

- В рубашке родился, юноша! - сказал ему на прощание врач и направил домой в отпуск на поправку. А тут... Тут вон какой отпуск третий год полыхает! Выписался-то подхорунжий в январе 1917...

Батюшка всё ещё выводил своё привычное: «И Тебя восхваляя своим жительство...», а сотник был уже на ногах и одет, обут по всей форме.

Когда ему доложили, что трое мужиков арестованы, только четвёртый куда-то скрылся, сотник рассвирепел.



- Вы мне весь план срываете! - гремел он по подворью, почему-то сразу уверившись в том, что именно этого сбежавшего мужика ему и не хватает до осуществления его замысла, хотя ещё вчера сотнику было безразлично число крестьян, которых он прикажет арестовать сегодня. - Где хотите, а найдите его. Он не должен был никуда уйти.

- Да куда же ему уходить от детей? - поддакнул батюшка. - Здесь он, в деревне. Где-нибудь зарылся в погреб и сидит, паскуда! Прости меня, Господи! - перекрестился поп.

- Где живёт? Веди меня туда, - приказал сотенный уряднику.

Урядник молча повёл сотника по деревне к уже знакомому ему дому. Вчерашняя баба стояла у жердёвых ворот и словно ждала их.

- Где муж? - спросил сотник.

- Уехал вчера ещё... Куда - не знаю.

- Дети здесь?

- Здесь, - пролепетала баба.

- Давай сюда! - приказал сотник.

- Нет. Не дам!.. Не дам!.. - запричитала баба.

- Не бойся, дура, не тронем твой выводок! - рассмеялся сотник.

Он порылся в кармане, нашёл чудом уцелевшую замусоленную конфетку, и как только Игнат вытащил из избы детей, сказал:

- Девочки!.. Кто-нибудь из вас пробовал конфеты?

Дети молчали.

- Неужели никто ни разу не ел конфет?

- Да они, ваше благородие, не знают, что это такое.

- А мы вот сейчас им покажем, - сотник развернул конфету, и вплотную подошёл к девочкам. - А ну, лизни!.. Теперь ты... Ты... Ну, вкусно?

- Вкусно, - откликнулась девочка лет трёх.

- А ещё хочешь?

Девочка кивнула головой.

- Я тебе дам конфету, если ты скажешь, где твой тятка. Мы привезли конфет для всех вас, а он, дурачок, прячется... Ну, где он? - сотник взял девочку на руки и дал ещё раз лизнуть конфету.

- Вон там, - показала девочка на копну сена во дворе.

К копне тотчас же бросились казаки, расшвыряли её по двору и обнаружили под копной яму, в которой сидел мужик...

- Вот спасибо, девочка, вот спасибо! Держи конфету, ты её заслужила, - сказал довольный сотник и слегка шлёпнул девочку.

\*\*\*

Врач, усталый, с красными, воспалёнными от бессонницы глазами, прибыл из города с небольшим отрядом красноармейцев под утро. С ними приехали и оба бойца с фельдшером. Спешившись неподалёку от стоянки чоновцев, врач провёл тщательный осмотр каждого красноармейца, каждой лошади. Командиру же из волости чёрную весть от брата привёз: подрали его в недавнем бою, и лежал он пластом в лазарете уже вторые сутки. Совсем тошно стало командиру. Снова пошёл жар по телу... Врач к тому времени осмотр закончил, дал бойцам микстуры, порошки, в знак благодарности от командования новое обмундирование выдал, отобрал несколько человек, более здоровых на вид, и с собой в город взял, снял посты ограждения, прощаться стал. Перед уходом долго о чём-то с командиром говорил, спорил, кажется, хотел его к брату отвезти, в лазарет... Не уговорил. Напоследок передал командиру приказ из штаба, и вместе со своим отрядом уехал восвояси.

Командир молча прочитал приказ, осмотрел ещё раз бойцов и приказал им отдыхать. Всем отдыхать. Отдыхать и готовиться к выступлению. Бойцы после этого разбрелись кто куда, осматривая полученное обмундирование, обсуждая приезд врача и строя догадки о содержании приказа из штаба... Командир же пошёл на реку. Неширокая и тёмная, как большинство сибирских рек, она тянула его к себе, как живое существо, с которым только и

мог поделиться своей тяжкой думою командир... Незаметно двигалась вода, унося слабым течением чей-то пух, щепочки, листья... У самого берега на солнышке резвились стайки мальков, бросаясь в разные стороны то ли от избытка сил, то ли от опасности, подстерегающей их где-то в глубине... В кустах стрекотали кузнечики, посвистывали какие-то птицы, но и птицы смолкали, лишь только рядом проходил человек или появлялся в небе жестокий коршун. Всюду на реке была жизнь, каждая козявочка хотела жить и, кажется, кричала об этом всем своим видом. Почему же он, командир, отвечающий за жизнь многих людей, доверившихся ему, не избегает... опасности, а сам ищет её?

Часа через два построил он отряд, объяснил обстановку на фронтах, рассказал, что положение волости критическое - ожидается крупное наступление белых по всему фронту, что в самом волостном городе раскрыт заговор колчаковского подполья, что борьба с врагом ещё не кончена... После зажигательной речи о неизбежной гибели мирового капитала поставил боевую задачу. Мол, в пятнадцати верстах от этого места, в глухом урочище затаилась банда. Необходимо скрытно подойти к ней и внезапным ударом разбить. Скомандовал: «По коням!», и отряд двинулся.

\*\*\*

С рассветом деревня, занятая белыми, была на ногах. Все со страхом смотрели в сторону амбара, где сидели арестованные.

Днём верстах в десяти от деревни разведка белых неожиданно наткнулась на обоз переселенцев-погорельцев. Шли они от большой беды поближе к людям, в город. Двадцать лошадёнок, тридцать пять-сорок стариков с бабами и детишками, вот и весь обоз. Нищета, короче. Дозорным из вещичек поживиться было нечем, всё сожрал огонь, но и просто так отпустить обоз к красным не хотелось. Зло распирало казачков и искало выхода. Дозорные перетряхнули все сундуки, искали причину для ссоры, а её всё не было. И вдруг один из них нашёл на дне сундучка справку, в которой было сказано, что «податель сей бумаги был милиционером в феврале-марте 1917 года». С этого и началось. При другом повороте дела на эту бумагу никто из них не обратил бы внимания, однако сейчас она стала главной уликой против низкорослого мужика, в прошлом рабочего спичечной фабрики Кухтерина, чёрт знает каким образом попавшего в семнадцатом в милицию Керенского. Ещё один дозорный вцепился в высокого парня с покалеченной рукой. Дозорный утверждал, что видел калеку у красных в восемнадцатом. Инвалид, боясь за родных, не отрицал этого, и спокойно отошёл от телег поближе к яру, где уже стоял бывший милиционер. С инвалида тотчас же сняли почти новый меховой английский френч с накладными карманами и на всякий случай двинули прикладом в спину.

Так и лежать бы им, горемычным, в том яру, но неожиданно засуетились казачки, завжикали пули над головами у обречённых, и увидели обозники невдалеке цепь красных бойцов, бегущих по полю...

Сотник на стычку дозорных с красной пехотой прореагировал спокойно.

- Это плохо, что они не увязались за вами. Очень плохо. Видно, тоже разведка, - сказал он подхорунжему. - Осторожничают. Геракл уже недалеко и, кажется, он оказался сильнее, чем я предполагал. Но ничё! Черви всех едят одинаково, и героев, и трусов. Мы ишо посчитаемся, мы ишо успеем попить. Игнат! - крикнул он, высунувшись в окно. - Веди арестованных и собери народ у церкви.

У церквушки собралось всё село.

- Эт-ти мужики, - надрывался сотник в крике, - агитировали за красных ишо в семнадцатом году. И цветом не изменились по сю пору, о чём лишний раз говорит их упорное нежелание назвать дружков. А дружки их нам очень хорошо знакомы, позавчера встречались. Да-с!.. Позавчера.

Сотник прокашлялся, сделал паузу и продолжал:

- Не хотят говорить - не надо! Нам и так всё известно. Не перевелись ишо на Руси люди, верные православному отечеству, - он улыбнулся широкой улыбкой батюшке, стоявшему рядом. - А посему будем их убивать.

Последние слова сотник произнёс с улыбкой, буднично и просто, так что не сразу поняли деревенские, что же он с арестованными будет делать. А поняв, собравшиеся в центре села разом вздрогнули, завывли, запричитали десятками бабьих голосов.

- Да, будем убивать! - добавил сотник. - Ерофеев! - крикнул и закашлялся. - Веди!

И сотник нервно завертел головой, будто выискивая кого-то в толпе. Нет, того, кого он искал, там не было. А, может, ещё придёт... Время-то есть... Может, придёт, выручит невинно страдающих... А если не придёт этот красный полубог?.. Если не придёт, значит, будет четырьмя великомучениками больше в красном раю, а тяжкий грех сотника на четыре души потяжелеет.

Обречённых вывели на площадь и поставили к стене амбара. Отделение казаков молча выстроилось напротив.

Сотник ещё раз оглядел толпу и крикнул:

- Я отпущу мужиков по домам, если за них кто-то выйдет сюда на распыл сам. По доброй воле. Согласен всех четверых заменить лишь одним человеком... Или одной бабой.

Толпа замерла, опустив головы. Удивлённо уставились на сотника и казаки.

- Ну, нет желающих?

На площади стояла мёртвая тишина.

- Ну, коли нет... Значит, нет. Подхорунжий!

- Слушаю!

- Поп говорил, что варвары - это дикие люди, которым неведомо благородство души. У них не было истинной религии... И жили они тысячи лет назад. Так?

- Да, так.

- За последние тысячи лет книжники воспитали благородными только малую часть человечества, которая подобно нам с вами по собственной воле превращается в кровожадных скотов. Представляете, сколько понадобится времени, чтобы научить это деревенское быдло элементарному проявлению благородных чувств!.. Чувств, которые были знакомы ещё варварам.

- Зато, хорунжий, у них есть злоба и желание мстить. У них есть мечта и надежда на лучшее время. А у нас с вами их нет!

- Злоба, мечта, месть... Маловато, конечно, но пусть и за это скажут спасибо. Всё-таки мы их продвинули на шаг к совершенству. Начинайте, голубчик!

Вдруг к тем четверым у стены через жидкое казачье ограждение прорвалась уже знакомая сотнику баба с грудным младенцем на руках.

- Ироды! - завопила она, обращаясь к казакам. - Что же вы делаете? Не виновен он, не виновен!

- Уйди, Марья, - вполголоса проговорил заросший чёрной бородой Илья Петрович, он был у стены в центре. - Уйди от греха, аль не видишь, кто перед тобой?

И плюнул под ноги алую слюну.

Казаки дружно щёлкнули затворами и прицелились.

- Уйди, дура! - сказал сотник. - Ведь убьём, вправду убьём!

- Бей, сволочь, бей! Его убиваешь - и нас бей! Не виновен он!

Женщина закрыла лицо младенца руками и крепко прижалась к мужу.

- Марья, уйди! - хрипел тот и толкал её. - Уйди!

- Ну, вот вам и русская Алкестида, - сказал, улыбаясь, подхорунжий. - Может, и впрямь Геракл пожалует? Как вы думаете?

- Пусть только попробует! - прошипел сотник и зло рывкнул на Ерофеева: - Чё рот раззявил? Первый раз, што ли? Порядка не знаешь?

- Так вы говорили...

- Мало что я говорил!.. Шутил я.

- Дак это... баба тут... Опять же дитё... И народ.

- Народ?.. Где ты видишь народ? Где? - кашель душил сотника зверски. - Разве это народ? Трусливые скоты, признающие только кнут!.. Огонь!

- Пли! - судорожно скомандовал бородач в папахе и выстрелил первым.

Грохнул залп. Эхо тут же разнесло его по округе и смолкло... В наступившей тишине на зелёный пырей, скорчившись, упало пять мёртвых тел. Ребёнок, откатившись в сторону, плакал, напуганный выстрелами. Неловко загребая ручонками, он подполз к матери и, найдя под цветастой кофточкой ещё не остывшую тёплую грудь, жадно потянулся к ней.

На винтовочный залп в деревне ухнуло оружие за околицей. Сотник вздрогнул и зло оскалился:

- Всё-таки он есть, этот Геракл!.. Есть! Но ты опоздал, дружок, на этот раз опоздал!

Рядом с сотником стоял перебежчик Пётр и молча смотрел на хорунжего. Его бил озноб, но не от вида казни, просто он был болен. Уже два дня у него был жар.

Горстка чоновцев ехала по лесу всю ночь. Измучились изрядно. Под утро, когда стало развидняться, вышли на чистое поле, в конце которого горели костры. Не люди - тени кинулись в тот бой. Не каждый и пашку в руках держать мог, горячечный туман застил глаза... Командир скакал впереди всех, только в руке его была не сабля, а какая-то бумажка.

И только они доскакали до тех костров, ударили со всех сторон пулемёты. И с флангов, и с тылу... В четверть часа никого живого на поляне не осталось. Она была плотно окружена лесом, лучшего места для засады и не придумать.

Когда всё стихло, вышли из леса бойцы того самого отряда, что в волость с докторами ускакал, вырыли по краям поляны глубокие ямы, длинными крючками стащили в одну людей, в другую лошадей, облили керосином и подожгли... В одночасье всё в прах обратилось.

И только та бумажка, что накануне командир в руках держал, целой и невредимой пролетела по-над лесом и зацепилась за куст боярышника. Ветер распрямил её, как знамя, и каждый грамотный боец мог прочитать, что на ней было написано. Это была записка от старшего брата.

«Прости за жестокость, Константин! - писал брат. - Но иначе нельзя, сам знаешь. Спасти можем только здоровых и то на время... Положение города - безвыходное. Можно было бы, конечно, бросить вас в настоящий бой, но... Возможна эпидемия. Пострадают невинные. Лучше умереть в ложном бою, с верой, что он настоящий, чем гнить заживо дни и недели, заражая других. Если хочешь, объясни это ребятам, которые духом покрепче. За Пелагею и ребят не боись, досмотрю, коли сам жив буду. Ещё прости, что приехать не могу, доктор не велит. Прощай, родной! Кланяюсь низко в ноги тебе и твоим героическим бойцам. Дмитрий. Твой брат и командир». А ниже подпись.

На том и кончилась история этого чоновского отряда. Заразной болезнью был сап. Неизлечимым считался.

Казаки же на сытых, отдохнувших конях, не вступая в бой, бешеным аллюром уходили в тайгу. Чахоточный хорунжий, так же покашливая, качался в седле, изредка сплёвывая кровью. На щеках его горел нездоровый румянец, рот скалился в полуулыбке-полугримасе. Из глотки почти безостановочно вырывалось хриплое:

- Мы ишо с тобой встретимся, Геракл... Мы с тобой... ишо встретимся!

Глотая пыль из-под лошади сотника, следом за ним скакал на красивом вороном коне юный подхорунжий. Всего на полкорпуса лошади от него отстал земляк сотника перебежчик Пётр, нещадно колотивший неказистую, потную кобылку, отфыркивающуюся гнойно-крававыми сапными хлопьями. За ними тянулись остальные...

Казаки уходили в тайгу, уходили навстречу своей гибели.

1982 г.

# Обида

- А всё началось с того самого ушлого северянина. Помните, был фильм «Архангельский мужик»? - спросил Пётр Аксёнов, оглядывая собравшихся за столом гостей.

- Напомни, про что это? - Витька Карпухин, круглый, лоснящийся от самодовольства мужик, с маленьким носом-пуговкой на лице и большим ярким галстуком на широкой груди, подозрительно уставился на Петра Аксёнова голубенькими глазками.

- Да того мужичка давно уже раскулачили, давно в Нарыме гниёт. Точно! У нас это



быстро делается! - громко и зло сказал Пётр Фёдорович, человек громадного роста, с бельмом на правом глазу и громовым командирским голосом. Ещё одна внешняя особенность его заключалась в том, что был он всегда слегка пьян и потому вечно имел оранжевый цвет лица. - Таких кулаков надо всех в кулаке держать. Вот так!

И, несмотря на жену, дёргающую его за рукав, показал, как бы он это сделал. А кулак у двухметрового Петра Фёдоровича был огромный.

- Дурак ты, тёзка! - незлобно проворчал Пётр Аксёнов. - Таких мужиков выращивать нужно как элитную пшеницу. Законом охранять!

- Да фильм-то про что? - занервничал Витька Карпухин, любивший всегда быть в центре внимания и в курсе всех событий, происходящих здесь ли, рядом, или же хоть в самом московском Белом Доме.

Фильм он не видел, и это выводило его из себя: что-то интересно-скандальное прошло мимо, а он не имеет об этом понятия.

- А про то, - захохотал голосом Пётр Фёдорович, - как кулаки верх над нами берут! Это что же такое получается? Они в колхозе работать не хотят, хотят на своей ферме вкалывать. А мы им помогать должны, законом охранять? Может, их в Красную книгу вписать прикажешь?

- Да не кричи ты, не кричи! Глухих нет! - попыталась успокоить мужа жена, знавшая привычку Петра Фёдоровича орать по любому поводу и в любой обстановке, как на строевом плацу.

- А ты подумай, почему он на колхозной ферме ишачить не хочет? Почему на хутор рвётся? - неожиданно завёлся и Пётр Аксёнов.

- Да потому, что денег ему в колхозе, видите ли, мало платят! А на своей ферме - заметь: на своей! - он по тысяче рублей в месяц выколачивает, кулак! Типичный кулак-мироед!

- Нет, ты постой! Он что ворует эти деньги? - разозлился Аксёнов.

- Нет! - рявкнул Петр Фёдорович. - Но лучше бы он воровал, это было бы мне понятнее: несознательный элемент. А тут ведь другое... Ты знаешь, чем пахнет?.. На колхозной ферме ему работать не нравится, он свою строит! Ишь, фермер нашёлся, капиталист! Да за такие дела...

- А что в этом плохого?

- Всё плохое. Неизвестно до чего мы так докатимся. Позиции сдаём, позиции... Никакого коммунизма такие не сделают, всё по своим участкам растащат. А ему, этому кулаку, шею-то уже свернули. И другим свернут, дай срок. Мне верные люди точно сказали... И правильно! Понимаешь, - обратился Пётр Фёдорович за помощью к обиженному невниманием Витьке Карпухину, - директор совхоза ему говорит: не стройся там! А он: хочу и строюсь! Где порядок? Порядок где, спрашиваю? Распустились без хозяина!

Пьяные глаза Петра Фёдоровича налились кровью.

- Так разве лучше, если пятьсот коров тысяча колхозников выращивает? Он же один с семьёй шестьдесят бычков держит. Один!

- Держал. Запомни это: держал! А к ним и работника ещё впридачу! Да, работника! Чистейшей воды капитализм в стране развели... Ты вот на меня посмотри, покумекай, как я свою жизнь прожил. Ведь на мне всю историю страны можно изучать, как на экспонате. - Пётр Фёдорович большим языком облизал пересохшие губы. - До войны колоски в поле собирал, с голода пух. Потом война. После двадцати лет армии пришёл майором домой, а жить негде. Но я не ныл! Построился. Сам построился, никто не помогал. Хоть деньги нищенские получал, а хату слепил не хуже других. И детей вырастил. Я горбом деньги зарабатывал, кровью, пролитой за родину, а о таких тыщах и слышать не слыхивал. Это у меня сейчас военная пенсия 200 рублей, заработок приличный. А тогда?.. А он, понимаешь, дай ему!.. И сразу всё дай: деньги, технику, жизнь красивую. Волю... Я бы ему дал, кулаку, волю!

- Какой же он кулак? - попытался ещё раз пробиться к сознанию Петра Фёдоровича Аксёнов.

- А такой!.. Ферму имеет на шестьдесят бычков? Имеет. Работника держит? Держит. Власти не признаёт? Не признаёт. Сам себе голова. Вот он и есть форменный кулак. Деньгу лопатой гребёт!

- Ну и что? Он же своим трудом всё зарабатывает. И работник у него не работник вовсе, а компаньон, в доле с ним поровну. Это же понимать нужно... Тебя послушать, Пётр Фёдорович, так к коммунизму быстрее всего с нищенской сумой прийти можно. С ней все равны. Все беспортошные!

- Да что ты так за него вступился? Брат он тебе, сват?.. Мы таких живоглофов на фронте... быстро в расход пускали. Нечего воздух портить, понимаешь!

- Да, на фронте... - подхватил знакомую тему Витька Карпухин. - На фронте мы бы такого... Вот, помню, случай был...

\*\*\*

Дальше Яков Алексеевич слушать не стал, тихонько поднялся и вышел из-за праздничного стола. Ухода его никто не заметил, потому что был Яков Алексеевич всегда тих, неприметен во всём, и никогда и ничем не привлекал к себе постороннего внимания. Споры не любил, в склоки не ввязывался, и жизнь его текла на глазах людей ровно, ничем не примечательно. Вот, пожалуй, только одеждой выделялся он среди сверстников, умением держаться с достоинством в самых невероятных ситуациях. Одевался он, можно сказать, даже модно, со вкусом, не присущим подавляющему большинству людей его поколения. Солидность, достоинство же его были обманчивы, так как многие принимали за них его холодную молчаливость, сдержанность при посторонних и начальстве и присущее ему некое созерцательное отношение к жизни, отчуждающее Якова Алексеевича от мелочности бытия. На вид ему можно было дать и пятьдесят, и шестьдесят лет, всё зависело от того, какое сегодня было настроение у этого странного человека: если весёлое, то выглядел он моложе, если чем-то был расстроен, то как бы сжимался, усыхал всем телом, становясь старше своих шестидесяти пяти.

Сюда, на день рождения Петра Аксёнова, пригласил его и жену Якова Алексеевича Анну сам именинник, старинный, послевоенный друг их семьи, единственный человек, к которому тянулся Яков Алексеевич всю жизнь, с которым был откровенным до конца...

Как-то так вышло, что, встретившись в сорок восьмом с Петрухой в санатории, где оба отлживались, залечивая фронтовые раны и контузии, они потом не расставались все эти годы. Сорок лет - срок немалый, за это время они сроднились друг с другом, сдружились семьями, как не дружат и родные братья. С годами, правда, стали встречаться реже, но на именины, на Новый год, 7 ноября, Первое мая и, чего уж скрывать, на Пасху, Родительский день поочередно собирались друг у друга регулярно. В Бога они не верили, но была какая-то притягательная сила в том, чтобы собраться именно в Родительский день и вспомнить своих безвременно ушедших родителей, помянуть добрым словом всех усопших друзей, родных... Была в этом потребность души, потребность в воспоминаниях, потребность в возвращении в прошлое... Обычно в такие дни никого из посторонних друзья не приглашали к себе. Им было хорошо в их маленькой компании, дающей им нечто большее, чем могло бы дать любое многолюдное собрание... Но всё же иногда Пётр любил собирать шумные застолья в свои именины, приглашая всех без разбора. Вот и сегодня собралась пёстрая компания, к которой никак не лежала душа Якова Алексеевича.

Больше всех из собравшихся Яков Алексеевич не любил Витьку Карпухина, болтуна и пьяницу, дожившего до седых волос, но так и оставшегося для всех Витькой.

Витька считал себя великим художником, которого не признал мир, хотя сам не нарисовал ни одной путной картины и работал где-то цеховым художником-оформителем почти сорок послевоенных лет. Он нигде и никогда не учился, более того, считал, что многие таланты загубили свою самобытность «учёной схоластикой», выхолащивающей истинное вдохновение. В его сумасбродной голове постоянно вертелись какие-то «гениальные» замыслы, прожекты, так и оставшиеся только замыслами, не покидающими черепной коробки их создателя. Все в округе считали его немного чокнутым, а уж когда под пьяную руку Витькин зять саданул его пару раз бутылкой по темечку, что-то совсем сдвинулось в его шальной головушке, и если он теперь пускался в рассуждения, то умному человеку лучше было его не слушать, тем более, что все разговоры, если они не касались искусства, Витька переводил на свои фронтовые эпизоды, в которых рисовал себя невероятным героем. А Яков Алексеевич доподлинно знал, что всю войну просидел рядовой Карпухин В.Н. в штабе фронта на ВЧ. И единственный его боевой эпизод заключался в том, что он в составе группы сапёров случайно участвовал в подрыве одной фермы моста через Дунай. Моста, уже взорванного немцами, моста, мешающего нашим войскам наладить судоходство по реке.

И вот уже в который раз Витька сейчас, наверное, рассказывает утомлённым от бесконечного пересказа этой истории слушателям, как летели через его голову многотонные

железяки, как страшно завывали они, как жутко было слышать взрыв многокилограммового заряда...

Его пошлый цветной галстук наверняка сбился набок и вылез на пиджак, но Витька этого, как всегда, не замечает, и отчаянно жестикулирует руками, браво мотая седым чубчиком...

Ещё, правда, он разнообразит свои фронтовые «подвиги» рассказом о женщине-старшине, которая во время налёта авиации немцев прыгнула в окоп к Витьке, села ему на шею, повторяя: «Потерпи, браток, потерпи! Скоро налёт кончится», -и при этом от страха писала на рядового Карпухина на протяжении всей бомбёжки.

После налёта, как уверял всех Витька, шея у него с неделю в одну сторону не поворачивалась, и от гимнастёрки мочой пованивало так, что штабные офицеры его к себе ближе чем на три метра не подпускали. Но, слава Богу, он эту историю рассказывал уже не за столом и не при женщинах.

Собственно, этими военными приключениями и заканчивалась вся боевая биография Витьки Карпухина, но иногда он демонстративно поглаживал колодку орденов и медалей на груди и многозначительно говорил, что не всё может рассказать о себе, так как и до сего дня многое держат в секрете про ту войну.

«Интересно, - думал всегда Яков Алексеевич, слушая Витькин трёп, - что ещё нельзя знать про ту бойню?.. Эх, люди, люди! Если бы вы все знали настоящую правду о той войне!..»

А на колодках у Витьки действительно было много всего, особенно медалей юбилейных. И это-то больше всего задевало Якова Алексеевича.

\*\*\*

Как же так случилось, что он, прошедший войну с 10 ноября 1941 года и по... по тот роковой день 20 ноября 1944, когда военная судьба и вся его дальнейшая жизнь пошла под откос, он, который ещё во время войны носил на офицерской гимнастёрке восемь боевых орденов и медалей, не имел сейчас ни одной награды? Как? Об этом он никогда и никому не рассказывал. Разве что только жене, да Петру Аксёнову...

И зачем только Пётр пригласил этого Карпухина!

Стало зябко. Яков Алексеевич снял пальто, легкомысленно накинутое на плечи, надел его как полагается и даже застегнул на все пуговицы.

Свежий ветерок с далёких гор шевелил волосы непокрытой головы, раскачивал тёмные ветки деревьев с комочками жухлых коричневых яблок, оставшихся с осени, за что Яков Алексеевич мысленно обругал Петра: зря добро пропадает. Ветерок нёс свежесть и прохладу с ледников, и Якову Алексеевичу приятно было стоять на крыльце дома Петра, смотреть на этот зимний сад, на горы, наполовину скрытые облаками, на сумеречное серое небо...

Заныло сердце.

Яков Алексеевич достал валидол, пососал его, прислонился к дверному косяку, и снова вернулся мыслями в квартиру к Аксёнову. Отсюда было видно в окно всех, но не слышно, о чём же шёл разговор. Однако, зная собравшихся не первый год, можно было догадаться, что они там так жарко обсуждают...

«А ведь и правда дурак Пётр Фёдорович, - подумал Яков Алексеевич. - Какой, к чёрту, кулак этот «архангельский мужик»! Работник. Хороший работник! Такой, каких в тридцатых годах было уйма. И вот за то, что они, поверив в советскую власть, работали, не покладая рук и в колхозах и у себя в хозяйстве, за то, что хотели жить и работать лучше, их вот такие Фёдоровичи в кулак зажимали. В кулак... Эх, жизнь!.. До каких пор у нас будут рубить сук, на котором сами сидят, до каких пор людей мучить?»...

Яков Алексеевич вспомнил отца, вспомнил, как они ходили с ним по голому колхозному полю и, боясь, что будут застигнуты на нём каким-нибудь ярым законником, собирали колоски, оставшиеся на стерне, чтобы не умереть с голода, рисковали свободой, чтобы сохранить жизни ещё трёх девок, сестёр Якова, и матери... А ведь всё было не так когда-то. Всё не так!..



Деревня Якова Алексеевича была вовсе не деревней, а старинной сибирской казачьей станицей, но об этом её жители старались не поминать всуе. Казачество было вне закона. Лишь мальчишки поздними вечерами вполголоса, а то и совсем шёпотом передавали друг другу старинные предания, услышанные от стариков, делившихся с внуками историей своих родов втайне от их отцов и матерей.

Как-то Яков не выдержал и спросил отца об их родове, на что отец с горечью сказал:

- Хочешь жить, сынок, помалкивай, кто были твои деды. Времена нынче не те. Понял?

Конечно же, Яков всё понял, жизнь тогда заставляла понимать даже детей, что происходит в стране Советов, и о том, что он казачьего роду племени Яков помалкивал и в школе, и в армии да и потом всю жизнь старался об этом не думать.

Хозяйство было у отца не малое, и жили они зажиточно по тем временам. Ну, как зажиточно? Была лошадь у отца, две коровы, земля, которую получил после революции от советской власти, новый дом - гордость семьи, сила у отца была.

Молодой и здоровый мужик, он не боялся работы и тащил на себе крестьянский воз не просто так, абы-кабы, а для лучшей жизни, за которую дрался в партизанской армии Щетинкина и получил не одну рану... А вышло всё совсем не так, как мечтал отец, как виделось самому Якову...

В начале тридцатых отца Якова Алексеевича приписали сначала к середнякам, а потом... А потом отец почувствовал, что лучше сматывать удочки самому, пока не увезли, взявши под белы ручки, в Нарым или куда ещё подальше.

Бросив в деревне всё, обосновался он с семьёй в небольшом городке с красивым названием Камень-на-Оби. Купил старый дом с крытым двором, устроился работать возчиком на промбазу... Но и сюда добрались, дотянулись завистливые люди... Бежали ночью назад в деревню, бросив всё, что купил отец на новом месте: дом с крытым двором, скотину, мебель...

В деревне отца не принял его родной отец, дедушка Якова Алексеевича, боялся, что и его с сыном вместе заберут под одну гребёнку. Их же родной дом был полуразрушен, в нём были выбиты стёкла, снят пол. Вот-вот должны были прийти рабочие с соседнего маслозавода, чтобы разобрать дом на нужды предприятия. Даже ночевать семье было негде...

И заболел отец в одночасье. С горя заболел. Утром они ещё с Яковым колоски собирали в поле на стерне, а вечером уже лежал отец пластом, и от дикой боли в животе не мог даже кричать. Вечером же отвезли его в больницу, сделали операцию. А утром он уже умер, не прожив и двух дней на родине в деревне. Какие-то комки в животе у него образовались... Может, нервные спазмы?

Мать, когда узнала об этом, взяла топор, пошла в свой дом и стала ждать рабочих с маслозавода. Те пришли, увидели совершенно дикую по виду бабу с топором, повернулись и молча ушли. Тогда пошла она к директору школы, который был районным депутатом, и тот написал письмо в райисполком, по которому вернули дом вдове и семье «бывшего красного партизана». Дед помог вставить окна, настелить полы... А было-то отцу всего тридцать восемь годочков отроду, мальчишка по нынешним временам. Ему бы жить да жить! Работать до хруста в костях, до ломоты в пояснице, детей подымать!.. А они его... Фёдоровичи...

Слезинка набежала в уголок глаза, зашипала и глаз, и душу...

Что-то в последнее время слезлив стал Яков Алексеевич, раньше был крепче, выносливее. Моложе был, наверно...

\*\*\*

В армию Якова призвали ещё перед войной, во время событий на Халхин-Голе. В армию пошёл с охотой, как и большинство тогда, потому что это было почётно, это было выгодно деревенскому парню: профессию мог получить хорошую в армии. У Якова к тому времени семилетка была за плечами. Поэтому сразу же после прохождения курса молодого бойца

отправили его на учёбу в школу сержантов, после которой служил он на самом горячем и славном месте до войны - на Дальнем Востоке.

На военные события с японцами он уже не успел, прибыл к месту службы к шапочному разбору, но всё равно просидел почти полтора года в укрепрайоне в условиях далеко не мирных.

Сидели они глубоко зарытые в земляных норах, которые, как говорили отцы-командиры, были построены здесь со времён царя Гороха. Днём на поверхность не высывались, чтобы не демаскировать занятые позиции. Война была буквально ещё вчера и, возможно, могла быть сегодня, сейчас, поэтому законы на территории укрепрайона были суровые. Ослушника ждало наказание, о котором знал каждый, давая подписку, что при появлении днём в расположении укрепрайона автоматически получал срок...

Там жилось сносно вообще-то. Можно было книжки читать в свободное от занятий время, не особенно мучили муштрой... Текла обычная мирная солдатская жизнь, к которой можно было легко приспособиться...

Через специально оборудованные щели офицеры присматривали в бинокли за противником на той стороне границы. Там внешне всё было спокойно. Но тишина на границе обманчива, и это тоже знали все. Многие видели в районе КВЖД неубранные белые кости и черепа, оставшиеся после 29 года. И никакие тарбаганы, бегающие, словно домашние кролики, по самой границе, никакие крестьяне, мирно обрабатывающие землю на той стороне, не могли усыпить острое чувство тревоги, чувство опасности, исходящее с той стороны. Да и позиции, на которых располагалось подразделение Якова, находились даже чуть впереди застав пограничников. Так что... приходилось ухо держать востро и днём, и ночью!

В горе-крепости были надёжно упрятаны наши самолёты, готовые в считанные минуты совершить боевой вылет для отражения воздушного нападения противника, повсюду под землёй хоронились невидимые днём пушки, войска... Лишь ночью укрепрайон оживал. Выкатывались на исходные позиции орудия, окопы и доты заполнялись бойцами, начиналось время обучения личного состава военному мастерству. Учились на совесть.

Подразделение Якова готовилось отразить любое нападение противника.

Укрепрайон был готов сделать это.

Страна могла ответить на любую «провокацию» японцев. Японцев, но, как оказалось, не немцев.

\*\*\*

...Осенью 1941 года приняли из кандидатов в члены партии. Потом, почти сразу после этого радостного для Якова события, их дивизию перебросили на запад. Ставка очень надеялась на хорошо обученные и вооружённые сибирские дивизии...

Седьмого ноября 1941 года, едва успев выгрузиться из эшелона, дивизия Якова участвовала в Куйбышеве на параде войск, отправляющихся на фронт.

Яков хорошо запомнил присутствующих на параде: генерал Кошевой, некий генерал Лозовский, которого потом куда-то запрятал Сталин за выступления в печати о том, что, отступая, мы занимаем более выгодные позиции; Ворошилов, Калинин, и ещё какие-то генералы, имена которых выветрились за эти годы из памяти... Но зрительно он представлял себе и сейчас всё, что там происходило, довольно точно. Помнил все мельчайшие подробности того дня, накануне первого в его жизни настоящего боя: лица, настроение, детали одежды...

На городском ипподроме с трёх сторон поставили автомашины ЗИС-3, застелили их открытые кузова коврами, и на эту импровизированную трибуну бойцы подсадили по очереди всех выступающих перед войсками и всех принимающих праздничный парад. Случайно Яков оказался совсем рядом с машинами, и даже слышал, что негромко говорили между собой собравшиеся там.

Ворошилов, помнится, всё твердил, что сибиряки спасут Ленинград, что регулярная армия сейчас плоха, в ней нет настоящих боевых командиров. А Калинин, стоя за ним,

говорил, что зато двадцать лет мы готовились к войне под мудрым руководством первого советского офицера и гениального маршала Клим Ворошилова. На это Ворошилов скороговоркой твердил, что всё исправит, всё оправдает...

Якова неприятно поразила нервозность и будничность перебранки легендарных народных вождей, словно речь шла у них о мелких недоделках при ремонте квартиры, а не о судьбах миллионов, которые уже вступили в войну с фашизмом, подготовленные не так, как нужно было...

Не привык ещё тогда Яков Алексеевич смотреть на начальство без пламенного восторга в глазах, без слепого обожания в сердце, без подобострастного трепета в коленках...

После войны прошло уже сорок с лишним лет, а Яков Алексеевич так никогда и нигде не читал об этом параде войск в Куйбышеве. А чем он хуже московского? И там, и здесь люди после парада сразу шли в бой. И там, и здесь на трибунах были члены правительства. Нет, конечно, Яков Алексеевич понимал всё политическое значение парада именно в столице Родины, в Москве, но... Парад в Куйбышеве был его парадом седьмого ноября 1941 года, как и он сам был частичкой этого парада на краю пропасти, которую готовила стране фашистская Германия. Этот праздничный парад 1941 был частичкой его личной военной жизни, в которой было не так-то много радостей.

\*\*\*

Вначале дивизию Якова хотели бросить на защиту Калинина, но, когда эшелоны были ещё на пути к фронту, Калинин уже заняли немецкие танки, и через Тихвин дивизию бросили к Ленинграду. 10 ноября она приняла свой первый бой в Тихвинской операции, который не прекращался до первых чисел декабря. Дни это были страшные... Ставка приказала любой ценой вернуть взятый 5-8 ноября 1941 года Тихвин, вернуть перерезанную немцами железную дорогу на Ленинград, чтобы спасти город от полной блокады. Поэтому столько и положили там ребят. Войска шли с марша и в бой, с марша и в бой!..

Кому рассказать, что пришлось увидеть и испытать - никто не поверит. Даже Синявинская операция, в которой позднее участвовал Яков, показалась ему менее ужасной. Да и как это рассказать, как передать? Память о войне - она живёт в неуловимых запахах, не всегда приятных ощущениях, привычке хвататься за оружие в опасных ситуациях... И в снах. И это, пожалуй, самое страшное воспоминание человеческого сознания о войне. Сон бывает неразборчив, бессюжетен, запоминается только одними мощными энергетическими толчками страха и ужаса, сконцентрированными в несколько минут или даже секунд мучительного прорыва не контролируемого сознания в прошлое. Человек будто вновь на мгновения переносится в ад, из которого вырвался чудом много лет назад... Разве кому-то так просто это передашь, кому-то перескажешь? Нет, чтобы понять войну, её нужно на собственной шкуре испытать. На собственной...

Собственная шкура... Грубое словосочетание, но оно наиболее верно отражает то состояние человеческого «я», которое появляется в момент наивысшей опасности за свою жизнь.

Первые три-четыре месяца боёв Яков опасался за свою жизнь, за свою драгоценную шкуру, хотя никто из товарищей не мог упрекнуть его в трусости, в неисполнении элементарного служебного долга, и всё же... Ему было страшно умереть, он боялся этого момента, и каждый раз во время атаки самолётов, танков или пехоты противника на мгновение робел в предчувствии близкой развязки... А потом в нём произошёл качественный сдвиг, перелом внутри души, и от глубинного страха за свою жизнь ничего не осталось. Как-то само собой получилось так, что он понял: выжить не удастся в этой мясорубке. Столько смертей рядом, что трястись за свою бесценную лично для тебя одну жизнь, отравляя страхом возможного конца последние часы и минуты этой жизни - просто глупо и смешно. Убьют. Конечно, убьют. Не сегодня, так завтра. Эта мысль так глубоко засела в голову, что он уже не думал о жизни вообще, да и о смерти тоже. Жил секундой. Хотя минутное, поверхностное чувство страха за свою жизнь сохранялось всегда. И порой это было единственное чувство, длившееся бесконечно долгие часы и даже дни.

Ну какой герой после семисот-восьмисот самолёто-вылетов противника захочет жить? Нет, после этого жить не хотелось... Перед глазами мелькали непрерывной чередой силуэты «Хейнкелей-111», «Дернэ-217 и 215», «Ю-87» и «Ю-88», «Мессершмитты-ягуар» и «Мессершмитты», «Мессершмитты»... И снова «Хейнкели», и снова «Мессершмитты»... Люди теряли контроль над собой, сходили с ума, сидели на глазах...

Как-то, во время одного из наиболее ожесточённых налётов, командир одного из огневых взводов не выдержал и закричал во всю глотку куда-то по направлению тыла:

- Меньше бы до войны «домов советов» строили, больше зениток делали, танков, самолётов!

К вечеру его уже не было на батарее. Основание: выражал публично недоверие правительству...

А сколько было таких... «выражавших» и дерущихся!

И как дерущихся!

И всё это в аду. В самом настоящем аду.

Когда сидели в глухой обороне, то укрывались за трупами «солдафонов», так называли на фронте молодых и ещё необстрелянных бойцов, бегавших от каждого снаряда и потому гибнущих в первые же дни пребывания на передовой буквально сотнями...

Хоронили только друзей. Остальных расклёвывали вороны на виду у ещё живых бойцов.

А что было делать? Самим закопаться в землю некуда. Копни на полштыка лопатки - и потечёт болотная водичка...

А немцы вели огонь не жалея снарядов и патронов. Вот и выкладывали зимой вокруг себя небольшими штабельками трупы и спасались за ними от пуль и от ветра. Сегодня я укроюсь за кем-то, а завтра, может быть, мною будут прикрываться, и обиды в том от меня, убитого, живым не будет.

Однако опаснее авиабомб, пуль и снарядов было физическое истощение. Случалось так, что у обеих сторон настолько сдавали силы, что не было никакого желания воевать друг с другом. Хотелось хоть минутной передышки, минутного мира.

Например, на пушку в батарее полагалось по два снаряда в сутки. А таскать эти снаряды на батарею приходилось за семь-восемь километров. Снаряды немаленькие. Яков служил в зенитном полку, на вооружении которого были 76-миллиметровые пушки. Кроме того имелись и крупнокалиберные пулемёты, счетверённые «максимы»...

Сам Яков был поначалу командиром ПУАЗО-3, прибора управления артиллерийско-зенитным огнём, который применялся для определения упреждённых координат цели и выработки баллистических данных для орудий, прибора сложного и достаточно громоздкого. Яков не имел прямого отношения к «пушкарям», но и ему приходилось носить эти чёртовы снаряды за тридевять земель вместе с «огневиками». Силы были настолько истощены у всех, что через каждые сто метров пути люди падали едва ли не без сознания.

И вот бывало так, что идёт на исходные «пантера», нагло подходит буквально метров на 300 к позициям батареи и останавливается на виду у всех. Все заклёпки на её броне через бинокюляры видны. Кажется, только руку протяни - и достанешь их пальцами...

Крутит «пантера» носом-пушкой из стороны в сторону, а не стреляет. И наши молчат, хотя с трёхсот метров могли бы вклепать ей по самую головку...

А почему молчат? Лень потом идти за снарядами? Нет, не лень. Это слово слишком мирное, слишком не блокадное. Для определения того физического состояния, которое было у обороняющихся, обессиленных до предела. Просто люди точно знали, что вот сегодня они могли и умереть в дороге от слабости, сегодня у них был пик усталости, сегодня, сейчас...

И командиры это понимали.

А «пантера» постоит-постоит, покрутит пушкой, и тихо себе уйдёт восвояси. Значит, и у них, наверное, та же картина была. Конечно, их усталость не шла ни в какое сравнение с нашей, граничащей с дистрофией и атрофией всех мышц, но не могли же из «пантеры» не видеть наши орудийные расчёты с трёхсот метров, а вот всё же и они не стреляли...

Страшное это дело - война. Страшное для всех.

И голод в войсках был страшный.

До войны пришлось Якову Алексеевичу поголодать вдосталь, недаром в последний день жизни отца, да и потом тоже, крадучись собирал по полю колоски; но то, что довелось ему пережить под Ленинградом... Такое может присниться только в кошмарном сне!

И больше всего ребята страдали даже не физически, а морально: блокада, вынужденное сидение в болоте, необрунные трупы товарищей, неудачи на фронте, слухи о предательских вылазках в тылу...

\*\*\*

Когда сгорели Бадаевские склады, болтали, что их взорвали предатели из штаба 4-й армии, которой предписывалось их охрана. За что якобы Ворошилов лично расстрелял весь штаб 4-й. Может, немцы сами специально эти слухи распространяли, чтобы деморализовать блокадников? Кто их знает, откуда эти слухи ползли и отравляли сознание окопников, но когда бойцы ели землю вокруг тех складов, то невольно вспоминали недобрым словом и штаб 4-й, и всё наше ненадёжное высшее начальство... Сколько в начале войны среди них предателей оказалось, сколько к стенке поставили, сколько разжаловали... И всё это громко, во всеуслышанье объявлялось и печаталось. Где уж простому окопнику разобраться во всех тонкостях интриг и хитросплетений внутренней и внешней политики, если сам он каждую минуту ждал пулю в лоб, если жрать хотел так, что готов был есть всё, что попадалось съедобное на глаза.

Яков и сам ел землю Бадаевских складов. Найдёт спёкшийся комочек земли, поймёт: это был когда-то сахар или ещё какой-то съедобный продукт; бросит его в котелок с кипятком, размешает, подождёт, когда всё это отстоится, и пьёт... Хвойным настоем запивает.

Неоднократно бывал Яков и в самом осаждённом городе. И то, что представляло перед ним, поражало сердце, казалось, навсегда уже зачерствленное и огрубевшее за войну.

Помнится, на каком-то мосту возчик-старик не смог справиться в гололедицу с санями-розвальнями, и они стукнулись о перила. Вёз он спирт в ведёрных стеклянных банках, одна банка грохнулась... Целое ведро спирта вылилось на снег. И народ на мосту тут же стал собирать мокрую жижу и есть, кто-то набивал ею шапку, кто-то котелок, чайник...

Возчик стоял парализованный случившимся и, наверное, мысленно прощался с жизнью. За такое «разгильдяйство» ставили к стенке без разговоров. Однажды одного повара шлёпнули только за то, что нашли у него на кухне 25 граммов утаённого сливочного масла...

А на том мосту через час люди весь снег до асфальта съели...

Иногда вместе со всеми заходил Яков в замороженные ленинградские квартиры. Жуткие блокадные квартиры. В каждой из них покойники. В каждой лежали мёртвые старики и дети, старики и дети...

Как-то зашли в квартиру известного композитора или дирижёра, фамилию уже и не вспомнить - какого, он сидит за роялем, на рояле перед ним пара замёрзших картофелин, а рядом с роялем, на кровати, умерший ребёнок. И вот этот умирающий старик предлагает бойцам эти самые мёрзлые картошки, что для него самого означало верную смерть. Но он угощает ими бойцов, предлагая, по сути, в подарок им свою жизнь...

Они оставили тогда старику по куску хлеба. Всё, что сами могли дать. И ушли.

Музыкант плакал, когда бойцы уходили. Замполит полка, который водил бойцов к старику, тоже плакал.

«Посмотрели бы, вы, говорит, какой это был красивый, сильный и гордый человек до войны!»

До войны... Многие ли до войны мёрзлую картошку из-под снега выкапывали и едой считали? А на передовой ели такую картошечку да похваливали, если удавалось ещё её найти.

Однажды разведчики нашли за линией фронта, недалеко от передовой, в сожжённой немцами деревне погреб с картошкой. Два раза туда ходили, как за языком, охотники из полка, пока на третий раз не накрыли их немцы в нейтралке вместе с картошкой в вещмешках.

Голодали в Ленинграде и на фронте все. И гражданские, и военные. И ели в Ленинграде всё, даже столярный клей.

Как-то достали «огневики» несколько плиток этого клея, врач узнал и строго-настрого запретил есть клей, уверяя, что бойцы от него погибнут. Но русский человек так устроен - чем больше запрет, тем больше ему хочется его нарушить. Посмеялись над врачом и сварили клей. Густой, запашистый... Попробовал его и Яков, но только две-три ложки. С врачом они были земляками, и как-то сдружились на фронте, поэтому Яков послушался совета друга, не стал много есть клея. А ребята дорвались...

После клея в животе наступало давно забытое ощущение сытости, будто поел настоящего мяса. Должно быть, как понял Яков позднее, клей закупоривал внутри что-то, склеивал...

Через неделю все, кто ел клей, умерли мучительной смертью. И у Якова через три дня начались дикие боли в животе, но всё обошлось, слава Богу...

\*\*\*

Многое было всякого на фронте. Было и такое, о чём не каждый расскажет другому по доброй воле.

После приказа о мародёрстве, по которому расстреливали на месте преступления без суда и следствия, был с Яковым такой случай.

Ночью сбросили с Большой земли на передний край с «ПО-2» сухари и патроны. И то, и другое было в большой цене. В сутки на человека выделялось по пять патронов, и их берегли до последней возможности. Стреляли только в крайнем случае, наверняка стреляли. А сухари... За сухари платили самым дорогим - жизнью...

Юрка Шевелёв, дружок Якова ещё с Дальнего Востока, говорит: - Давай пойдём и возьмём мешок с сухарями!

Эх, Юрка, Юрка!.. Чёрт отпетый, сколько раз с ним из таких перелётов выходили, что и не придумаешь нарочно... Но самому лезть в пасть смерти!..

И всё же пошёл с Юркой Яков.

Пошёл.

Трусил, но шёл. Что-то весёлое и яростное было в груди, будто вызов кому бросал, а кому? Молодость это была, молодость и голод.

Встали они тогда на лыжи, и метров через 400 от позиций нашли первый мешок с сухарями, нашли и сразу спрятали. Как всегда бывает в таких случаях, пожадничали, стали искать ещё. И, правда, им везло, нашли ещё один мешок, но уже с патронами, потом ещё нашли...

Только поставили мешок с сухарями «на попа», появились из леса «смершевы». Они всегда после выброски собирали мешки сами.

Первым вышел полковник, увидел их - сразу руку за пазуху, вытаскивает пистолет - и к ним. А они, головы горячие, забубённые, тоже схватились за пистолеты. Они у них на груди всегда лежали, под полущубками, чтобы смазка не мёрзла на морозе.

До сих пор Яков Алексеевич удивляется, почему их полковник сразу не пристрелил? Дело-то не шуточное, на месте преступления захватил. Может, пожалел их полковник, а может, растерялся, потому что Юрка сразу крикнул ему:

- Товарищ полковник, мы же сухари не тронули, вот патроны собираем.

А у самого в руке пистолет...

Как бы то ни было, но полковник сказал:

- Вижу.

И первым спрятал оружие.

Яков облегчённо вздохнул, но тут ещё два бойца из «смерша» подкатили на лыжах... Всё, подумал, вот сейчас они нас...

Но полковник только спросил фамилии, номер части записал, и велел им мотать поскорее на батарею. Что они и сделали с превеликим удовольствием.

А вечером всё же вернулись за тем проклятым мешком с сухарями... Вернулись! Забрали мешок, но куда его девать? Где прятать? В часть принесёшь - кто-нибудь всё равно проболтается, и - всё! Трибунал и «вышка», расстрел то есть. Но делать нечего, если уж затеяли такую карусель, то и доводить её нужно до конца.

Взяли по 4 сухаря на брата, да Яков ещё прихватил себе лишнюю пайку. Была у него насчёт «лишних» сухарей своя думка... Тот злополучный мешок зарыли в снегу недалеко от позиции, чтобы часто не ходить в лес, не вызывать лишних разговоров и подозрений. За частые отлучки тоже могло влететь по первое число: зачем ходишь, не листовки ли вражеские собираешь и читаешь?..

Ночью, в землянке, втихаря от всех сожрали сухари, смачивая липкой слюной. А как иначе? Ведь не откроешься, не угостишь ворованным... Ели. и в душе плевались на себя.

А за полночь, засунув распухшие и отёкшие от голода ноги в мокрые валенки, пошёл Яков к командиру батареи. Принёс ему те самые «лишние» сухари и положил на командирскую лежанку. Тут же выложил всё как есть про «подарок», утаив только, что с ним был Юрка.

Яков ни на что не надеялся, ни о чём не просил, просто ему нужно было снять камень с души. Так раньше ходили преступники после совершения преступления на исповедь к попу. Вот и Яков пришёл к комбату за отпущением... Нет, не за отпущением, а на покаяние. На покаяние пришёл Яков, хоть и уверял себя, что шёл отблагодарить комбата за всё хорошее, что тот успел для него сделать за месяцы войны в болотах.

И правда, комбат жалел и его, и Юрку, но не потому, что был лично к ним расположен лучше, чем к кому-нибудь другому в батарее: они оставались единственными довоенными специалистами не только в его подчинении, но и в полку. Все младшие командиры были уже выбиты, а их места заняты выдвиженцами из рядовых.

Нет, комбат не стал читать ему нотации, не арестовал. Он сказал:

- Спасибо за заботу, а теперь иди. Но если мне донесут об этих сухарях, я сам тебя шлёпну. Лично.

Яков ушёл повеселевший, но в душе у него было всё же беспокойно, муторно было на душе.

Мешок с сухарями они с Юркой доели только к весне. Доели. Может, потому и выжили? Может. Всё может быть в этом мире. Опухшие от голода, но живые, они с радостью встретили появление первой травки, с ещё большей радостью доели последний сухарь из того проклятого мешка, и радовались этому событию необычайно, будто кто им взял да и выдал вдруг по буханке довоенного хлеба. Радовались, что не нужно больше прятаться, хитрить, обжудливать своих друзей. Ведь ели ребята на передовой всё.

Сухарей-то давали солдатам по 15 граммов на человека.

Воду пили... Пили воду разную. Во время боёв всякое бывало... Однажды по болоту кровь на полпальца по воде текла. Человечья кровь... А пить хочется... Жара... И вот отшвырнёт кровь солдатик рукой, зачерпнёт котелком из чистого места и пьёт. И куда брезгливость девалась, куда исчезало всё человеческое?

И Яков так же пил эту воду, так же, как все, наверное, думал, что если выживет, по-другому и жить не сможет...

По-другому...

Как же это жить по-другому, когда на твоих глазах дивизию выбивали за два часа боя? Всего два часа - и десять тысяч молодых здоровых парней и мужчин заливали своей горячей кровью вонючие стоячие болота...

\*\*\*

Разве думал Яков, что выживет в такой бойне, что будет стоять вот здесь, в саду, после сорока лет мирной жизни, и вспоминать войну, то военное время, о котором старался даже не думать? Почему-то сейчас каждый прожитый им день на войне, каждое мимолётное воспоминание о прошлом отдавались нестерпимой болью в сердце, а тогда жизнь больше

напоминала игру в кошки-мышки со смертью. Игру со своими правилами, со своими маленькими радостями и большими печальями...

\*\*\*

Под Чудовом, на реке Волхове, уже будучи младшим лейтенантом, дежурил Яков как-то на батарее. Только-только первый кубик на петличку нацепил, первый взвод получил, первые офицерские команды отдал, и встретился неожиданно почти на позициях батареи с родным дядей, которого не видел со дня призыва в армию. Чем не радость, чем не подарок судьбы? Жаль вот только встреча вышла не радостная...

А дело было так. Стояли зенитчики метрах в пятистах от немецких танков, прикрывали переправу. И день стояли, и два стояли, обжились даже, привыкли к своему месту жительства. Местность хорошо изучили. Это, собственно, первое, что делает зенитчик, прибывая на новые позиции, - изучает ориентиры, зарывается в землю, маскирует пушки, приборы...

Короче, стоял Яков в окопчике, посматривал изредка на немецкую сторону, на небо, но больше скучал, тяготясь кажущимся бездельем. И вдруг видит: едет какой-то бородатый боец на повозке, демаскирует наш передний край. Ну, выложил ему Яков всё, что по этому поводу думает о такой разине, которая распускает по ветру бороду не там, где надо! И выложил весело, с огоньком, отвёл душу, что называется. Попутно указал, куда ехать этой разине.

Бородач молча повернул лошадей туда, куда ему указали, но раза два-три обернулся на Якова, и потом негромко так окликнул:

- Яша!

Узнал дядя племянника, а вот Яков не признал его и с двух шагов. Раньше, до войны, был дядя молодой и красивый мужчина, брившийся по два раза на день, в начальстве ходил, и потому форсил немного, одеколоном себя брызгал. В большом городе жил, в нефтеснабжении работал, а здесь почему-то возницей оказался. Раньше красавцем считался во цвете лет, а тут стоял перед молоденьким младшим лейтенантом сгорбленный и полуседой старик в грязной красноармейской одежде, возивший на передовую продукты, обратно - раненых. И так он делал три-четыре раза в день, и зимой, и летом, и в дождь, и в снег, и при бомбёжке, и при артналётах...

Пригласил его Яков к себе в землянку, срочно подменившись по такому случаю с другим офицером, взял у старшины свою порцию водки на пять дней вперёд - целую поллитровку, выпили они с дядей, поговорили...

Расчувствовался дядя. И то ли оттого, что так неожиданно встретил в этом аду родного и близкого человека, которому можно было сказать всё без опаски, что на душе накопело, а может, оттого, что слишком крутая перемена произошла в его личной судьбе, судьбе преуспевающего и всегда ухоженного начальника районного масштаба. А он ещё не успел пережить это в достаточной мере, переварить в глубине души сию метаморфозу, только размяк дядя душой, потерялся, ослаб...

- Не верю, - говорит, - Яша, что выживем мы в этом пекле. Не победим здесь, не выстоим.

Досталось, видно, ему изрядно за месяцы на фронте. Воевать - не с портфелем по району разъезжать.

И захотелось Якову привести его в порядок, относительный, конечно; приободрить, встряхнуть, заставить на время забыть про всё и вновь почувствовать себя человеком, личностью. Показалось Якову, что если дядя приведёт себя в норму хотя бы внешне, то пройдёт в нём хандра, исчезнет похоронный настрой, дух какой-никакой вольётся свежий. Пригласил его вечером зайти к нему в землянку ещё на часок. Побриться, помыться... Соснуть хотя бы на полчаса в нормальной обстановке. (Тогда офицерская землянка считалась почти роскошью.) Устал, ведь, поди...



- Устал, - отвечает дядя, - но не смогу прийти. Надо ночью коней караулить. Если их без присмотра оставить, пехота сожрёт в одночасье. А за коней в штрафбат пойду.

Пришлось Якову врать, что ему будет даже приятно ночь провести в ночном, вроде как в детстве побывает. Уговорил Яков дядю. Уговорил.

Ночью Яков всё с тем же неугомонным Юркой Шевелёвым, ещё не убитым, ещё живым тогда, пас дядиных коней под проливным дождём, а дядя мирно спал в его землянке, побрившись и помывшись тёплой водой, которую Яков нагрел ему заранее в большом ведре.

Утром, когда Яков вернулся с лошадьми, дядя выглядел совсем почти довоенным дядей, но только в армейской грязной форме и с признаками крайнего истощения на лице.

Посидели они ещё немного с ним, поговорили. Дядя пожалел промокшего в ночном Якова, потом встал и молча пошёл, не прощаясь, к лошадям. Будто чувствовал мужик, что больше они с ним не увидятся на этом свете. Вышел, сутулясь, из землянки, сел в возок, а сам плачет. И плачет не по-мужски как-то, а как баба воет по покойнику. Но тихо воет. Душу всю переворачивает. Погнал коней, а сам платком носовым Якову машет и плачет, плачет...

Погиб он через несколько дней в Красной Поляне. И даже домой не успел написать, что виделся с племянником на фронте. Но это Яков уже после войны узнал. Дома. От тётки.

Последние слова его, запомнившиеся Якову, были:

- Жалко расставаться с детьми...

Их у него трое было. Чувствовал, видно, свою скорую смерть человек.

\*\*\*

«Странно, - думал Яков Алексеевич, ёжась от холодного ветра. - Вот все говорят, что на войне слёз не было у солдат, а я столько их видел, столько!.. И у трусов, и у героев. Казалось, кремень мужик - вся грудь в орденах, на ремни режь - не застонет! А вот допечёт его какая-нибудь малость - и ревёт белугой герой. И стыдится своих непрошенных слёз, а поделать с собой ничего не может. Не всё, видать, война в людях выжигала, не всё. Иначе как же мы после войны-то... выжили?»

Открылась дверь, и на пороге показалась Анна.

- Ты чего здесь делаешь? - спросила с тревогой.

- Воздухом дышу, - улыбнулся Яков Алексеевич. - Ты не беспокойся, я скоро приду.

- Не замёрзни! - сказала Анна, подозрительно присматриваясь к мужу.

- Ты сама иди в дом, прохватит ветерком ненароком.

- Ну, смотри! - сказала Анна, подала ему шапку и ушла в дом, тихонько прикрыв за собой дверь.

Яков Алексеевич улыбнулся и надел шапку.

Он любил жену, любил за то, что она понимала его во всём. Не жалела, а именно понимала. Настоящая плотская любовь как-то ушла в прошлое, и остались от неё только глубокое уважение друг к другу и нежность. Нежность, которой почему-то не было в молодости.

Да и откуда ей было взяться, нежности? Это сейчас, когда стало что-то оттаивать в сердце, когда рассасывается в груди тяжёлый комок воспоминаний, приходят настоящие человеческие чувства, вытравленные и уничтоженные войной. А тогда, в молодости, они казались инородным телом, неестественным проявлением и даже слабостью, граничащей с трусостью.

Вот ведь был случай, когда всё тот же бесшабашный Юрка Шевелёв, кореш до гроба, едва не подвёл его, Якова, под пулю из-за того, что на мгновение расслабился, дал волю чувствам, и страшно стало ему на миг быть убитым именно сегодня, сейчас. И пришлось в тот раз Якову одному брать в плен немецкого аса, самолёт которого сбита их батарея на крутом развороте при бомбёжке наших позиций.

Упал самолёт в нейтралке, почти у наших окопов. И зенитчики тут как тут: кто первый возьмёт хвостовое оперение, материальное подтверждение о сбитом самолёте, на того его и запишут. Народу к самолёту кинулось тьма, экипажу деваться некуда: один лётчик сразу же

себе пулю в лоб пустил, другой куда-то пропал и его не нашли, а третий стал отстреливаться. Вот на него-то и пошёл тогда Яков в одиночку.

И взял.

А Юрка не пошёл, вернее, пошёл, но как-то странно вёл себя: отставал от Якова, ниже обычного пригибался к земле, чуть позже, чем нужно, стрелял...

Когда Яков вёл того молодчика, Юрка стоял, опустив голову, и не глядел в их сторону.

А почему всё это произошло? Да потому, что весна была, девчонка в санроте появилась красивая, и был Юрка впервые в жизни влюблён, влюблён первой и последней своей любовью.

Странное дело, но у Якова на фронте не было увлечений и даже позывов к ним. Как-то прошла юность незаметно, обделила его в этом своим теплом... А может, и к лучшему? Может, потому и обделила, чтобы жил он на фронте ни о ком не жалея особо, не боясь никого обидеть своей смертью, с которой не однажды встречался с глазу на глаз. Жили-то с ней, можно сказать, в обнимку...

Как-то раз немцы зарыли свои танки в землю и палили из них по нашей пехоте смертным боем. Странно, но почему-то именно зенитчикам приказали выкурить этих тварей из их нор. Наверное, потому, что ничего более грозного ближе не нашли.

Пушечные расчёты были хорошо обучены, слажены, и сразу же, после первых пяти выстрелов, примолкли немцы, поняли, что спуску им не дадут. Ну и показалось пушкарям на радостях, что прихлопнули первым же налётом те танки, расслабились зенитчики раньше времени. Яков уже взводным был, командовал теми пушками из неглубокого, но широкого окопчика, прикрытого сверху палаткой.

После первой серии выстрелов собрались к нему командиры расчётов, посыльный, связисты. Сидели, мыслями делились по поводу тех танков. И что дёрнуло Якова подняться и посмотреть на немецкие позиции из бинокля? И простоял-то совсем немного, а вот, видно, засекли его из тех танков, засекли, и точно, снайперски, вlepили снаряд в окопчик. Но только не было уже там Якова, позвал его к своей пушке Юрка Шевелёв. И позвал-то так, за пустяком, а вот, оказывается, жизнь ему этим спас.

А тех ребят, что в окопчике под палаткой сидели, всех положили одним снарядом. И хоронить некого было. Восемь человек...

Винил ли себя Яков за их смерть? Может, и винил, но разве разберёшь, кто виноват, а кто - нет в своей и чужой гибели? А вот помнить их помнил. Даже частенько разговаривал с ними, как с живыми. Да они и были для него живыми, потому что жили в нём самом, в его памяти, в его сердце. Вот и Юрка Шевелёв... Сколько всего с ним пройдено было, сколько пережито! Разве можно забыть его, разве можно выкинуть из жизни и памяти его образ? Может, не совсем героический для кого-то, но человеческий, родной...

Якову Алексеевичу повезло, он выжил, вернулся домой, вот Юрка остался там. Там... Слово-то какое неопределённое, не конкретное, но по-другому о Юрке и не скажешь.

Уже весной 1944 года, когда до победы оставалось меньше года и наши войска шли в наступление по всем фронтам, окапывались батарейцы на опушке хвойного леса, зарывали в вековую глину полковую технику, делали себе щели и индивидуальные окопчики. Вот и Юрка вырыл себе окопчик в полный рост, лёг на бруствер, раскинул сильные руки по земле и говорит, щурясь на солнышко:

- Вот здесь меня, братцы, и схороните. Место больно красивое, ласковое.

Ругнул его Яков матом и пошёл проверять работу у других ребят. Недалеко и в тот раз отошёл, метров двадцать, не больше, полыхнуло за спиной шальным снарядом - и сгорело молодое Юркино тело от точного попадания в окоп, так что и хоронить нечего было.

Окопчик тот потом зарыли, холмик надгробный сделали, будто здесь и правда кто похоронен. А вот поди ж ты, всё чудится Якову Алексеевичу, что живой Юрка Шевелёв. До сих пор живой. Не убит, не разорван в клочки, потому что не хоронил его, не закрыл ему мёртвых глаз. И к матери его поэтому же не съездил ни разу. Не рассказал старушке, как её сын погиб. Трусил. Не объяснишь старой, почему не ты оказался в том окопе...

А действительно, ведь мог сейчас и он, Юрка, стоять вот так где-нибудь на своей родной земле и вспоминать его, Якова, сгинувшего где-то там, на далёкой уже войне, и не оставившего после себя ни петлички, ни лычки... Всё дело случая. А может, судьба?

\*\*\*

Дважды за войну Яков тонул, а всё потому, что не научился в детстве плавать в мелководной речушке, да и мать боялась, что утонет её единственный парнишка, и не пускала его купаться даже в самую лютую жару, когда и старухи сидели в обмелевших омутках, прикрывши голову листьями лопуха. Не знала, не ведала, старая, какой бедой обернётся её забота о мальчонке Яшке для солдата Якова.

Дважды вытаскивали его ребята на свой берег едва живым. На третьей и последней своей переправе, на реке Волхове, у деревни Змеёвки, когда немцы попёрли неожиданно и нагло, воспользовавшись удобной для них ситуацией, связанной со сменой частей на фронте. Долго бегал Яков по берегу, и долго искал, на чём же сможет преодолеть столь неожиданную для него, не плавающего, преграду. Ребята снова звали его на смерть, но он уже так боялся воды, что готов был принять смерть здесь, на берегу, который вот-вот займёт противник, чем ещё раз отважиться идти в воду вместе со всеми.

И он бы погиб в тот раз непременно, если бы каким-то чудом не нашёл вдруг кем-то надутый баллон полуторки. И хотя немцы уже всю поливали берег и реку из пулемётов, он всё же переплыл Волхов. Переплыл сам, но на том берегу его и других переплывших, немцы стали закидывать минами из маленьких миномётов. Однако для Якова это уже не была опасность, связанная со смертельным риском. Он понял, что выжил и на этот раз, что и на этот раз обманул смерть.

Как только немцы стали забрасывать берег минами, он, как бывалый фронтовик, быстро зарылся в песок, переждал, когда они прекратили своё бесполезное занятие, и незаметно ушёл вместе со всеми к своим.

\*\*\*

«Да-а... - думал Яков Алексеевич, всматриваясь в темнеющие горы. - А на Волхове-то нас тогда предали. Предали».

Их дивизии в то лето порядком досталось от немцев. Навалились они вдвое, втрое превосходящими силами, оголили полки, можно сказать, до крайности, вот и решилось командование отправить дивизию сибиряков на переформирование. На смену им пришла совершенно новенькая часть, сформированная из уроженцев освобождённых перед войной западных областей.

Шли они красиво, как на параде шли, заглядеться можно было на них...

Дивизия Якова отходила во второй эшелон обороны обескровленная, но выполнившая свою задачу, твёрдо веря, что за спиной у неё будут героически драться пришедшие на смену свежие полки...

Утром на берегу Волхова, недалеко от переправы, где задержались на ночлег зенитчики, услышал Яков сквозь сон гул немецких танков.

Вскочил, прислушался: точно, немцы!

Растормошил командира батареи, тот, выслушав его и послушав гул с запада, послал Якова витиевато так далеко... А через две минуты дозорные доложили, что впереди немцы, вернее, на только что оставленных позициях.

Времени на организованный отход уже не было, едва успели взорвать орудия (всё равно без снарядов стояли), и дай Бог ноги!..

Немцы танками людей давили. Не стреляли, сволочи, поначалу, а просто давили... Уверены были в своей силе.

Чёрт побери, как это так получается, что у нас нигде не пишут, не говорят, что не только из-за временного превосходства противника в технике и в солдатах сдавали мы города и сёла, а и из-за элементарного подлого предательства тоже. Предательства тех, кого считали кровными братьями. Ведь было же и оно, было!

Немцы, наверное, хорошо знали состав пришедших на смену сибирякам частей, поэтому набросали вечером новичкам с самолёта листовки по всему фронту, как они обычно это делали, а утром принимали перебежчиков целыми пачками...

А может, и не так всё это было, но только «солдатский телефон» мгновенно разнёс именно эту весть. И не дай Бог, если бы каким-то чудом вдруг оказался рядом с Яковом в тот момент хоть кто-либо из той проклятой дивизии... Да и сейчас бы Яков Алексеевич припомнил ему ту переправу, тех ребят, что остались под танковыми гусеницами...

\*\*\*

Яков Алексеевич не любил смотреть военные фильмы, ему становилось плохо, не читал военные книги и статьи, потому что не любил с фронта бодрячковые газетные рассказы, в которых «все до единого и как один»...

Разве стоял бы немец уже в августе сорок первого под Вязьмой, если бы «все, да до единого»?..

Он искренне ненавидел войну и всё, что с ней было связано, потому что... Всякое было на фронте с Яковым Алексеевичем, но настоящая беда стряслась с ним уже после взятия Риги.

\*\*\*

13-15 октября 1944 года, после ликвидации немецкой группировки, прижатой к морю, 3-й Прибалтийский фронт упразднили, а всё его управление вместе с фронтовыми частями вывели в резерв Ставки Верховного Главнокомандующего. Полк зенитчиков отвели в небольшой городишко с необычным для русского человека названием Цессис.

Настроение в войсках было ликующее. Вспоминая то время, Яков Алексеевич до сих пор ощущает атмосферу наэлектризованного победой воздуха. Все точно с ума сошли. Да и было от чего: отквитались с немцами за блокаду! Кроме того, у Якова и личная радость была: за Рижскую операцию представили Якова к ордену Красного Знамени. И был он на седьмом небе от счастья! Всё смешалось... И то, что немцев долбанули так, что пух только по ветру полетел, и то, что к такому ордену представили, и то, что на отдых вышли...

Отдых!

Три года боёв, три года под смертью ходил, а тут...

Свобода!

Гуляй - не хочу!

Нет, если быть правдивым, было во время блокады у Якова однажды нечто вроде отпуска. Это когда его и всё того же Юрку Шевелёва отправили на «откармливание» в Тихвин. Изредка такое делалось командованием для особо истощённых бойцов и командиров.

С откармливанием дело было так.

Приехал как-то на позиции комдив, спрашивает:

- Ну, как вы тут, герои-зенитчики?

А Якову только-только «Красную звёздочку» вручили, и был он поэтому необычайно возбуждён, смел даже. Как-никак первый орден! Взял да и бухнул комдиву, что они, герои, на батарее едва ноги таскают с голодухи.

На том вроде всё и закончилось. Но только дня через три-четыре вручили им с Юркой по билету на Большую землю. Вылет тогда разрешали лишь детям да особо ценным специалистам. Вот и их, окопников, по ходатайству комдива зачислили в разряд ценных и даже бесценных, выдали им по четыре ржавых селёдки на дорогу и отправили на аэродром. Селёдки такие, что только кости торчали вместо брюха, но съедены они были в один присест. Так как порешили друзья между собой, что завтра утром будут уже в Тихвине отъедаться на больших хлебах, поэтому не к чему им экономить погнившую блокадную жратву здесь, в кольце обороны, понапрасну теряя силы. Даже сухарика себе не оставили, рванули на аэродром на попутках с лёгким тыловым ветерком в голове, который довольно быстро улетучился, когда они узнали, что вылететь смогут только дня через три-четыре. Вот

здесь-то они и затосковали. Да и было от чего. Ну, допустим, с голода умереть им не дадут, но четыре дня ждать самолёт!..

Аэродром был секретный, охранялся, естественно, усиленно, и порядки на нём были жёсткие. Внешне он напоминал огромный пустырь, на конце которого стояли два-три неказистых домика, не вызывающих подозрения даже у самого подозрительного человека. По пустырю, или же лётному полю, ходить запрещалось под угрозой расстрела на месте без предупреждения. Об этом специально извещало объявление, но выбора у зенитчиков не было, и как только прилетел «ЛИ-2» (а может, и «ТС-84», Яков Алексеевич уже и не помнит марку транспортного самолёта), рванули они с Юркой сразу к нему на всех парах, какие только ещё могли развести в своих котлах...

Почему-то по ним не стреляли. Может, такого нахальства никогда на аэродроме не бывало раньше, а может, проворонили их часовые? Одним словом, очутились они в очереди к трапу самолёта впереди какого-то худого-прехудого военного в замызганной и до того промасленной шинели, что и знаков различия на ней видно не было. Сразу чувствовалось - сильно голодал мужик в блокаде. Свой, значит.

Встали они нагло перед ним в очередь - молчит, ничего не говорит, только глазами хитро зыркает и молчит. Так и стоят, будто они всегда тут торчали...

Посадка проходила быстро, без формальностей и лишних проверок. Уже в самолёте Яков с Юркой на всякий случай расселись по разным углам. Яков пристроился почему-то рядом с доходягой, решив, что если тот промолчал на поле, значит, и здесь не выдаст при случае.

Вышла проводница, сержант, пересчитала всех пассажиров по головам, и хотя пассажиров было явно больше положенных 25 или 27 человек, ушла к пилотам. И, что самое интересное, ведь не ошибся Яков в своём соседе. Когда сержант считала всех, то тощий взял да и закрыл от неё вроде бы не нарочно Якова своей длинной рукой, болтающейся в широком рукаве шинели. Закрыл так ловко, что со стороны и трудно было догадаться, что он закрывал «зайца», а не лицо ладонью.

Яков мысленно сказал этому доходяге «спасибо» и сразу о нём забыл, так как самолёт побежал по неровному полю, и Яков понял, что он сейчас в первый раз полетит.

В полёте он всё пытался понять, что же с ним происходит «в воздухе», но так ничего и не осознал. Он даже не мог точно сказать, где он: в воздухе или же на земле. Окон в салоне не было. Да и сам салон напоминал больше нижнюю палубу корабля, на котором однажды Яков плывал по Оби, чем внутренности тех внешне красивых и жестоких машин, которые он привык расстреливать в воздухе на всех высотах и в любое время года и суток.

Хорошо ещё, что не встретились в полёте с немецкими истребителями, а то неизвестно, что случилось бы с бравыми зенитчиками под облаками... Но об этом Яков Алексеевич подумал только сейчас.

Когда привезли их на Большую землю, то сразу дали по 150 граммов свежего настоящего хлеба, и ещё чего-то жидкого. Поначалу много не кормили, боялись заворотов кишок, которые случались с блокадниками. Особенно часто, говорят, это было с первыми партиями вывезенных из Ленинграда. Но всё равно дня через три-четыре друзья так окрепли, что уже и к санитаркам стали подкатывать, шуры-муры заводить, глазки строить... И было с чего: в Тихвине уже по 900 граммов хлеба давали на человека. Хлеба настоящего, не блокадного!

И вот однажды, когда они так мило вдвоём «заливали баки» молоденькой санитарочке, видят - идёт им навстречу тот самый «доходяга»... в генерал-майорской форме. Они, естественно, ему честь отдали, и стоят, глаза выпучив, дураки дураками.

А он их тоже узнал, и к себе подзывает.

Подошли.

Спрашивает:

- Ну, как отдыхаете, хлопцы, хорошо?

Конечно же, хорошо, какой разговор!

- Ну, отдыхайте... Скоро назад нужно будет возвращаться.

И пошёл себе дальше.

Вот человек был! Другой на его-то месте осадил бы молодых нахалов ещё там, на лётном поле, и назад на передовую отправил с убийственной сопроводилкой, а этот... Сразу видно, свой мужик, фронтовик!

Так, первый раз за все четыре года службы в армии и на фронте, провёл свой отпуск Яков в тылу. Так почему же ему здесь, в Цессисе, не веселиться вместе со всеми, не гулять от души, тем более, что и повод есть: немца в море скинули и День артиллерии вовремя подоспел!

Отдых!

Отдых!!!

\*\*\*

В День артиллерии устроили в штабе полка офицерский сабантуй, на котором присутствовали офицеры из штаба дивизии. Ну, выпили, конечно, изрядно, языки у многих развязались, слушок прошёл, что через несколько часов поедут они, как лучшие на всём фронте, да ещё в довоенном прошлом настоящие дальневосточники, на ещё не объявленную войну с Японией. Говорили об этом тихо, на ушко друг другу, но говорили, и командир полка слышал это. Слышал, но молчал, не пресекал разговоры, и Яков понял, что это от него узнали офицеры о новом месте дислокации.

«Непорядок», - подумал он по этому случаю, но вскоре за общим столом забыл про это. Всё равно эшелоны стояли уже под парами, готовые в любой момент загрузиться живой силой и загудеть по рельсам в любую сторону нашей огромной страны. Времени отправления только никто не знал, но к концу сабантуя, когда уехали офицеры из штаба дивизии, комполка закрыл вечеринку и приказал всем быть готовыми к отправке ровно в четыре часа утра.

По дороге на квартиру, где остановился Яков, капитан Генка Стахович, его сосед по квартире, со вздохом сожаления говорил о том, сколько всякого добра осталось на Рижском взморье и на складах, которые немцы даже не успели взорвать. Яков посмеивался над его крестьянской жадностью, со смехом говорил, что теперь другие этим добром попользуются всласть, а им в другую сторону топать и топать. И это-то, наверное, больше всего взвинтило Стаховича.

- А что, - говорит, - если взять сейчас да и рвануть до Риги, набрать на дорогу всякого немецкого съестного припаса, всё равно до Японии с месяц пилить, не меньше. Отощам.

Яков снова посмеялся над ним, а Стахович вдруг говорит:

- Трусишь? Трусишь, Яша, прогуляться сейчас туда на студебеккере?

\*\*\*

Вот так и ввязался Яков в ту авантюру, а с ним ещё три офицера...

До отхода эшелона оставалось часов пять, не больше, когда они двинулись в Ригу.

По тому, как легко отдали им студебеккер, понял Яков, что комполка знал о их ночном рейде по бывшим тылам противника, и ничего против не имел. Верил в них, знал, что вернуться вовремя, а лишний харч солдату в дороге не будет в тягость.

До Риги километров девяносто, дорога обледенела, туман...

До складов добрались довольно быстро. Ночь. Движение не особенно большое, без обычных пробок и заторов, грузовик летел по шоссе почти на одной скорости - миль 30-40 в час, спидометр на километры не показывал, машина-то американская.

На складах загрузили всё, что нашли в темноте, закинули сверх всякой меры ещё и несколько отрезков бостона (Зачем? Яков и сам не знал, озорство просто!), затащили бочку спирта, всяких деликатесов заморских, пару ящиков тридцатидвухградусного шнапса, и двинулись в обратный путь...

При луне море раскачивало на волнах трупы немцев, с потопленных нашими моряками судов, на берегу тут и там валялись туши расстрелянных немцами коров, которых фашисты перебили несколько тысяч перед своим уходом, а чтобы наши не смогли воспользоваться мясом, они полили их керосином и подожгли. Ветерок с моря доносил запах жжёного мяса и тления. Туман усилился, и они вскоре сбились с пути, потому что гнали машину как

угорелые. Да и шофёр, чёрт бы его побрал, успел на складах выцедить целую бутылку шнапса. В Цессисе не пил, а тут будто кто его за руку тянул!

Примерно через час приехали в какой-то хутор. Стали спрашивать дорогу, хозяйка отвечает по-немецки:

- Не понимаю!

А времени до отхода эшелона оставалось уже мало, и Стахович вытащил пистолет...

Смех и грех, но строптивая баба сразу же заговорила на чистом русском языке:

- Там дорога.

И рукой указала, в какой стороне.

И снова гонки в темноте и тумане.

Дорога ровная, машин нигде нет, рассветать стало, ну и разогнались до сорока миль по спидометру и не заметили, как на взорванный мост вылетели...

Чёртова националистка, знала, наверное, куда нас посылала!

Сиганули с моста красиво... Машину на три части развалили. В такой каше всё перемешалось в кучу. Шофёр и капитан Стахович, сидевший в кабине, сразу погибли, один лейтенант ранен, второй вместе с Яковом спланировал на брезенте, словно на парашюте, почти до самого берега.

Короче, так кувыркнулись, что ой-ой-ой!

Когда вытащили на берег тяжелораненого лейтенанта и погибших, осмотрели картину катастрофы, то увидели, что грохнулись у самой дороги, проходившей по другому берегу. Машины шли по ней резво и весело. Спокойно катили по своим делам солдаты и офицеры, везли грузы, боеприпасы, а тут...

\*\*\*

Остановил Яков какую-то машину, положил в неё раненого лейтенанта, а сам в полк с товарищем потопал.

На попутке добрались в Цессис задолго до назначенного времени. Перед тем как идти на доклад к начальству, решили тяпнуть в штабе по соточке для храбрости. Старый хмель давно из головы вылетел, и хотелось хоть чем-то заглушить трезвые мысли, проснувшиеся в возбуждённом мозгу...

На остатках пиршественного стола отыскивали спирт, на закуску отрезали по куску масла, и только помянули погибших, как вошли «смершевцы»...

Быстро у них это дело сработало, быстро...

Яков попросил разрешения позвонить командиру полка. Старший разрешил. Комполка, как только узнал всё, попросил передать трубку старшему «смерша». Через несколько минут и сам пришёл в штаб.

О чём они говорили друг с другом, Яков не знал, но только всё шло к тому, чтобы замять это дело «полюбовно». Мало ли в то время было таких вот дурных случаев, когда старые, прошедшие огонь и воду солдаты и офицеры, попав в совершенно мирную жизнь, гибнут сами или калечили жизни других. Война всё это была, война!

Может, нагоняем всё дело и обошлось бы, но, как на грех, эту катастрофу видели член Военного Совета фронта и вновь назначенный прокурор Республики, проезжавшие по фронтовой дороге на этой стороне взорванного моста. У них на глазах и кувыркнулась машина на полном ходу. На глазах у них и консервы итальянские летели, и бочка со спиртом, и тюки с бостоном...

Одним словом, дали они распоряжение начать следствие по делу этой странной аварии. И уже утром, часов в шесть, Якова и лейтенанта арестовали незадолго до отправки эшелона. Впрочем, отправку эшелона в ту ночь откладывали дважды, да и потом уехал полк на восток лишь суток через двое. Что-то не сработало в верхних инстанциях. Зря, значит, спешили ребята в тумане, зря кувыркнулись, зря контузию получил Яков, зря и парни погибли...

- Глупо всё это было, глупо! - Яков Алексеевич до сих пор себе простить не может такой дурацкой безответственности, беззаботности...

А всё она, хоть и не окончательная, но победа! Тыл! Все же на головах ходили. У каждого в глазах чёртики прыгали! Пьяные без вина были...

Жизнь, молодость, радость завершения трудного дела - всё перемешалось в людях тугим комком бьющей через край энергии. Внутренняя сила искала выхода, вот и нашла...

Нет, Якову, старшему лейтенанту и фронтовику-блокаднику, всё простили: и самоволку, и загубленную машину, и бостон, и две смерти... Не простили только время отправки эшелона. Всё допытывались, откуда он его знал? Оказывается, это была государственная тайна, как и место будущей дислокации дивизии. Военных-то действий с Японией тогда ещё не было, к войне шла только подготовка.

Молоденький лейтенантик - тот сразу «раскололся» и на командира показал, а вот Яков молчал. Не хотел подводить комполка под трибунал. Знал, что за разглашение такой тайны по головке не погладят. Да и разве мог он предать того, кому носил в блокаду сухари?

Промусолили Якова три дня, потом суд был. А до суда всё же помог ему комполка, вступился за него в самых высоких сферах. Успел и на «свиданку» к нему попасть, сказал, что если будет молчать Яков, то уже через пару месяцев снова будут они вместе служить в одной части. Прощение на имя Калинина предложил написать после суда. Успокоил, одним словом.

\*\*\*

Сидел Яков в рижской тюрьме, только что отбитой у немцев. Все стены её, все, до последнего миллиметра, были исписаны именами и датами расстрела. Народу в камере набралось многовато, и потому как-то не осознавалось, что сидят-то они в камерах бывших смертников, через которые прошли за последние годы тысячи и тысячи узников, ушедших отсюда, с этого порога, на казнь. Сейчас-то Яков Алексеевич это понимает, а тогда он слишком был занят своими бедами, слишком неосознанно воспринимал смерть при всей её страшной конкретности и пугающей близости. Пугающей его сейчас. Его, почти семидесятилетнего старика, прожившего жизнь, прошедшего и испытавшего в ней всё. Почему же тогда он, двадцатилетний, относился к ней по-иному? Может, потому, что не знал ещё, что такое есть настоящая жизнь? Может быть. Может быть.

В камере все говорили, что ему нужно обязательно написать «помиловань». Он запомнил это, но долго не мог вникнуть в смысл этого «помиловань». И только когда после суда ему дали стандартный лист бумаги, огромный, как простыня, с надписью в верхнем углу «Просьба о помиловании», он понял, что это и есть та самая «помиловань», о которой ему столько твердили в камере.

Суд был скорый, открытый... Дали пять лет тюрьмы, чего Яков никак не ожидал. Он был уверен, что всё это так, понарошку. Он до последнего не верил в реальность происходящего. Он всегда был уверен и даже убеждён, что его могут убить, ранить... но судить!.. Этого с ним не могло произойти. Ведь он же не нарочно! Он же фронтовик! Кровь за Родину пролил!..

А кому что докажешь? Разве он один воевал? С ним в камере сидели все фронтовики, все бывшие герои.

Лётчики-штурмовики пробомбили свои позиции по ошибке, артиллеристы обработали свой передний край из-за износа стволов...

\*\*\*

Через несколько дней повезли их эшелонам на восток. В тюремном вагоне народу битком набито. Люди стояли, сесть было не на что. В вагоне как-то так вышло, что командование надо всеми быстро взял на себя полковник-танкист, бывший, конечно, полковник. За что он был судим - никто не знал, но чувствовалось, что мужик тёртый, бывал в переделках и похуже, поэтому к нему потянулись. Он сказал, что скоро поезд подойдёт к Казанскому вокзалу в Москве, там будет народ, а так как здесь везут много людей невинно



осуждённых, то нужно требовать представителя правительства для разбора их дел на месте, в Москве.

Люди воспрянули духом, так как многие действительно были уверены, что ничего страшного не сделали, «залетели» по глупости...

Так думал и Яков.

И вот, когда в Москве их вагон поставили недалеко от перрона Казанского вокзала, который был виден из зарешёченных окошек, стали они дружно скандировать, требуя представителя правительства. Народ стал собираться у вагона, шуметь. Собралось довольно много, несколько сотен.

Тут быстро их вагончик подцепили к свердловскому поезду и дальше на восток отправили.

В Свердловске для профилактики, не разбирая правого и виноватого, выдали всем и каждому по первое число, пропустив сквозь строй охранников, вооружённых обыкновенными палками-штакетинами, так что на будущее сразу пропала у Якова охота что-то требовать и просить.

Да и у других тоже, потому что ещё с неделю вытаскивали мужики у себя занозы и про гуманные советские законы думали.

После «профилактики» вагон дальше погнали.

Уже в Новосибирске к ним зашёл прокурор со списком заключённых, спросил, кто тут фронтовики, всех переписал. Спросил, в чём нужда имеется...

При прокуратуре выдали свежий хлеб. Единственный раз за всю дорогу. Потом снова повезли.

Всё дальнейшее, что происходило с Яковым, он помнил как в тумане. Наверное, ещё давала себя знать контузия...

В Канске их сгрузили на маленькой станции, пересчитали и погнали по тайге на лесоразработки.

Двести пятьдесят километров прошли всего за три дня.

В первую ночь ночевали в каком-то подвале, в котором хранили до этого свёклу. К утру всю оставшуюся свёклу съели.

Вторую ночь ночевали в большой бане, где их кормили кашей прямо из шаек, в которых мылись заключённые...

Не раз в то время приходила Якову мысль о смерти. Нет, он не хотел умирать, но он пытался понять, почему же вышло так, что он вышел из огня живым для того, чтобы принять позор? Кому это нужно? Почему так посмеялась над ним судьба? Сколько раз щадила, и вот... Нет, здесь всё не так просто. Здесь что-то важное есть ему от судьбы, но что? Какой знак?

Яков никому не говорил о своих думках, ни с кем не делился, и всё больше замыкался в себе. Он надеялся на чудо, которое спасёт его, вытащит из этой ямы. Как не раз уже бывало до этого на фронте.

На фронте...

Его все считали в полку счастливым: если ранило, то легко, если попадал в беду, то выходил из воды сухим.

Однажды под ним разорвался фугасный снаряд. Да, самый настоящий артиллерийский снаряд.

Это было весной, ещё в блокаду. Как всегда, от первой зелёной травки мутилось в голове, и даже в истощённом теле чувствовался прилив сил. Хотелось чего-то необычного, ну, например, гору свернуть! И ворочали, что могли и как могли. Яков, например, тогда ещё старшина, боролся прямо на позиции со своим взводным, и нечаянно сломал ему ключицу... Взводного отправили в госпиталь, а Якова вызвали в штаб полка для объяснений.

Шёл Яков в штаб вместе с офицерами, и вдруг зашелестел снаряд, они все дружно бросились на небольшой холмик... Под него-то и залетел фугас.

Залетел и зарылся, видно, слишком глубоко ушёл в болотистую почву, потому и не смог поднять огромный для него вес. И только словно вздохнул холмик под Яковом, защищая его от смерти...

А что стоило судьбе быть менее жалостливой к нему на войне? И всё, не было бы сейчас ничего, не было бы и этого позора...

\*\*\*

В Тугучинском лагере у Саян, куда определили Якова, сидели большесрочники. Многие добывали лес для авиационной промышленности ещё с 1937 года. В основном это были грузины, чему Яков был удивлён до крайности. К тому времени кое-что люди уже понимали, кое-что кумекали... Да и по дороге в лагерь кое о чём пришлось подумать и услышать Якову про порядки в стране, про лагерь... Про 1937 год.

В лагере Яков обратил на себя внимание пожилого большесрочника, который оказался бывшим секретарём обкома партии где-то там, в Грузии. Этот бывший секретарь помог Якову устроиться на пилораму, с «допайком» помогал, который заключался в пайке мяса, изредка добываемой заключёнными охотой на диких коз. Да, охотой. Лагерь-то не был похож на те, что изображают в кинокартинах или книгах. Это была огромная территория, целая система лагерей, вокруг которой невозможно было даже при всём желании поставить колючую проволоку, часовых и прочую привычную атрибутику мест заключения. Но бежать отсюда было бессмысленно. И это все понимали хорошо.

Заключённые жили в землянках, охраняемые солдатами, под охраной ходили и на работу, и с работы, но так как лагерь не имел чётко пограничной территории, то можно было и козу подловить, если, конечно, знали, где её тропа проходит, и птиц в силки заманить...

Землянки были с двухъярусными деревянными нарами, постелью на которых была всё та же арестантская одежда, состоявшая и зимой, и летом из ватника и телогрейки.

Свободное время проводили, кто как мог. Яков частенько играл в шахматы с бывшим академиком, который тут вместе со всеми валил лес, с директором крупного завода и, конечно, с секретарём обкома.

Яков как-то спросил у него, не удержался, за что тот сидит.

Усмехнулся секретарь и сказал:

- В юности я бродил по дорогам Грузии с мальчиком Иоськой, делил с ним одну лепёшку на двоих. В зрелом возрасте работал на партийной работе с Иосифом, товарищем по партии. А посадил меня сюда вождь мирового пролетариата, в божественную биографию которого не вписывались некоторые юношеские проделки двух босоногих бродяжек.

Больше Яков у него ни о чём не спрашивал.

А вообще-то просидел Яков в том лагере совсем немного. В августе вызвал его к себе в контору начальник и дал бумагу, в которой было написано, что он освобождается из-под стражи и отправляется в действующую армию в прежнем звании.

Бумага о помиловании подействовала и заступничество комполка.

Ноги у Якова подкосились, и он сел прямо на пол.

Начальник подождал немного, пока он придёт в себя, а потом сказал, чтобы шёл он в контору лагеря с двумя лётчиками, бывшими фронтовиками, которые тоже освободились из-под стражи и отправлялись в действующую армию.

Едва успел попрощаться Яков со своими грузинами, академиком и директором завода, и тут же бегом-бегом вон из лагеря!

Да-а, нужно было видеть, как смотрели на них зеки, просидевшие уже с десяток лет и впервые, наверное, увидевшие освобождающихся!

Трудно описать чувство, охватившее и трёх бывших заключённых, рвущихся к свободе.

Часа через три они были у начальника большого лагеря. Выдав документы, он приказал им в течение часа покинуть территорию вверенного ему объекта.

Как же они рванули оттуда!..

На радостях за день, с трёх часов до сумерек, отмахали сдуру шестьдесят восемь километров. Опомнились только тогда, когда уже и ноги идти отказывались. У лётчиков обувь плохая была, так у них из подошв кровь капала. Кровь...

Ночевать в поле не хотелось, и Яков забрался на сосёнку, осмотрелся, увидел огонёк, подумал, что деревня, и уговорил лётчиков потерпеть ещё немного.

Через полчаса доковыляли они до огонька, но это оказался полевой стан, в котором жил старик, перепугавшийся их до смерти. Едва его успокоили, показав документы об освобождении. Он их накормил, чем мог, и спать уложил...

\*\*\*

Долго не мог уснуть Яков в ту ночь. Всю свою короткую жизнь заново поэтапно перебрал, со всеми интересными подробностями её ещё раз на «ты» сошёлся, и вдруг подумал, что счастливый он человек. Ведь жив остался и из такой передрыги почти без урона выкарабкался! Чудом выкарабкался! И знал, что будет чудо. Не могло его не быть, потому что везучий он, Яков. Это ли не счастье в жизни?

Ночь прошла быстро. Но утром встать смогли не сразу. Ноги ныли и гудели, будто и не отдыхали вовсе. Пришлось заставлять себя подниматься и идти дальше.

За весь следующий день прошли всего четыре километра.

Ох и дались же они им, эти четыре километра свободы! Хорошо, что встретили на дороге женщин, собиравших продукты по деревням в обмен на одежду и прочие довоенные безделушки. Представились им по форме, с предъявлением всех соответствующих документов, так как перепугались их бабы жутко поначалу. А потом познакомились, рассказали им ребята свои истории, и посоветовали им бабы не ходить дальше, а подождать вместе с ними полторку, которая должна была прийти из города. Накормили...

Кажется, что никогда раньше не ел Яков такого вкусного и ароматного хлеба, слегка пропитанного постным маслом. О сливочном тогда и не поминалось в городе, ели его только спекулянты и прочие выжиги. А женщины оказались фабричными. Они работали на одной фабрике, и изредка ездили на своей машине по районам и совершали такой вот «натуральный обмен» для всех своих фабричных.

Одна из женщин сразу как-то прицепилась к Якову, говорит, что напомнил он ей убитого под Москвой мужа, старшего лейтенанта. Разговорились... Пригласила она его в гости, обещала отдать вещи мужа даром, потому что в той одежде, которая была на Якове, в город показываться было нельзя.

Вряд ли она имела какие-то свои виды на Якова, потому что больше плакала, вспоминая мужа, чем говорила. Яков поблагодарил её, записал адрес, но сказал, что им нужно в первую очередь добраться до военкомата, а уж потом... Потом он обязательно зайдёт в гости. И, конечно, не в этой одежде.

Тем временем подошла машина, женщины быстро договорились с шофёром, который, увидев бывших зеков, сразу же согласился на всё.

Видно, видок у лагерников был ещё тот!

\*\*\*

В военкомат приехали под вечер, и военком даже слушать их не стал, сказал, чтобы встали вначале на довольствие по всем видам, а уж потом, с утра, когда они отдохнут, а военком кое-какие свои дела утрясёт, вот тогда - пожалуйста!

Они не возражали.

А утром объявили, что окончена война с Японией.

И военком вдруг дал задний ход: мол, ничего не знаю, в предписании написано «отправить в действующую армию», а действующей армии, выходит, уже нет. Вот если бы вчера успели все дела оформить...

И началась нервотрёпка!

Кто они? Что делать военкому с ними дальше? Отправлять назад в лагерь или в какую-нибудь воинскую часть?

Военком струсил, не захотел принимать на себя ответственность, и отправил депешу в Москву.

Формально они были уже вольные люди, освобождённые из-под стражи, и потому им разрешили гулять по городу до 18 часов. Питались ребята по военной норме, но одежда на них оставалась всё та же, зековская, поэтому в город они не ходили, а забирались часов с шести утра в лес и просиживали в нём весь день.

Яков всё ещё хранил адрес женщины, и мог бы воспользоваться им, но не хотел накликать и на неё беду. Он неожиданно для себя стал суеверным и мнительным. Такого поворота событий он не ожидал.

Через несколько дней пришла депеша из Москвы: демобилизовать, и год условно каждому.

Конечно, они обрадовались этому решению Москвы, но радость была с тяжёлой горчинкой.

Военком отпустил их с миром в тот же день, выправив все бумаги, как того требовал закон, но денег не дал. И ехать им домой было не на что. Решили ехать на запад товарняком, на угольных платформах. Запаслись кое-какой едой и поехали.

Ближе всех оказалось ехать Якову. В Новосибирске он расстался со своими попутчиками и отправился в свою деревню пешком. Но перед этим зашёл в Новосибирске к тётке, с мужем которой встречался на фронте.

Она испугалась, увидев его в такой одежде, не признала вначале... Потом отдала дядину одежду, долго плакала, пока Яков рассказывал о встрече с дядей, оставляла ночевать...

\*\*\*

Когда Яков вошёл в дом, мать стирала, увидала его и упала в обморок. Он же ей ничего не писал с самого момента ареста, и она ничего не знала о его судьбе. А накануне его прихода, оказывается, было ей какое-то видение про Якова, вот она и... обмерла, увидев его.

Пожил Яков в деревне недолго. Тяжело ему было в ней. Он знал, что не сможет больше жить на родине после всего случившегося ещё там, у военкома, когда оформлял документы в этот южный город, в котором живёт сейчас. Здесь перед войной жила его сестра, ныне уже покойная, вот к ней-то и приехал с матерью насовсем. Мужа у сестры убили на фронте, детей не было, поэтому зажили они как бы одной семьёй, словно и не было между ними военных лет. Правда, вскоре напомнила о себе война тяжёлым нервным недугом, но это были уже мелочи... Мелочи!

Постепенно война забывалась, уходила куда-то вдаль, лишь изредка напоминая о себе болями в старых ранах, неожиданно подскакивающим давлением, чрезмерным волнением при встречах с каким-нибудь очередным Витькой Карпухиным, кошмарными снами...

\*\*\*

Совсем недавно вызвали Якова Алексеевича в военкомат для вручения ордена Отечественной войны. Сначала он не хотел идти - зачем ему этот орден, если не вернули те восемь наград за войну? Но потом всё же пошёл. Наглотался таблеток и пошёл.

Орден вручал сам военком, молодежавый полковник. После вручения и поздравления он пригласил Якова Алексеевича к себе в кабинет. Там, оставшись один на один, полковник заговорил с ним про его прошлое. Яков Алексеевич понял только одно, что полковник не понимает, почему он, Яков, не хлопотал после войны о возвращении орденов и партбилета...

Яков и сам не знал этого. Впрочем, почему не знал? Знал! Да как объяснишь этому полковнику, не выдавшему войны, что у бывшего старшего лейтенанта, прожившего на войне три года и десять дней, есть гордость. Гордость фронтовика, получившего награды за бои, за боевые операции, за сбитые самолёты и уничтоженные танки, а не за сидение в штабах и тыловых частях. Разве мог он ходить с протянутой рукой по инстанциям и просить то, что заслужил кровью? Разве он так уж виноват в том, что с ним случилось? Это жизнь взяла и посмеялась над ним... Нет, неверно это. Почему посмеялась? Она в очередной раз

преподнесла ему свой подарок, неожиданный при такой-то жизни - старость. Старость, которую никогда не увидят его бывшие боевые товарищи.

Полковник сказал на прощание, что похлопочет о деле Якова Алексеевича, попробует вернуть ему то, что он должен носить по праву, просил не иметь обиды...

А на кого обижаться?

Яков Алексеевич уже всех простил, кого и не стоило даже прощать. И всё же обида жила в нём. Обида на жизнь, допустившую гибель отца, обида на войну, кончившуюся слишком рано. Ещё бы недельку, ещё бы два-три дня...

\*\*\*

На крыльцо снова вышла Анна.

- Ну, вот что, милый, нечего тут столбом стоять, пошли-ка домой. Хозяйку я уже предупредила. - Она сунула ему в руки шарф и потащила за рукав к калитке.

Яков Алексеевич шёл, не сопротивляясь, и в душе радовался тому, что не нужно ещё раз возвращаться к столу, ещё раз видеть пьяные лица Витьки Карпухина и Петра Фёдоровича. Не нужно ещё раз вспоминать свою обиду, свою жизнь. Радовался, что рядом шла его старая, испытанная суровым временем и невзгодами подруга.

Какое же всё-таки это счастье - верная жена и надёжный товарищ! Нет, грех ему сетовать на судьбу, грех! Что в жизни может сравниться со счастьем любви? Как это прекрасно - любить и быть любимым! Господи, да за одно это можно умереть не задумываясь, не то что потерять ордена и медали...

\*\*\*

Они вышли на шоссе. Под ногами чавкал мокрый снег, уличные фонари светили безжизненным сиреневым светом, редкие легковые машины проносились мимо одинокой пожилой пары, осыпая её ледяными брызгами и поливая грязной водой. Льдинки звенели, падая на лёд тротуара, или булькали в лужах, вода коркой застывала на одежде. И никому в целом свете не было дела до двух стариков, одиноко бредущих куда-то.

1986 г.



*Curriculum vitae,  
или Исповедь изгоя*

## Curriculum vitae, или Исповедь изгоя

### Глава первая Миллениум

Всеобщая эйфория по поводу прихода 21 века, разлившаяся по всему миру словно веселящий газ, и ожидание чего-то сверхъестественного, нового, ещё неизведанного людьми, невольно на время захватила и меня, хотя я видел многое на своём жизненном пути такого, чего мало кто видел на белом свете и остался при этом живым. И поэтому я встречаю новое тысячелетие со смешанными, подчас взаимоисключающими друг друга чувствами, ставящими меня иногда в эмоциональный тупик. Радость и грусть одновременно живут в моём сердце, и оба этих чувства равноправны и равноценны в моём сознании, оба раздирают моё нутро и заставляют память возвращаться к дням прошлого, к истекшим годам горестного для многих жителей Земли уходящего в вечность двадцатого века.

Радостно от того, что всё пережитое мною в том времени уже позади, грустно, что впереди закат земной жизни, одарившей меня самыми сильными впечатлениями, выпавшими на долю моего поколения, и тревожно, что впереди, за чертой, отделяющей бытие от небытия, - неизвестность, которая страшит меня именно своей непознанностью. И странные мысли приходят в голову, которые раньше я старательно гнал от себя, а сейчас всё чаще и чаще моё сознание добровольно возвращается к ним само, ища ответы на вопросы, которые оно не в силах осилить...

Пятнадцать лет прошло с тех пор, как началась перестройка в республиках бывшего СССР, а ныне независимых государствах. Пятнадцать лет назад нам всем обещали райскую жизнь по западному образцу, невиданную свободу в пределах дозволенного, сказочные приватизированные богатства... Где всё это? Раньше я жил в Киргизии, теперь - в Сибири. Раньше у меня была хорошая работа на мельнице, два дома, в которых жил я и мои дети, а что теперь? Жена осталась в чужом государстве сторожить дома, которые всё равно потихоньку разворовывают соседи-киргизы, жаждущие приватизации чужой собственности, прикрываясь националистическими лозунгами. Одна дочь разошлась с мужем и живёт сейчас с детьми на нищенскую зарплату в России, вторая осталась в Киргизии, я сам живу в доме третьей, в Сибири. Где оно, наше семейное счастье? Где райская постперестроечная жизнь, обещанная Горбачёвым и прочими жуликами от политики?

Раньше я делал прекрасное домашнее вино из винограда со своего участка. Виноград продавал на базаре, а вино разбирали соседи. Из чего делать вино здесь, в Сибири, куда меня вытащила дочь?

Нет, Сибирь я полюбил. Замечательный край, если только держать его в хозяйских руках. Природа здесь прекрасна, как и вся земля на планете, лишь бы только сам человек мог видеть красоту, понимать её и наслаждаться ею.

И дочери я благодарен за то, что она не бросила меня, не забыла на старости лет, но жена моя... Она до сих пор сторожит нашу собственность, в которую мы вложили столько лет жизни, денег и всю нашу любовь к земле и к своей семье, делая наше существование в некогда пустой и неухоженной земле Киргизии лучше и приятнее...

Жена всегда боялась Сибири, наслушавшись историй о её морозах, непроходимой тайге и зверье. Меня же Зауралье уже с молодых лет не пугало и не пугает сейчас тем более. Побывав в своё время в сталинских лагерях на Печоре, я видел и суровые зимы, и комаров, и мошек, и всякое другое...

Уехав из Киргизии, я привёз с собой к дочери всего 400 долларов, на которые, однако, купил корову-первотёлку, то есть нетель, а на остальные приобрёл пиломатериалы для постройки навесов и других надобностей. Дочь живёт в пригороде, и поэтому у неё есть возможность заниматься подсобным хозяйством, что, собственно, мне и нужно. Бурёнка наша уже успела принести потомство, и тоже, на наше счастье, тёлочку. Теперь у нас настоящее деревенское подворье.

Я очень рад, что мне сейчас есть чем заниматься. Работа на воздухе всегда была мне приятна, потому что не отвлекала от мыслей, роящихся в моём мозгу...

Корова, конечно, прибавила забот, но за лето я всё же успел заготовить ей немного силосу. Зять с дочкой купили сена, так что кормить животину есть чем, притом, слава Богу, есть возможность прикупать зерновую дроблёнку из ячменя и пшеницы и комбикорм.

Теперь моей основной заботой будут корова и тёлочка, а также три гусочки и гусак, да два десятка курей. Всё наше небольшое животноводческое хозяйство ложится на мои стариковские плечи, и я доволен этим. Мне не нужны помощники, я и сам управлюсь.

К лету, я думаю, у нас хозяйство увеличится, особенно с гусями. Выпасом и водоёмом они будут обеспечены сполна - у нас всё рядом с усадьбой. Честно говоря, хотелось бы немного приумножить хозяйство: прикупить парочку телят, кроликов развести...

Главное, чтобы здоровье не подкачало. Всё-таки мне 78 лет, всё может быть. Дают себя знать и война, и концлагеря, не только немецкие, но и наши, то есть сталинские...

Я молюсь и кладу земные поклоны Господу Богу, что остался жив и здоров, что у меня целы ноги и руки, что голова моя в здравом уме, что я занимаюсь полезным делом для всей нашей семьи, что я живу и размышляю над смыслом жизни и над своей собственной судьбой, жестоко и несправедливо, на мой взгляд, заставившей страдать меня многие и многие годы...

Мне не было ещё и полгода, когда летом 1924 мой дед отделил от себя моего отца, сказав ему на прощание страшные по своей сути слова:

- Дать я тебе ничего не дам, потому что и у самого ничего нет...

Но его понять можно, после гражданской войны в наших краях была сплошная разруха, потому и отделил дед отца, чтобы легче было остальным выживать. Но всё же, наверное, дед что-то дал нам в надел, не без этого, конечно... Скорее всего, лошадь, потому что тем же летом отец стал строить свой домик. Я-то не помню, а мать рассказывала, и это запало мне в голову, что перед тем, как начать месить саман - глину для самодельных кирпичей - меня, несмышлёныша, клали в железную коробку, в которой хранили куриные яйца, подстелив на её дно свежей соломы и всяких тряпок, и там я лежал до тех пор, пока не приходило время кормить меня грудью.

Вот так я жил-поживал первые детские дни в полном одиночестве, отгороженный от мира толстыми стенками железной коробки.

Удивительное дело, но я никому не мешал своим криком, и иногда, по рассказам матери, она даже пугалась этого, думая, что со мной что-то случилось.

Отцовскую хибару нужно было успеть отстроить до зимы, иначе молодой семье жить пришлось бы на улице, и родители старались, как могли. Кое-кто из родственников помогал им, из тех, кто жил поближе и у кого выкраивалось время для этого, но в основном горбатились на стройке двое молодых: отец и мать.

Семьи в то время были большие, например, у моего деда по линии отца, которого я совершенно не помню, было три сына и две дочери, а у дедушки по линии матери - три дочери и три сына. И это только те, что дожили до возраста взрослых людей, а сколько умерло у них в детском возрасте, я не знаю.

У деда по отцу во время Отечественной войны погиб или пропал без вести сын, дядя Клим. В гражданскую он партизанил с красными, и был даже чем-то награждён.

Помню, он всё говорил:



- Я завоевал эту землю своей кровью, на ней буду жить, работать и помирать...

В колхоз не хотел вступать, и его как единоличника-кулака за невыплату сельхозналога забрали в 1939 или 1940 году вместе с семьёй якобы на укрепление западных границ. И с концами...

А мой отец в 1941-м был мобилизован в первый же месяц войны, и вернулся домой в 1945-м, капитаном, командиром пехотной роты, целым и невредимым.

По линии матери с дядьями дело обстояло гораздо хуже. Дядя Трофим погиб в Крыму, под городом Феодосией, дядя Емельян погиб под Сталинградом, а дядя Ваня раненым попал в плен и умер в немецком лагере.

Всего в этой войне из моих самых близких родственников с обеих сторон участвовало 12 человек, 7 человек из них погибли.

Из нашей семьи на фронте был отец, мой старший брат Михаил и я. Всего три человека, потому что больше в семье мужчин не было.

Одна семья, три жизни, три разных судьбы...

Отец был контужен, но вернулся живым.

Брат Михаил, командир танка, подорвался на mine, ему оторвало правую ногу, но он тоже вернулся домой живым, хотя и инвалидом.

А я, кавалерист казачьего корпуса, домой с войны вернулся только в пятьдесят шестом...

Но обо всём по порядку.

В разное время и по разным причинам наша семья выехала в Киргизию. Ещё в 1927 году старший брат моего отца, дядя Саша, наверное, предчувствуя, что будет дальше при советской власти, покинул родные края и подался к киргизам, в глухие места, подальше от цивилизации. Да и не только он один сорвался из родных мест. Многие наши соседи, как потом я узнал, поступали так же, уезжая в Среднюю Азию. Здесь, на юге, где земли не менее плодородные, чем дома, где солнце в избытке, где много рек и речушек, которые несут свои чистые пресные воды с ледниковых гор, приложи руки - и ты будешь жить в достатке. И люди, всю жизнь работавшие на земле, очень быстро стали выращивать огромные урожаи фруктов, винограда, овощей, кукурузы, арбузов и дынь. Естественно, что не забывали они и про зерновые культуры. Некогда забытый Богом край расцвёл... А так как народ здесь собрался со всей России, то слух о благодатной земле разнёсся по всему огромному Советскому Союзу.

Уже после войны и мой отец, Харитон Иванович, узнав, где находится его старший брат Александр, списался с ним и рискнул сменить место жительства.

В Ставрополе после войны были частые недороды. Посевы на полях и огородах уничтожали засушливые ветры, как их называли, - "астраханские дожди". Никаких искусственных поливов тогда не было. Местные жители не знали, что такое поливные земли, а где были колодцы с водой, вода была солёно-горькая, пить её людям было нельзя. Да и для полива в огородах она пользы не давала, скот и то плохо её пил. Воду для своих нужд накапливали во время дождей, для чего под крышами домов подстраивали деревянные желобки, по которым дождевая вода стекала и накапливалась в заранее выкопанных напоминающих колодца оштукатуренных песком и цементом ямах глубиной до десяти метров. В таких водоёмах вода хранилась годами. Зимой засыпали в колодца и снег, а если вода кончалась, то в летнее засушливое время ездили на тачке с бочонком к дальнему колодцу за пресной водой. Назывался он Малушенский и был он одним-единственным на всю округу колодцем с питьевой водой. Глубина его была метров двадцать пять, не менее. А может, и гораздо больше. Никто его в точности не мерил. Выкопал его ещё до советской власти богатый хозяин Малуха, а как он это сделал, можно только догадываться.

\*\*\*

## Глава вторая Детство

Детство моё прошло в станице Винодельной, впоследствии переименованной в село Игнатово, а позже, в перестроечное время, неожиданно ставшей городом Игнатово. До школьных лет мне мало что запомнилось, в основном эпизоды, связанные с трудовыми буднями. Нас, малышей, с ранних лет приучали к посильному труду, изгоняя лень, как говорится, калёным железом с самой колыбели, поэтому из ранних воспоминаний больше всплывают в памяти гуси и куры, телята и лошади, коровы и злые быки, которыми страшили нас взрослые...

В нэпмановский период станичники более-менее зажили, появился во множестве домашний скот. Кормить животину было чем, потому что была своя земля, несколько десятин, на которой сеяли пшеницу и кукурузу, сажали картошку, выращивали дыни, арбузы и тыквы. Всё в доме было своё, доморощенное, выращенное своими собственными руками. Но всё равно денег не хватало, и отец ездил на заработки на "чёрные земли" - в Калмыкию, на озеро Маньч. Там он нанимался в совхозы на разные работы, чтобы подработать хоть немного денег да приобрести для семьи какую-нибудь одежду на зиму.

Так выходило, что когда я подросток, почти всё хозяйство во время отсутствия отца ложилось на меня, потому что моего старшего брата Михаила он брал с собой. Вот мне и приходилось вкалывать за троих мужиков на своём подворье. Весной пахать землю в поле и огород у дома, садить картошку и овощи, а летом заготавливать кизяки на зиму, чтобы было тепло в доме. Следить за желобками на крыше для стока дождевой воды в колодец тоже нужно было, иначе беда.

А осенью, во время уборки урожая, варили мы с матерью и сёстрами из арбузов мёд, сладкие дыни резали ломтиками и на крыше дома или сарая раскладывали на сушку. Это был самый настоящий деликатес на всю долгую зиму. Мы любили не только эти сушёные сладкие ломтики, но и сам процесс резки крепких и ароматных дынь.

Скошенную пшеницу возили с полей для обмолота в огород, где специально утрамбовывали землю каменными катками, поливали землю водой, снова укатывали - и получали ровные площадки, тока. На них и обмолачивали пшеницу, подсолнухи, просо, ячмень, кукурузу, а всё остальное, что выращивали для себя на зиму, складировали в скирды. Солома, кукурузник и прочая трава - всё это шло на корм скоту и на топку в доме, потому что в Ставрополье, кроме всех прочих неудобств, не было ни угля, ни дров.

В неурожайные годы поголовье скота резко сокращалось, а значит, и кизяки исчезали в степи. И вместе с голодом в дом приходил и холод. И это нужно было пережить.

Для нас, подростков, главной задачей в это время была езда с тачкой по выгонам или по степи, где пасся оставшийся скот, и сбор кизяков. Набрав полную тачку "лепёшек" мы привозили их домой, высушивали и аккуратно складировали.

С наступлением холодов начинали кочегарить русскую печь. Такие печи были в каждом доме, они были главным украшением любого дома, потому что стояли посреди комнаты, которая считалась залом, далее была спальня, кухня и всё остальное. Пол земляной, часто обновлялся светлой жёлтой глиной и устилался свежей пшеничной соломой, что, на мой взгляд, более гигиенично, чем мытьё грязной тряпкой неокрашенных полов.

По сравнению с прежней нашей жизнью в двадцатых годах, тридцатые годы были просто нищенскими. Мы часто недоедали, нас беспокоили вши и блохи. Из пятерых детей нашей семьи у нас умерло в 1935 году двое: Ольга и Паша - мои младшие сестрёнки. Их похоронили в один год: одну - зимой, другую - летом. Это время я как-то мало помню, хотя и был постарше их, и, честно говоря, мало что понимал тогда в жизни и смерти. Считал, что это вроде бы так и надо: умерли, ну и умерли, и Бог с ними.

Отца я тоже в это время не помню. Его в эти годы почти и не было с нами. Всё время он где-то работал с братом, добывал деньги.

Проклятая была жизнь. Ничего в ней не было человеческого. Для того, чтобы просто прокормиться, человек вынужден был уходить из семьи на заработки и жить где-то вдалеке от жены и детей большую часть года. Работали просто для того, чтобы выжить. О книгах, о

танцах и других развлечениях мы и знать не знали. Времени не хватало обработать свой голодный желудок, не то чтобы веселить пустую голову.

Так продолжалось до тех пор, пока отец добровольно не вступил в колхоз. Сдал туда лошадей, корову, бричку. Всё это свезли на общий двор, и куда оно потом делось - не знаю.

В колхозе житьё тоже было не сахарное.

Помню, как-то пошли мы с моим товарищем Ваней Сосной на ток в самый обмолот пшеницы, понесли обед своим отцам. Мать меня снабдила какой-то снедью, уж и не помню, что положила в узелок. И Ваня тоже прихватил что-то из дома. Пришли на молотилку, куда со всех сторон привозили снопы пшеницы, и всё нам там интересно. Вертимся вокруг, глазёнками всё жадно пожираем...

Потом сели обедать. Наши отцы говорят нам:

- Хотите попробовать, чем нас кормят в колхозе?

- А как же, хотим!

Налили они нам "суп с головками", но чьи это "головки", не сказали. А мы с Ваней, сколько ни искали, так ни одной и не поймали в своих чашках.

Помню, суп был чем-то забелённый, и плавали в нём крупинки пшена. Долго потом отцы подшучивали над нами с этими "головками".

Вот такой был обед для взрослых мужиков в самую страду, в самый разгар уборки урожая.

В какое-то время, мне это уж и не ведомо, но колхозная жизнь здорово опостылела батьке, и рискнул он на отчаянный шаг.

В ночное время забрал он из колхозного двора своих лошадей, запряг в свою бричку и ударился в бега на заработки в "чёрные земли", то есть на озеро Маныч, в Калмыкию. С собой прихватил ещё мужиков, и след их затерялся, но семьи всех остались в станице. Как бы мужики-кормильцы ни скрывались от властей, а семьи их всё равно ждали.

Конечно, больше всех ждали их возвращения работники ГПУ. Такие непокорные люди были на особом списке у чекистов, они считали их особо контрреволюционно настроенными против советской власти. И особенно казачество всячески старались насильно загнать в колхозы или задавить сельхозналогами, как это случилось со старшим братом моего отца, дядей Климом.

Моего отца чекисты арестовали уже дома. Судили. Вот только не помню, какую статью он получил, но срок дали 5 лет, который он отбыл на строительстве Беломорско-Балтийского канала, где-то в районе реки Шексны у города Рыбинска. Возвратился домой, кажется, в 38-м году. Из пятерых детей нас к тому времени осталось трое. Две сестрёнки померли, а мы с братом всё же выжили, и как нам трудно было в те годы, наверное, один только Бог знает, да наша мать.

Мать кое-как устроилась на работу в больницу нянечкой. Не знаю, зарплату получала или же нет, а то, что приносила с работы домой куски хлеба да каши, это уж действительно - было такое. И мы с братом встречали её с нетерпением. Голод не тётка!

Выжили мы ещё и благодаря нашему дедушке со стороны матери. Мы получали от него хорошие советы и помощь. Я часто ходил с ним на рыбалку в глухие места на реку Калаус, изредка приносил домой свежую рыбу - добавку к обеду. Дед научил меня охотиться и на сусликов, на Ставрополье их много. Бывало, мы их вылавливали, заливая водой норки. Заливаешь водой норку - и стоишь, ждёшь, когда суслик начинает вылезать задом из-под земли. Тут мы его быстро хватали, стараясь схватить так, чтобы он нас не укусил, ну а потом... Потом снимали с них шкурки и после обработки сдавали за копейки в приёмные пункты, а мясо употребляли в пищу. Мясо всё-таки. Одним словом, у нас всё шло в пищу.

Как-то пришёл к нам дедушка домой, а это было зимой, в доме холодно, топить печку нечем, есть нечего - мать уехала к отцу, где он отбывал срок.

Мы с дедушкой надёргали с крыши сарая соломы, растопили печку, на чердаке, под самой крышей, нашли старую свиную шкуру, почему-то вовремя не сданную отцом в «Живсырьё», и стали её резать на куски и жарить в печке на огне. Такая вкуснятина получилась! До сих пор вкус во рту чувствую, как вспомню.

Вот так и перебивались каждый день и каждый месяц из года в год, пока немного не полегчало. Но нам ещё повезло. Мы хоть с голода не умерли, а многие семьи целиком повымирали. Особенно плохо было у переселенцев с Кубани, в основном из казаков. Жить им было негде, есть нечего, просить Христа ради не у кого.

А у нас была ещё одна беда, когда отца арестовали: к нам домой пришли милиционеры с обыском...

Три мешка зерна кукурузы, мешок пшена - всё описали и забрали. Из барахла нечего было брать - рухлядь одна. Всё, что было отцом на зиму приготовлено и спрятано - подчистую забрали. Как мы ни плакали и как ни кричали, ничего не помогло. Такие суровые законы были тогда при советской власти. Одним словом, остались мы без ничего. Правда, соседи, хоть тоже жили бедно, но всё равно видели нашу нужду и старались хоть чем-то помочь.

Помню, как-то бабушка Юрко подозвала меня к себе и говорит:

- Алёша, на вот вам казанок. Варила в нём мясо баранину, по краям жир застыл, я мыть не стала. Сварите в нём кашу или картошку и покушайте.

Взял с благодарностью и сказал:

- Спасибо!

И до сих пор об этом помню.

Так и жили, так и перебивались.

После ареста отца мы всё же ещё числились в колхозе, и мать договорилась с председателем колхоза, чтобы он взял меня пастухом пасти колхозных телят.

С этого началась моя трудовая биография.

Работа пастуха на первый взгляд не трудная, на самом деле заставила меня пролить не один литр слёз. Нужно было вставать ни свет ни заря, и часов с 6 утра до 6-8 вечера пасти скот. А телята такие непослушные, хуже коров в сто раз! Завернул с одного места, чтобы не лезли в шкоду, - лезут в другое место. А самое трудное время - жара, когда у них начинается бзык: когда они поднимают хвост трубой и бегут куда глаза глядят. А мне тогда приходилось со слезами на глазах гоняться за ними целыми часами...

Хуже, конечно, было, когда телёнок пропадал.

Крику было, разборки!..

С телятами паслись и козы. Иногда ко мне на помощь приходил Ваня Сосна. Тогда мы с ним ловили дойных коз и сдаивали в какую-нибудь посудину, потом пили молоко. А если не было никакой посуды под рукой, то мы просто пристраивались к соскам и сосали.

Кушать-то хочется!

Жаль Ваню.

Погиб Ваня Сосна на фронте.

Когда немцы отступали с Кавказа, а наши наступали, то всех ребят призывного возраста забрали на краткое обучение, а потом бросили в бой. Там они все и погибли.

Был он мне ровесник и друг.

Жалко парня!

Будучи уже пенсионером, приезжал я как-то из Киргизии на родину в село Игнатово - и никого из своих друзей не встретил. Все ребята моего возраста и старше в большинстве своём погибли во время войны. Один я остался на белом свете.

Во мне одном осталась память о них.

\*\*\*

### Глава третья Школьные годы

Я пошёл в школу в разгар коллективизации. Ещё изредка происходили перестрелки между белыми и красными, в основном с казачеством, не желавшим идти в колхозы, но меня тогда это совершенно не касалось. На дворе были голодные неурожайные годы, когда земля или совсем не засеивалась и не обрабатывалась, или же засуха сводила на нет весь тяжкий труд земледельцев. Однако в первый класс начальной школы отец меня отдал. А я уже был немного подготовлен к школе: умел читать и писать, считать, и делать сложение и вычитание до ста. Прошёл, так сказать, домашний ликбез.

Помещение школы часто менялось.

Как какого-нибудь зажиточного мужика раскулачат в станице, так его дом отдают то под школу, то под сельсовет. Или наоборот. В конце концов нас определили на территории церкви.

Здесь было достаточно уютно и просторно. Хорошее помещение, крепкие столы и стулья, по стенам стояли скамейки, возле дверей большая печь, которую топили в зимнее время кизяком, а осенью и весной соломой. Букварей не было. Тетрадей тоже. Писать учились карандашом на чём попало. Но мы учились. Учились, потому что понимали, что многое в нашей жизни может измениться к лучшему, если мы одолеем грамоту.

Мне кажется, что тогда об этом каждый родитель с пелёнок твердил своему ребёнку: учись, учись!

О первом классе у меня сохранилось два довольно странных воспоминания.

Вот первое.

Однажды в церковную ограду понаехало много народу. Собрались взрослые сельчане, какие-то приезжие дядьки, пешая и конная милиция... Нам, естественно, было интересно знать, что там происходит, но школярам строго-настрого запретили выходить в церковную ограду, и даже, более того, закрыли двери школы на замок. Но мы всё же пробрались к окнам - и увидели страшное происшествие с Красной церковью, стоявшей напротив школы, - то ли бывшей в царское время церковной гостиной, то ли выполнявшей ещё какие-то обрядовые функции. Так вот, Красная церковь, прозванная так из-за того, что была построена из красного кирпича местного производства ещё в 18-м веке, была обречена на гибель.

Этот день я запомнил на всю жизнь.

До сих пор помню, как с блестящих куполов слетали золотые кресты, а со звонниц срывали колокола и с грохотом бросали их сверху вниз.

Некоторые колокола разбивались на большие и малые осколки, иные оставались целыми, не поддавались страшному вандализму, и своим счастливым падением с огромной высоты как бы говорили: нет, мы не поддадимся, мы ещё послужим людям...

Приехавшие из района люди и местные активисты вместе с милиционерами выносили из церкви всё, что можно было вынести. Много было слёз у церкви среди мгновенно собравшейся толпы односельчан: старухи выли как на похоронах, старики в бессильной злобе сжимали кулаки, и по их лицам текли скупые старческие слёзы.

Мы, малыши-первоклашки, в то время недопонимали всего того, что происходило на наших глазах, зачем и почему это делалось, но вместе со всем народом тихонько поскуливали, глядя на разбой, санкционированный партийными властями, и молчали, запоминая кошунственное действие.

Второй случай был, когда впервые увидел самолёт, летевший на низкой высоте над территорией церкви, к тому времени уже оставшейся без крестов и колоколов.

О том, что должен прилететь самолёт, в деревне все знали, и ожидали его прилёта с часу на час с известной долей страха. Лётчик должен был привезти какие-то документы для

районного начальства и центральные газеты, а что в этих документах и что в газетах - никто не знал.

Ожидание прилёта самолёта в школе тянулось мучительно долго, наконец кто-то из мальчишек, с первого урока неотрывно глазевших в окно, крикнул:

- Ераплан! Вижу ераплан! Летит прямо на нас!

Ну, мы тут и зашевелились, забегали!

Учительница сразу закрыла двери в классе, но все повыскакивали в окно, благо было уже тепло, и со всех ног кинулись в ту сторону, куда летел самолёт.

Мы знали, что начальством ещё загодя на поле за селом была приготовлена площадка для посадки чудо-машины, и стремились первыми добежать до заветного места.

Но мы не были первыми. Народу кроме нас там уже была уйма!

Два лётчика вылезли из кабины самолёта, устало разминали затёкшие ноги и энергично похрустывали новыми кожанками, молодцевато поигрывая плечами.

Мы на них смотрели, как на каких-то живых богов, сошедших с небес.

Надо же: только что они летали по воздуху, словно гуси, и вот, они уже здесь, с нами! К их самолёту не только можно было подойти, но даже пощупать его руками. Разве это не чудо?

Вскоре подъехала на лошадях милиция, а с ними ещё какие-то начальствующие работники, перегрузили из самолёта в подводы кипы каких-то бумаг, постояли, поговорили о чём-то между собой, а потом отогнали нас от самолёта, что сделать им было не так-то просто.

Затем мотор самолёта завели. Развернули пропеллер руками, прибавили газу, и он заревел всеми своими бензиновыми силами, вызывая вопли ужаса у старух, истово крестящихся и взывающих к Господу Богу.

Потом самолёт направили на прямую линию, с которой предварительно был убран весь мусор, и самолёт покатил, набирая скорость, а мы, мальчишки, бежали за ним до тех пор, пока он не взлетел...

Сколько было после этого разговоров и воспоминаний!

Лично я после этого для себя решил, что обязательно стану лётчиком.

После этого случая пожилые люди стали говорить, что ероплан - детище дьявола, и что он неспроста прилетал, не к добру это. Хотя уже видно было и до этого случая, как и какими методами устанавливается советская власть на селе, как насильственно загоняли в колхозы, как раскулачивали зажиточных мужиков и их семьи, как искусственно создавали голод в деревнях, при котором люди вымирали, словно мухи.

Был у нас дома однажды летом и такой случай. Все наши домочадцы в огороде занимались прополкой, а во дворе всё как всегда было открыто. В сарае, где летом готовили еду и где наша семья столовалась, на печке стояло два почти ведёрных чугунок с кукурузной кашей и с варёной картошкой. Мы пришли на обед, а чугунок стоят себе пустые, никакой еды в них нет. Всё съедено кем-то начисто.

Через некоторое время выяснилось, что недалеко от нашего дома нашли мёртвую женщину с маленьким ребёнком на руках. Говорили, что у неё случился заворот кишок от такого большого количества съеденного.

Это был единственный случай голодного кошмара тридцатых годов, свидетелем которого я был сам и видел всё своими собственными глазами. А сколько я не видел и не знал других подобных случаев? Страшно сейчас даже подумать, насколько было трагично то время!

В особенности трудно досталось ребятам моего возраста, людям моего поколения, прожившим всю свою подчас очень короткую жизнь в страшном двадцатом веке.

Я часто вспоминаю слова моей матери, как-то сказанные с болью в голосе:

- Мы только и пожили хорошо до 17 года! Как только взяли, вернее, захватили власть большевики, так всё пошло и поехало вкось!..

Действительно, большевики, провозгласившие рай на земле для рабочих и всех трудящихся, крестьянские запасы пропили и проели, что спровоцировало невиданный ранее голод, потом начались неурожай... Затем коллективизация, раскулачивание, лагеря и ссылки... Репрессии и расстрелы, войны... После Отечественной войны снова массовые аресты и ещё более расширенные сталинские концлагеря, но уже для бывших военнопленных, сменивших бараки немецких концлагерей на бараки советские...

В мои последующие школьные годы, начиная с 5-6 классов, учебники было достать уже гораздо легче, особенно по истории, где были большие главы про наших военачальников, со всеми их биографическими данными. Были там и Блюхер, и Тухачевский, и Егоров... По указанию свыше мы едва успевали «исправлять» учебные пособия, выдирая целые страницы из книг, и продолжалось это вплоть до начала войны 41 года.

Все наши прославленные генералы и маршалы перед самой войной оказались почти в одночасье «врагами народа». И всех их ждало одно наказание - смерть.

В нашей средней школе, которая была выстроена в 1939 году, тоже оказалось много «врагов народа», но уже просто из учителей: мужчин и женщин.

\*\*\*

#### Глава четвёртая

##### Начало трудовой биографии

С началом 2-й Мировой войны началось иное время. Его мы почувствовали, когда с присоединённых западных областей Украины и Белоруссии стали поступать новости.

Случилось так, что в силу разных причин, в том числе и нехватки денег в семье, я, не закончив 10 классов, пошёл работать почтальоном. Роста я был невеликого, иной работы найти мне было просто невозможно ни по росту, ни по силам, и я старался работать на почте так, чтобы люди поняли, что я не лодырь, что я могу хорошо трудиться на любом месте.

Но проработал я почтальоном недолго, за хорошее отношение к труду меня перевели сортировщиком газет и писем по другим районам области. Здесь я в свободное время читал всю прессу подряд, набирался новостей, и был поэтому в курсе всех событий в стране и в мире.

Вскоре на нашу станцию Винодельное прибыло несколько вагонов беженцев из западных областей СССР. Их нужно было срочно по указанию свыше распределить по колхозам и артелям. Меня назначили на эту должность как наиболее грамотного и трудолюбивого.

И вот когда началась регистрация этих людей, меня очень удивило, что все беженцы были очень богатые в прошлом люди, и все они были евреи. Но какие бы они ни были богатые в своей прошлой жизни, их нужно было распределять на работу сейчас и стараться пристраивать куда-то или к кому-то на квартиры сегодня.

Я старался. Но от моего старания было мало толку. Трудиться в колхозах они и не думали. Зато при их появлении в селе цены на базарах моментально поднялись, особенно на такие продукты, как масло, сметана, куры, мясо, и так далее.

Я долго размышлял над этим феноменом, но ни к какому выводу не пришёл. Да, впрочем, эпопея с беженцами вскоре каким-то образом закончилась, и их судьба более с моей не пережлестывалась, и потому они меня больше не интересовали.

Моя собственная рабочая биография продолжалась, и мне всё вокруг нравилось. Со своей первой зарплаты я решил позволить себе сходить в рабочую столовую и на равных с другими рабочими купить что-нибудь на обед.

Стоя в небольшой очереди, я волновался, как на экзамене, и всё не мог решить, что же я куплю.

Я заказал себе жареную яичницу с колбасой.

Я такой вкуснятины дома никогда не ел! Я даже не видел ничего подобного и у соседей. И тут мне подумалось, что есть люди, которые сюда заходят каждый день, и каждый раз заказывают себе такие шикарные обеды. Они могут даже выпить здесь что-нибудь из спиртного...

У меня от этих мыслей началось головокружение. Мне стало казаться, что все люди вокруг меня очень и очень богатые люди, и сам я... могу стать таким же богатым и преуспевающим.

Не помню, сколько я получал в месяц, но с той поры от зарплаты я себе каждый раз оставлял на обеды, а остальное отдавал матери.

Жизнь нашей семьи между тем более или менее налаживалась.

Перед самым началом войны меня поставили в военкомате на учёт. В нашей учётной группе, или как сейчас говорят, - команде, находились ребята моего возраста, заканчивающие среднюю школу. Мы всеми правдами и неправдами пытались выяснить род войск, в который нас хотят определить. Кому-то наконец удалось выяснить эту военную тайну, и все мы вскоре узнали, что нас готовят в авиационное училище во Владикавказе.

Я был до безумия рад такому случаю, и некоторое время ходил с высоко задранном носом по селу, пока не пришла повестка на комиссию.

На комиссии кроме врачей присутствовал районный прокурор Федотов, с которым в начальной школе учился мой отец, он узнал меня, вспомнил, что я сын того самого Харитона Нестеренко, который ночью похитил колхозных лошадей с бричкой и бежал на них, скрываясь где-то за пределами Ставрополя, потом был осуждён. К тому же, оказывается, я ещё не был комсомольцем...

Одним словом, я не прошёл строгую учётную комиссию, меня отчислили из команды, но я по-прежнему продолжал работать на почте.

Спасибо хоть за это, товарищ прокурор Федотов!

\*\*\*

## Глава пятая

### Война

Когда у меня выкраивалось свободное время, я ходил в кинотеатр и смотрел кино. Построили это новое здание из красного кирпича уже знакомой мне Красной церкви. Вначале её пытались приспособить к нуждам то одного учреждения, то другого, пока наконец не сломали и не выстроили из её кирпичей Дом культуры, в котором и сделали кинотеатр, тем самым сохранив у сельчан светлую память о старинной церквушке.

Перед самой войной я уже похаживал с ребятами в ДК поиграть в бильярд, в шахматы, посидеть в читальном зале библиотеки.

С началом войны к нам буквально через месяц стали поступать первые раненые наши солдатики, точнее, в большинстве своём матросы Черноморского флота. Мы, подростки, с ними очень дружили. Они нас частенько посылали в магазинчики купить бутылочку вина или же водки, что мы с превеликим удовольствием делали, хоть это строго запрещалось местным госпитальным начальством, ставшим хозяином нашего ДК.

Как много было раненых в первые дни войны! Или мне это просто только казалось так? Но как бы то ни было, через несколько дней наш госпиталь уже не мог вместить в себя весь поток прибывающих на излечение фронтовиков, а они всё прибывали и прибывали. Некоторых узнавали родные, и радости, и слезам не было конца и края... Это были очень трогательные, волнительные сцены.

В августе месяце 41 года на фронт забрали нашего отца, а от старшего брата, который служил в это время кадровую, вообще перестали приходить письма. Однако нас это не сильно взволновало: брат служил на Дальнем Востоке, и его военная судьба стояла как бы на втором плане в ходе начавшейся войны, хотя холодок тревоги постоянно сидел у моего сердца. Представляю, что испытывала в те месяцы и годы наша мать!



Той же осенью в крае стали формировать казачьи части. У нас создали казачий эскадрон. В него входили исключительно добровольцы, бывшие герои гражданской войны, покрывшие себя славой в борьбе с белоказаками и с теми, кто был настроен против советской власти. Они шли добровольцами, потому что знали, что их вот-вот должны забрать на фронт, в полную неизвестность, а здесь, в эскадроне, были все свои, знакомые с детства ребята...

Почти все добровольцы были районными начальниками, и никому из них по большому счёту не хотелось снова идти воевать. И самая их большая ошибка заключалась в том, что они не понимали, что начавшаяся война была совершенно не похожа на ту войну их бесшабашной молодости, которая называлась гражданской.

Правда, многим из них повезло. Некоторых, которые не подходили по возрасту или же считались незаменимыми на своих постах, вернули в прежние кресла, ещё больше укрепив их авторитет в партийной верхушке, остальные остались в эскадроне.

Из-за нехватки кадров в эскадроне на место ушедших срочно требовалась молодёжь. Так я, каким образом - уже и не помню, вместе со своими друзьями оказался в расположении нового воинского формирования, и лихо подмахнул заявление о «добровольном желании участвовать в войне с проклятым германцем в составе казачьего эскадрона».

Заявления отнесли в райком партии, где нас с удовольствием приняли и немедленно зачислили в кавалерийский казачий эскадрон, командиром которого был известный житель нашего села, участник гражданской войны Бондаренко.

Он сказал нам, что мы теперь стали людьми военными, и приказал ждать его дальнейших распоряжений. А было это уже в декабре 1941 года.

Вскоре за нами закрепили лошадей, выдали сбрую с сёдлами, а каждому добровольцу - новое обмундирование: сапоги, брюки, гимнастёрку, полушубки с папахами и бурки.

Пришлось признаться матери, что и как случилось, да и сама она видела, конечно, что происходит, и страшно переживала за меня и за всех нас вместе.

- Горе ты моё, горе! - сказала мать. - Сколько слёз я пролила из-за Михаила, от него с самого начала войны нет ни одной весточки. Отца забрали, теперь вот ты... Зря ты это сделал, сынок, твои годы ещё не подошли. Успел бы навоеваться.

Время шло, война продолжалась.

В начале 42-го я получил на почте расчёт, и напоследок зашёл в ту самую рабочую столовую, куда частенько ходил пообедать очередной порцией моей любимой яичницы с колбасой. Впервые купил себе «четок», то есть 250 граммов водки в маленькой бутылочке, и направился к дедушке, решив впервые в своей жизни выпить с ним перед уходом на войну.

Прощание с дедушкой было коротким. Мне запомнились на всю жизнь его последние слова. Во-первых, на прощание он меня перекрестил, и сказал:

- Ты, внучек, уходишь защищать своё гнездо и честь своего казачества. Помни об этом, казак.

Мать также перекрестила на прощание, и со слезами на глазах сказала:

- Увидимся мы с тобой ещё, сынок! Вот увидишь, увидимся.

Вот такие были мои проводы на войну.

\*\*\*

## Глава шестая

### Армия

Когда мы прибыли в Ставрополь, нас разместили в казарме уже сформированного 8-го добровольческого казачьего кавалерийского полка. Началось спешное обучение: военно-политические занятия, тактические, конно-спортивные, рубка лозы, джигитовка на лошадях и так далее. Всё было внове и ужасно интересно. Мы тренировались и учились с огромным желанием.

В городе Ставрополе перед самой отправкой на фронт я встретил знакомого человека, который рассказал о ребятах, призванных в 40-м году в авиационную школу, в которую меня не взяли из-за порочащих фактов биографии моего отца.

Так вот это училище, оказывается, было срочно эвакуировано из Владикавказа в связи с тем, что немецкие войска уже заняли Ростов-на-Дону и продвигались далее на Северный Кавказ, грозя большими неприятностями всему югу страны. Училище погрузили в вагоны, но на станции Прохладной Краснодарского края на их эшелон налетели немецкие самолёты, и почти все курсанты погибли во время бомбёжки.

Первый раз я понял, что кто-то могучий отвёл от меня мою смерть стороной, используя для этого гнусный характер и злопамятность районного прокурора Федотова.

На фронте надвигалась реальная угроза поражения на юге, несмотря на ошеломляющий успех под Москвой.

В апреле 1942 года наш полк по тревоге погрузили в эшелон вместе с лошадьми и отправили через Сталинград на Рязань.

Эти два города мне запомнились тем, что на этих станциях была высадка лошадей, животных нужно было прогуливать, иначе застоятся.

По дороге к Сталинграду наш эшелон не однажды попадал под бомбёжку немецких самолётов, к счастью, всё обходилось благополучно. Закреплённые за эшелонем зенитные батареи срабатывали отлично, и даже сбили два или три немецких бомбардировщика.

Это было наше первое боевое крещение, связанное с этой войной.

По дороге мы смогли запастись для лошадей солью-лизунцом, для чего складировали в углу теплушек глыбы соли прямо у ног лошадей.

В наших вагонах с каждой стороны от дверей стояли привязанными по четыре лошади, а в проходах лежали и сёдла, и сбруя, и сено, и нас четыре человека. Такая вот была схема размещения казачьего полка в эшелоне, что было довольно разумно со всех точек зрения.

Вторая выводка лошадей из вагонов была в Рязани, на какой-то пригородной станции. В этих районах люди настолько бедствовали без соли, что когда узнали, что у нас лежит в вагонах соль, приносили нам для обмена любые продукты. Естественно, что кроме продуктов наиболее шустрые казачки запаслись и самогоном, так что до Москвы мы ехали немного навеселе.

В Рязани во время остановки к нам приходили молодые девчонки. До чего красивые были девчата! Да ещё в национальных костюмах: на ногах разукрашенные красивые лапоточки, аккуратно свёрнутые белые портяночки, переплетённые белыми шнурочками...

Соль мы им давали просто так, лишь бы они постояли возле нас, пошутили, посмеялись хотя бы полчаса... Но и у них была своя программа, и им, и нам руководители отводили своё определённое время для общения...

Вскоре мы опять погрузились в эшелоны и двинулись дальше на запад. Впереди была Москва. Железнодорожные пути, как это было видно по нашему продвижению, оказались сильно перегружены, в основном войсками, военной техникой, и вся эта сила стремилась на запад, к фронту.

Вскоре наш эшелон прибыл на какую-то станцию Москвы. В столице на путях было немного построже, чем везде ранее. Это было как раз перед самым праздником 1 Мая 1942 года. Нас заранее предупредили, что эта выводка лошадей будет последняя. Дальше - фронт. Особо предупредили, чтобы мы помалкивали о своём казачьем звании. Чего они боялись – не знаю, но шила в мешке не утаишь. Когда москвичи узнали, что прибыл эшелон с казаками, тут уж не помешали никакие запреты. Люди приносили нам и еду, и даже выпивку. Очень большое желание было у людей пообщаться с нами. Ведь раньше почти всё казачество было против советской власти, а тут, во время войны, все вдруг стали нужны России, все стали востребованы. Многие хотели хотя бы подойти и потрогать лошадь.

Одна девчонка набралась нахальства, и говорит мне:

- Я не уйду отсюда, пока не проеду на лошади.

Пришлось мне на свой страх и риск накинуть на лошадь седло и прокатить её. За это я заработал от неё свой первый в жизни поцелуй, а от своего командира взвода - выговор и наряд вне очереди.

Вскоре поступила команда: «Кончай выводку!». Мы привели в порядок и лошадей, и себя, погрузились в свои вагоны, и под вечер двинулись дальше на запад.

\*\*\*

## Глава седьмая

### Фронт

Последний раз, и уже окончательно выгрузились ночью в лесу.

Здесь соблюдалась строжайшая маскировка, потому что уже были слышны оружейные выстрелы, разрывы снарядов, и виднелись разнообразные беспорядочные вспышки.

В лесу была временная остановка. Для лошадей на скорую руку сделали коновязи и кормушки. Воспользовавшись передышкой, сделали под огромными ёлками и для себя шалаши на каждое отделение, и завалились спать.

Тогда я впервые почувствовал себя матросом, сошедшим на берег после длительного плавания. Меня после долгой езды по железной дороге как бы всё время покачивало из стороны в сторону. Я всё время норовил ступить пошире, чтобы земля, как пол вагона, не уходила у меня из-под ног.

Под утро стало ясно, что в этих местах велись ожесточённые бои дивизии генерала Панфилова с отборными немецкими войсками. Нашим необстрелянным эскадронам предоставилась возможность проехать и пройти те места, где шли наиболее страшные бои.

Там я увидел много разбитой и сожжённой техники, не только немецкой, но в большинстве своём нашей. Очень много советских танков старого образца были пробиты насквозь термитными и бронебойными снарядами.

«Это же наверняка все танкисты гибли внутри танка мгновенно», - думал я, невольно вспоминая старшего брата танкиста, отчего сердце болезненно сжималось.

И ещё раз для себя отметил, что нашей техники было разбито и сожжено в несколько раз больше, чем немецкой.

Глядя на места сражений, на ум приходила одна мысль: людей с той и с другой стороны гнали на верную смерть в лобовую атаку, чтобы любой ценой к назначенной кем-то и где-то дате победить. Только у немцев в атаку шли новые танки, а у нас в большинстве своём - царица полей матушка-пехота. Вот почему наших потерь было больше.

Кое-где из-под земли небольшими бугорками виднелись плохо засыпанные тела убитых. И трудно было разобрать, чьих: наших или немецких солдат? В смерти все они стали одинаковыми. Никакими. Лишь только отвоёванная мёртвыми русскими героями земля знала цену их мужества.

Такую «победную» панораму, какую мне довелось увидеть под Москвой весной 1942 года, вряд ли можно описать достоверно! Каждый бугорочек земли, каждая веточка на дереве или одиноком кустике кричали о нечеловеческой боли и страданиях, выпавших на долю сражавшихся здесь. Мёртвые, зарытые и не зарытые в землю, требовали возмездия и оккупантам, и...

К кому ещё нужно было применить это возмездие, я тогда ещё не решался сказать в мыслях даже самому себе. До правдивого осознания всего происходящего со мной и со страной в те дни было ещё ой как далеко!

Я убеждён, что каждый из нас, видевших эту картину прошедших боёв, прочувствовал её по-своему и хранил в памяти до самых своих последних дней. А может, и сейчас кто-нибудь из чудом оставшихся в живых, как и я, мысленно переносится на те поля и в те леса и перелески, переломанные взрывами и обезображенные сгоревшими танками и автомашинами...

Здесь, в этих местах, наши части были доукомплектованы кавалеристами корпуса генерала Доватора, которые смогли вырваться из окружения.

Уцелело их немного.

Сам генерал Доватор погиб.

Теперь наш полк влился в 3-ю кавалерийскую дивизию 1-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта Белова.

Мы получили на вооружение устаревшие винтовки прошлого века, патроны с патронташами, кто-то получил кавалерийские карабины, всем выдали противогазы, каски, сапёрные лопатки, ручные гранаты. Плюс ко всему этому были у нас с места формирования у кого кавалерийские клинки, у кого казачьи шашки. Ещё были на вооружении в полку горно-стрелковые короткоствольные пушки на конной тяге. Одним словом, вооружены мы были до зубов старьём. Теперь только оставалось отправить наши части на Чудское озеро, как в кино «Александр Невский», чтобы мы при полном вооружении отправились под лёд кормить рыбу...

Значительно хуже стало с питанием. Мы-то надеялись, что как войдём в регулярную армию, так нас кормить станут лучше, а оказалось, что нам паёк даже сократили. Сказали, что мы ещё не действующая армия, а так... Вторая линия обороны.

Занятия в прифронтовой полосе увеличились. Строевые и тактические занятия нас просто изматывали, а если начинались политзанятия, то наши казачки засыпали от усталости и недоедания. Участились случаи заболевания какой-то болезнью, которую все называли просто слепотой. Врачи советовали для лечения этой гадости есть свежую говяжью печень... Издевались, что ли, доктора? Условия жизни были невыносимыми.

Я не знаю, как жила пехота, но нас, кавалеристов, во многом выручали лошади. Каждой из них было положено в день насыпать в торбу несколько килограммов овса. Тайком от отцов-командиров мы отрывали от пайка боевого товарища немного овса, если удавалось, жарили его на дне котелка или какой-нибудь жестянке, этим и поддерживали себя.

Находясь первые дни на фронте, я каждый Божий день сам себе задавал один и тот же проклятый вопрос: почему к нам, солдатам, защитникам Отечества, так наплевательски относятся, ведь не сегодня-завтра нас погонят на смерть? Почему нас так плохо кормят? От кого это зависит и к кому можно обратиться с жалобой по инстанции?

Много подобных вопросов я слышал и от своих казачков, находясь один на один в окопе или в лесу, но никто и никогда не задал подобный вопрос вслух ни одному командиру. Боялись.

Как-то на политзанятиях - а они проводились каждый день в одно и то же время, строго по распорядку дня, - присутствовал у нас какой-то чин с двумя шпалами в петлицах. Я осмелел и задал ему этот вопрос. Сам бы, конечно, я тоже не решился на такой «подвиг», но меня к этому подговорили ребята из взвода. Ты, говорят, самый молодой, грамотный, тебе оно сподручнее, у тебя получится... Давай!

Конечно, чин с двумя шпалами ответил на мой вопрос, но на следующий день меня вызвали в штаб полка, и я попал на «беседу» с майором оперативного отдела.

В разговоре со мной майор дал мне понять, что знает, кто мой отец и кто я такой сам. И что если мне не нравится обстановка в нашей части, то есть и другие подразделения в Красной Армии, в которых людей всему учат, и они очень быстро становятся всё понимающими, если в процессе обучения остаются живыми.

Это был очень тонкий намёк на «штрафбат», и нужно было быть совсем уж идиотом, чтобы его не понять.

Я понял.

\*\*\*

Глава восьмая  
Первые бои

Наши части двигались в юго-западном направлении вдоль линии фронта. То ли в Калужской, то ли в Брянской области мы приняли первое настоящее боевое крещение в районе городов Козельск-Сухиничи.

Бой был скоротечный, и всё же наш эскадрон потерял несколько человек. Немцы поспешно отступили, мы освободили несколько населённых пунктов, и из леса сразу стали возвращаться в свои дома мирные жители.

Несчастливая русская земля! С незапамятных времён нет на тебе покоя. То князья дрались за стол княжеский, то хищные татары за нежелание быть покорёнными сжигали твои города, то немцы...

Не помню, откуда, но я знал историю Козельска, уничтоженного Чингиз-ханом до последнего младенца за сопротивление Орде. И вот сейчас, глядя на погорельцев и на беженцев, идущих из леса, я старался отыскать в них следы характера или черты лица далёких предков, когда-то с ожесточением сопротивлявшихся дикой татаро-монгольской силе... Но потом вспомнил, что тех древних козельцев, кто сопротивлялся Чингиз-хану, всех тогда же перебили, а значит, у них не было потомков. И я успокоился.

В тот же день мы стали помогать жителям восстанавливать их разрушенные дома и лачуги. За это они нам помогали избавиться от вшей, совсем одолевших нас.

Откуда-то появились большие казаны и вёдра, большие чугуны, в которых кипятилось наше грязное бельё, портянки, брюки и гимнастёрки. После стирки мы мылись тут же и сами. Это была наша первая большая передышка после приезда на фронт. Но она длилась недолго.

Через два-три дня, рано утром, мы стали готовиться к выступлению. Для начала построились поэскадронно на поляне в ближайшем лесу, командир полка зачитал приказ и объявил благодарность всему личному составу...

В то время, когда мы ещё отдыхали, занимаясь истреблением вшей, за нами постоянно наблюдал самолёт-разведчик «рама», как мы его называли между собой. И тогда ещё был разговор среди казаков, что не зря она над нами летает, не зря круги нарезает, подлая. Хотя бы одно зенитное орудие было у нас, чтобы пугануть это пугало так, чтобы оно навек успокоилось! Но не было у нас зениток. Не было! Казачки умудрялись обстреливать эту погань из пулемётов и даже винтовок, да что толку? Так и получилось, что эта «рама» очень хорошо поработала над нами, сняла всё, что двигалось и затаилось, зафиксировала живое и мёртвое на фотоснимки, которые и выложила на стол немецкому командованию.

Как только комполка закончил свою речь, мы услышали приближающийся шум самолётов. Из-за низкой высоты полёта, а особенно из-за того, что мы находились в лесу, трудно было сразу определить тип и принадлежность самолётов. Но когда на нас посыпались бомбы, мы сразу всё поняли и бросились врассыпную.

В течение часа «хейнкели» и «мессершмитты» обрабатывали нас на низкой высоте весьма усердно. Особенно постарались в деревне, где стоял наш обоз и находились хозяйственные подразделения. Всё смешали с землёй! Были большие потери. Особенно много было убито лошадей. Пришлось задержаться ещё на несколько дней в этом месте, чтобы привести себя в порядок и похоронить убитых. Тяжелораненых отправляли в тыл, легко раненым делали перевязки, и они тут же становились в строй. Тяжело раненных лошадей пристреливали, разделявали и отдавали на кухни, на еду солдатам и местным жителям, оставшимся в живых после бомбёжки.

Досталось не только военным, но и мирным жителям в досталь.

Всё это происходило в июне-июле 1942 года.

После бомбёжки были усилены меры безопасности.

По приказу командира дивизии полковника Зубова из нашего полка должны были назначить один взвод для охраны штаба дивизии. Выбор пал на наш первый взвод.

В тот же день мы были выстроены, осмотрены на предмет комплектации боевой экипировки и отбыли в расположение штаба дивизии, в распоряжение коменданта.

Как потом выяснилось, мы должны были вместе с сапёрами строить для штабных работников индивидуальные блиндажи, бункера, укреплять огневые точки, рыть траншеи и прочее. И ещё плюс к этому нести караульную службу при штабе и оперативном отделе. Работа была сложная и трудная. Правда, трудности теперь нам были нипочём: мы могли воевать, работать, нести караульную службу, даже не спать на политзанятиях, а всё потому, что мы стали кормиться из офицерской кухни: первое, второе, третье - всё как полагается. Зажили по солдатским меркам хорошо!

В 1942 году наши войска не везде продвигались вперёд, приходилось и отступать, и маневрировать, поэтому наш штаб довольно часто менял своё местоположение. И каждый раз на новом месте нам приходилось копать землю для разного рода укреплений, а также для лошадей.

Господи, сколько пришлось лесу перепилить, а сколько тысяч кубометров земли перекопать! И всё нужно было делать быстро и в срок, не считаясь ни с какими трудностями, а подчас и потерями.

Насмотрелся я за то время, что наш взвод был прикомандирован к штабу дивизии, на штабных работников. Посмотрел какие откормленные, чисто выбритые и холёные, в новых, хорошо подогнанных гимнастёрках и хромовых сапогах, с петлицами не ниже одной шпалы, то есть капитана, шныряли они молча рядом с нами во время нашей тяжёлой работы и так же молча, без слов благодарности, прятались в вырытых нами укрытиях во время бомбёжек и артобстрелов.

Много чего я увидел из того, как «воюют» штабники в штабе. И обидно стало, что мы там, на передовой, готовы за 100 граммов фронтальной водки, ежемесячной походной бани и мало-мальски сытного обеда воевать за Родину хоть всю жизнь, а эти... Эти кормят нас как последних рабов, нашу водку пьют сами со своими бабами, в огромных количествах прикомандированных к различным дивизионным службам, моются нашим мылом в банях и гонят нас на смерть именем Родины...

Насмотревшись на всё это, я сделал для себя вывод: есть два сорта офицеров - штабники и окопники. Окопники разительно отличаются от штабной своры. Они вместе с солдатом и порох нюхают под самую завязку, и вшей вместе кормят, и одними сухарями и ржавой селёдкой давятся, и в одну могилу подчас вместе ложатся.

\*\*\*

## Глава девятая Тревога

В штабе дивизии мы прокантовались с месяц.

В 4 часа утра боевая тревога подняла нас на ноги. Быстрые сборы. Готовим к походу лошадей, поим их, кормим, и получаем сами паёк на сутки: сухари и пшённый концентрат. Всё боевое оружие, которое у нас есть, цепляем на себя. Седлаем лошадей, выезжаем вместе с комендантским взводом на построение.

Переключка.

Подаётся команда «Рысью марш», и мы летим вперёд.

Вот уже рассвело. Солнышко взошло. Где-то недалеко, километров за 10-15, слышатся орудийные выстрелы, потом гукают разрывы снарядов. В ту сторону, откуда бьёт артиллерия, движутся пехотные части. Промчались вперёд несколько автомашин с зачехлёнными орудиями, два-три лёгких танка старого образца.

Вдруг над нами появилась «рама». Кое-кто из пехотинцев начинает беспорядочную стрельбу по бронированному разведчику, но что может сделать винтовка? Послышались окрики командиров, и колонна пехотинцев выровнялась и двинулась дальше.

Внезапно из-за опушки леса показались немецкие самолёты, которые мы называли «штукасы». Правильно это или нет, не знаю. У нас их называли именно так. По силуэту они похожи скорее всего на хищную птицу, стервятника. У «штукасы» не убираются шасси. Когда он пикирует, создаётся впечатление, будто стервятник увидел свою жертву и низко

спустился к земле, чтобы своими когтями схватить её. Спустившись почти до земли, он включает сирены и наводит на солдат такую панику, что глядя на некоторых воинов становится страшно за их психическое состояние. Не каждый выдержит такой психический натиск. Да ещё и пулемёт безостановочно начинает поливать всё вокруг, и прочий боезапас сыпется беспрерывно с неба...

Наше штабное охранение хоть и вырвалось чуть подальше от этой колонны, но всё равно первые бомбы оказались нашими.

Мы уже не раз попадали в подобные переплёты, и без команды знали, что делать в такой ситуации.

Необходимо как можно быстрее и подальше отъехать в сторону от центра бомбёжки, положить на землю или поставить в какое-нибудь укрытие лошадей, а самим залечь.

Но на сей раз всё получилось так быстро, что я даже не успел слезть с лошади, как рядом рванула бомба.

Мне кажется, что всю силу взрыва и все осколки бомбы приняла на себя моя несчастная лошадь, только поэтому я и остался живой. Взрывной волной меня отбросило в сторону и слегка присыпало землёй.

Я затаился.

Бомбёжка быстро кончилась, так же внезапно, как и началась. Всё кругом стихло, только были слышны стоны раненых, ругань солдат и испуганное ржание лошадей. Где-то невдалеке я услышал лязганье сапёрных лопаток. Понял: это живые копали могилы для только что убитых своих товарищей.

Я не был ранен, но настолько был силён ушиб правой ноги, что не мог самостоятельно передвигаться.

Мои товарищи подняли меня, показали мне мою убитую лошадь, сняли с неё седло, погрузили меня на санитарную брочку и мы продолжили свой путь по указанному маршруту.

По дороге мы всё-таки оторвались от колонны немного вперёд. Нога моя от тряски ещё больше разболелась. Я хотел было снять сапог, но самостоятельно сделать этого не смог, попросил помочь мне рядом сидящего легкораненого, но и у него ничего не получилось.

Пришлось пойти на крайность и разрезать ножом голенище.

Мне очень было жалко сапог, он был не абы-кабы, а яловой кожи, да ещё подогнанный по ноге на мой 39-й размер ещё в Ставрополе.

Боль немного утихла, я даже поспал немного. Проснувшись, стал задумываться - как же я, казак, буду теперь без лошади? Ведь она со мной пришла ещё из Ставрополя. Строевая, кавалерийская лошадка. И такие мы были с ней друзья, что понимали друг друга с полуслова. Нет, казак без лошади - что птица без крыльев! Конечно, дадут какую-нибудь животину, но это уже не то.

Я вспомнил, что во время прошлой тяжёлой бомбёжки полка были потери и в нашем подразделении, но незначительные: два-три человека и несколько лошадей. Вряд ли сейчас найдут для меня хорошего коня среди своих, эскадронных животных. Придётся ждать или пополнения, или следующей бомбёжки.

По дороге я кое-что узнал о той дивизии, с которой мы вместе шли на фронт. Она впервые попала под бомбёжку, и это был её первый бой с врагом. Дивизия была сформирована полностью из мальчишек последних двух лет призыва где-то далеко в тылу, и их, необученных, но хорошо обмундированных и экипированных, бросили сразу на фронт, вероятно, решив, что война - лучший учитель для солдата.

Сколько же их погибло и было ранено только за одну эту бомбёжку? Какие глупые и ненужные потери!

Зато они всех убитых наших лошадей подобрали и сдали на кухни. Значит, уже кое-чему научились, даже ещё не дойдя до настоящей войны. Действительно, выходит, война - величайший учитель!

Всю ночь мы были в пути. И всю ночь было видно зарево войны на западе и слышно гулкое уханье дальнобойных орудий, выстрелы и разрывы снарядов.

На рассвете прибыли к месту назначения. Расседлали лошадей, у меня, конечно, лошади не было, зато седло осталось, оно служило подушкой. Командиры дали солдатам часик отдохнуть, потом - завтрак и обязательные политзанятия.

Я получил медицинскую помощь, и мне даже позволили немного отдохнуть, пока опухоль на ноге не опадёт.

Через несколько дней я почувствовал себя значительно лучше, но на строительстве бункеров и ходов сообщений я ещё не участвовал. Зато караульное охранение нёс, и даже с двойной нагрузкой - из-за нехватки бойцов во взводе.

Недели через две мне дали новую лошадь, ушибленная нога почти зажила. Служба при штабе дивизии закончилась, и нам на смену прибыл взвод соседнего эскадрона нашего полка.

Вновь по тревоге нас подняли ночью, и при полной боевой готовности взвод прибыл под утро в расположение 8-го кавалерийского полка.

Здесь находились в укрытии коноводы с лошадьми почти со всех эскадронов. Много было легкораненых, но уже способных держать в руках оружие. А ещё больше, как, впрочем и везде при штабах, штабных работников, то есть тыловых крыс.

Как их ненавидела окопная солдатня!

Кроме нашего взвода здесь собрали казаков из разных эскадронов, даже были те, кто вышел из окружения и не мог найти свои части. Нас собралось довольно много, почти целый эскадрон. Нас хорошо накормили тушёной картошкой с кониной, дали по 100 граммов водки. Для меня это был первый случай на фронте, когда я пил «наркомовские 100 грамм».

Затем было построение всего личного состава, и командир эскадрона, бывший взводный, лейтенант Левченко, знакомый ещё со Ставрополя, ознакомил нас с поставленной задачей.

Да мы и сами догадывались, куда мы поедем.

Перед выступлением непосредственно на передовую нам всё же дали небольшую передышку. Видимо, то место на карте фронта было особо важным для нашего командования, потому что было много суеты вокруг нас со стороны штабного начальства и громкой трескотни политработников на занятиях.

Немецкие войска занимали выгодные позиции как на левом, так и на правом берегу реки Жиздры. Несмотря на хорошо укреплённый немцами район боевых действий, нашей дивизии всё же удалось выбить их и закрепиться на обширной территории приданного нам плацдарма. Конечно, всё это происходило с большими для нас потерями как в живой силе, так и в технике. Но кто на это тогда обращал внимания? Немцы отступали, и это было главное. Правда, отступая, они яростно сопротивлялись, стараясь как можно больше нанести нам вреда и невосполнимого урона. Но ведь это война, а не полевые учения в глубоком тылу. И мы понимали, что, отступая, немцы делают всё, чтобы истребить нас до самого последнего человека. И мы видели и чувствовали на себе, что враг, уходя с насиженных мест, всё же успевал заминировать и пристрелять каждый кустик и каждую тропинку на передке. И считали это тоже в порядке вещей: разве мы бы поступили на их месте по-иному?

Правда, как раз мы-то и поступали тогда совсем по-другому в таких случаях.

\*\*\*

## Глава десятая

### Переправа

Скорее всего, немцы точно знали, что на этом участке фронта происходит накапливание наших сил для наступления, поэтому они вели прицельный и губительный огонь по всем возможным местам массового скопления живой силы и техники. Не исключая, что их разведка работала в нашем тылу с большим успехом, чем наш СМЕРШ.

Не доезжая нескольких сот метров до указанного нам места переправы на реке Жиздра, мы вдруг услышали несколько далёких хлопков.



По звуку это были наши 120 миллиметровые полковые миномёты, так определили офицеры, и мы спокойно продолжили передвижение.

Неожиданно раздался противный свист, и три мины точно попали в центр нашего эскадрона, натворив колоссальные беды.

Они рванули с интервалом в несколько секунд одна за другой и почти что рядом друг с другом.

Мгновенно всё смешалось вокруг. Ещё одна, а может быть, и две мины разорвались, даже не коснувшись земли, как шрапнель, в самой гуще людей и лошадей.

Сразу появилось много раненых и убитых казаков. Шарахнулись в сторону испуганные насмерть лошади. Всё смешалось в какой-то один надрывный и непонятный крик. Лошади ржали, станичники стонали, кричали и звали на помощь.

В эту минуту, ожидая следующего взрыва, каждый думал только о себе: где и как укрыться от губительного металла? Как спасти себя и только себя...

Я тогда был хоть и неверующий, но истово молил Бога, прося оставить меня живым и невредимым.

И я остался живым, только лошадь моя немного была поцарапана мелкими осколками.

Повезло!

Налёт кончился внезапно, как и начался. Вскоре и казаки пришли в себя от шока. Начали перекликаться между собой, собирать раненых и убитых.

Осела пыль, и солнечные лучики стали пробиваться сквозь редкие прибрежные кусты. Было ещё раннее утро, только-только занимался очередной день войны, а на сердце у всех уже лежала мрачная вечерняя тоска...

По голосам окликающих друг друга я узнал своих казаков-станишников, друзей со Ставрополя - Пашу и Мишу. Они тоже уцелели в этой передрыге и помогали быстро перевязать и отнести в сторонку раненых.

Когда они подошли ко мне, я спросил их:

- А где Валентин Лосев и лейтенант Левченко?

Оказалось, что командир взвода с перебитой ногой и Валентин, ещё один наш дружок с Кубани, лежали совсем рядом со мной. Только Валентин был уже мёртвый.

Мы быстро прибинтовали ногу Левченко до самого бедра к двум палкам, найденным тут же, использовав их вместо медицинских шин. Валентина - царствие ему Небесное! - похоронили на опушке леса у одинокой сосны. Вырыли неглубокую могилку, с полметра, завернули в плащ-палатку и опустили в землю.

Я ещё перед этим посмотрел, как его убило. Оказывается, задело крупным осколком. Осколок, что утиная лапка, попал в левую сторону груди, между рёбрами и, видимо, задел сердце.

Я всё старался запомнить место. Ещё надеялся, что, может, быть когда-нибудь придётся навестить могилку своего казака-станишника, друга и боевого товарища, ведь мы с ним жили почти на одной улице, учились в одной школе...

Перевязав раненых и похоронив убитых, мы наскоро обработали и самих себя. Царапины и мелкие кровоточащие ранки забинтовали, благо нас каждого снабдили индивидуальными пакетами и было чем перевязаться.

Подъехали к нам и санитарные фургоны - кто-то, видно, сообщил в штаб о нашей беде, и нам выслали помощь. Погрузили раненых, тех, кто не мог идти своим ходом, в том числе и нашего командира взвода Левченко, и санитарные повозки ушли в тыл.

Мы с товарищами как-то быстро всё сделали с похоронами Валентина и перевязкой командира взвода, и теперь, в минуту свободного времени, смотрели на то, что делают на месте трагедии наши товарищи.

В отличие от нас они выкопали одну братскую могилу, положили в неё всех убитых, закопали, предварительно укрыв плащ-палатками, и отсалютовали над усопшими. Старшине передали пеналы-медальоны с адресами родных, у кого они имелись, и занялись лошадьми.

Что можно было снять с убитых животных - сняли, мясо разделали не хуже, чем профессиональные мясники, и отдали на кухню. Война - войной, а солдатский желудок нужно было чем-то набивать.

Оставшихся в строю лошадей казаки отдали своим коноводам, солдатам пожилого возраста, и своим одногодкам из легкораненых. Все, кто был жив и невредим, собрались в кружок и, как истинные казаки, решили выбрать себе нового командира. Благо среди нас нашёлся один лейтенант из окруженцев, прикомандированных к нам ещё на формировании, ему-то мы и доверились, несмотря на то, что он был пехотинец.

Новый командир скомандовал построение, и мы сразу после этого двинулись к переправе.

Буквально метров через двести-триста на опушке леса мы увидели наши 120 миллиметровые миномёты и полковые короткоствольные орудия, которые при нашем появлении неожиданно активно начали вести огонь по немецким позициям.

Так вот почему мы не почувствовали опасности при прошлом артналёте, понял я. Мы слышали выстрелы своих артиллеристов, а мины получили уже немецкие. Их залп мы просто не услышали, проморгали, и поплатились за своё разгильдяйство.

В следующий раз надо быть внимательнее.

Наши артиллеристы что-то уж слишком яростно вели огонь в сторону противника и немцы не остались в долгу, ответили им тем же.

Артиллерийская дуэль велась, как говорится, наобум Лазаря, потому что немецкие снаряды и мины ложились не прицельно: то здесь, то там, что нас и спасло, наверное, в этот раз. Будь вражеские артиллеристы понастырнее - нам бы несдобровать.

Вскоре стрельба с обеих сторон стала стихать, а затем и вовсе прекратилась.

К берегу реки тем временем стали подходить всё новые и новые подразделения. Среди них оказались и войска особого назначения, те самые, которые назывались «заградительными отрядами». Их бросило сюда высокое командование наводить порядок на переправе. Мы смотрели на них с чувством глубокого презрения, но помалкивали, понимая, что за любые негативные высказывания в адрес элитного подразделения нас могут просто тут же шлёпнуть в назидание другим. И будут правы: не разлагай дисциплину перед боем.

Форсирование реки Жиздра, притока Дона и Донца, началось в 16 или 17 часов в самом начале августа месяца.

Мы подошли к переправе с тревожным чувством.

Правый берег уже был занят одним из эскадронов нашего полка и ротой солдат какой-то пехотной части. На левом берегу, откуда мы должны были переправляться, никаких понтонов не было, а просто были заранее сбиты небольшие бревенчатые плоты и рядом качалась на воде пара надувных лодок. Зато в изобилии валялись заранее подвезённые брёвна, доски, горбыли и всякий плавучий хлам, годный для переправы.

Артиллерийская канонада стихла, казалось, по всему фронту. Ни немцы, ни наши не стреляли, будто боясь спугнуть момент вхождения в воду огромной людской массы, которую потом легко можно было утопить, насыщая ненасытного бога войны новыми жертвами. Так хищники подстерегают животных на водопое, прячась в воде или в прибрежных зарослях.

Мы всеми своими нервами чувствовали этого хищника и тревожились, оттягивая момент вхождения в воду.

Река была шириной порядка 50-60 метров. Кое-где глубокая, а где-то и помельче. Это было заметно по самой воде. Где быстрина и рябь - там мель, а где крутились водовороты - омут. Но какая бы глубина ни была, не все у нас умели плавать. Некоторые воины ни разу в

жизни даже и не видели такой широкой реки и со страхом смотрели на воду, как на свою естественную могилу.

Наше счастье, что в небе не было немецких самолётов!

Не ожидая команды командиров, мы молча взялись за строительство плотиков.

Все казаки нашего взвода были вооружены автоматами ППШ с запасными дисками, да ещё на нас была навешана кое-какая военная амуниция, способная даже хорошего пловца отправить на дно при малейшей оплошности, не то что поддержать его на воде, поэтому все работали с необычайным азартом.

Лучшими были не умеющие плавать вообще.

И вот началось медленное вхождение в воду.

Пока было мелко, мы толкали плотик перед собой, затем плыли, держась за борта. Всё наше имущество, в том числе и наши автоматы, лежало на плотках. Кто не умел плавать, тот старался сесть в лодки и добраться до берега с комфортом. Но чем дальше мы отплывали, тем глубже становилась река, и вот уже многие стали вскрикивать и в страхе хвататься друг за друга. Кто-то даже повернул назад... Начиналась паника, хотя до берега остались считанные метры.

И тут, словно по чьей-то команде, на наши головы посыпались немецкие мины. Разрывались они на воде, на плотках и даже на солдатских головах и плечах. Поднялся крик, шум, плач, мат... Всё смешалось в единый гул.

Кто первый вырвался вперёд, те благополучно добрались до заветного берега, те, кто остался под обстрелом, были в панике.

Я видел и слышал, как кричал, матерился и стрелял по людям наш новый взводный, пытаюсь заставить солдат завершить переправу. Возможно, он даже и застрелил кого-то из своего ТТ, в такой горячке всё возможно.

А тут и заградотряд подключился к наведению порядка...

Ужас охватил людей.

Но наш эскадрон всё же благополучно завершил переправу, и мы залегли в укрытие под берегом, не веря ещё сами себе, что остались живыми.

Появился и наш взводный, со слезами на глазах просивший у нас прощения за своё поведение на реке.

- Братцы, - плакал он, - по-другому я не мог, простите! Если бы, не дай Бог, с перепугу повернули назад, нас бы всех посекали заградотрядовцы. У них приказ такой есть. Вы же видите, что они там творят, сволочи!

Мы это и сами знали, и только что видели всё своими глазами.

Все, кто не мог осилить водную глубину, попытались вернуться назад, где были встречены пулемётным и автоматным огнём НКВДэшников.

И ни один из них ни на наш берег, ни на тот, с которого мы все вместе шагнули в воду, не доплыл живым...

Много, ох, много ребят погибло на этой переправе не только от немецких мин!

Много утонуло раненых. Утопленники плыли по реке, как брёвна на лесосплаве...

Я тайком молился и призывал Господа Бога и дальше сохранять мою жизнь. И, видно, он внял моим молитвам.

\*\*\*

## Глава одиннадцатая

### Передовая

На берегу, в укрытии, мы сделали небольшую передышку, немного опомнились, получили задание занять пустующие окопы и подремонтировать их.

Эти окопы первоначально принадлежали немцам. Потом немцев оттуда выбили наши, и так происходило несколько раз подряд. Что от этих укрытий могло остаться? Только вши, которым безразлично кого кусать: русских или немцев. Но всё равно это были окопы, хоть и

порядком разбитые артиллерией с обеих сторон. И мы стали приводить их в порядок, а когда узнали, что будем здесь стоять долго, до прихода сибирских частей, зарылись в землю прочно и обстоятельно.

На этой линии обороны мы находились где-то до сентября месяца. Ничего более впечатляющего у нас за это время не произошло. Конечно, были и бомбёжки, и артобстрелы, но к этому мы уже все давно привыкли, считали делом обыкновенным и пустяжным. Такое относительное затишье, видимо, устраивало до поры до времени обе стороны, и мы немного успокоились.

Правда, нас донимали снайперы-кукушки. Как только какой-нибудь боец зазевается, высунет голову над окопом - считай, что его уже убили.

Был однажды со мной такой случай: рядом со мной пристроился пулемётчик со своим «дегтярём» - ручным пулемётом. Он через каждые полчаса должен был простреливать немецкую передовую длинной очередью. Не помню уж почему, но он возле нас задержался, и несколько раз стрелял из одного и того же места. Тут-то его и засёк снайпер. Одной разрывной пулей в голову свалил наповал. И каска не помогла бедняге.

А ведь сам виноват. Нужно было чаще менять место, а он поленился.

А вообще-то наши солдаты сами себя не жалели. Не берегли свою жизнь. А почему? Да потому, что начальство их ставило ни во что. На рядовых смотрели как на безымянную массу, которую вылавливали из разных уголков страны и свозили на фронт такие же бесчувственные государственные чиновники, как и наши самые высокие военные начальники, окопавшиеся в тылу. Мы для них были никто. И потому они поставляли на войну не обученных, голодных и ещё по дороге на фронт обовшивевших людей.

Попадая на передовую, затюканные обстоятельствами и начальством, они смело ходили по брустверу своего окопа, разминая ноги, ничуть не заботясь, что в это время любого из них может взять на мушку немецкий снайпер. Почти каждый такой «смельчак» втайне рассчитывал на то, что уж он-то точно будет ранен в случае чего, потом попадёт в госпиталь, а там, глядишь, эта мясорубка закончится миром и...

Но немецкие снайперы редко отпускали свою жертву живой. Уж если они брали кого-то на прицел, то убивали наповал. Вот почему так много наших бойцов гибло во время оборонительных боёв. Но это только лично моё мнение, возможно, кто-то думает по-другому. Сколько людей, столько и мнений, как говорится.

Доставка продовольствия через переправу была организована плохо. За всё то время, что мы находились в обороне, мы забыли, что такое горячее питание. Слава Богу, что хоть сухой паёк, сухари да селёдка нас выручали.

Частенько вспоминалось время, проведённое на охране штаба дивизии. Тогда мы не просто хорошо ели, у нас были настоящие деликатесы: американские галеты, австралийский свиной шпик, аргентинские четырёхугольные двух- и четырёхкилограммовые консервные банки, начинённые говяжьим мясом. Мы всё это ели с превеликим аппетитом, и находились хоть сравнительно близко от передовой, но всё же в тылу, куда не долетали немецкие пули.

Сейчас мы на передовой, неужели никому нет дела, в каком состоянии мы находимся? Неужели мы всеми забыты и брошены?

Иногда, когда спускаешься под обрыв к реке, чтобы зачерпнуть воды в котелок, видишь, что под берегом лежат ещё не убранные трупы наших солдатиков, уже начавшие разлагаться. Кругом вонь и смрад, зато здесь нашли хорошее пристанище для себя вороньё да крысы, пирующие останками наших товарищей.

А уж вши, наши законные фронтовые спутники, они как будто помогают нам быть бдительными и не спать слишком крепко по ночам. Ночью их бьёшь на себе, а днём стараешься бороться с ними иными способами: то в землю зароешь всю свою одежду, то, вытащив её из земли и отряхнув от пыли, добиваешь оставшихся паразитов руками.

Зато в окопах мы были относительно свободными людьми. Здесь не было офицеров и политработников, поэтому можно было иногда и ремень не надевать поверх гимнастёрки, и пуговицы на вороте не застёгивать, рукава до локтей закатать, даже совсем голому некоторое время разрешалось полежать на солнышке.

Но главное - можно было не слушать политзанятия.

Так нам политруки надоели в тылу, что просто все отдыхали от них! Ну и, конечно, радовались, что нет строевой подготовки. Ведь даже в прифронтовой зоне нас обучали ходить строевым шагом и правильно отдавать честь старшим по званию. Лучше бы лишний раз покормили.

\*\*\*

#### Глава двенадцатая Солдатские кладбища

Ещё до прибытия нашей части на передовую, за день или за два, здесь прошли сильные бои. Кое-где ещё валялись необрунные трупы наших бойцов. И было жутко от этого соседства, и кошки скребли на душе.

Немцы своих убитых не оставляли на поле боя, они их сразу убрали любыми способами и хоронили на солдатских кладбищах недалеко от передовой, в отдельных могилах, под крестами, на которых вешали каски убитых.

Вместе с покойником в могилу они клали половинку металлического солдатского жетона, на котором был выбит порядковый номер и буквенное обозначение звания, а также наименование воинского подразделения, в котором убитый солдат проходил службу. Так что найти могилу и стопроцентно опознать захороненного в ней можно хоть через сто лет, потому что вторую половинку жетона канцелярия подразделения отправляла по инстанциям в Германию, подтверждая ею факт смерти и указывая точное место захоронения солдата. Конечно, так у немцев было не всегда, но они старались быть и в этом деле точными. И у них многое получалось. Впоследствии я в этом сам убедился не однажды.

Наши же похоронные команды почему-то всегда не успевали не только хоронить убитых по-человечески, а элементарно стаскивать трупы в общую кучу и просто засыпать их в первых попавшихся больших воронках от авиабомб, чтобы их не расклёвывали вороны и не ели крысы, чтобы от них не шло никакой заразы к ещё живым. О каких-то «смертных пеналах» и точном указании на картах мест захоронения вообще речи не шло. Большинство убитых уходило на тот свет безымянными. Убит и убит, похоронен – значит, хорошо, нет - на нет и суда нет. Документы у покойников частично забирались и затем пропадали в штабах различного ранга, частично оставались в кровавых гимнастёрках и шинелях. Поэтому так много у нас после войны оказалось без вести пропавших.

Говорят, что государству это было даже выгодно, потому как если нет извещения о гибели, «похоронки», то нет вдовам и родителям пенсии по убиенному воину. А это многие и многие миллионы рублей экономии в бюджете государства.

Наблюдать за разлагающимися трупами наших солдат было неприятно.

Практически всегда, после каждого боя, все свежие трупы летом моментально облепливала мухота, откуда-то вдруг налетало голодное воронье, крысы, и вся эта мразь начинала своё пиршество над уже беззащитными героями войны, не боясь ещё живых. Воздух, кроме до приторности знакомого порохового дыма, наполнялся вонью и смрадом разлагающихся человеческих тел.

Солдат, привыкший к фронтовой обстановке, порой даже не замечает сии прелести переднего края, Это только для необстрелянного новичка подобный пейзаж - шокирующая картина, для опытного солдата-окопника - рядовые будни. И в том, что люди привыкают к смерти на войне, - самое страшное, что может быть вообще на свете.

\*\*\*

#### Глава тринадцатая

## Атака

При наступлении все уцелевшие от противника окопы, разные бугорки, воронки от снарядов и мин, - все эти уже готовые или почти готовые укрытия занимают бойцами, углубляются и поправляются таким образом, чтобы солдат чувствовал себя в относительной безопасности на новом месте.

На том участке, который заняли мы, были расположены в основном казаки нашего полка. Я, как связной, находился возле командира своего эскадрона, и я должен был держать постоянную связь с нашими соседями. Телефонной связи у нас не было, поэтому мне приходилось передвигаться под огнём противника где перебежками, где по-пластунски, но я справлялся с поставленной задачей - поддерживал связь между командирами эскадронов непрерывно.

На переправе реки Жиздры мы потеряли много убитых и раненых, утонувших вместе с боеприпасами и вооружением. Теперь на правом берегу мы обосновались капитально, но о наступлении, пока не подойдёт подкрепление, думать было нечего. Все ждали сибиряков. О них нам говорили уже много дней подряд, и мы все с нетерпением ждали этих чудо-солдат, спасших Москву и Ленинград в 41-м.

Переправу через Жиздру наши всё так же не могли наладить как следует. Немцы обстреливали её и днём, и ночью. Пристрелялись, и били на поражение с первого залпа. Столько ребят положили! И били в основном из миномётов. Иногда даже из своих знаменитых шестиствольных «ванюш». Тогда мины падали не только в реку, но доставалось и нам. Разброс мин у «ванюши» был большим, а прицельности никакой. Приходилось зарываться в землю всё глубже и глубже.

Доставка к нам боеприпасов и продуктов питания была никудашная. Но однажды каким-то чудом удалось переправить всё, что нам тогда требовалось. И даже чуть больше того. Даже разливную водку доставили в расчёте 100 грамм на человека. Но так как потери у нас были большие, то водки живым перепало гораздо больше, чем полагалось.

В тот же день пришло и долгожданное подкрепление, но это были не сибиряки, как ожидалось, а снова новобранцы из Средней Азии.

Теперь мы точно знали: раз водку выдали, подкрепление подошло, - значит, скоро в бой.

И действительно, вскоре заработала наша артиллерия, несколько залпов дали наши знаменитые «Катюши». Впервые мы услышали такой потрясающий шум и грохот с нашей стороны. Канонада длилась 45 минут. Мы думали, что после такой артподготовки на той стороне ничего живого не осталось. Такая сила и мощь была в нашей артподготовке, что душа радовалась!

Артподготовка закончилась. Взвились над головами ракеты. Я как связной оповестил своих соседей-командиров о предстоящей атаке, снова взвились сигнальные ракеты, и по всей линии фронта, насколько было слышно, разнёсся не то крик «Ура!», не то сплошной мат, и слился в один страшный шелестящий шум.

Этот шум-крик длился вместе с трескотнёй автоматов, ручных пулемётов и одиночных винтовочных выстрелов не более десяти минут. Немцы нарочно подпускали нас к себе поближе, и как только мы подошли достаточно близко, ударили по нашим войскам кинжальным перекрёстным огнём со всех сторон и из всех уцелевших стволов и орудий.

Мы залегли.

Многие тогда навсегда прижались в последний раз к родной земле.

Особенно много погибло среднеазиатов.

В бою эти восточные люди действовали как бараны, прости меня Господи! И жалко их было до слёз, и злость против них просто закипала в крови, когда лежишь и видишь, что они творят во время атаки.

Едва кого-нибудь из них убьют, остальные сразу кучкой собираются вокруг убитого и начинают читать над ним молитвы и выть по-бабьи... Тьфу! Буквально через несколько секунд всю эту гоп-компанию немцы отправляли к праотцам или к Магомету, как считали сами азиаты.

Так захлебнулась наша опрометчивая атака.  
Мы отступили и снова заняли свои старые позиции.

\*\*\*

#### Глава четырнадцатая Национальный вопрос

В нашей окопной фронтовой жизни, где заклятые «друзья» солдата - только вши под рубахой, чего только и о чём не передумаешь, сидя на дне какой-нибудь ямки, спасающей тебе жизнь!

Взять хотя бы вот этих самых нацменов, солдат, которых нам подбросили на подкрепление перед самой атакой. Я, простой казак, и то видел, какие они были неподготовленные к этой бойне, а что же думали отцы-командиры, бросая их на наше направление, как неодушевлённый предмет?

После этого боя я ещё больше понял, и увидел, как жестоко относятся к своим подчинённым наши верхи. Ведь кажется, что именно они-то и должны были заботиться о нас, идущих в смертельный бой, защищающих не только свои дома и своих родных, но и этих самых начальников, и их семьи, и их дома, их имущество... Вместо того, чтобы беречь и лелеять нас, например, как вещь вполне нужную в хозяйстве страны, они бросали нас в гибельные атаки и просто обворовывали при каждом удобном случае, унижали и оскорбляли, под страхом жестоких репрессий заставляли добиваться требуемого им результата любой ценой.

В основном ценой жизни солдат и низших офицеров...

Я думаю, что и наши казачьи части они специально посылали на самые опасные участки фронта, чтобы добить нас до конца, коли не удалось это сделать в гражданскую войну и во время коллективизации. Уже на фронте офицеры нам прямо заявили: забудьте, что вы казаки и никогда не вспоминайте, иначе худо будет. Мы всегда были у начальства бельмом в глазу. Всегда.

К примеру, кавалерийский корпус генерала Доватора был сформирован в самом начале войны исключительно из казаков Дона и Кубани. Их послали в глубокий тыл немецких войск, где они с относительно малыми для себя потерями били немцев и нанесли им колоссальный урон, а при выходе с территории противника столько казаков сложили головы из-за непродуманного финала операции!.. Казаки поговаривали, что наши гениальные и шибко прозорливые военачальники подумали, что это немецкие кавалеристы пошли в атаку и встретили выходящих к своим казаков убийственным огнём...

Сколько казаков в те дни сложили головы в дремучих смоленских лесах от огня своих - один только Господь Бог знает!

Да и сам генерал Доватор не уцелел.

Оставшиеся в живых доваторовцы пополнили ряды нашего полка и нашего эскадрона. Они-то, очевидцы этой бойни, и рассказали нам о неграмотных действиях командования. Конечно, нам везде и всегда нужна была только победа и мы её всегда достигали, но какой тяжёлой ценой! Немцы потеряли в этой войне 8 миллионов, а мы - 24 миллиона человеческих жизней. Есть небольшая разница.

\*\*\*

#### Глава пятнадцатая Фронтовые будни

Вот так сидишь в окопе, а мысли сами лезут в голову. Как же так получается, что после такой сильной артиллерийской подготовки немцы всё же выжили и смогли отбить нашу атаку? Как?

Во время этого боя рядом со мной тяжело ранило моего командира взвода. Я даже не знал, как его звали, и какая у него была фамилия. Товарищ лейтенант - он и есть товарищ лейтенант! Зачем ему ещё какая-то фамилия?

Лейтенант стонал и просил помощи. Но откуда её ждать, если рядом нет ни санитаров, ни медсестры.

Я подполз к нему и осмотрел.

Лейтенант был ранен разрывной пулей в локоть. Пуля прошла руку навывлет и вошла ему в туловище между рёбер. Такая рана требует много бинтов и ваты, а у нас всего только два индивидуальных пакета: у него и у меня.

Всё же я сделал перевязку, кое-как уложил командира на плащ-палатку и утянул его под берег реки.

Больше я его никогда в жизни не видел, до сих пор не знаю, остался ли он в живых или же нет. Подобрали ли его санитары, или же остался он под тем самым крутым берегом навечно.

Рядом с ним лежали в воде трупы давно утонувших и недавно всплывших солдат, на берегу валялись только что убитые и раненые, стонавшие и просившие помощи. И было их много. Очень много. На это зрелище было страшно смотреть. Никто не знал, кто должен был заниматься ранеными. И где их, этих ответственных за это, можно было искать.

Я снова вернулся на своё место, сообщил командиру эскадрона о случившемся и стал ждать приказаний.

Весь день казаки выносили раненых к реке, стараясь переправить их на тот берег. Убитых почти не трогали - не хватало людей. Стояла жара, и к вечеру от покойников стало тянуть смрадом - кровь в открытых ранах быстро портится на свежем воздухе. Похоронных команд не было видно, наверное, где-то делали свою обычную тяжёлую работу, забыв о нас напрочь.

Дня через два трупы вздулись, и уже вовсю тянуло в нашу сторону вонью разлагающейся плоти. Появились первые крысы. Казаки стали просто засыпать ночью убитых землёй, и хорошо, если кто-то из них догадывался нашарить в карманах трупа солдатский медальончик. Значит, семья получит похоронку и будет знать, где погиб и где похоронен их родственник. Но большинство хоронились без документов и становились без вести пропавшими, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Мы отказались от наступления и стояли в жёсткой обороне. Переправа как следует так и не была налажена, и поэтому снабжение боеприпасами и продовольствием не улучшилось со временем. Бывало, мы по двое-трое суток не получали ни горячей, ни холодной пищи. Выручали только всегдашние сухари и надоевшая всем селёдка, которую, однако, тоже не всегда можно было достать на нашем берегу. Воду брали из реки - больше неоткуда, - а в ней разлагающиеся трупы... И всё равно пили, другой не было.

Под конец августа наша фронтовая жизнь закончилась. Нас сменила какая-то пехотная часть, и мы с радостью сдали им свои вшивые окопы. Для нас было настоящим счастьем уйти с этого страшного места.

Оставалась последняя опасность - перебежка до переправы и сама переправа через Жиздру.

Из окопов уходили ночью. Мы старались незаметно перевалить через бруствер окопа и осторожно по-пластунски уползти к обрыву.

Всё прошло без стрельбы.

Солдаты из заградотрядов нас видели и не гнали, как при прошлой переправе, не палили в нашу сторону, и мы спокойно переправились на левый берег.

Переправились степенно, без суеты, потому что каждый понимал, что идём в тыл, на отдых, и получаем хоть короткую, но всё же отсрочку от возможной гибели.

\*\*\*

## Глава шестнадцатая Самолёт



После так называемой августовской операции мы так все обовшивели, что рады были залезть в котёл с горячей водой и покипятиться в нём часок-другой не хуже, чем кусок говядины в супе.

Нас сменили солдаты из Средней Азии. Наш 8-й кавалерийский казачий полк отвели на отдых и в то же время на пополнение. Теперь и мы находились в тылу, где-то в 15-20 километрах от фронта.

Перво-наперво нам устроили фронтую, то есть передвижную, баню. И, самое главное, устроили прожарку всего обмундирования. Даже бурки и попоны и те не избежали этой участи. Всё, где могла скрываться окопная вша, прожаривалось и пропаривалось.

В наш третий эскадрон тоже пришло пополнение. Одновременно нам назначили нового эскадронного - в звании капитана, с одной шпалой в петлицах. Новый командир, грузин крепкого телосложения, ещё не участвовал в боях, и мы внимательно присматривались к его первым шагам в эскадроне.

Штаб полка находился в соседней деревне, неподалёку от какой-то железнодорожной станции. Это была последняя станция перед фронтом, и станция эта была, видимо, большого стратегического значения: по ночам сюда подходили эшелоны для разгрузки разных боеприпасов и военной техники. Вот почему сюда днём налетали тучи немецких самолётов, бомбивших всё и всех вокруг. В том числе и нас.

Был я в это время уже связным при штабе полка от нашего 3-го эскадрона. В первом взводе я был более чем другие казаки приметный для командиров: во-первых, грамотный; во-вторых, самый молодой; в-третьих, хорошо ориентировался по карте; в-четвёртых, мог работать с компасом и легко определял своё местоположение на местности, в-пятых, был обстрелянным бойцом, ну и так далее.

Короче, я оказался на примете у нового командира, и он определил меня в связные. Хотя был и у меня большой недостаток - я не был комсомольцем. Но и этот вопрос решился как-то сам собой.

Однажды нас, молодых бойцов, оставшихся в живых из ставропольского казачьего полка, собрали у начальника штаба подполковника Аракеяна.

После краткой лекции о положении на фронтах, о новшествах в Красной Армии - введении генеральских званий и ношении погон во всех частях армии, о присвоении нашему полку звания Гвардейского и прочее, нам выдали по листку чистой бумаги и положили перед нами образец заявления о вступлении добровольцем в комсомол. Затем подполковник вышел, сказав перед этим, что вернётся через полчаса и чтобы все заявления были уже написаны.

Вот так нас приняли в комсомол.

Комсомольских билетов так мы и не получили, потому что наши кавалерийские части быстро меняли место дислокации, и даже почта за нами подчас просто не поспевала.

Особенно доставалось нам, связным. Мы мотались по всему переднему краю без сна и без отдыха сутками под постоянным обстрелом со стороны противника. Потери среди нас были большие, но на место выбывших сразу же назначались новые казаки, и наша служба работала без перерыва.

Мне часто приходилось находиться при штабе полка. У нас, у связных из разных эскадронов, был там свой бункер. Бывало, конечно, что мы целые ночи проводили в нём в полном спокойствии, отсыпаясь на месяц вперёд, но если нужно было срочно доставить какой-нибудь пакет, нам указывалось на конверте «аллюр» два или три креста, мы быстро седлали коней и мгновенно срывались с места надолго.

Немецкие самолёты часто бомбили железнодорожную станцию, а для бомбёжек делали заходы со стороны деревни, в которой располагался штаб полка. Во время пикирования самолёты пролетали так низко, что можно было видеть сидящего в кабине лётчика.

Нашу зенитную батарею, состоящую почему-то всего из трёх орудий и нескольких спаренных пулемётов, они давно уже уничтожили и потому летали нагло, ничего и никого не боясь.

Я решил отличиться, показать своё геройство. В огороде, где росла кукуруза и кусты какой-то ягоды, поставил в землю деревянный кол с колесом от телеги, к этому колесу прикрепил ружьё ПТР и приготовил бронебойно-зажигательные патроны. Найти на передовой ружьё и патроны не составляло труда. Замаскировался и стал ждать момента, когда начнётся бомбёжка станции.

И вот началось.

Когда самолёт пролетел надо мной, я дал ему вслед два выстрела из бронебойки. Самолёт как-то вздрогнул, пошатнулся, спустился ниже и скрылся за горизонтом, выпустив чёрную струю дыма.

Я выскочил из огорода, забыв всю маскировку, кричу:

- Сбил! Сбил самолёт!

А в это время мне навстречу какой-то оперативный работник из штаба бежит.

Выхватил опер из кобуры свой ТТ и набросился на меня с криком и матом:

- Я - говорит, - сейчас тебя, сосунок, на месте уложу за то, что ты демаскируешь местность, где находится штаб!

После этого моя служба в штабе закончилась.

Меня отправили в расположение эскадрона.

\*\*\*

## Глава семнадцатая

### Монголы

Наш эскадрон, да и не только наш, а и весь полк, укомплектовали новым пополнением, в основном людьми из Средней Азии.

Первый взвод, в котором я числился, пополнили 15-18 киргизами, абсолютно ничего не понимающими по-русски.

Мне поручили человек пять из них хоть немного научить говорить по-нашему.

Я с большой охотой взялся за эту работу. Но промучился с ними несколько дней и отказался от поручения.

Если они сами не хотят учить русский, то их никакими правдами и неправдами не заставишь. А они не хотели учить наш язык. Им многое не нравилось у нас, и они ко многому относились совсем по-иному, чем мы.

Например, у нас дополнительным пайком к суточному питанию было несколько граммов австралийского свиного сала. Они наотрез отказывались его есть, оказывается, по мусульманской вере есть сало не положено.

А что у нас можно было есть?

Баланду, которую готовили наши походные кухни?

Ну, был ещё хлеб, 800 граммов в сутки, его выдавали два раза в день по 400 граммов на человека. В обед и ужин в солдатский котелок бросали пшённую кашу-размазню или перловку. Что было есть правоверному мусульманину?

Киргизы меняли сало на сахар, который нам давали по 15 граммов в день, а ведь сало было единственным продуктом из жиров в нашем рационе.

Киргизы сильно себя доводили подобным питанием. Некоторые из них даже падали в голодные обмороки на занятиях. Но держались своего, сала не ели.

На строевой подготовке, чтобы научить их отличать правую и левую сторону, им привязывали к рукам пучки соломы и сена. Команда хоть и смешная, но зато получалась уверенная: «Сено-солома!».

Естественно, что о политзанятиях не могло быть и речи.

Так продолжалось до конца ноября, потом тех, кто вообще был неисправим, как говорили наши политруки - симулянты, тех отправили кого в штрафные роты, кого куда.

Одним словом, все были отправлены под Сталинград, где выживал один из ста.

Однако наша фронтовая жизнь и служба, какими бы трудными они ни были, продолжались.

Как я уже говорил, после августовских боёв наш полк получил право на отдых и пополнение в живой силе и технике.

Как таковой техники у нас не было вообще, нас выручали только лошади.

На конной тяге передвигались все артиллерийские орудия, а также тяжёлые и лёгкие миномёты. Естественно, все повозки тоже были на конной тяге. Наши строевые лошади к такой работе были не приспособлены и часто выходили из строя, а более крупные лошади, тяжеловозы, почти все погибли во время бомбёжек.

Как-то подняли наш полк по тревоге. Дали задание: за два часа мы должны преодолеть расстояние в 75-80 километров и выйти на встречу с представителями Монгольской республики.

Монголы должны были передать кавалерийскому корпусу генерала Белова, то есть нам, несколько тысяч своих монгольских лошадей. Встреча намечалась где-то в Калужской области, у памятника героям войны 12-го года и Бородинского сражения.

Нам дали тридцать минут для приведения себя и лошадей в идеальный порядок, и после этого мы ушли в марш-бросок.

Встреча состоялась вовремя. Подарок (или помощь) был с большой благодарностью принят нами.

Монгольские лошади, хоть на вид были незавидные, но зато выносливые. Они в основном применялись как вьючная тягловая сила.

По возвращении в расположение полка мы получили наши фронтовые 100 граммов водки и хороший мясной обед.

\*\*\*

#### Глава восемнадцатая

##### Самострел

В 1942 году зима началась рано. Полк разместился, как нам было объявлено - временно, на опушке леса. Хорошие поляны с выпасом для лошадей - всё это было рядом. В помощь поварам нашей эскадронной полевой кухни посылали дежурных казаков подкосить ночью сена для лошадей, а непосредственно для самой кухни они днём заготавливали щавель, иван-чай, как говорили - «противоцинготный витамин Ц». С питанием было всё-таки плохо.

Пока стояли тёплые солнечные дни, все были довольны такой погодой. Потом начались холода, дожди слякоть. Наше окопное жильё, к сожалению, не было приспособлено к таким погодным условиям. В ноябре-декабре прижали сильные морозы, выпало много снега. Мы ютились в наспех вырытых землянках, у которых вместо крыш были брёвна, но зато не было ни одного окна и дверей, никакой печки для отопления - просто углубление метра на полтора было всё устлано еловыми ветками по полу и по стенам.

После отбоя мы залезали в землянку, как в нору, и каждый занимал ему отведённое законное место. Спали в полной темноте. Подъём в пять часов. Где-то далеко заиграет трубач, дневальный по землянке в это время зажигает изоляционный провод для освещения, и в это время нужно быстро одеться и выскочить из своего «бомбоубежища», иначе прокоптышься резиновой сажой. Дальше путь лежит на конюшню, также наспех устроенную, где каждый занимается своим конём: водопой, чистка, уборка, получение порции овса для лошади и кормление.

А в сильные морозы, когда никому неохота вылезать на холод, нерасторопным попадали и подзатыльники, и наряды вне очереди, можно было схлопотать даже гауптвахту. За этим строго следил старшина эскадрона.

Часто, бывало, и сам эскадронный прилетал во время подъёма, и худо приходилось тому, кто ещё спал. Капитан раздевал провинившегося в землянке до белья и вытаскивал за шиворот на улицу. Я бы сказал, что он просто издевался над подчинёнными, особенно над

нацменами. Сам-то он был грузином, разговор у него не чисто русский, как разойдётся - не поймёшь его, на каком он языке разговаривает.

Так наш комэск налаживал армейскую дисциплину. Стыдно было на всё это смотреть со стороны.

Другая комедия начиналась во время завтрака. Хлеб выдавали сразу на целое отделение, несколько булок. Резать его ножом было нельзя, потому что булки были мороженые, поэтому мы приспособились пилить его поперечной пилой. Получалось много отходов. Пайки не соответствовали нормам. Возникали скандалы и даже драки между солдатами.

Между нами было много верующих мусульман. Они исчезали во время обедов, забивались во все дыры, чтобы помолиться аллаху и даже не видеть, как мы едим сало. Постепенно они слабели. Появились самострелы во время чистки оружия. Делалось это под прикрытием неосторожного обращения с оружием или неумением обращаться с ним. Ранения были в руку или в ногу. В нашем эскадроне такой случай тоже произошёл.

Один из тех новичков пополнения, которые прибыли к нам в августе, уже получил боевое крещение, понюхал порошу и покормил вшей в окопах, а вот на отдыхе не выдержал и пошёл на такой страшный риск, прострелил себе ступню. А может быть, у него действительно всё вышло случайно, как он говорил. Но те, кто был с ним в этот момент рядом, забрали его и отвели в штаб полка. А там есть кому в этом деле разбираться - случайно или нарочно.

Мы уже почти забыли этот случай, но через месяц нас подняли по тревоге, мы быстро оседлали своих коней и вскоре выехали на большую поляну в лесу. Построили полк на поляне поэскадронно буквой «П». Тут уж некоторые догадались и вспомнили тот случай месячной давности, который произошёл в нашем эскадроне.

Вскоре подвезли на повозке солдатика-казаха, подвели к яме, заранее выкопанной, установили здесь же конвоиров и часовых.

Подъехали и спешили со своих лошадей высокие чины из оперативных отделов. Один из них, видимо, самый старший, вынул листок бумаги из папки и стал зачитывать приговор. Что там написано, что он там бубнил перед строем, вряд ли кто услышал и понял. У каждого бойца в это время были свои думки в голове. И свой взгляд на происходящее...

\*\*\*

## Глава девятнадцатая

### За что боролись

После этого страшного события, когда полк уже направился в своё расположение, мне показалось, что все мы думали об одном и том же: как это просто - пустить солдата, защитника своей родины, в расход. Может быть, действительно он по ошибке прострелил себе ногу. А если и нарочно, то как его винить? Ведь само отношение к нам, рядовым, от командира отделения до самого высокого начальства - просто отвратительное. Я бы сказал даже - скотское. У солдата одно питание - сухарь да селёдка, и смерть на передке в перспективе. Не у каждого нервы выдержат такое напряжение. Небось, у тех, кто вёл дело казаха-самострела в трибунале и потом зачитывал приговор перед полком, перспективы отрадней, да и со жратвой не так позорно, унизительно для человека. И вряд ли кто из этих сытых офицерских морд представлял себе, что у этого солдата из далёкого кишлака есть мать и отец, а может, и любимая девчонка, которую он так и не успел поцеловать. Вряд ли когда-нибудь родственники молодого казаха узнают как он умер и как его похоронили. А похоронили его не в могилке, а просто бросили в яму, как собаку, не оставили даже и следа на месте его захоронения на той поляне.

Так нас под страхом смерти гнали в атаки, в которых мы не кричали «Ура!» и «За Сталина!», как это показывают в кино, зато кричали самым страшным матом, как люди, доведённые до самой крайней степени отчаяния.

И вот теперь, через столько лет, хочется спросить самого себя и своих друзей, живых и мёртвых: за что же мы воевали и что себе и своим детям завоевали тогда?

Нет, ничего мы, простые солдаты, себе не завоевали. Это те, кто вёл наши дела в трибуналах, зачитывал нам приговоры перед строем и в тиши кабинетов - они завоевали для себя счастливую жизнь, хорошую пенсию и кучу боевых орденов, даже не видя передовой. Это они, крушившие православные храмы, вырубавшие христианскую веру под корень на Руси, теперь молятся в наших поруганных храмах, а их дети и внуки - нынешние директора и управляющие банков и заводов - кидают щедрой рукой копейки на восстановление порушенных отцами и дедами церквей. Интересно, зачем им это нужно? Уж не затем ли, чтобы превратить Христа в подобие Карла Маркса, а попов в политработников?

\*\*\*

## Глава двадцатая

### Тыл

В тылу, хоть и недалёком от передовой, нам дали некоторое время отдохнуть, помыли в бане, и прожарили наши обовшивевшие одежды. Началась солдатская переключка. Каждый хотел знать о своих товарищах, и потому спрашивали, кто и кого вытащил с поля боя, где перевязал, куда отвёл или где похоронил.

Вот тут и появилось много путаницы и неясности с убитыми, ранеными и утонувшими. Но всё же вместе с офицерами сделали приблизительную сводку и стали писать извещения родным.

Если точно знали, что человек погиб, и были очевидцы этому, писали похоронку.

Если никто не видел солдата убитым, то извещали о нём как о без вести пропавшем.

Извещения были стандартные, в них не было места ни словам о причинах смерти, ни описания его подвига, если он таковой совершал, не было и указания места захоронения. Писали просто: «Ваш сын (брат, муж) погиб смертью храбрых, защищая Родину». И ставилась дата гибели солдата.

Больше всего было извещений о пропавших без вести. Их и после войны было больше, потому что до сих пор миллионы моих сверстников лежат не захороненные и безымянные по всей русской земле, где шла та жуткая война.

Военные действия наши временно закончились.

От линии фронта нас оттянули в тыл километров на 15-20. Доукомплектовали всё тем же необученным молодняком из Средней Азии, а лошадей выделили монгольских, выносливых. Не казачий полк - сплошной интернационал!

На отдых, обустройство лагеря и прочее дали ровно десять дней.

Землянки для себя, коновязи для лошадей и прочие хозяйственные постройки делали в ударном стахановском темпе. Вокруг территории лагеря выкопали окопы, ходы сообщений, между ними - ячейки пулемётных гнёзд, и всё это тщательно маскировали, несмотря на то, что часть наша находилась в калужских лесах.

Военная обстановка требовала от нас не только землю копать, но и лес валить, и распиливать его на доски... Короче, что требовалось от нас, мы всё сделали по полной форме, на совесть, как говорится. А вот с питанием снова было туговато. Солдатский паёк как был неважнецким, так и остался никаким. Мне-то ещё ничего с моим росточком в метр с папайкой, а вот как терпели ребята под два метра ростом - просто не знаю. Еды всегда не хватало всем. И не хватало самой разнообразной пищи, порой даже и сухарей не было вовсе. Поневоле вспоминался штаб и золотое время, когда наш взвод охранял его, питаюсь со штабной кухни ресторанной едой.

Голодный желудок будил мысли и мечтания. Всё чаще слышались разговоры о том, чтобы скорее пойти на передовую, там уж сразу убьют или ранят, что грозит бедному солдату только одним - госпиталем, в котором будет возможность отождаться властью.

Госпиталь - счастливый билет, о котором мечтали многие. Попасть в него, прокантоваться в нём как можно подольше на чистых простынях, рядом с молоденькими санитарками, а там... А там, глядишь, и война закончится.

Эти разговоры доходили и до начальства (не глухие же они!), но солдатские разговоры так разговорами и оставались. Война продолжалась, и никому из командиров не было дела до проблем нашего желудка, до проблем людей, которые через день-два могут оказаться молчаливыми покойниками, которым уже ничего в этой жизни будет не нужно. В том числе и госпиталей с жалостливыми медсёстрами.

Военная обстановка на нашем участке фронта была такая, что не давала нам возможности долго засиживаться на одном месте. Вскоре мы покинули наше мало-мальски обжитое место и нас перебросили на новый участок, где всё начали снова: землянки, коновязи, траншеи, окопы... И так было много раз, пока мы были во втором эшелоне фронта. Подвижки наши происходили в сторону западных границ Калужской области, в район города Сухиничи.

Вскоре мы снова оказались вблизи передовой, но в открытые боевые действия не вступали, хотя и у нас случались перестрелки с противником.

Во время передвижения кавалерии по тылам у самой передовой бывали иногда короткие бои с неизвестно откуда взявшимися немецкими пехотными группами солдат вермахта. Для немцев они всегда заканчивались одинаково трагично. Всё-таки пехота против кавалерии не имеет преимущества даже при наличии автомата и гранат. Да и нас, если правду говорить, всегда было значительно больше немцев. Брали массой.

Город Сухиничи наши как-то довольно быстро и удачно освободили. Говорили, что взяли его малой кровью. Если судить по нашему эскадрону, то это было действительно так. У нас не было не то что убитых, но даже и раненых, хотя мы активно приняли участие в бою и проявили себя в атаке достаточно хорошо. Взяли много военнопленных, автомашин и прочее военное имущество, которым сразу занялись специальные команды, взяв всё под свою охрану. Но мы всё же дорвались до бесплатного, наткнувшись на продовольственные склады.

Вот где мы гульнули так гульнули!

Всё произошло благодаря местным жителям. Это они нам сказали про склады. Немцы и не думали даже, что мы можем двинуться в этом направлении, и появление нашего кавалерийского полка в расположении складов было для них полной неожиданностью.

Трофеи были богатые и приятно тяжелили наши вещевые мешки, подсумки и кабуры, что привязывались тренчиками к сёдлам.

Наши пехотные части через некоторое время двинулись на запад, а нас почему-то задержали в районе освобождённого города. Опять нужно было обустроиваться, окапываться, рубить и пилить лес...

Нам, простым солдатам, тактику военного командования трудно понять, да и знать просто не положено, но нас снова стали мучить муштрой, тактическими занятиями с учётом зимних условий, политзанятиями...

Особенно доставалось нацменам из Средней Азии. Они плохо понимали по-русски и не хотели ничего понимать. Их упрямство бесило младших командиров, и они втихаря начали заниматься рукоприкладством. Пожаловаться азиатам было некому. Посмотришь на этих бедолаг со стороны - кровью сердце обливается: какое всё же у нас скотское отношение к солдату! И не только к одним нерусским. Всем доставалось понемногу.

За время боевых действий полка у нас от наших добровольцев из Ставрополя осталась половина личного состава. Много погибло настоящих казаков, боевых товарищей. Их место заняли нацмены-среднеазиаты. Наш 1-й взвод пополнили доброй половиной киргизов.

Так я сдружился с одним парнем из Чуйской долины, со странным именем Талант. Он был неплохим человеком, и мы стали с ним неразлучной парой. Нам с ним было по девятнадцать лет. У нас были общие интересы, и он очень быстро научился говорить и понимать по-русски. Он вскоре стал одним из первых во взводе по всем видам обучения, даже по политической подготовке. Ему одному из первых киргизов заменили винтовку на

автомат ППШ. Мы многое и о многом с ним говорили в те дни, и пришли к одному мнению: главное - нам сейчас нужно выжить. Выжить во что бы то ни стало.

\*\*\*

## Глава двадцать первая ВНОС

Вскоре меня вызвал к себе наш командир эскадрона и сказал:

- Ты боец молодой, но грамотный. Умеешь с картой работать и компасом пользоваться можешь. Обстрелян. Не раз участвовал в боях... Вот тебе и поручает штаб полка несение службы в глубоком тылу. Будешь руководить постом ВНОС, следить за появлением в воздухе вражеских самолётов с возможным десантом и вообще за всем передвижением вражеских войск в округе. Естественно, обо всём сразу же будешь докладывать нам.

Мне отобрали 12 бойцов нашего эскадрона, кто уже участвовал в боях и проявил себя с хорошей стороны, и ночью по тревоге при полном боевом снаряжении мы выехали на указанное на карте место. Оно было где-то между Сухиничами и Калугой. Место, конечно, было секретное, и находилось оно в каком-то маленьком селении в глухом лесу. Лучшего места для скрытного несения «службы воздушного наблюдения, оповещения и связи» не придумать.

Мы подобрали для себя удобный небольшой домик на окраине селения, расположили лошадей, накормили их, и в первую очередь после этого стали строить наблюдательную вышку.

Служба мне показалась очень интересной: наблюдать небо в бинокль и днём, и ночью очень красиво и увлекательно. Тем более, что бинокль был настолько сильным, что можно было даже в ночное время на большом расстоянии распознавать марки пролетающих самолётов.

Ещё у нас были две вьючные монгольские лошадки, которых мы приспособили для разных работ: подвезти дрова или сена местным жителям. За это нам давали продукты: хлеб, картошку, молоко, даже масло перепадало.

Через каждую неделю я приезжал в штаб полка и делал подробный доклад обо всём, что происходило за это время на вверенном мне участке.

Правда, я так и не понял, зачем нужны были эти сведения командованию с опозданием ровно на неделю, хотя, может, это и имело какое-то значение для штабистов полка или дивизии, однако для нас это было поводом для откровенного сачкования от военной службы.

Перво-наперво по приезде я заезжал в свой эскадрон, передавал своему эскадронному-грузину немного масла в виде подарка за хорошее место службы, ну а своему товарищу-киргизу - хлеба, сала и картошки.

Сало он уже ел, молодой - жить хотел.

Талант - так звали киргиза - меня ждал, и скучал по мне. Он уже хорошо говорил по-русски, настолько хорошо, что я ещё будучи в эскадроне вызнал у него всё о его житье-бытье в Киргизии до войны.

Мы, смеясь, вспоминали, как впервые стали засматриваться на девчонок, мечтали, что после войны обязательно заведём большие семьи и будем ездить друг к другу в гости...

Судьба распорядилась по-иному. В Киргизию я попал аж 1955 году, сразу же после освобождения из ГУЛАГа. Пытался несколько раз через военкомат отыскать однополчанина Таланта Чупиева из Чуйской долины, но ничего из этого так и не получилось.

Но это совсем другой рассказ, о другом времени...

\*\*\*

## Глава двадцать вторая Новое направление

Вскоре наша служба во ВНОС закончилась, а вместе с ней и наше райское житьё.

В декабре мы покинули наше глухое селение и возвратились в расположение своей части. Там опять началась та же муштра: строевые, тактические и политические занятия. Опять мы сели на полугодный паёк и ежедневное рытьё окопов.

Что ж, придётся вновь затягивать пояса потуже, и будьте вы прокляты, тактические учения с лопатой в руках!

За полтора-два месяца вольности я как-то отвык от армейской дисциплины и с трудом входил в обычный жизненный ритм подразделения. Зато мой киргиз совершенно обрусел без меня и стал душой всего взвода. Талант быстро ввёл меня в курс всех последних событий, произошедших в полку и в нашем эскадроне. И, как оказалось, не только в полку, но и в стране произошли большие перемены.

В армии, например, ввели во всех войсках погоны. Все командиры автоматически получили повышение в звании на одну звёздочку. Теперь начальники и командиры назывались офицерами, начиная от младшего лейтенанта и выше. Наш эскадронный из капитана сразу стал майором, и совсем взбесился от этого, пытаясь жестокостью довести дисциплину в эскадроне до идеально-палочной. Но об этом чуть позже.

От вышестоящего командования вскоре после моего прибытия в полк пришёл приказ о переброске кавалеристов по железной дороге на юго-западное направление.

В конце декабря 1942 года под покровом ночи по тревоге при полном боевом снаряжении эскадроны нашего полка подошли к станции, где нас уже ждал эшелон.

Как и в прошлый раз, в каждый вагон по обе торцевые стороны заводили по 4 лошади. В пространстве между дверями, остающимся свободным от животных, размещали сёдла и всякие солдатские пожитки, а для лошадей, стоявших в разных концах вагона, бросали тюки с сеном и фуражное зерно. Для кормления и присмотра за лошадьми сразу же назначали двух дневальных, а остальные казаки располагались в соседних вагонах-теплушках.

В течение двух-трёх часов погрузка закончилась, и эшелон тронулся в путь.

На третьи сутки мы достигли конечной точки нашего маршрута - станции Лиски, где благополучно и разгрузились.

По дороге нам повезло - мы смогли проскочить весь путь без единой бомбёжки. И это несмотря на то, что в 42-м году немецкая авиация ещё господствовала в нашем небе и от её пиратских налётов страдали не только военные, но и гражданское население. Правда, несколько раз на нас налетали одинокие бомбардировщики, но от сбрасывания бомб с большой высоты проку было мало, и они улетали, не солоно хлебавши, отгоняемые зенитками и пулемётами нашего эшелона.

\*\*\*

### Глава двадцать третья

#### Новый противник

Разгрузка на станции много времени не заняла. Всё происходило быстро, слаженно и без лишней суеты.

Лошадям отвели хорошие конюшни из красного кирпича, стоящие неподалёку от станции. Просторные, светлые, построенные ещё при царском режиме для кавалерийских частей, частенько курсировавших по железной дороге, они чудом уцелели во время последних боевых действий. А нас, казаков, разместили неподалёку в казармах.

Наутро, перед наступлением, нас ознакомили вкратце с положением дел на фронтах, сделав упор на наш участок фронта.

Оказывается, нам противостояли венгерские и румынские части. Об этих вояках мы уже кое-что знали из рассказов местных жителей, но это были сведения ещё летнего периода, когда они шли по России вместе с немцами налегке, занимая почти без сопротивления наши города и сёла. А сейчас на дворе стояла зима, и многое за последние месяцы изменилось на фронте не в пользу агрессоров.

От станции Лиски через заснеженный и скованный льдом Дон наши кавалерийские эскадроны пошли в наступление, почти не чувствуя сопротивления противника. Целыми взводами и ротами румыны и венгры сдавались в плен, а нашим передовым частям



совершенно не было времени заниматься ими, поэтому конвоирование пленных взяли на себя наши хозяйственники и обозники совместно с местным населением.

Смотреть на этих вояк было иногда просто смешно. Они уже давно побросали где-то своё оружие и отсиживались в тёплых и укромных местах, обвешанные для тепла всяким тряпьем, смиренно ожидая своей дальнейшей участи. Вылезать на мороз им не хотелось, и некоторых, наиболее нерасторопных, приходилось вытаскивать из их нор и укрытий не слишком учтиво.

Что поделаешь, на то война!

Местные жители активно участвовали в переобмундировании пленных даже без нашего вмешательства.

То, что было поновее, они снимали с них, а взамен давали всякое непотребство. Порой трудно было даже понять, кто же перед тобой - мужик или баба, не то что солдат или офицер.

Так наши кавалеристы, продвигаясь на запад, подошли к Днепропетровску.

Я как связной носился с пакетами срочного донесения днём и ночью. И в мороз, и в пургу, и галопом, и на рысях...

По дороге я видел, как при отступлении румынских и венгерских войск они частенько вымерзали целыми взводами и ротами, беззаботно устроившись накануне на ночлег. Трупы замёрзших были одеты ещё в летнюю форму, и лежало их вдоль дорог уйма! Слегка припорошённые снегом, прижавшись друг к другу, словно живые, с оружием в руках, они будто только ждали команды «Подъём!».

Одеты вначале они были прилично, но вскоре местные жители, скорее всего, в ночное время, снимали с них всё, что можно было снять, вплоть до нижнего белья.

Среди солдат находились и офицеры в добротных хромовых сапогах. Сапоги у них вырубали вместе с ногами, а потом отогревали, и выбрасывали ноги на мороз, подальше от жилья.

Собаки бегали по деревням жирные, с лоснящейся густой шерстью...

Днём похоронные команды складывали трупы раздетых солдат и офицеров в штабеля, словно поленья в поленнице, обливали горючкой и поджигали. Сладковатый чёрный дым стлался по окрестностям, казалось, не вызывая ни у кого никаких эмоций.

Вместе с солдатскими похоронными командами работали и местные женщины. Они тоже раздевали пленных, складировали одежду и трупы, тоже обливали штабеля обнажённых замёрзших мужчин горючей жидкостью и тоже поджигали их.

И я думал, глядя на работающих женщин: «До чего же мы, люди, дошли, если женщины, чьё предназначение - рожать, выступают могильщиками своих потенциальных мужей?».

И ещё думал, что нет у людей никакой совести и жалости друг к другу, даже уважения к покойникам нет.

И вместе с тем я понимал, что живые выполняли обычную ежедневную работу, трудную и малоприятную, но за неё платили, и они делали её старательно, чтобы получить свой паёк и накормить им свою голодную семью.

Наверняка у каждого погибшего, лежащего в штабеле и ожидающего своей очереди на сожжение, была своя женщина - мать, девушка, жена, дочь, и трудно было представить их за подобной работой где-то там, у себя на родине, за многие тысячи километров от этого ужасного погребального костра. Но, как оказалось впоследствии, я глубоко ошибался. Везде люди одинаковы, везде они хотят жить и есть.

По закону войны, кто что должен был получить, то и получал. Мёртвые - погребальные костры и могилы, живые - ужасы военного бытия. И неизвестно, кому можно было завидовать в те времена: живым или мёртвым.

\*\*\*

Глава двадцать четвёртая  
Перед броском к морю

Продвигаясь вперёд, мы вместе с пехотными частями вскоре дошли до станции Синельниково, что в 50 километрах от города Днепропетровска. По разведанным на этом участке фронта сосредоточились большие силы немцев, представляющие серьёзную опасность для выдыхающегося наступления наших войск. Понимая это, наше командование приостановило наступление и стало накапливать силы для решительного броска на Синельниково и дальше, вплоть до самого Чёрного моря.

Народу в это наступление подвозили немеряно.

Личный состав шёл с большим избытком в каждом подразделении, а вот техники почти не было никакой.

На нашем направлении противником нам были венгры и румыны. Кавалерия легко справлялась с ними, и это вселяло уверенность в дальнейших успехах. Но немецкое командование не зря подставило нам своих сателлитов, а наши командиры, не обдумав последствий, рвались на плечах отступающих к заветной цели, сами создавая себе котёл и залезая в него по самое некуда. Вот и поплатились в итоге за свою дурь потерями нескольких армий.

И всё бы, возможно, было ещё терпимо, даже в этой поганой ситуации, да вот беда - не можем мы жить без шумихи и ярких подарков к великим праздникам. Наше наступление назначили на 23 февраля 1943 года.

В районе железнодорожной станции наши сконцентрировали большое количество пехоты, и в итоге получили нечто похожее на весенний затор у моста в разгар ледохода на реке.

Народ под станцией колыхался всей своей колоссальной многотысячной массой, и эта масса шумела, пучилась и внутренне трепетала перед предстоящим смертным испытанием. И невозможно было не поддаться скрытому ритму жизни этой однообразной серой шинельной толпы, ожидающей решения своей участи у высших небесных сил, отдавших их судьбы на откуп безжалостному богу войны.

В момент начала наступления я находился возле своего свирепого грузина, командира нашего эскадрона, совсем недавно ставшего майором. Нам до крайности нужна была бесперебойная связь не только со штабом полка, но и со всеми соседними эскадронами, и с единственной нашей батареей из четырёх лёгких 45 миллиметровых пушек, поэтому к нам, связным, внимание было особое.

Рано утром 23 февраля я получил устное приказание от самого командира полка: подтянуть орудия конной тягой как можно ближе к передней линии окопов и ждать сигнала ракеты о начале ведения огня прямой наводкой.

До пушкарей мне пришлось добираться то перебежками, то по-пластунски, но я точно выполнил приказ, и вскоре артиллеристы были на своей позиции.

Так начался для меня тот день, и я его запомнил надолго.

Везде ощущалась перенасыщенность пехоты. В каждом дворе и в каждом доме, в каждой небольшой балке находилось множество солдат, вооружённых винтовками образца 1900 года. В основном молодые и, как видно, необученные деревенские парни. Желторотики.

И я подумал: как же мы будем наступать без поддержки механизированных частей? Разве можно с одними винтовками идти на штурм хорошо укреплённых позиций? Немцы так просто не сдадутся. Это не румыны и не венгры! Немцы умеют драться до последнего.

И только я так подумал, как со стороны немцев раздалось несколько орудийных выстрелов, и два наших орудия, не сделав ещё ни одного выстрела, были подбиты. Лошади рванули в сторону и рухнули тут же, вместе с ними попадала в снег и орудийная прислуга.

В ответ с нашей стороны началась какая-то паническая стрельба. Пустили в ход ротные миномёты, но они не давали никакого эффекта, мины не долетали до намеченных целей и рвались у всех на виду в чистом поле. Но истеричная стрельба продолжалась и даже увеличивалась по своей мощи.

Явная глупость командования, попусту тратившего боезапас, была видна всем видевшим это и не прибавляла боевого духа бойцам. Все они понимали, что каждый снаряд, разорвавшийся не на позициях противника, это лишний труп в предстоящей атаке.

Немцы тоже не оставались без ответа и молотили нас грамотно и умело. Снаряды рвались в самой гуще приготовившейся к атаке пехоты.

Я кое-как добрался до своего командира эскадрона и увидел, что он тяжело ранен в голову. Пуля, видимо, срикошетила и прошла около его уха, задев висок.

Позднее ребята говорили, что это кто-то свёл с ним счёты за его жестокий характер. Но кто знает, так ли это было на самом деле? Вокруг уже начинало твориться столпотворение, и откуда что летело, невозможно было разобрать.

Пока эскадронный был в сознании, я всё же сделал ему перевязку, и доложил об этом политруку, старшему лейтенанту Романенко. Он и принял на себя командование эскадронам, как старший по званию офицер.

Стрельба усиливалась, и появилось ещё больше раненых и убитых, только почему-то некому было их перевязывать и относить в тыл. Медперсонала вообще среди нас не оказалось. Места эвакуации раненых не были подготовлены, и никто не знал, где они могут быть. Перевязочных средств почти не было. Перевязывали раненых кто чем мог, или вообще оставляли лежать истекающими кровью без какой бы то ни было помощи, и не потому, что были такими бессердечными, просто пацаны были необстрелянными и видели кровь в таких количествах впервые.

Шок. Вот что было у готовившихся к атаке парней в солдатских шинелях. Шок и ничего больше!

Где-то в тылу подтянулась тяжёлая артиллерия и наши начали серьёзную артподготовку. Но вот только неизвестно было, куда же ложились их снаряды: на передовой мы не видели этих разрывов, хотя сзади нас всё гремело и грохотало от мощных выстрелов батарей.

И всё же наши передовые части с трудом начали продвигаться вперёд. Это было видно по перемещению человеческих фигурок по белому полю нейтральной полосы.

Над нашими головами появились вспышки сигнальных ракет. Это был сигнал к атаке и для нас.

По цепи наступающих прокатилось минутное громкоголосое то ли «Ура!», то ли мат, но тут же и заглохло. Его заглушил шум с немецкой стороны, это били по наступающим крупнокалиберные пулемёты и миномёты.

Разрывы мин были настолько густыми, что о продвижении вперёд не было и речи. Поддержка артиллерии с нашей стороны нам ничем не помогла, и пехота залегла, истекая кровью.

Истерично начатое наступление закончилось паническим бегством с поля боя. Отступающие бросили и своих убитых, и своих раненых. Их судьба была ужасной. Пули, осколки снарядов и мороз не давали раненым никаких шансов на выживание.

Да и положение отступивших было не радостным. Солдаты оказались брошенными на произвол судьбы своими командирами, как овцы пастухами. Они сбивались в кучки, измотанные страхом первого неудачного боя, голодные, замёрзшие и духовно истощённые. Их моральный дух был на нуле.

Немцы, тонкие военные психологи, понимали, что могло происходить с нашими частями, и пустили им вдогонку свою бронетехнику.

Бронетранспортёры пулемётным и автоматным огнём окончательно добивали наших солдат и морально, и физически.

Наши казаки, кто остался жив после атаки и кто вообще смог добраться до коновязи, спешно подтягивали подпруги на сёдлах и уходили на рысях подальше от обстрела.

В первом крупном населённом пункте, в селе Вешневецком, оказался сборный пункт нашего полка. Тут же я увидел и нашего бывшего эскадронного. Всё же кто-то вынес с боля

боя нашего грузина, и его участь, слава Богу, могла оказаться лучше, чем у большинства раненных казаков эскадрона.

Следом за нами подтянулся и наш обоз, подошли полевые кухни. Командиры произвели переключку по взводам и эскадронам. Определили по спискам - кто ранен, кто убит, кто пропал без вести, и кто всё ещё оставался в строю. Потом поели. Поели до отвала каши с варёной кониной, которой у нас после каждой атаки, артоналёта или бомбёжки было навалом.

\*\*\*

## Глава двадцать пятая

### Отступление

Наш 8-й кавалерийский полк расположился в селе где только мог, максимально соблюдая правила маскировки. На случай высадки десанта с воздуха или появления противника своим ходом нами были выставлены боевые дозоры и секреты. Казаками были наспех вырыты окопы и пулемётные ячейки, установлены и замаскированы два противотанковых 45 миллиметровых орудия. Мы успели на всякий случай приготовиться к возможной обороне села, но всё, к счастью для нас, обошлось.

Отдохнув в светлое время суток, к ночи мы задали драпака на восток.

Отступление - не самое радостное время в жизни солдата. Тяжёлые мысли постоянно точат мозг и душу, и я не раз задумывался, качаясь в седле, почему немцы нас гонят по родной земле и колотят в хвост и в гриву? Наверное, так думали все, шагая на восток дорогой поражения и унижения нашей русской гордости, нашего национального достоинства.

Так мы дошли до самого Днепропетровска. Сколько всего было потрачено для того, чтобы пройти столь тяжкий путь до этого города, и вот теперь мы снова драпаем, бежим, спасая себя и бросая мирное население на поругание врагу.

Кавалеристы отступают хоть с малыми потерями, а пехота почти вся остаётся на поле боя, отходят только легкораненые и редкие невредимые счастливики.

Не дай Бог оказаться в пехоте!

За ночь мы прошли километров 50-60. На пути крупный рабочий посёлок Раздоры. Здесь наш полк должен занять оборону и хоть как-то попытаться сдержать наступление противника.

Меня снова послали связным в штаб полка для поддержания связи между эскадронами, другой связи у нас не было.

Наши ребята заняли оборону в домах посёлка, в основном на вторых этажах, откуда был хороший обзор возможной стороны наступления немцев.

Немцы не заставили себя долго ждать, и вскоре в бинокль я уже видел километрах в полутора от нас немецкие танки и бронетранспортёры с белыми крестами, переполненные улыбающимися солдатами, вооружёнными автоматами.

Взметнулись сигнальные ракеты, и наши открыли огонь из пулемётов, миномётов, и даже дали несколько залпов из противотанковых орудий. Но наша стрельба не дала никакого эффекта, а лишь обозлила немцев. На нас обрушился бешеный шквал огня из танковых орудий и крупнокалиберных пулемётов. Наши бойцы сразу же спустились со вторых этажей на землю, и в их рядах почувствовалось какое-то замешательство.

Пока я продвигался между домов, устанавливая связь между эскадронами и пытаюсь узнать обстановку на каждом направлении их действий, связи как таковой уже ни с кем не было. Каждый действовал в этой обстановке полагаясь только на себя самого, не согласуя свои шаги с мнением штабов и командиров.

Бои в городах и посёлках не сравнишь с атакой в чистом поле.

Это было в первых числах марта 1943 года. Ещё как следует не растаял снег, кругом стояла непролазная грязь, обстрел наших войск с каждой минутой нарастал всё больше и

больше. Видимо, к противнику подходили свежие подкрепления и сходу вступали в бой. Приходилось пробираться короткими перебежками, ловя безопасные секунды в промежутках между взрывами. Чаще передвигался по-пластунски.

Мокрый, грязный, я всё же добрался до коновязи, где держали наших лошадей.

Коновод кричит:

- Все наши на рысях ускакали, если мы с тобой сейчас задержимся, то попадём к немцам. Поторопись!

Обстановка действительно сложилась очень скверно для нас. В посёлок сходу уже ворвались немецкие танки, а немецкая пехота из автоматов и пулемётов обстреливала улицы, дома и всё живое, что им попадалось на глаза.

Я второпях схватил за повод свою лошадь. Коновод сразу галопом рванулся от меня на улицу, но тут же попал под автоматный огонь и тотчас был убит вместе с лошадью. Труп лошади ещё некоторое мгновение дёргался в агонии, ёрзая по безжизненному телу коновода.

Всё это произошло в какие-то считанные секунды. На какое-то мгновение меня парализовал дикий страх, да и лошадь бесилась в поводу. Я настолько вдруг обессилел, что не мог даже засунуть ступню сапога в стремя, а когда всё же мне это удалось сделать, то при посадке в седло из-за того, что подпруги ночью сильно ослабели а времени у меня подтянуть их просто не было, я вместе с седлом оказался под животом лошади.

Обстрел продолжался. Где-то стала слышна немецкая речь.

Трясущимися руками и ногами мне удалось поправить седло на спине лошади, подтянуть и закрепить подпруги, и я с таким лихачеством вскочил на лошадь, что висевший у меня за спиной автомат ППШ так шарахнул меня по голове, что я подумал: это меня оглушило взрывной волной.

Я, может быть, сам и не решился бы выскочить на улицу, мой мозг говорил мне, что это верная смерть, кругом уже были немцы, простреливающие улицы насквозь и кричавшие где-то невдалеке «Хальт! Хальт!», но за меня всё решила моя лошадь. Она выскочила на улицу так быстро, что я даже не успел как следует взять её за повод. Второпях я вцепился в гриву, прижался к её шее, и она понесла меня, потому что видела и чувствовала своим лошадиным умом лучше меня, куда ей скакать.

Вдгонку нам была выпущена длиннющая пулемётная очередь трассирующими пулями, и мне были видны ярко-красные точки пуль, огибающих меня то слева, то справа, как в замедленном кино. Казалось, вот-вот очередной пулей я буду прошит насквозь, но этого не случилось. Моя лошадь по кличке Лана несла меня на галопе всё дальше и дальше от выстрелов, от немцев и от посёлка.

Вскоре она, бедная, настолько вымоталась и выдохлась, что пришлось с бега перейти на рысь. Через некоторое время ей полегчало, да и сам я стал приходить в себя, и мы с ней замедлили своё горестное бегство из очередного земного ада.

Часа через два-три я догнал полк в каком-то селении, аж километров за тридцать от места боя.

Хорошо драпали однополчане! Ох, хорошо!

Этот случай мне запомнился на всю жизнь. Как же мне должно было везти на фронте, чтобы вот так проскочить на волоске от смерти и даже не быть раненым! Как я должен быть благодарен своей лошади, спасшей меня из-под такого огня! Видно, у меня ангел-хранитель добрый, и жить мне, грешному, долго на этой земле.

\*\*\*

## Глава двадцать шестая

### Засада

На день полк остановился в каком-то селении, чтобы сделать передышку: проверить личный состав, лошадей и всю интендантскую службу. На скорую руку строились оборонительные рубежи, выставлялись дозорные посты. Здесь мы узнали, что попали в немецкое окружение и «клещи». Это произошло не только с нами, но и с другими

пехотными частями. Такое страшное событие всегда на войне держится в тайне, но всё равно слух распространяется молниеносно и деморализует солдат.

Немецкая «рама» постоянно висит над нами и нагло снижается настолько, что, кажется, можно её снять даже из автомата. Но этого делать нельзя под страхом расстрела.

Во-первых, потому, что самолёт-разведчик бронирован и его из стрелкового оружия не возьмёшь.

Во-вторых, нельзя себя демаскировать. Днём мы строго соблюдаем маскировку всех наших объектов.

Наступает ночь. Объявляется боевая тревога, и всё приходит в движение. В полку порядок и дисциплина. Строго соблюдаются все правила передвижения в боевой обстановке в ночное время. Каждый в полку знает своё место.

Наш 3-й эскадрон назначается головным в колонне, а 1-й взвод выделяется головными и боковыми дозорами, продвигающимися на таком расстоянии, чтобы не нарушалась связь между дозорными и эскадроном.

Начало светать.

Впереди показались отдельные строения и дома.

Кругом тишина.

Как только подъехали ближе к домам, на нас вдруг обрушился ураганный огонь со всех сторон и из всех видов оружия. Наверняка в этой деревне был заранее высажен немецкий десант, давно поджидавший такую колонну, как наша.

Мгновенная паника внесла в наши ряды замешательство и хаос.

Меня как ветром сдуло с седла. Лошадь от внезапных выстрелов забеспокоилась и рванула в сторону. Я кое-как удержал её за повод и быстро повёл в сторону небольшого пригорка у дороги.

Залегли.

Некоторое время я старался не высовываться, плотность огня была сильной. Фонтанчики пыли и земли со свистом и чмоканьем поднимались то тут, то там вокруг нашего естественного укрытия.

Уже совсем рассвело, и в воздухе появилось несколько «мессершмиттов». Они на бреющем полёте начали обстреливать всё, что двигалось в поле и на дороге. Сразу же послышались предсмертные хрипы и ржание издыхающих лошадей, а вместе с ними крики и стоны солдат, звавших на помощь.

В такой трагической ситуации помощи ждать было неоткуда и не от кого. Каждый думал только как бы ему самому спастись под двойным губительным огнём, под которым мы оказались.

Естественно, что связь с эскадроном была прервана. И никто даже не думал о её возобновлении.

На какое-то мгновение обстрел прекратился. Видимо, немцы делали перегруппировку своего десанта.

Воспользовавшись этим затишьем, я завёл лошадь в более надёжное укрытие, потом по оврагу спустился подальше от места засады, взобрался в седло и на галопе поскакал туда, где, по моим расчётам, должен был находиться наш эскадрон.

Но в предполагаемом месте никого не оказалось. Только кое-где виднелись блуждающие безлошадные всадники да бегающие очумелые лошади.

В это время на горизонте опять появились самолёты, и вновь на бреющем полёте начали обстреливать из пулемётов наших солдат, затем включили свои сирены, усиливая панику и страх. Лошади просто шалели от звуков этих сирен, несущихся прямо с неба. Ведь они-то не знали и не понимали, что нужно бояться не раздирающих барабанные перепонки звуков, а маленьких запряженных в медной оболочке свинцовых пуль, вылетающих из стволов крупнокалиберных пулемётов и разящих насмерть и людей, и животных.

Я тоже оказался под этим обстрелом, но меня ни одна из трасс не задела и на этот раз, хотя я был более чем заметным объектом для лётчиков.

На мне была чёрная бурка, с которой я никогда и нигде не расставался. Она все месяцы на фронте была мне и матрасом, и одеялом, и подушкой. Я спал на ней и укрывался ею в непогоду. Но в этот раз она меня просто подвела. Я для лётчиков был прекрасной живой мишенью. И если от первого захода и бомбёжки я остался невредим, а они это видели, то со второго круга они решили меня точно уничтожить.

Вероятно, они решили, что раз скачет кто-то в чёрной бурке на лошади, то это непременно какой-то важный чин, и поэтому решили меня добить во что бы то ни стало.

Сделав второй заход, они спустились чуть пониже и стали поливать меня пулемётным огнём и даже сбросили несколько мелких бомбочек. Одна из них разорвалась метрах в десяти от меня, и каким-то чудом вновь ни один осколок, ни одна пуля меня не задела. Весь удар пришёлся на мою бедную лошадь.

Один большой осколок попал ей в голову между ушами. Он, размером в рукавицу, прилетел с таким громким и страшным шуршанием и с таким жутким хрустом проломил ей череп, застряв в его костях, что я сам ощутил по дрожи её тела всю тяжесть и ужас мгновения смертельного ранения.

Я в долю секунды увидел вмятину и кусок металла в задранной кверху голове моей спасительницы и почему-то подумал, что нет крови. И в тот же миг во все стороны хлынула кровь.

Моя лошадь, моя спасительница по имени Лана, ещё сильнее рванулась вперёд, я даже не мог удержать её за повод, пробежала в смертельной горячке метров десять-пятнадцать, я в это время едва успел освободить ноги из стремян, как она рухнула со всего маху на землю вместе со мной.

Освободившись из-под неё, я первым делом хотел было снять седло, потом сразу пришла мысль: зачем оно мне теперь?

Я подполз к морде лошади, посмотрел в её стекленеющие глаза и увидел, как у неё из глаз покатались большие слёзы, смешивающиеся с кровью...

Не помню, сколько времени я пролежал возле Ланы и плакал, обнимая её за шею, так мне её было жалко. Ведь это мою смерть приняла Лана на себя вместо меня. Эта её пробитая голова спасла мне жизнь. И я даже подумал, грешным делом, что лучше бы уж меня убил этот осколок, потому что я теперь не знал, как мне быть без моей лошади. Что мне делать безлошадному?

Я поднял голову к небу и увидел, что «мессершмитт» делает третий заход. Значит, прошло не так уж много времени с момента гибели моего друга, а кажется, что прошли часы.

Сделав большой разворот, постреляв куда-то в сторону и сбросив несколько мелких бомб, самолёт удалился, видимо, лётчик решил, что свою задачу в этом районе он выполнил до конца.

Я сел на свою бурку и стал горестно обдумывать своё положение.

Вдруг послышался приближающийся шум моторов. Присмотрелся. Оказывается в мою сторону движутся немецкие бронетранспортёры с солдатами, которые простреливают из автоматов и пулемётов всё поле. Добивают оставшихся в живых.

Огляделся.

Невдалеке увидел небольшие неровности на земле. Бежать дальше некуда, да и бессмысленно. Ползком подобрался поближе, и оказалось, что это были воронки от авиабомб, ещё тёплые и пахнущие взрывчаткой.

Залез в одну из них и присыпал себя со всех сторон мягкой землёй.

Лежу, жду своей участи.

Шум и стук моего бешено бьющегося сердца заглушает звук приближающегося бронетранспортёра и крики солдат на немецком языке, из автоматов обстреливающих местность.

Я слышу и ощущаю всем телом, как возле меня прошла очередь из пулемёта и земляные фонтанчики от пуль ещё больше забросали меня землёй.

Лежу, уткнувшись лицом в землю, и только слышу, как удаляются от меня и голоса, и шум бронетранспортёра, а вместе с ними удаляется и мой страх.

Так я пролежал в воронке до темноты.

К вечеру стрельба затихла и переместилась куда-то в сторону.

В вечернем небе уже стали хорошо просматриваться выстрелы сигнальных ракет. Значит, решил я, там находится линия фронта. Там ещё идут бои.

И я пошёл по направлению к фронту.

По дороге встретил ещё пять человек. Двое были наши казаки из 8-го полка, тоже, как и я, безлошадные, а трое - пехотинцы из какой-то стрелковой части, соседствовавшей с нами.

Теперь мне было не так страшно. Всё-таки нас уже почти половина отделения. Все вооружены. Все могут поддержать друг друга в трудную минуту. Все надеялись, что пробьёмся к своим.

\*\*\*

## Глава двадцать седьмая

### Дорога к фронту

Днём мы скрывались где только могли, а ночами двигались на восток.

В одной деревне хотели отдохнуть, подкрепиться, но напоролись на немецкие посты. Наверное, и здесь укрепился немецкий десант. Между нами завязалась короткая перестрелка, в которой мы потеряли двух наших товарищей, а один был легко ранен.

Теперь мы остались вчетвером.

Вера, что мы скоро сможем догнать фронт, стала покидать нас вместе с удалением звуков фронтовой артиллерии и исчезновением вспышек сигнальных ракет. Да и сама местность вокруг нас не располагала к радужным надеждам. Куда ни глянь, везде были только поля, без единого лесочка и возвышенностей. Правда, кое-где торчали неубранные скирды соломы, но это были готовые мышеловки. Ночевать в них ещё можно было до рассвета, а вот днём оставаться в них было смертельно опасно. Немцы рыскали по полям на машинах, бронетранспортёрах, мотоциклах, и для потехи обстреливали скирды, где могли скрываться наши солдаты. Кого-то из них пули настигали в соломе, у кого-то нервы не выдерживали, и они выскакивали из своего убежища прямо под стволы смеющихся победителей, где их тут же со смехом расстреливали. Вот так и увеличивался список безымянных могил наших без вести пропавших солдат.

Было ещё несколько попыток перейти линию фронта, но всё кончалось поспешным и позорным бегством в поля. Проводить ночь в скирдах в марте месяце, когда ещё были сильны заморозки, малоприятное удовольствие. Да и наша солдатская одежка изрядно поизносилась в такой обстановке. Обувь поистрепалась и требовала починки. Вши стали одолевать неимоверно, и нечем стало от них спасаться. Костёр не разведёшь: ночью немцы засекут, а наутро выловят, как зайцев по первому снегу. Днём сидим и прячемся в укрытиях, как мыши, и носа боимся высунуть, не то что огонь разводить.

По сложившейся обстановке чувствовали, что наши войска на этом направлении фронта отступают и догнать нам их вряд ли удастся. Что делать? Выход один: пробираться в какую-нибудь деревню, прибиваться к людям, а там будь что будет!

Вот как у нас с нашей группой получилось.

Ночью ещё все были вместе, а утром боевая единица из четырёх человек словно растворилась в темноте и исчезла с рассветом навсегда. Каждый из нас сам распорядился своей судьбой и своей жизнью. И Бог нам судья в этом.

\*\*\*

## Глава двадцать восьмая

### Одиночество

Оставшись один, я почувствовал, что нервы мои не выдерживают неизвестности и самоубийственного одиночества, что я нахожусь на грани губительного срыва. Решив



коренным образом сломать ситуацию, я зарыл автомат в солому и подался в ближайшую деревню.

В деревне и люди бывают разные, одни тебе посочувствуют, другие сдадут куда следует, потому что в военное время никто ни с кем не считается, все и всех боятся и ненавидят друг друга.

Мне всё же повезло: постучал в один дом на краю какой-то деревни, хозяйка на мой стук откликнулась, вышла, выслушала меня и... больше, говорит, я ничем тебе помочь не могу. Всё же показала, в какой дом мне можно постучаться, где меня могут принять.

В этом доме жила одна старушка, она меня с удовольствиемпустила, приютила, и с жалобным выражением лица выслушала мою историю.

Она мне рассказала, что в эту деревню немцы часто приезжают на мотоциклах и делают облаву. Всех подозрительных мужиков забирают и увозят, а тех, кто занимается укрывательством, расстреливают без предупреждения. Об этом даже висят объявления на заборах. Старосты и полицейских в деревне ещё нет. Не успели назначить.

Живу в этой деревне неделю, другую...

Немцы, точно, постоянно приезжают на облавы и прочёсывают с обысками всё селение, выскивают наших солдат и отправляют их в лагерь в город Барвенково.

Как-то зашли они и к нам с бабкой, спрашивают:

- Зольдат есть?

Я сижу на скамеечке ни жив ни мёртв, починаю старый валенок.

Подходит ко мне немец, высокий, в прорезиненном плаще и с автоматом на шее. Знак подаёт: собирайся! Бабушка в слёзы, говорит:

- Это мой внучек, самый младший. Один-единственный остался из всей родни, а вы его забираете. Какой из него солдат, он ещё школу не закончил. Я без него совсем помру. Не трогайте его.

Я действительно на солдата не был похож: маленький, худой... Одним словом, бабушка уговорила немцев не трогать меня и они оставили нас в покое. За это старушка дала им «яйки», пять штук...

Через месяц власть в деревне немцы всё же установили.

В Семёновке, так называлась наша деревня, выбрали старосту и назначили полицейских. Обстановка стала сложнее. В деревне все и всегда на виду, все друг про друга всё знают. Никуда не денешься от чужих взглядов и от завидующего глаза.

Староста стал ходить по дворам и переписывать всех трудоспособных на предстоящие земляные работы. Нужно было делать ремонт дороги у деревни и рыть окопы. За это немцы обещали давать хлеб и кое-какие продукты питания.

Пришёл он и к нам. Посмотрел на меня и сказал:

- Ну вот что, бабка, ты это немцам можешь мозги засорять... Всю твою родню я до седьмого колена не хуже тебя знаю.

И обратился ко мне:

- Ты прости, парень, не сам я по себе в эту кабалу попал. Если в деревне что не так будет, меня немцы к стенке поставят без разговора. Давай подтягивайся к остальным мужикам и иди работай. Может, и правда какой-никакой паёк дадут. И тебе, и бабке подспорье будет.

К утру все переписанные старостой мужики собрались у колхозного правления.

Вскоре подъехали грузовые машины, накрытые брезентом, а в них полно вооружённых немцев.

Нас всех пересчитали, загрузили в машины и под охраной солдат привезли в Барвенково, в лагерь военнопленных.

\*\*\*

## Глава двадцать девятая

### Лагерь

Везли в закрытых брезентом машинах, заранее подготовленных для перевозки заключённых и военнопленных. В кузове, у самой кабины, отгороженные железной

решёткой, сидели два немца, вооружённые автоматами. Мы сидели в кузове строго рядами. Перед выездом из Семёновки нас заранее проинструктировали, как себя вести: сидеть смиренно, не шевелиться и не разговаривать. За нарушение конвоиры будут применять оружие без предупреждения.

Мы без ЧП добрались до лагеря. Никто из арестованных не хотел раньше срока отправляться к праотцам, и все сидели тихо, строго выполняя инструкцию.

До войны на месте лагеря была двухэтажная средняя школа, построенная на окраине города. Довольно обширная для школы территория, с давно белёным известковой штукатуркой, была внутри ограды огорожена колючей проволокой, натянутой на прочные деревянные столбы. Дополнительно внутри лагеря было протянуто ещё несколько витков колючки. Между проволокой земля была вспахана и тщательно проборожена. По углам лагеря стояли вышки с часовыми, вооружёнными пулемётами и прожекторами.

Где-то недалеко лаяли собаки...

Позднее выяснилось, что в ночное время дополнительно выставлялась охрана с собаками и эти твари гавкали днём в своих вольерах.

Внутри школы располагались наши тяжелораненые солдаты.

Территория для лагеря, густо напичканного военнопленными, была переполнена. Если бы всю эту массу людей выстроить и пересчитать «по порядку номеров», то на полнокровную дивизию мужиков точно бы хватило.

В лагере контингент людей был разномастный. Здесь были люди разных национальностей, воинских званий и возрастов. И все мы были равны между собой. Все мы были в одинаковом положении.

На особом месте были только тяжелораненые. Им оказывалась посильная помощь самими же военнопленными, среди которых был и медперсонал. Правда, не хватало медикаментов и перевязочного материала, а про усиленное питание и говорить нечего. Смертность поэтому и среди больных и раненых, и даже среди внешне здоровых была большая.

Хоронили умерших сами пленные под охраной немцев в общей могиле неподалёку от лагеря. Естественно, ни о каких документах и смертных медальонах и речи не было.

И снова пришла на ум мысль о том, что никто и никогда из родных и близких не узнает, где сложил голову их сын, брат или муж. Вот она большая братская могила, в которой сотни и тысячи без вести пропавших солдат нашли свой конец. И никто не отпел их похристиански, никто не выпил за помин их душ...

Ворота в лагерь были всего одни и сделаны на скорую руку, поэтому перед ними дежурил сдвоенный наряд автоматчиков.

Военнопленных поставляли в лагерь на машинах, а больше всего пешим строем. Когда нас привезли, то перед тем, как запустить в лагерь, тщательно обыскали.

При обыске у меня нашли немецкую складную алюминиевую ложку: вилка и ложка вместе. Её, конечно, отобрали, и за это я получил по хребту несколько ударов резиновой дубинкой от самого господина коменданта лагеря в чине полковника.

Этот немецкий офицер, с крестами на груди, на фронте был контужен и сильно заикался, но был страшный самодур и добивался строжайшей дисциплины и порядка при помощи резиновой дубинки и других, не менее экзотичных и жестоких мер. Особенно он любил присутствовать при нашей кормёжке.

Кормили нас один раз в день. Кухни походные были тут же при лагере. У нас на глазах варили баланду неизвестно из чего и этим ничем кормили.

Мы выстраивались в очередь группами строго по десять человек, подходили к раздатчику баланды, тут же брали консервные банки, сложенные предыдущей группой возле кухни, наливали в них свою порцию варёва и прямо на ходу, отходя от раздатчика, выпивали содержимое жестянки и тут же передавали её следующему в очереди.

Конвейерная кормёжка шла весь день.

Всё это происходило под жёстким контролем немцев, а подчас и самого коменданта в чине полковника вермахта.

Если полковник приходил на кормление, то наводил нужный ему порядок при помощи всё той же своей резиновой дубинки, трясая при ударах по головам и спинам военнопленных всеми своими боевыми наградами: крестами, медалями, значками за военные кампании...

\*\*\*

## Глава тридцатая

### Работа

В лагере, чтобы не подохнуть с голоду, нужно было быть очень проворным и даже проникивым, чтобы, получив порцию баланды, ещё успеть попасть куда-нибудь на работу.

К нам в лагерь каждое утро приходили так называемые «покупатели» рабочей силы. Они отбирали наиболее здоровых людей, в основном, на земляные работы, на рытьё окопов, ремонт дорог, мостов и так далее.

Многие пленные старались попасть куда-нибудь в подобную бригаду, лишь бы только вырваться за колючую проволоку. Они знали точно, что там, на воле, хоть что-нибудь из жратвы да добудут.

Местные жители, у кого родственники были в армии, приходили каждый день к лагерю и выкрикивали у забора фамилии своих мужчин. Изредка им удавалось найти кого-нибудь, и тогда, если им улыбалось счастье, они даже могли вызволить родственника из лагеря. Но чаще их крики оставались без ответа, и тогда, если охрана была добрая, они, накричавшись вдоволь, передавали первому попавшемуся заключённому свёрток с едой, приготовленный родному и любимому человеку.

И, наверное, как всегда, русский человек, передавая милостыню униженному и оскорблённому, думал, что, возможно, где-то и его родственника так же при случае приветят, обогреют и накормят совершенно чужие, добрые люди. Но только молили Бога, чтобы это происходило не так, как у них: у колючей проволоки немецкого лагеря для военнопленных.

Главная задача для всех заключённых была в том, как выбраться из лагеря, как уйти из-под колючей проволоки. Поэтому желающих вырваться на работу было даже слишком много. У ворот лагеря выстраивалась огромная толпа, и подчас случалась такая давка и неразбериха, что охрана пускала в ход все средства, чтобы навести порядок.

Как всегда, в этом больше всех преуспевал сам господин полковник, начальник лагеря.

Зрелище было неприятное и даже страшное. Немцы, смеясь, иногда фотографировали это безобразие «на долгую память», а нам было не до смеха. Всем хотелось жить. И есть хотелось...

В апреле-мае настало облегчение - погода пошла нам навстречу, стало пригревать солнышко, ночь уже можно было провести и на улице, потому что в школе мест не хватало на всех.

Некоторые в лагере находились уже несколько месяцев, и наиболее слабые духом стали терять человеческий облик и человеческое достоинство. Они постепенно от нечеловеческих условий содержания в заключении превращались в животных, от которых все сторонились и все ими брезговали. Поэтому, глядя на опустившихся донельзя, грязных, оборванных, вечно плачущих и жалующихся на свою незавидную долю, все старались вырваться из этого ада, чтобы не стать со временем такими же.

Однажды мне чудом удалось попасть в бригаду, которую набирали для работы в хозчасти какого-то подразделения вермахта. Работа была для меня знакомая - уход за лошадьми и коровами.

На работе мне выдали пару немецких лошадей, которых мы называли битюгами, вместе с лошадьми выдали фургон и полную сбрую. Эта работа мне сразу понравилась, я ещё не забыл свою службу в кавалерии Красной Армии, и с радостью принялся за порученное дело.

Всё хозяйство я довольно быстро привёл в порядок. В первую очередь почистил лошадей, напоил водой, накормил овсом, задал сена. Перебрал и почистил сбрую, в фургоне смазал колёса. Одним словом, подготовил своё маленькое хозяйство к выезду.

Подошёл переводчик, похвалил, и сказал, что меня вместе с парой лошадей и фургоном поручили немцу-охраннику для поездки на склад.

На складе я загрузил в фургон фураж, сено для лошадей и скота. В часть вернулись только к вечеру.

Я всё разгрузил, уложил куда было приказано, потом, перед уходом в лагерь, ещё раз покормил лошадей. Меня тоже перед возвращением в лагерь покормили. Очень хорошо покормили, я даже не помню, когда я так хорошо ел за последний год. В лагерь мне дали с собой целую булку хлеба, и сказали, чтобы завтра в восемь утра я был наготове, за мной снова придут.

Моя работа понравилась немцам, и с той поры они стали каждое утро забирать меня к себе.

К вечеру, когда работа заканчивалась, меня кормили до отвала, и почти ритуально давали в лагерь булку хлеба. Да ещё мне разрешалось подбирать со стола недоеденные хлебные куски и брать с собой котелок супу с кашей. Всё это я, конечно, съесть уже не мог, и с радостью отдавал еду нашему пленному военврачу, который в бывшем школьном помещении заведовал лазаретом для тяжелобольных и раненых.

Так продолжалось целый месяц. Мне многие завидовали, говорили: как это у тебя здорово получается: и сам сыт, и немцы довольны, и лошади в отличном состоянии, и нам кое-что перепадает.

И тут произошло ЧП, едва не стоившее мне жизни.

\*\*\*

### Глава тридцать первая

#### Кража

Однажды утром, когда я пришёл из лагеря на своё рабочее место, оказалось, что у меня кто-то украл сбрую. Для меня это была настоящая трагедия! Лошадиная сбруя была действительно превосходная! Красивая, прочная, из натуральной говяжьей кожи. Из такой кожи хоть обувь шей.

Я понял, что попал в очень серьёзный переплёт, и сразу же побежал к переводчику. Я объяснил ему, что произошло, и мы вместе с ним пошли к моему начальнику, фельдфебелю, заведовавшему всей хозяйством подразделения.

По разговору между ними я понял только одно немецкое слово: «Шиссен!», несколько раз упорно повторяющееся фельдфебелем. Я знал, что это слово переводится на русский как «расстрел», и мысленно стал готовиться к самому худшему. Но спасибо моему немецкому переводчику - он сумел переубедить несговорчивого фельдфебеля, и меня простили. Простили за хорошее отношение к труду и любовь к лошадям. Простили, хотя я был совсем не виновен в этой краже.

Меня оставили при лошадях, и даже в лагерь не стали больше отводить на ночь. Я стал жить при этой хозяйственной части, днём занимаясь своей основной работой - перевозкой грузов, а ночью иногда даже занимался охраной вверенного мне хозяйства.

Возможно, кто-то меня может спросить: почему же ты не бежал к своим? И вопрос этот вполне уместен. Действительно, почему я не бежал?

Да потому, что о побеге и думать даже было нечего, если тебе была ещё дорога жизнь. Не спорю, находились среди нас такие смельчаки, которые бежали, но их быстро ловили и показательно расстреливали перед строем, наглядно указывая всем на конец подобных мечтаний и начинаний. Это первая причина, по которой я не бежал.

Во-вторых: линия фронта от Барвенково отодвинулась так далеко на восток, что не только перейти линию фронта, но и добраться туда просто было невозможно. Я это уже один раз испытал на себе в марте месяце.

Ну и, в-третьих, я прекрасно знал, что, добравшись до своих, я буду тут же расстрелян, как враг народа.

В годы войны существовал такой приказ Сталина, по которому все бывшие военнопленные автоматически считались врагами народа и подлежали немедленному уничтожению. Об этом нам довольно часто с издёвкой в голосе говорили немцы.

Вот три причины, по которым у меня не было желания бежать из плена. Думаю, что и у большинства моих товарищей по несчастью мысли были созвучны моим. Душою мы все рвались домой, но что нас там ожидало? Всё та же смерть, но только от своих.

Выхода у меня не было. Для наших я больше как бы и не существовал на земле, для немцев был всего лишь рабочей скотинкой, так для кого же я жил на этой земле? Исключая родных - только для себя. И только сам я должен был решать, как мне поступить со своей никчёмной жизнью в настоящем и будущем.

И я решил: будь, что будет, а уходить от работы, дающей хлеб и относительную свободу, глупо и неразумно. Чем смерть в лагерной грязи, лучше призрачная, но надежда на лучшее. Тем более, что это возможное лучшее могло наступить достаточно скоро.

\*\*\*

## Глава тридцать вторая Зазеркалье

Летом 1943 года Красная Армия перешла в наступление по всем фронтам, и немецкие войска отступали, довольно поспешно уходя из наших городов.

Нас, военнопленных, работающих у них, в вермахте, они старались увести подальше от надвигающегося фронта, даже быстрее, чем свои собственные войска.

Я со своими лошадьми, нагруженный скарбом, о содержании которого порой и понятия не имел, гнал свой фургон куда мне приказывали. Во время коротких остановок мне не было времени ни на что другое кроме работы с лошадьми. Нужно было битюгов накормить, напоить, проверить подковы, а главное - держать в целостности, сохранности и рабочем состоянии конскую сбрую.

Если разбираться беспристрастно в моей судьбе, то мне, можно сказать, даже повезло. Это если рассматривать человеческую жизнь как средство для познания окружающего нас мира, организованное провидением или самим Господом Богом. Я прочувствовал на своей собственной шкуре весь ужас Второй мировой войны со стороны двух основных враждующих сторон: со стороны Красной Армии и со стороны германского вермахта.

Ещё в 42-м году мне довелось вполне испытать и нутром прочувствовать страх живого ничтожного существа перед мощью человеческого гения, придумавшего пикирующий бомбардировщик «мессершмитт». Я испытал настоящий ужас при виде наших искалеченных солдат, разорванных буквально в клочья вместе со своими лошадьми авиационными бомбами, продырявленных пулями крупнокалиберных пулемётов, душевно надломленных превосходством авиации противника в воздухе, который должен был быть нашим и только нашим, как обещал Великий Сталин.

В 1943-м, при отступлении немецких войск, я тоже испытал этот же страх, но уже от своих самолётов: от «Илов», «Яков», «МИГов» и прочих модификаций фронтовой авиации.

Так же, как и у нас на фронте в 42-м, на моих глазах гибли солдаты вермахта, а вместе с ними и наши военнопленные, разорванные авиабомбами, покалеченные снарядами и крупнокалиберными пулемётами...

Разница была только в том, что немцы своих убитых и раненых сразу забирали с собой, а наших оставляли на произвол судьбы, просто бросая на дорогах.

Мы никому не были нужны. Даже своим хозяевам. Мы жили только для самих себя, и сами о себе должны были заботиться в этом жесточайшем мире.

Мы никому не были нужны, разве только местные жители проявляли к нам какую-то жалость, хороня наших покойников в уже вырытых кем-то до них окопчиках или же в наспех отрытых неглубоких ямках. И никто на этих могилах креста не поставит и имени не напишет, чтобы знали прохожие, кто здесь покойся. А лежит здесь обыкновенный русский военнопленный, и имя ему - легион.

Удивительно, сколько разных памятников поставили в России за последние годы, но я не помню, чтобы поставили хоть один памятник неизвестному погибшему русскому военнопленному.

А всё потому, что мы действительно никому не были нужны, кроме, пожалуй, Особого отдела, в который после прихода наших попадал раненый пленный, подобранный и выхоженный при немцах местными жителями.

И тут уж разговор был коротким: раз был в плену, да ещё сотрудничал с немцами, работая на них в хозчасти, десять лет в лагерях на севере бедняге было обеспечено.

Так со своими битюгами я проехал почти всю Европу, оккупированную немцами. Проехал на лошадях в обыкновенном фургоне, начав с Украины, от города Барвенково Днепропетровской области, где находился наш лагерь для военнопленных, затем проехал Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию и Германию...

Конечная остановка у меня была в северной Франции, где союзниками намечалась высадка военно-морского десанта через пролив Ла-Манш и открытие ими долгожданного второго фронта.

\*\*\*

### Глава тридцать третья Второй фронт

О высадке военного десанта в этом районе немецкое командование давно знало, поэтому стягивало сюда, в район Нормандских островов, все свои оставшиеся резервы, в том числе и нас, военнопленных, которые служили в хозяйственных частях, работая от темна и до темна, укрепляя оборонные рубежи фашистов.

Мы подвозили на своих лошадях разные грузы, в основном дроблёную крошку с каменных карьеров, арматуру для строительства береговых укреплений, и прочее. Всё это происходило под постоянными бомбёжками и днём, и ночью, но только теперь уже английскими и американскими самолётами.

По прибытии на место назначения нас разместили в давно выстроенных деревянных бараках с двойными нарами, выдали постель - матрасы и подушки, набитые соломой, ну и, конечно, впридачу нам достались вечные солдатские спутники: крысы и клопы, которых я просто не мог переносить.

Рядом находились конюшни, где размещались наши лошади, повозки, сбруя и все остальные подсобные хозяйства. Вся территория была обнесена колючей проволокой с наблюдательными вышками, на которых были прожектора. Нас, так же, как и в обычном лагере для военнопленных, днём и ночью охраняли часовые с готовыми в любую минуту стрелять пулемётными точками. Порой нам казалось, что неизвестно, в кого же они будут стрелять вначале: в союзников, или же в нас? Так ещё были свежи воспоминания о лагерях, из которых нас вытащили «покупатели» живой рабочей силы.

Со стороны Ла-Манша каждый день в одно и то же время на нас налетали самолёты, и производили бомбёжку. В конце концов мы так к этому притерпелись, что уже заранее знали и время налёта, и даже примерный разброс бомб.

Хотя я зря так сказал - притерпелись. Притерпеться к бомбёжкам нельзя. Когда на твои позиции налетают одновременно сотни самолётов, летящих одной большой группой, когда от разрывов слышится один сплошной страшный гул вместо привычных звуков, когда кажется, что ещё немного - и сама Земля провалится в тартарары... К этому притерпеться невозможно!

На наш лагерь как-то меньше других падало бомб, зато сыпалась нам на головы масса шрапнельных осколков от разрывов немецких зенитных снарядов. Во время налётов авиации, надо признаться, немецкие зенитчики всё же мастерски отстреливались, и сбивали не однажды союзнические самолёты под ликующие возгласы немецких солдат пожилого возраста, прикреплённых к нашей хозчасти в основном для нашей охраны.

И всё равно у нас потери были и среди немцев, и среди военнопленных. Чувствовалось, что время высадки англо-американского десанта приближалось. Бомбёжки побережья усиливались, особенно там, где были укрепления с разнообразными дотами и дзотами.

Во время таких налётов день и ночь как бы менялись своими местами. Ночь иногда становилась светлее дня, а день от пыли и дыма чернел. Весь этот кошмар заставлял человека прятаться в любую щель, в любую дыру, лишь бы было где укрыться и спрятаться. Выскакивать и метаться по открытому пространству в поисках укрытия было весьма рискованно. Можно было попасть или под взрывную волну от авиабомбы или шального снаряда, или поймать на свою голову какой-нибудь предмет наподобие осколка. Бывало, что по воздуху летали и кирпичи, и фуры, и даже целые автомобили... Приходилось лежать там, где тебя застала бомбёжка и ждать, когда всё кончится. И это было самое трудное. Не у всех выдерживали нервы, и те погибали первыми. Слабонервные вскакивали и метались по лагерю в поисках более надёжного укрытия и, естественно, тут же находили свою ужасную смерть.

Бомбёжка прекращалась, самолёты, в основном так называемые «летающие крепости», улетали на свои базы, но их гул ещё долго не смолкал в воздухе, пахнущем сгоревшим порохом, пылью и дымом пожарищ.

Но однажды, вслед за улетевшими самолётами через некоторое время послышался другой шум... Это начался артобстрел из всех видов тяжёлого морского вооружения, как с больших, так и с малых судов флота союзной эскадры.

Под прикрытием артподготовки на берег стали высаживаться англо-американские войска на своих плавсредствах. Со всех сторон и сразу они высаживались на берег, беспрестанно поливая его свинцовым дождём из всех видов автоматического стрелкового оружия. Мы поняли, что пришёл для нас решающий час, за которым возможно спасение из плена и совсем иная жизнь. Какой она будет, эта жизнь, нас не интересовало. Главное - вырваться от немцев.

Во время короткого относительного затишья многие наши военнопленные бросились к своим лошадям, стоявшим в надёжном укрытии. Я тоже не остался в стороне и пробрался к битюгам, с которыми прошёл всю Европу.

Лошади были взволнованы не меньше людей. Они крутили головами, били стреноженными копытами в пол и готовы были сорваться со своих цепей, но оказались надёжно привязанными и закрытыми на хорошие немецкие замки.

Среди лошадей мне было спокойнее и надёжнее. С самого начала войны они всегда спасали меня, и я тянулся к ним. Лошади тоже почувствовали себя несколько спокойнее в моём присутствии, и мы стали с ними вместе ожидать конца боя, который для меня лично значил окончание войны и конец немецкого плена.

Я чувствовал, что для меня всё обошлось хорошо и на этот раз, что я остался в живых, несмотря ни на что, и теперь самым главным была предстоящая встреча с союзниками.

Кто они? Что это за люди? Как они отнесутся ко мне, русскому солдату, служившему у немцев?

\*\*\*

#### Глава тридцать четвёртая

##### Союзники

Как только наступило затишье, я вывел из стойла своих битюгов и запряг их в фургон. Невдалеке от лагеря я заметил группу солдат в необычной форме и направил фургон в их сторону.

Это оказались американцы. Я объяснил им на смешанном русско-немецком языке, кто я такой. Они меня на удивление быстро поняли.

Переговорив о чём-то между собой, они сразу же дали мне задание. Нужно было проехать по всей территории нашего лагеря, собрать всех раненых и вместе с сопровождающим меня солдатом отвезти их в ближайший медсанбат, где им должны были оказать медицинскую помощь и сделать перевязки. Затем мне нужно было собрать тела всех погибших и доставить их в отведённое для этого место, где их обследуют и наведут о них справки, кто есть кто. Если же у тех, при ком не будет при себе никаких документов, обнаружат «жетоны смерти», которые должны быть у каждого немецкого солдата, то со временем и о них сообщат родственникам. Если же ничего не будет, то всех похоронят в единой безымянной братской могиле, как и многих на этой войне. Таков порядок в европейских армиях.

После окончания работы с ранеными и трупами мне дали выпить бокал хорошего французского вина и до отвала накормили, хотя, честно говоря, поначалу пища в горло лезла с трудом - в глазах стояли рваные куски человеческого мяса и кровь. Много крови. Но, видно, французское вино подействовало на мой желудок положительно, и я благополучно насытился.

Потом мне предложили вымыться в походной бане.

После мытья выбросили всю мою старую одежду вплоть до нижнего белья и выдали новое, американское обмундирование. Я стал почти полноценным американским Джимми, таким бравым покорителем пустынь, прерий и саванн.

У американцев я зажил капитально на широкую ногу!

Не знаю уж почему, но ко мне они относились с уважением. Однако ночевать я упросил их отпускать меня только на конюшню, где рядом со своими битюгами-путешественниками укладывался спать на сено, укрытое попоной. Ни одеял, ни простыней я не признавал. Если ночи были холодные, то я укрывался второй попоной, и так коротал в одиночестве тёмные ночи августа 1944 года.

Лошади для меня - это моя вторая жизнь. На войне они меня и спасали, и выручали, и подкармливали в голодное время. Если вспомнить некоторые религии, в которых люди переселяются после смерти из одного живого существа в другое, то я, наверное, по их представлениям, когда-то был лошадьё. Такая у меня к ним любовь, что и словом не сказать! Поэтому-то я и боялся с ними расстаться. Они все эти годы были моей палочкой-выручалочкой, моими друзьями и моей единственной семьёй. Я чувствовал, что недолго нам осталось быть вместе с ними, и хотел на прощание сделать для них что-нибудь хорошее, чтобы и они надолго запомнили меня.

Я всё делал как всегда в эти годы: и поил, и кормил, и чистил их вовремя, и сбрую подправлял, когда она где-то ветшала или рвалась. Каждый вечер проверял фургон, чтобы утром всё у меня было готово на случай выезда из части.

Сопровождающий мой, я его называл «командир», к утру получал задание, и мы направлялись с ним в путь-дорогу.

Командир был настолько болтливый, что всю дорогу что-то мне рассказывал по-английски, при этом ему очень хотелось, чтобы я его понимал, но я, конечно, не понимал, что он лопочет, но старательно делал вид, что всё понимаю, вот только говорить не могу. И всю дорогу в знак одобрения и понимания его болтовни исправно кивал головой и смотрел ему в глаза умным взглядом, почти как собака.

Вскоре он понял, что у меня с английским туговато, и перешёл на немецкий. Тут более-менее стало всё ясно. Мы, может быть, не совсем и не во всём понимали друг друга, но во всяком случае, догадывались о том, что хотим сказать друг другу.

Работа наша делалась хорошо и вовремя, и это «командиру» нравилось во мне больше всего. Он понял, что я люблю работу и готов работать в любое время с удовольствием.

Как-то мы заехали на склад получить продукты питания для своей части.



На складе был беспорядок, везде валялись разбитые ящики из-под консервов, разбросаны какие-то доски под ногами... При погрузке в фургон я по неосторожности наступил на одну из них, в которой торчал гвоздь, и проколол ногу.

Сначала как будто было не больно, а потом становилось всё хуже и хуже.

Командир уговорил меня по пути в часть заехать в медсанбат, там был знакомый ему русский военврач, - он посмотрит и окажет необходимую помощь.

\*\*\*

### Глава тридцать седьмая

#### Русский врач

В медсанбате Командир доложил, что привёз русского раненого «Алёшку», как он называл меня после первого дня нашего знакомства, и попросил русского врача посмотреть, что у меня с ногой.

Русский военврач, скорее всего, сын белоэмигрантов, осмотрел мою рану, промыл, чем-то смазал и забинтовал. Потом, уже по-русски, с большим акцентом, сказал, улыбаясь:

- Ну, всё, Алёшка! Можешь идти. До свадьбы заживёт.

И так мне понравились эти простые русские слова, сказанные русским человеком, пусть и не бывавшим никогда в России, что я едва не прослезился.

Врач тоже был рад нашему знакомству.

После перевязки он засуетился, сказал, что по русскому обычаю, да ещё в такое военное лихолетье, встречу нужно срочно обмыть. И если уж здесь нет русской водки, то нужно выпить американского виски.

Виски закусывали аргентинской колбасой.

Мой Командир тоже был рад этому знакомству, особенно когда появились первые бутылки и закуска.

Так мы просидели втроём часа два или три.

Военврач радостно рассказывал, как сложилась его судьба в Америке. Но рассказывал больше не о себе, а о своём отце.

Отец его родился на Кубани, в районе города Армавира, в старинной казачьей семье. Учился в Москве, служил, как я и предположил с самого начала, в Добровольческой армии, под командой генерала Деникина. До 1918 года командовал казачьим кавалерийским полком. Его дивизия была разбита в Крыму, под Перекопом. Очень много казаков его полка погибло, но добрая половина сумела погрузиться на пароход и по Чёрному морю добраться до берегов Турции...

Я слушал его с большим вниманием и интересом. Для меня это была совершенно неизвестная история русской Добровольческой армии, ушедшей за границу России после разгрома в Крыму. И я не хотел перебивать его, думаю, пусть выскажет всё, что наболело у мужика на душе, больше ведь некому рассказать бедняге о себе и о мытарствах его отца. Даже если бы и нашёл кого среди англичан и американцев русский военврач для разговора по душам, то вряд ли кто из его соотечественников мог понять его так, как я - бывший русский гражданин, а теперь лицо неизвестного гражданства и подданства.

Я лишь однажды прервал рассказ врача, сообщив ему, что тоже родился в казачьей семье в Ставрополе, а город Армавир находится по соседству с нами. Значит, мы с ним самые настоящие земляки, и к тому же - казаки, а значит, брат-казак, мы почти родственники.

Командир тихо радовался нашей встрече, но, не понимая ни слова по-русски, молчал все три часа, исправно подливая виски в наши стаканы.

К концу встречи мы так втроём набрались, что я и не помню, как попал в часть.

Видно, я сильно отощал в последние месяцы у немцев на их эрзац-харчах, да я и никогда не пил так много раньше, тем более американского виски, крепкого, как наша водка.

Как бы то ни было, но утром я уже был на ногах, а мой транспорт с запряженными лошадьми был при полном параде.

Потом была ещё одна встреча с военврачом, так уж ему хотелось досказать историю своего героического батьки, что он не утерпел и сам нашёл меня под тем предлогом, что хотел лично убедиться, что моя нога пошла на поправку.

Я вновь с удовольствием слушал его красивую русскую речь с американским акцентом и узнавал историю Белой армии через превратности судьбы его отца. И снова мы пили виски, но не так много, как в первый раз. И снова передо мной открывались страницы неизвестной истории русского народа, спрятанные от него большевиками за напыщенными и фальшивыми фразами страниц сталинской «Истории ВКП(б)».

Никто, конечно, на турецкой земле белоэмигрантов не ждал и никому они там нужны не были. Но и плыть им дальше было некуда. Это был тупик. Конец военный и политический, созданный не только русскими, но и нашими западными союзниками. И изгнанники это сознавали.

Турецкое правительство, скорее всего, подчиняясь нажиму стран бывшей Антанты, отдало им в аренду какой-то остров для временного проживания всей русской армии и на этом прекратило до поры всякие контакты с эмигрантами.

Временное правительство, сформированное русскими в изгнании, ещё надеялось сохранить личный состав армии, но жизненные условия для них были настолько тяжёлыми, что они стали вымирать в массовом порядке.

На этот остров иногда заходили корабли по службе Красного Креста с какой-то мизерной помощью, но её было явно недостаточно для целой армии. Войска и гражданские жители жили впроголодь. И дело было не только в плохом питании, бытовые условия были ужасающими. Каждый как мог приспособивался, чтобы выжить. Кто имел с собой драгоценности, тем было проще, у них было больше возможностей покинуть и этот несчастный остров, и негостеприимную Турцию, и вообще предавшую русских Европу. Кто не имел ни драгоценностей, ни денег, чтобы дать взятку чиновникам и уехать в другую страну, те пускались на всяческие хитрости и даже преступления, лишь бы выбраться с этого проклятого Богом и людьми острова. Они нелегально пробирались на пароходы, устраивались кочегарами на суда, грузчиками или просто прятались в трюмах, где хранился уголь. Беглецы уплывали со слезами на глазах всё дальше и дальше от последнего пристанища некогда лучшей армии мира и от своей родной земли. Через некоторое время они оседали кто где: кто в Болгарии, кто в Югославии, а кому-то удавалось уехать на самый край света - в Америку или в Австралию...

Казачи-белогвардейцы уже не надеялись на то, что кто-нибудь и когда-нибудь сможет вновь собрать в единый кулак все разрозненные силы, противоборствующие большевикам, и сможет вновь переправить их на родину, в Россию. Они поняли, что все их предали, и сейчас их жизнь и судьба зависят только от них самих. И они стали искать выход из положения каждый по-своему, сообразуясь со своими представлениями о совести, чести и о христианской морали.

Когда военврач, гражданин США, рассказывал о приключениях своего отца, бывшего русского полковника, его глаза становились влажными. И я понимал его. И мы пили с ним виски за это понимание.

Конечно, у господина казачьего полковника, командира полка, были кое-какие сбережения на чёрный день, и он смог уехать не только с острова, но даже из опустылевшей лицемерной Европы за океан, дальше было просто ехать некуда. Земной шар для политических изгнанников всегда мал, если у них в груди всё ещё горит огонёк ненависти и любви к родине, отрёкшейся от них...

Я уже и не помню в подробностях всего, что ещё там говорил русский американец о своём отце, но было ясно одно, что прежде, чем устроить свою жизнь на чужбине, он хватил немало лиха. И всё же счастье улыбнулось ему. Как сказал Николай - так звали военврача - с Божьей помощью. (Отец и сын оба были верующими людьми и ходили в православную церковь.)

Итак, с небесной протекцией бывший полковник нашёл работу по душе, стал ещё где-то подрабатывать, приоделся, осмотрелся в новой стране и стал искать себе спутницу жизни. Удачно женился, обзавёлся влиятельными родственниками жены и нашёл много новых друзей, приобрёл усадьбу с домиком, а тут вскоре и Ник на свет появился, наполовину русский, наполовину американец. Отец научил сына русскому языку, помог получить вначале среднее, а затем и высшее медицинское образование. В армию Николай отправился дипломированным врачом и, напутствуя его, отец говорил, чтобы он всегда помнил о Боге и о том, что он наполовину русский человек, казак.

Николай никогда не забывал слов отца, и поэтому очень обрадовался встрече со мной, не только потому, что можно было поговорить наконец по-русски, но и потому, что хотелось увидеть настоящего русского, родившегося и выросшего в большевистской России, в стране, из которой бежал его отец.

- Потом, - говорил Ник, - когда я буду рассказывать отцу о тебе и о том, что мы с тобой запросто пили виски, он мне не поверит. Он до сих пор считает, что большевики вас превратили в монстров, только и умеющих петь «Интернационал» и читать вслух газету «Правда» на митингах.

Николай очень гордился своей профессией врача и был благодарен отцу за помощь в её получении. Свою службу на войне считал огромной практикой и большой наукой, способной укрепить его положение в будущем.

- Работы здесь много, - говорил он. - И люди поступают к нам разные. Даже по цвету кожи. Почти как в Америке. И со всеми нужно быть одинаково ровным и терпеливым в обращении, несмотря на то, что среди европейцев слишком много людей разных политических взглядов.

Ник считал, что хотя его родитель лишился своей родины из-за большой политики, зато они, его совершенно аполитичные дети, приобрели новую родину в лице Америки, и она ничем не хуже России.

- Конечно, хотелось бы побывать на родине отца, на Кубани. Он много рассказывал разных историй о богатых кубанских просторах, о страшной гражданской войне между белыми и красными. Отец говорит, что побывать ему в родных краях вряд ли снова придётся. И я с ним согласен. Хотя мы в настоящее время союзники, но политический строй у нас разный. Это только война, горе наше общее, заставила нас сблизиться друг с другом, а так... Отец говорит: если бы я вдруг вернулся туда даже с паспортом американского гражданина, то меня взяли бы в НКВД сразу же, как только я переступил бы границу СССР. Офицер, казак, воевал против Советов в гражданскую... Дела таких людей по сто лет хранятся в архивах НКВД.

Что я мог ему на это сказать? Всё верно. У нас на родине не очень-то жалуют бывших белогвардейцев. Власти их не любят по политическим мотивам, а многие местные за то, что ушли белые казачки за кордон, бросив жён и детей на потеху красным, и живут за границей припеваючи. Ведь и его отец, командир полка и сам полковник, разве не имел жену в России? Наверняка имел. И дети, возможно, имелись. Вот тут и посуди, кто прав, а кто и виноват.

Но я ничего не стал говорить Нику, тем более, что он вдруг стал говорить уже обо мне.

- Вот и ты, Алёша, приедешь в Россию после войны, и тебя тоже будут судить, потому что сдался в плен, да ещё и сотрудничал с немцами. А тут ещё и мы... Наверняка получишь 58-ю статью. А она гласит: от 10 до 25 лет лагерей, да ещё без права переписки с родными. Дай Бог, чтобы я был не прав, но, зная ваших правителей, не советовал бы я тебе возвращаться в Россию. Поедем со мной в Америку, Алёшка. Я тебя познакомлю с отцом, мы найдём тебе работу на ферме, хорошую девушку сам отыщешь...

Вот такая у нас с ним была последняя наша встреча. С тех пор мы больше не встречались. Рана моя на ноге зажила, и меня взяли на работу вместе с лошадьми в Красный Крест.

\*\*\*

### Советская военная миссия

На новом месте работы было очень много, и сопровождающие были у меня теперь разные: и англичане, и французы, и русские эмигранты, и мужчины, и женщины.

Разъезжать приходилось на довольно большие расстояния, получать со складов продукты питания, одежду, постельное бельё и медикаменты, потом развозить всё это по лагерям для военнопленных и гражданских лиц. Работа мне была по душе, а главное - что я был сыт, одет, обут, у меня было где помыться и где спать лечь.

За это время я настолько привык и приспособился к своей новой жизни, что стал подумывать о том, как всё это узаконить, да, может, и действительно остаться навсегда здесь.

Вскоре в наших местах появились представители советской военной миссии. Позже я узнал, что эта миссия должна по договору между союзными государствами бывших советских военнослужащих собрать всех до единого и отправить на родину.

Кто сопротивлялся этому и старался каким-нибудь образом увильнуть от возвращения домой, то таких насильно отлавливали и отправляли к нашим под конвоем. Для «невозвращенцев» и места в оккупационной американской зоне для лагерей отводили особые, и держали под усиленной охраной.

Работники миссии, наверняка штатные НКВДэшники, каждый день приходили в лагеря перемещённых лиц и уговаривали бывших солдат добровольно вернуться в строй советских граждан и в ряды Советской Армии.

Уговаривали по-хорошему, тихо-мирно, без ударов кулаком по столу и зуботычин. Говорили, что война ещё не окончена, что народу погибло много и страна готова простить всех пленных, если они вновь пойдут на фронт добивать фашистских захватчиков на западе и японцев на востоке. Одним словом, для всех и каждого находились правильные и честные слова, хорошие перспективы. Гражданским и инвалидам сулили непочатый край работы в разрушенном хозяйстве, встречу с родными, восстановление всех прав и даже льготы... Многие верили, но это были обманные слова и обещания. Едва поверившие в обещания советского правительства пересекали границу СССР, как мгновенно оказывались в лагерях ГУЛАГа.

Как ни было мне грустно расставаться с людьми, с которыми я уже подружился и сблизился за это время, но и мне нужно было уезжать. Меня многие жалели, особенно ухаживающие за ранеными в госпиталях пожилые француженки, с которыми я совершал иногда многочасовые поездки по складам. И мне было жалко бросать благополучную Францию и страшно было возвращаться домой, а ещё было жаль расставаться со своими лошадьми, с которыми я проехал через всю Европу, начиная от украинского города Барвенково.

Пришлось сдать всё своё хозяйство и присоединиться к большой группе репатриантов, так нас теперь стали называть. Наша группа состояла в основном из тех, кто хотел быстрее возвращения, чтобы - не дай Бог! - не попасть в ряды отказников. Все понимали, что всё равно всех переловят и отправят в Россию, но только отношение к «невозвращенцам» будет совсем иное. И все догадывались какое.

\*\*\*

### Глава тридцать девятая

#### Италия и Египет

Нас, репатриантов, собирали со всей Франции, грузили в автомашины, под контролем советской военной миссии составляли списки личного состава и отправляли в портовый город Марсель. Потом небольшими группами грузили на военные американские катера и в сопровождении подводных лодок по Средиземному морю доставляли в Италию, в город Неаполь.

В то время переправа «живого груза» была ещё очень опасна, война продолжалась, и немецкие самолёты, а также и подводные лодки частенько прорывались в этот район, и неожиданная встреча с ними грозила бы нам весьма большими неприятностями.

При прохождении между островами Корсика и Сардиния на нас обрушился сильный шторм. Началась морская болезнь. Слава Богу, я перенёс её гораздо легче, чем другие, наверное, сказалась привычка качаться сутками в седле.

Наконец прибыли в Неаполь. Пока до него добрались, некоторых так укачало, что пришлось выносить на носилках.

С пристани нас автомашинами доставили в палаточный город, где было таких, как мы, уже несколько тысяч. Все были в томительном ожидании предстоящей поездки к конечному пункту неизвестного всем маршрута и жили, несмотря на прекрасную погоду, в каком-то не поддающемся описанию волнении.

После кратковременного карантина нас погрузили в вагоны и эшелонами по железной дороге отправили на юг Италии в город Таранта. В Италии оказалось ещё больше русских и военнопленных других национальностей, чем во Франции. И всех нужно было одеть, обуть, накормить. Всем этим занимались наши союзники совместно с советской военной миссией.

Когда наконец все формальности были выполнены, началась погрузка на пароходы.

На этот раз плавание прошло без штормов и непогоды, и мы благополучно достигли берега.

К нашему удивлению, нас привезли не в Россию, а в Египет, в порт Саид. Потом, по железной дороге, на окраину Каира, где нас уже ждал такой же палаточный городок, как и в Италии.

Это было последнее пристанище на чужбине для всех репатриантов, собранных со всей Европы и выезжающих в СССР. Трудно поверить, но наши люди оказались даже в Северной Африке. Среди них были не только советские военнопленные и советские гражданские лица, но очень много было эмигрантов так называемой первой волны, как их сейчас именуют. Они покинули Россию ещё в 1918-20 годах, но так, оказывается, и не смогли приспособиться к заграничной жизни, и теперь пожелали снова вернуться на родину, через столько лет разлуки и унижений на чужбине. Тоже думали и надеялись, бедняги, как и мы, что после окончания такой кровопролитной и губительной войны их простят за их, возможно, не такие уж и большие вины перед страной и народом, и возвратят хотя бы часть того, что отняли в начале советской власти.

Все эти бедолаги по приезде сразу попали за решётку, а потом, осуждённые как шпионы и диверсанты, отправлены в самые отдалённые лагеря ГУЛАГа, чтобы никто и никогда не смог услышать и узнать от них, как же они жили в изгнании все эти годы.

Среди репатриантов оказалось много командного состава всех рангов, поэтому из бывших военнопленных, годных к строевой, сразу приступили к формированию боевых частей. Начали проводить занятия по несколько часов в день, вновь стали мучить строевой и тактикой. Почти каждый день привозили свежие газеты, проводили политзанятия, знакомили с положением на фронтах. Настроение у людей приподнялось, все поверили, что действительно нас простили и мы снова будем воевать, кровью смывая своё позорное пленение. Нам даже выдали трёхмесячное солдатское жалование в египетских пиастрах.

Жизнь в лагере была мало похожей на службу в наших воинских частях.

В свободное время кто хотел, тот уезжал на экскурсию по Каиру, смотреть всякие восточные достопримечательности египетской культуры. Бывали у пирамид разных фараонов, смотрели их гробницы, и нам даже разрешали залезать на двадцатиметрового сфинкса, у которого на человеческом лице был отбит нос.

Экскурсовод нам объяснил, что это во время войны с Наполеоном выстрелом из пушки статуе повредили лицо, отбив нос.

Экскурсоводы были в основном армяне и азербайджанцы, они нам рассказывали все подробности о жизни местных арабов.

После экскурсии мы на автомашинах возвращались назад в палаточный городок.

В каждой палатке городка размещалось одно отделение - десять-пятнадцать человек.

На каждого была кровать, чистая постель, верблюжьи одеяла.

Между кроватями у каждого стояла тумбочка, посреди палатки стол, на столе свежие газеты, журналы на русском языке.

Палатки разбиты строго по линейке. Между палатками асфальтированные дорожки. Рядом размещалась столовая с кухней. Питание было отличное. Везде стояли душевые, в которых можно было мыться хоть каждый день по два раза. Бытовые условия были такие, что нам и во сне такое раньше не могло привидеться. В вечернее время можно было смотреть кино или спектакль, а можно было поиграть в бильярд. Кто чем хотел, тот тем и занимался.

Несмотря на то, что по местным понятиям было зимнее время, нами это никак не ощущалось. В тумбочке у каждого хранились купленные свежие фрукты: апельсины, мандарины, бананы...

У нашего крыла палаточного городка арабы организовали свой базар. Здесь можно было купить всё: пиво, фруктовую воду, даже вино и водку, хотя продажа крепких вин и пьянство наказывались очень строго и местными властями, и нашим палаточным начальством.

Были здесь и иные развлечения, о которых даже стыдно вспоминать, но, если уж вспоминать, то всё, и хотя бы одним небольшим штришком, чтобы было понятно, что же мы, в основном бывшие военнопленные, чудом избежавшие смерти на фронте и в лагерях смерти, увидели там и почувствовали.

А были там публичные дома. Естественно, что наши ходили туда.

Однажды ребята захватили и меня с собой.

Не буду хвастаться, но первое знакомство с женщиной для меня не было ни радостным, ни приятным.

Как-то всё тогда получилось не так, как нужно...

После этого единственного случая я встретился с женщиной в постели только через много-много лет...

\*\*\*

### Глава сороковая Возвращение

В феврале 1945 года большой транспортный корабль под флагом английской империи отшвартовался, загруженный «живым грузом», от причала порта Суэц и взял курс на восток - через Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море и дальше, на нашу Родину, СССР.

По договорённостям советского правительства с правительствами союзных нам государств, Англии и США, всех бывших советских военнопленных всех национальностей собрали со всей Европы и Африки и отправили в СССР.

Путь наш в Россию был трудным и опасным, потому что война ещё продолжалась и немецкие подлодки плавали по всем морям и океанам, выискивая лёгкую добычу. Поэтому наш корабль сопровождали две подводные лодки и самолёты, готовые вступить в бой с немецкими воздушными пиратами в любую минуту, если те окажутся в нашем районе.

Проходя мимо греческих островов, всё же сыграли тревогу, как оказалось, на всякий случай, все надели спасательные пояса и пробковые поплавки. Но ничего не произошло, тревога была тренировочной.

За всё время пути - а мы шли сутки или даже двое, - мы почти не слезали с палубы в свои каюты.

Мы же все «сухопутные крысы». Речку в пять метров шириной некоторые до этого видели только в кино, а тут столько воды и столько простора!

Такой красоты я никогда раньше, да и потом тоже, не видел!

Какой поразительный восход и заход солнца! Такого на суше не увидишь.

Особенно поразило всех Мраморное море, когда на восходе солнца за кораблём появились играющие дельфины...

Они так близко подходили к кораблю, словно выпрашивали что-нибудь для себя вкусенького и сладенького. Они выпрыгивали из воды и выделяли такие акробатические выкрутасы, что дух захватывало от этого удивительного зрелища!

Когда подошли к Босфору, корабль дал приветственный гудок и остановился. Нужно было улаживать какие-то международные морские формальности. Это была наша предпоследняя стоянка. Мы с любопытством рассматривали турецкие берега по обеим сторонам пролива. Хорошо были видны минареты и мечети, и другие крупные здания, выложенные белым камнем.

Прощай, Ближний Восток! Прощай, Турция! Больше я вас уже никогда не увижу.  
Что ждёт нас в Одессе?

Перед выгрузкой в Одесском порту нас почти сутки выдерживали на рейде. Решали, что с нами делать. Ведь такую массу людей нужно было где-то и разместить, и накормить, и всё прочее.

После разгрузки нас построили поротно, побатальонно, и в сопровождении конвоя мы двинулись по улицам до места назначения пешком.

Одесситы нас встретили не особенно приветливо. Некоторые женщины со слезами на глазах старались пробиться в наш строй, чтобы хоть что-то узнать о своём пропавшем муже, сыне или же брате, но конвой быстро и жёстко наводил порядок, действуя строго по уставу внутренних войск.

Пока проходили по улицам Одессы, были и неприятные случаи.

Вслед нам выкрикивали:

- Ведут предателей, изменников. Отсиделись в плену, не хотели воевать, вот и сдались.

Некоторые, «особо патриотично настроенные граждане», даже пускали в ход обломки кирпичей. Вряд ли это было истинное проявление чувств простых граждан. Скорее всего, это была «домашняя заготовка» местного отделения НКВД.

Всё же, с горем пополам, но мы добрались до предназначенного нам места, и разместились в помещении бывшего заводского цеха, чудом уцелевшего от бомбёжек и артобстрелов.

В этом новом нашем жилище нас поражало всё: и высокие окна с железными решётками, и бетонные полы, ровными рядами устланные соломой, и высоченные потолки...

Мы стояли в проходах и не решались некоторое время заходить на солому, она нам напоминала пшеничное поле во время жатвы. Будто прошла лобогрейка или косилка и ровненько уложила снопы соломы, а тут и мы подошли...

Пшеничная солома и была нашей постелью в эту и последующие ночи, проведённые в Одессе.

У некоторых репатриантов, правда, была своя постель и хорошая одежда, запас продуктов, но большинство кроме того, что было на них надето, ничего не имело.

С нами прибыло много семейных. Они все побросали где-то в Европе или в Африке свои хозяйства, дома, всё нажитое за эти трудные и непростые для них годы, в надежде начать новую жизнь на родине.

Большинство людей рассуждало так: раз война идёт к концу и Советский Союз победил, значит, дадут теперь жить всем. Хотя у каждого была своя небольшая вина перед советской властью, но верили люди, что всё будет хорошо в России. Всё будет нормально дома. Здесь же свои, нашенские... Все рвались на Родину.

Несмотря на то, что я мало верил в безнаказанность моего пребывания в плену и службы у немцев, я тоже хотел вернуться домой. Мне хотелось увидеть отца, мать, брата... А ведь я мог запросто остаться, если бы только захотел. Мне и французы предлагали оказать помощь в этом. Нет, упрямылся я, только вперёд, только на Родину, в Россию.

Перво-наперво нас начали водить небольшими группами под обязательным конвоем в баню, с последующей прожаркой наших вещей.

Бани были походные, в железнодорожных вагонах, которые стояли в тупиках. Воды и мыла - жидкого, чёрного, вонючего - давали строго по норме. С мытьём долго не задерживались, зато мы долго потом ожидали свою одежду после прожарки. И кое-кто при этом недополучал своей одежды, особенно хорошей.

Поднимался шум, скандал... Конвой быстро всех успокаивал, строил в колонну и торопился отправить нас к месту ночлежки. Мол, там разберёмся во всём.

Это было первое массовое ограбление на родине.

Второе ограбление происходило более культурно и скорее походило на добровольное раздевание перед сильным противником.

Вторично нас грабили уже офицеры НКВД. Вызывая нас на допрос, они доверительно внушали нам, что нас вот-вот отправят на фронт, и потому лучше наиболее хорошие вещи отправить родным, а если таковых нет или адрес их неизвестен, то лучше вещи оставить здесь, на складах.

Никто долго таким уговорам не сопротивлялся. Понимали: себе дороже.

И вот наша дивизия наконец-то была окончательно сформирована. Только нас отправили не на западный фронт, а на восток, добывать «японскую гадину».

Но на Урале нашу 30-ю стрелковую дивизию «почему-то» задержали на некоторое время. Неувязка какая-то получилась. Задержали нас в Башкирии и разгрузили на станции Алкино.

Дивизию тут же ликвидировали и расформировали.

\*\*\*

## Глава сорок первая

### Трудармия

Село (или станция) Алкино в Башкирии небольшое. Наш приезд увеличил население тысяч на десять. Разместили такую огромную массу в бараках, построенных ещё в тридцатых годах при коллективизации, для поселения в них кулаков и прочих контрреволюционных элементов и врагов народа. Бараки длинные, просторные, вместительные, только построены на скорую руку. Одна половина их уходила в землю, вторая возвышалась над поверхностью земли. Скорее, их можно было бы назвать землянками или полуземлянками, но никак не бараками.

И всё же они назывались бараками. И каждый такой барак был длиной в 50 метров. С торцевой стороны была одна дверь и два окна. Снаружи окна упирались прямо в землю, зато внутри они были подняты над полом почти на два метра.

Пол земляной, утопанный не одной тысячей человеческих ног. По всей длине барака сплошные двухъярусные нары, посерединке две печки, сделанные из железных бочек с таким расчётом, чтобы в зимнее время при их помощи можно было отапливать помещение дровами, а в летнее за ненадобностью печки просто выбрасывались.

Эти допотопные бараки были самым настоящим рассадником клопов и тараканов. Заходишь с улицы в барак - сразу ощущаешь неприятный запах, напоминающий запах прелого дерева, соединённый с запахом протухшей человеческой крови. Или мне, нанюхавшемуся человеческой кровушки поверх головы, всё это уже чудилось?

Небольшой участок земли, на котором располагались бараки, вмещал в себя раз в десять больше населения, чем в Алкино. Столпотворение было огромное. Мне эти бараки напоминали немецкие концлагеря, в которых я бывал уже, находясь в составе американской армии. Разница была только в том, что наши бараки из-за наших морозов, оказались глубже врытыми в землю, а что касается охранных вышек по углам и обнесённой по периметру колючей проволокой территории, то разницы здесь не было никакой.

Наш распорядок дня тоже был похож на немецкий: подъём в пять тридцать, заправка нар (матрасы и подушки набиты или соломой или стружками), дальше оправка и туалет.

Завтрак - самое ответственное и важное дело утром.



Дежурный по взводу приносит в барак на весь взвод ведро баланды, неизвестно из чего сваренной, кипятком, по десять граммов сахарного песку на человека и пайку хлеба в 400 граммов весом.

После завтрака обязательно начинаются политзанятия. Их проводит политрук в чине не ниже капитана, и сразу видно, что это энкавэдешник. Очень важный, выхоленный офицер, чисто выбритый, в пенсне, чем-то напоминающий своего шефа - Лаврентия Павловича, которого мы могли довольно часто видеть на фотографиях в каждой газете.

На нас он смотрел поверх своих очков с такой презрительностью, что становилось противно и на него самого смотреть, и мы старались слушать его лекции не поднимая голов. И, мне кажется, его это устраивало. Мы были для него людьми второго сорта, до которых его чекистское «высокоблагородие» опускалось только потому, что так было приказано делать свыше.

На политзанятиях тема обучения была всегда одна и та же: десять мощных ударов, нанесённых немецко-фашистской армии доблестной Красной Армией, ныне Советской, под руководством отца народов Иосифа Виссарионовича Сталина.

Чекист так зазубрил свою лекцию, что тарабанил наизусть и даты, и названия частей, и количество убитых, раненных и пленённых фашистов. Того же требовал и от нас.

На таких политзанятиях обычно нормального человека всегда одолевает сон, да ещё с храпом, а руководителя обычно от этого храпа кидает в дикую ярость, и он начинает командовать всей ротой: «Встать! Сесть! Встать! Сесть!». И так раз десять кряду, пока не разгонит сон.

После политзанятий всей ротой идём с песнями делать до самого обеда саманные кирпичи. Идти далеко, километра два-три. Но налегке это расстояние преодолевается на едином вздохе. Гораздо хуже идти по этой дороге с грузом просохших саманных кирпичей, которые мы носим на себе по два кирпича сразу: привязываем кирпичи верёвками или ремешками и перекидываем их через плечо, один спереди, другой - сзади. Каждый такой кирпич весит килограммов 7-8. Носим кирпичи для строительства жилья офицерам. Всю работу выполняем по команде и под строгим контролем офицера-энкавэдэшника, который не просто за нами наблюдает издали, а даже прислушивается, кто, с кем и о чём разговаривает.

На отдых у нас час. Потом обед.

Дежурные приносят в вёдрах суп-баланду, кашу-размазню или картошку-пюре, 200 граммов хлеба, похожего на кору от старого дерева, даже хлебом не пахнет, ну и кипятку, которого пей сколько влезет.

Некоторые умудряются пить на ночь кипятком с солью, а утром встают все опухшие, на них даже страшно смотреть. Таких называют симулянтами, их быстро куда-то увозят, чтобы не портили остальных своим видом и поведением.

После обеда строим и с песнями под конвоем снова идём на работу, сушить и носить саманы в военный городок.

Мы обязаны сделать свою норму с обязательным перевыполнением, потому что вся страна так делает.

Наша работа продолжается до самого ужина.

Перед ужином ещё один час отдыха.

На ужин дежурные приносят кашу-размазню или картошку-пюре, ржавую селёдку или десяток солёных килек, ну и, конечно, опостылевший всем кипятком.

Затем, после такого «питательного ужина», начинается личное время для бойца, в которое мы можем привести себя и свою одежду в порядок.

После всех удовольствий рабочих будней приходит самое главное мероприятие дня для командиров и самое нудное для солдат: мы учимся петь наизусть гимн Советского Союза.

Оказывается, находясь в плену, мы даже и не представляли, что это такое - государственный гимн. И вот, чтобы мы не отставали от жизни всего советского народа, нас заставляли разучивать новую музыкальную агитку.

Порядок был такой: перед отбоем мы выстраиваемся всей дивизией на плацу и начинаем петь гимн Союза Советских Социалистических Республик. Это напоминало старорежимное время, когда вот так же наши отцы и деды пели перед отбоем «Боже, царя храни!».

В каждой роте был свой запевала, он и запевал, а все подхватывали. Но простым солдатам были до фени лавочки все политруковские заморочки с гимном и воспитательной работой, поэтому пели они кое-как и ничего путного из этой затеи не получалось. Вместо пения по плацу разносился какой-то звериный рык.

Вот было в это время работы для политруков! Они рыскали между взводами, ротами, батальонами и полками, и вслушивались кто и как поёт, кто и как рот разевает. И если кто-то им не нравился, то ночью его тащили на допрос.

За всё время нашего пребывания в Алкино ни разу нам не показали ни одного кинофильма или концерта армейских артистов. Только один раз, 9 мая, в День Победы, на плацу провели торжественный митинг в честь окончания Великой Отечественной войны, и мы получили выходной день.

Слава Богу, что хоть остались живы в этой войне!

\*\*\*

## Глава сорок вторая

### Ишимбай

Наша дивизия, раз уж оказалась не востребованной ни на войне с фашистами, ни на войне с японцами, пригодилась на фронте трудовом. Понемногу нас начали расформировывать побатальонно, поротно и повзводно в разные концы нашей необъятной родины. Кого на рудники, кого в шахты, кого на лесоповал. Рабочие руки после войны везде требовались.

Наш взвод получил разрядку в город Ишимбай, на нефтяные промыслы. Это тоже была Башкирия, так что далеко ехать не пришлось.

Работа была в основном земляная. Нужно было рыть траншеи для укладки нефтяных трубопроводов, от скважин, которые давали нефть, и далее, вглубь страны. Некоторые скважины давали нефть самотёком, а некоторые при помощи качалки-насоса. Условия работы были невыносимо тяжёлые, можно сказать, каторжные. Вольных людей (рабочих) сюда не допускали. Работали только мы - «бывшие», как нас называла охрана.

На промыслах была большая загазованность из-за большой утечки нефти и газа. Кругом на несколько километров стоял невыносимый смрад. Всё живое, что когда-то находилось в этих районах, ушло или погибло. Земля, настоящий чернозём, также была загажена и загублена. Никакая экология не соблюдалась. И только мы, «бывшие», как каторжники жили и работали на этой гиблой земле.

Нам запрещалось свободное хождение в окрестностях месторасположения, а если такое с кем-то и случалось, то это приравнивалось к дезертирству.

Продукты питания привозили из Ишимбая сразу на целый месяц, и получали мы их по карточкам, кому сколько полагалось.

Как бы мы ни экономили продукты, всё равно до конца месяца их не хватало.

Жили мы в лёгких передвижных вагончиках на деревянных полозьях. Условия были тяжелейшие, удобств для жилья никаких. Начинались морозы, одежда наша не соответствовала зимним условиям. Мы мёрзли и простывали.

Для отопления соорудили печку из железной бочки, она была наша спасительница от мороза. Вместо дров или угля топили мазутом, а мазута, слава Богу, здесь хватало, но и копоты после него тоже было достаточно. Утром вставали, как шахтёры, вышедшие из забоя, - грязные и чёрные.

На печке-бочке стояла ещё одна бочка, в ней мы растапливали снег для чая, варева, стирки и мытья.

Один раз в месяц нам разрешалось устраивать банный день. И это был большой праздник тела и души.

За эту нелёгкую зиму я так отошал, что на мне осталась одна шкура да кости. Думал - ещё немного, и ноги протяну. Но тут, на моё счастье, под самый конец зимы приехало к нам какое-то высокое начальство из города и медицинская комиссия. Проверили они наши условия, и отправили почти всех на головной участок, который находился в самом городе Ишамбае. Многие, как и я, отошавшие и простуженные, сразу же попали в больницу.

Меня определили в ремонтно-механический цех тракторов-подъёмников, которые тогда использовались на промыслах.

И вновь мне повезло, что я попал в бригаду дяди Стёпы, он был сам из бывших ссыльных, и многие наши горести испытал на себе.

С первых дней он стал внимательно присматриваться ко мне.

Работа была очень грязная, трактора с участков приходили поломанные, и всё и везде у них было залито загустевшей нефтью, а перед ремонтом необходимо было всё очистить от грязи и промыть соляной кислотой, только после этого начинали ремонтировать.

Хотя я был сильно истощён, но я всё же старался. Боялся, что если буду плохо работать, могут снова отправить на промыслы, а в мастерской всё же хорошо: крыша над головой и тепло.

Бригадирю дяде Стёпе я понравился, потому что свою работу выполнял добросовестно, за это он меня всячески поддерживал, и даже приносил из дома варёной картошки, подкармливал.

Я был рад его участию в моей судьбе и его дружеской помощи. Давно не встречались мне люди с такой доброй душой.

Спустя некоторое время я даже немного прибавил в весе. И вот однажды бригадир говорит:

- Хочешь, Алёша, я сделаю из тебя классного специалиста? Ты парень стоящий. Во-первых, образованный, во-вторых, старательный и кое-что понимающий в технике. Нам такие люди нужны. А там, глядишь, и в институт направим учиться.

Конечно же, я хотел стать классным специалистом! Правда, мыслей о высшем образовании даже не допускал, прекрасно понимая, что с моей военной биографией института мне не видать как своих ушей, но всё равно было приятно хотя бы в мечтах иметь такое намерение.

Дядя Стёпа пристроил меня в токарный цех, к пожилому токаря, тоже из ссыльных, учеником. После основной моей слесарной работы в бригаде дяди Стёпы я оставался в токарном цехе для учёбы ровно на два часа, чтобы учиться вытачивать болты, гайки, разные шпильки для ремонта тракторов. Я старался, и это заметили. Даже станок токарный марки «ДИП-200» закрепили за мной.

Я очень обрадовался такому щедрому подарку, и с первого дня станок почистил, помыл, и всё время содержал его в идеальном порядке и чистоте. За это меня ставили в пример другим, менее радивым рабочим.

В цехе ко мне стали относиться с уважением, появились новые друзья и товарищи. Я стал входить в нормальную рабочую колею, потихоньку забывая и нефтепромыслы, и войну, и плен... Я чувствовал себя таким же человеком, как и мои новые знакомые. Единственное, что меня отличало от них, так это моё неопределённое положение в обществе и проживание в вагончиках, куда я каждый вечер после работы приходил ночевать.

Наверняка не без помощи дяди Стёпы меня перевели в рабочий барак, где наших, из дивизии «бывших», тоже находилось достаточно много.

Здесь было теплее, больше походило на человеческое жильё, но условия жизни были почти такими же кошмарными, как и в вагончиках.

Приходя в барак, рабочие зло ругались, называя наши бараки, наполовину врытые в землю и потому совершенно не дающие солнечного света, дореволюционными клоповниками, а самих себя добровольными рабами. И в этом они были абсолютно правы. Некоторые наши жилища действительно были построены ещё до революции 1917 года, а уж

клопов и тараканов в них водилось видимо-невидимо! Да и с питанием у нас дело обстояло не лучшим образом.

Продукты мы получали по карточкам, часть отоваривали сухим пайком, а часть получали в столовой. Полученные продукты хранили при себе: кто в тумбочках, кто на постели, на нарах под подушкой. Случались и случаи воровства друг у друга. Но хуже всех своих воров были ночные воры - тараканы. Их были полчища. Они нападали в огромном количестве и моментально съедали всё, что могли съесть. А ещё нам не давали покоя клопы. Эти твари лезли на нас, спящих, изо всех щелей. И вместо полноценного, восстанавливающего силы сна начинался ночной кошмар. Каждый по несколько раз за ночь вставал и начинал давить клопов в постели, на себе, на стенках барака... За ночь эти стены так разрисуют кровяными следами от клопов, что и художник-абстракционист не нарисует таких ужасов.

После ночного «покоя» наутро в бараке стоял страшный смрад, смешанный с запахом раздавленных клопов, человеческого пота и газов, запахом гниющих портянок и давно не мытых ног.

Если с улицы человек попадал к нам в барак, то ему в первые секунды казалось, что его втолкнули в какую-то газовую камеру, не иначе.

От таких жизненных условий люди озлобляются, возникают непонятные и необъяснимые при нормальной жизни поступки: люди могут ни с того и ни с сего вдруг наброситься друг на друга с кулаками, могут воровать друг у друга вещи и продукты, а ещё хуже того - «стучать» друг на друга. Причём всегда это неправда, всегда это ложь, но ложь, сделанная под напором жизненных условий и прямых понуждений со стороны начальства.

Вот тут-то и зачастили к нам в бараки никому не знакомые аккуратно одетые гражданские лица на крытых машинах, будто бы привозящие нам продукты питания. На самом деле эти молодчики выдёргивали из барачных бывших солдат расформированной дивизии, бросали их в свои машины и увозили в неизвестном направлении. Мы никогда их больше не видели у нас. И мы поняли, что пошли повальные аресты рабочих-солдат.

Дошла очередь и до меня.

Теперь я уже точно знал, что эти машины и были те самые знаменитые «чёрные вороны», о которых столько вполголоса говорилось до войны, а гражданские люди - работники НКВД или МГБ, не помню, как они уже тогда назывались точно.

\*\*\*

### Глава сорок третья

#### Арест

Помню, что из машины вышли два гражданских лба, спросили мою фамилию, взяли меня под руки, затолкали в свой «ворон» и увезли в районный отдел. Сутки продержали в изоляторе, покормили один раз вонючей баландой, но не трогали. На допрос не вызывали. Зато меня ночью мучили здоровенные откормленные крысы, и я до утра давил по стенкам голодных клопов.

На следующий день меня под конвоем двух здоровенных офицеров отправили в Уфу.

На реке Белой только что прошёл ледоход. Деревянный мост через неё сорвало, а переправляться через неё всё равно нужно. Паром ещё не работал, и мы стали искать лодку. Один офицер вскоре где-то нашёл лодчонку с двумя вёслами, но по тому, как они спускали лодку на воду и как стали грести, видно было, что они с этим делом совершенно не знакомы. А переправа нешуточная.

Вот меня мои конвоиры и спрашивают:

- Вёслами умеешь грести?

- Садитесь, - говорю. - Я и себя, и вас доставлю на другой берег.

Им деваться некуда, у них срочное задание: доставить опасного преступника в Уфу, к следователю по особо важным делам.

Уселись в лодку втроём.

Я потихоньку гребу, лодка потихоньку плывёт.

Посредине реки Белой течение очень сильное, я выбиваюсь из сил, и нас начинает сносить.

Впереди сидящий конвоир достаёт свой пистолет ТТ из кобуры и говорит мне:

- Смотри, штуку какую не сотвори с лодкой, а то враз кончу.

Это он за себя испугался, видя, что я выдыхаюсь и не справляюсь с течением. А плыть нам оставалось ещё метров пятьдесят, не меньше.

Вот тут-то я окончательно и начал сознавать своё положение на сегодняшний день, понял, что они имели в виду.

Эх, если бы я знал тогда, в лодке, точно, что в Уфе мне дадут десять лет и что отбывать их мне придётся где-то у чёрта на куличках, на Печоре, за Полярным кругом, где один зэк смеётся, а десять плачут, я бы этих чекистов, точно, похоронил в реке Белой, пусть бы даже и сам потонул вместе с ними.

Но я этого не знал, и благополучно довёл нашу лодку до противоположного берега.

Конвоиры доставили меня на какую-то железнодорожную станцию, и я опять провёл ночь в изоляторе, отданный на съедение клопам. Меня вновь покормили только один раз тюремной баландой, но снова никто меня не допрашивал, и даже не спрашивал ни о чём.

На следующий день меня погрузили в «чёрный ворон» вместе с другими арестованными и после долгой тряски по разбитым дорогам всё же доставили в Уфу, в назначенное для нас учреждение.

Выйдя из машины вслед за остальными арестованными, я увидел закрывающиеся за нами железные ворота, выкрашенные в коричнево-жёлто-зелёную краску, с большими ярко-красными звёздами в металлических кольцах. Слева и справа многоэтажные серые здания с небольшими окнами, заставленными железными козырьками. Это была внутренняя тюрьма НКВД, куда привозили арестантов со всей Башкирии, а выхода назад из неё уже не было никому.

Я почувствовал на себе сильное давление неведомых мне сил, даже воздух, которым я дышал, стал вдруг для меня противным, напоминающим запах человеческой крови.

Конвой «чёрного ворона» каждого из нас в отдельности, под роспись в документе, сдал надзирателям тюрьмы, и нас стали разводить по камерам.

Мой надзиратель повёл меня по затемнённым коридорам куда-то в подzemелье, по обеим сторонам которого находились тюремные камеры с железными дверями, «украшенными» разными защёлками, откидными окнами, смотровым глазком и, самое главное, пудовыми висячими замками.

При открывании и закрывании камерных дверей создавался особый шум, наводящий страх на вновь прибывающих, особенно на тех, кто впервые переступал порог камеры.

Тюремный надзиратель завёл меня в светлую небольшую камеру, заставил раздеться догола и приступил к обыску.

Перед этим меня ещё и остригли «под ноль».

Обыск был тщательный, начиная с совершенно лысой головы. Затем осмотрели подмышками, заглянули между ног, заставили нагнуться и раздвинуть ягодицы и так далее... Из ботинок вытащили шнурки, обрезали все металлические пуговицы на верхней одежде и забрали брючный ремень. Вот и всё моё хозяйство, которое было конфисковано при обыске в бараке.

Потом меня завели в одиночную камеру, она напоминала совершенно пустое складское помещение для хранения каких-нибудь особо ценных продуктов.

С одной стороны стены на высоте двух метров находилось маленькое окно, огороженное изнутри мощной железной решёткой, а снаружи мелкой металлической сеткой с металлическим козырьком. Посредине камеры вверху тускло светила маломощная электрическая лампочка, огороженная металлической сеткой. Напротив двери прямо в бетонной стене вмонтирована железная койка с матрасом и подушкой, набитыми деревянной стружкой. Кровать открывается и устанавливается только на ночь, после отбоя.

Вот, пожалуй, и всё моё новое тюремное хозяйство, которое будет сопровождать меня по жизни неизвестно сколько времени.

Я ещё раз огляделся.

Помещение камеры всё бетонное, надёжное, но стены влажные, сырые. Размер нового моего жилья примерно метра два на три и высотой три метра. В углу над кроватью проделано маленькое отверстие, как-то я сразу даже не обратил на него особого внимания, но зато потом, ночью, из него стали вылезать незваные гости – крысы, и я стал с ними вести постоянную и беспощадную войну днём и ночью.

Скучать в этой одиночной камере мне не пришлось.

Запах в камере был мало что сырой, так ещё какой-то удушающий.

И я часто молил Господа Бога, чтобы меня хотя бы скорее на допрос вызвали.

За десять дней, проведённых в этой душегубке, я потерял ориентир во времени. Для меня исчезло понятие дня и ночи, всё смешалось в одну временную ленту одинаковых событий, происходящих в однообразной полутьме. Солнечный свет сюда не проникал вовсе, как, впрочем, и свежий воздух. На прогулку меня не выводили - не положено. Одним словом, морально обрабатывали так, чтобы зэк с первых шагов в этой тюрьме и с первых дней, проведённых в заточении, был попослушнее и попокладистее.

Время дня и ночи я научился позднее угадывать по тюремным правилам. Если опускают и устанавливают кровать, значит, наступила ночь, если кровать убирают - день. Выводка на оправку - утро, кружка воды и 150 граммов хлеба, неизвестно из какой муки испечённого, - завтрак, Миска вонючей баланды, ложка каши-размазухи или картофельное пюре со 100 граммами хлеба - ужин. Кружка воды на ночь - вечер.

После прохождения этого своеобразного «курса молодого заключённого» меня для дальнейшего подавления воли переводят в другую камеру.

\*\*\*

#### Глава сорок четвёртая Тюремные университеты

По сравнению с одиночкой эта камера просторней. По обеим сторонам стоят деревянные двухъярусные нары. Режим слабее, можно даже лежать в дневное время, если есть место. Камера заполнена до отказа. Зэки - почти все уголовники. На верхних нарах режутся в карты, тут же стоит деревянная параша, но я даже и не ощущаю её вони. От усталости в одиночке я быстро заснул. Слышу во сне - возле меня кто-то копошится, я проснулся.

Уголовник подсел ко мне и что-то говорит на каком-то детском шепелявом языке.

- Сымай пиджак, я его проиграл.

Я, долго не размышляя, ткнул его в морду ногой, он и упал.

Другой уголовник со звериной быстротой набросился на меня, и они уже вдвоём так обработали меня, что без труда после этого сняли с меня всю верхнюю одежду, а на смену дали своё тряпьё, и посадили на парашу, за моё неповиновение.

Позже я узнал, что тюремное начальство специально держит уголовников для обработки политзаключённых. Это их опора для наведения порядка среди строптивых и запугивания новичков в первые дни их пребывания во внутренней тюрьме.

И ещё я заметил, что во время драки никто даже не пытался открыть дверь камеры, чтобы узнать, что же тут происходит, что за шум и крики, а ведь в глазок дежурный наблюдал всё, и видел, что идёт избиение и ограбление новичка.

Так я начал вживаться в новый быт и принимать все тюремные порядки, какие мне навязывали блатные.

За какой-то месяц в тюрьме я настолько отошел от плохого питания и морального опустошения, что не просто думал, но уже мечтал о том дне, когда меня вызовут на допрос, понимая, что иначе сдохну в камере от всего этого.

Я прекрасно знал, что если будет суд, то приговор будет только обвинительным. За нарушение воинской присяги и службу у врага ещё никому не давали благодарственные грамоты, так чего ждать мне в этой помойке? Лучше сразу и навсегда.

Через несколько дней впервые услышал, как ночью гремит замок на двери, щёлкают разные засовы, защёлки, открывается дверь и заходит вертухай, так в тюрьме называют дежурного надзирателя.

Вертухай называет мою фамилию и уводит меня на допрос. Перед этим в коридоре заставляет поднять руки вверх и обыскивает с головы и до ног.

Мы пришли в просторный, хорошо освещённый кабинет моего следователя. Возле огромного окна с открытой форточкой, заделанного красивой железной решёткой, стоял стол, накрытый красным сукном. За столом сидел следователь, мужчина средних лет, на груди, с левой стороны, в два или три ряда теснились наградные колодки. Был он в звании майора. Морда выхоленная, чисто выбрит, глаза маленькие, свинячие, с противным взглядом и нехорошим прищуром.

С первого знакомства он дал мне понять, что я попал во внутреннюю тюрьму НКВД и назад без обвинительного заключения мне ходу не будет.

И ещё сказал:

- Нарушение воинской присяги - это уже само по себе для солдата является преступлением, а если ты ещё и сотрудничал с немцами, то это уже двойное преступление.

И тут же посочувствовал:

- Тебя по ошибке посадили в камеру с уголовниками. Больше ты туда не пойдёшь. Сейчас тебя отведут в другую камеру, и ты хорошенько обо всём подумай перед тем, как тебя снова вызовут на допрос.

На этом первое свидание со следователем закончилось. Он нажал специальную кнопку где-то у себя на столе, вошёл вертухай, и меня увели в другую камеру.

Во внутренней тюрьме все камеры стандартные, ничем друг от друга не отличаются, разве только размерами и количеством и качеством заключённых, содержащихся в них. Везде одинаковые железные двери, одни и те же огромные висячие замки, везде одинаковые задвижки, засовы, защёлки, одни и те же окна в дверях для кормёжки и тот же смотровой глазок. Под потолком висят две электролампочки, одна даёт днём слабый свет, другая, высокого накала, ночью даёт сильный и яркий свет. От такого света трудно укрыться, а ещё труднее с ним уснуть. В камерах по одному маленькому окну высоко под потолком. Окна везде зарешечены с двух сторон так, чтобы в них не проникал дневной свет и свежий воздух. Потолки, стены и пол - всё бетонное, серое и влажное. Вместо деревянных нар - железные кровати, вмонтированные в стены. Кровати каждый день убирают на день, чтобы на них не ложились и не садились. Так положено. Матрасы и подушки набиты деревянными стружками. На ночь каждому выдаются простыни.

Пока нас в камере три человека. Все бывшие военнослужащие, солдаты из бывших военнопленных. Мои новые соседи также побывали в камере с уголовниками, прошли «прописку» во внутреннюю тюрьму по полной программе, с таким же, как и у меня печальным опытом, и оказались здесь для решения своей дальнейшей судьбы.

Условия содержания и вообще режим дня у нас гораздо строже, чем у уголовников. Это признают все.

Здесь мы целый день на ногах. Одна тумбочка и одна табуретка на всю камеру, но и они намертво вмонтированы в пол. Сидим на табуретке по очереди, потому что на холодном бетонном полу сидеть невозможно.

Полная оторванность от внешнего мира.

Пока находился под следствием, никаких книг и газет не читал. Естественно, что и переписки не было никакой. Целые дни проходили в камере с соседями, мерно расхаживающими перед глазами.

С нетерпением ждали наступления ночи, сигнала «отбой», чтобы скорее лечь на кровать и отдохнуть от многочасового стояния на ногах. Отдохнуть, забывшись сном, от всей этой убийственной безысходности нашего положения.

Однако покой нам даже и не снился, потому что то одного, то другого из нас таскали на ночные допросы, мешая спать всем остальным.

Следователи уже годами отработали тактику ведения следствия и действовали так, чтобы психически и морально уничтожить подследственного.

Они действовали жёстко. Если видели хотя бы малейшее несогласие со следователем, хотя бы малейшее сопротивление, применяли свои методы: лишали прогулки, причём иногда не только конкретного заключённого, но и всю его камеру, сажали в изолятор, лишали пайки хлеба. А если будешь буянить, добиваться своей правды и требовать справедливости, то могли накинуть на тебя и смирительную рубашку.

Нам в камеру подкинули ещё двоих арестантов. Посреди камеры поставили для них две койки, и таким образом нас уплотнили донельзя. Теперь передвигаться по камере днём стало почти невозможно.

Эти койки днём стали для нас просто притягательным магнитом, нечто вроде приманки, на которую мы постоянно ловились. При непрерывной ходьбе от усталости мы просто иногда падали на них как подкошенные, а вертухай, как только заметит это в свой всевидящий глазок, так сразу начинает греметь замком, открывает дверцу кормушки и предупреждает, что если кому-то сделает подряд три замечания, то на четвёртый отправит его в изолятор или лишит прогулки на свежем воздухе всю камеру. Поневоле приходилось быть всё время настороже, понимая, что всё это делалось специально, чтобы окончательно измучить нас и довести до нервного срыва.

Случайно в камере я обнаружил для себя забавное отвлекающее развлечение. В нижнем углу камерного окошка, между решётками, поселился маленький паучок. Он сплёл паутинку, и в неё попадали маленькие мошки. Он их опутывал своими нитями, и этим кормился. Для меня было огромным удовольствием наблюдать за паучком. Я отвлекался от страшных мыслей, глядя на него, и постепенно успокаивался. Часами на него заглядывался, даже не чувствовал своей усталости, а иногда и сам ловил ему какую-нибудь живность и отдавал на съедение. Конечно, от этой подачи он не отказывался, но и спасибо не говорил.

Следственные допросы велись исключительно по ночам. За ночь на допросы выводили по несколько раз. Вертухай приведёт от следователя в камеру, не успеешь прилечь на свою холодную постель и немного согреться, как снова гремит замок и щёлкают запоры или у нас, или в соседней камере. И если не тебя, так другого выдёргивают из постели и не дают спать до самого утра. И только когда вымотают до полусмерти, дают отдохнуть полчаса до подъёма.

Весь организм уже приспособливается к такому образу жизни. Зачастую приводят к следователю, сажают на табуретку против него, - и ты сидишь, как очумелый. Пока он заказывает по телефону что-нибудь съестное для себя, ты в это время начинаешь сидя дремать. Следователю, конечно, не нравится твоё поведение, он начинает злиться, заставляет вертухая убрать табуретку. Пока следователь наслаждается едой, ты начинаешь дремать уже стоя. В это время следователь вызывает вертухаев, и они уже знают, что нужно делать.

Здоровенные мужики молча становятся рядом с тобой и начинают разгонять твой сон кулаками с обеих сторон. Буквально в считанные секунды процедура заканчивается, и тогда следователь, уверенный в том, что теперь ты его слушаешь с большим почтением и должным вниманием, начинает тебя ехидно расспрашивать, задавать разные дебильные вопросы, например, как кормят нас, не обижает ли тюремное начальство, регулярно ли выводят на прогулку, почему сплю на допросе и так далее. Одним словом, тянет время и тем самым берёт тебя на измор.

Ну, конечно, у них, у следаков НКВД, тактика и методика «работы» с такими, как я, наработана десятилетиями, нам их «тонкостей» проведения следствия не понять. Как не понять нормальному человеку, почему вдруг меняется твой следователь, к которому ты уже привык. Они, эти следователи, были разных возрастов и званий, разных характеров, и по-разному вели допросы.

Один уговаривает по-хорошему во всём признаться и подписать все документы для приговора, другой берёт на испуг, третий изображает из себя конченного мерзавца, говоря,



что хлопнет меня сейчас здесь, в кабинете, и никто ничего не узнает, и не найдёт, куда я делся, а если кто-нибудь когда-нибудь попробует отыскать меня, то ему просто отпишут, что такой-то и такой-то отбыл по литеру «Б», потом ищи ветра в поле.

Во внутренней тюрьме нас очень умело доводят до такого состояния, при котором не хочется жить на белом свете. Вся человеческая мерзость, сконцентрированная в лице следователей и в их методах общения с арестованными, становится видна как на ладони.

Всем следователям на их глупые вопросы я отвечал так:

- Вам потерять эту работу, а вместе с нею и все ваши льготы, страшнее, чем мне потерять жизнь, потому что мне терять уже больше нечего. А вам есть что.

Такие слова очень не нравились следакам, поэтому я частенько сидел в карцере.

В конце концов меня, как несговорчивого и не поддающегося обычным мерам воздействия, передали молодому следователю в чине лейтенанта. По национальности он был башкир, фамилия его была Татаулин. Он на допросы обычно вызывал меня в дневное время, во время прогулки отпускал подышать свежим воздухом вместе со всеми и никогда не лишал пайки хлеба. Я был этому рад, потому что мне всегда не хватало тюремного пайка и я всегда и постоянно хотел есть, даже и при получении полной нормы. Зато теперь в ночное время я мог наслаждаться относительно спокойным сном.

Я с этим Татаулиным настолько свыкся, что готов был подписать на себя любые показания. Вот что он напишет, под тем бы я и подписался. Лейтенант даже называл меня по имени - Алёшка.

- Алёшка, - говорит он мне, - давай подпиши в листке допроса, что ты добровольно сдался в плен к немцам, добровольно принял присягу и сотрудничал с ними из трусости. Ну дадут тебе два-три года за нарушение присяги, потом отправят куда-нибудь на отработку, и что? Условия для всех в наших лагерях хорошие. Ты молодой, здоровый, будешь хорошо зарабатывать и скоро будешь на свободе. Чего тебе здесь, в тюрьме, делать, клопов кормить? У тебя ведь мать есть и сестрёнка, им помощь твоя нужна. Так что, Алёшка, давай иди в свою камеру и хорошенько подумай. Как надумаешь, так мы сразу закончим эту нервотрёпку. Всё равно отсюда просто так, без приговора, никто не уходит. Будешь упрямяться - получишь больший срок. Будешь меня слушать - отделаешься малым сроком. Думай, парень, думай! Ты посмотри на себя, какой ты стал доходной, а ведь тебе ещё работать и работать. У тебя же вся жизнь впереди. Тебе ещё жениться нужно будет и детей поднимать. Я ещё раз хочу тебе напомнить, что из внутренней тюрьмы у нас ещё никто и никогда не выходил оправданным. В землю живым закопаем, но не выпустим.

Вот так он меня уговаривал, уговаривал - и уговорил.

Однажды во время допроса Татаулин достал небольшое зеркальце из нагрудного кармана и дал мне в него посмотреться.

Я просто не поверил, что это был я, настолько я выглядел в этом проклятом зеркальце старым и худым. Моё лицо, как мне показалось, даже мало походило на человеческое, настолько оно было измождённым и каким-то потусторонним.

И я сдался.

Вот так нас обрабатывали для обвинительного приговора. Такие методы были у НКВД и его следователей.

Если к ним попадал человек пожилой, да ещё интеллигентный, вряд ли он выживал в такой обстановке.

Я частенько вспоминаю Бога и благодарю его за то, что он с самого детства наградил меня отменным здоровьем и закалил моё невеликое тело. И это несмотря на то, что жили мы с моей семьёй в очень непростое время, когда выжить на воле было так же трудно, как и мне в застенках.

Наконец все мои полугодовые следственные баталии закончились. Теперь для меня настало самое ответственное время перед трибуналом - время его ожидания. Статью-то я

уже знаю какую дадут, а вот срок неизвестен. Какой срок меня ждёт - это ещё в моих догадках.

\*\*\*

## Глава сорок пятая Суд

Последний раз перед судом трибунала вызвали меня на допрос к военному прокурору в чине полковника.

На полковнике новенькая военная форма, на груди множество наградных колодок, и холёная жирная морда торчит над стоячим воротником кителя. Так бы и дал кирпичом по этой хारे!

Посадил он меня на табурет напротив себя, уставился ничего не выражающими колбочими глазами и вроде бы как гипнотизирует меня.

Удивительное дело, но все тогдашние работники внутренних органов, с которыми мне приходилось встречаться, ходили в очках, некоторые даже в пенсне, наверное, подражали своему начальнику - Лаврентию Павловичу Берия, и носили очки с простыми стёклами. А, может, хотели казаться интеллигентнее, солиднее и умнее? Кто их знает, что у них было тогда на уме.

Так вот, смотрит этот боров в кителе на меня, но только не через очки, а поверх них. И таким пронзительным взглядом смотрит, словно хочет из меня всю подноготную правду вытянуть. И, главное, только хорошую правду про порядки во внутренней тюрьме и про доброе отношение к подследственному со стороны его следователей.

Я сразу сравнил прокурора с тем самым паучком из моей камеры, который кормился мошками. Как тот разбойник ловко и метко набрасывает паутинку на свои жертвы, так и этот холёный тип в круглых роговых очках кормится и живёт припеваючи за наш счёт. Полковник даже внешне, как мне показалось, похож на моего невольного сокамерника.

Вопросы прокурор задаёт простые.

- Какое отношение к вам было со стороны следователей? Вас не пытали? Не издевались? Не заставляли оговаривать себя и других?

Конечно, на все вопросы я отвечал так, как ему требовалось. Об этом мы уже давно и не раз переговорили с лейтенантом Татаулиным.

Я понимаю, что полковник делает вид, что ничего не знает о том, что происходит в тюрьме на самом деле. Судя по его вопросам, он не очень-то и пытается скрыть своё знание, просто, наверное, ему лишний раз хочется обмакнуть меня мордой в дерьмо и указать моё настоящее место в системе ГУЛАГа, в котором мне предстоит жить неизвестно сколько лет.

На все его вопросы я даю конкретные ответы, которые тут же записываются на листок бумаги, после чего я подписываю этот листок.

И вот я снова в своей вонючей и тесной камере. И снова начинаю наблюдать за своим паучком-артистом, разыгрывающим для меня одного своё нескончаемое и очень жизненное действо.

Чем меньше времени остаётся до суда, тем больше в камере среди зэков толкований, обсуждений, переживаний по поводу того, что и как говорить в своё оправдание. Подходит такой момент, когда независимо от тебя самого решается вся твоя дальнейшая судьба и жизнь. Всех волнует только один вопрос: какой срок тебе наметили прокурор и судьи? Хотя мы все прекрасно знаем, что у судейских за годы советской власти наметился свой стандарт для обвинительных приговоров: рядовому составу от 10 до 15 лет, офицерскому от 15 до 25, но хочется, ой как хочется быть нестандартным, выбивающимся из всех рамок общепринятого правила и получить минимальный срок. Что делать, человеческая природа неисправима, ему, человеку, всегда кажется, что самое худшее его обойдёт стороной, а всё лучшее его ещё ожидает где-то впереди, возможно, вот за этим самым поворотом судьбы и даже просто дороги.

И вот я дождался суда.

Вертухай вызвал меня из камеры, провёл в уже известную просторную комнату, сделал тщательный обыск и сдал под расписку двум автоматчикам, которые и ввели меня в зал суда, строго по уставу, молча став у меня по бокам.

Ждём судей десять минут, пятнадцать, может, и больше.

Наконец двери открываются и в зал вваливаются генералы, люди заслуженные перед партией и советским правительством, это сразу видно по откормленным физиономиям вершителей наших судеб. Золотые погоны выдают в них высочайших знатоков зэков, профессионалов в своём деле. Все трое с портфелями, туго набитыми бумагами.

Не торопясь усаживаются каждый на своё место.

По их безразличным лицам видно, что они готовы и без разбора дела вынести свой суровый судебный приговор хоть десяти, хоть двадцати жертвам системы, по-стахановски перевыполнив дневной и даже месячный план.

Как сказал мне на следствии мой следователь Татаулин, им тоже сверху спускают разнарядки.

- Чем больше раскроем дел, тем больше подследственных осудит трибунал. Значит, больше получим прогрессивку к зарплате. Но главное не в этом, главное в том, что будет больше уважения и почёта от большого начальства. У нас ведь в стране плановое ведение хозяйства, а судопроизводство - это хозяйство, да ещё какое! И всё у нас идёт на потоке, как и в любом цехе на производстве.

Судьи между тем о чём-то пошептались между собой, и самый старший из них и по званию, и по возрасту, председательствующий военного трибунала, встал и в течение пяти минут зачитал уже отработанный заранее и напечатанный текст моего приговора.

Из прочитанного я понял, что осуждён по 58-й статье, пункт 1 б, сроком на десять лет и поражением в правах сроком на пять лет, с отбыванием вышеназванного срока наказания в лагерях Советского Союза.

На этом суд закончился, и судьи молча удалились из зала суда.

Я стоял потрясённый случившимся.

Никто не задал мне ни одного вопроса, никто из судей даже не услышал в ответ на их приговор моего живого человеческого голоса. Так они могли зачитать приговор и перед пустым залом, а мне сказать об этом где-нибудь в камере или на прогулке. Эффект был бы один и тот же.

Те же автоматчики сопроводили меня до заранее подготовленного «воронка», запихали в кузов, где уже находилось несколько только что осуждённых, как и я, зэков, и нас повезли в общую тюрьму.

\*\*\*

## Глава сорок шестая

### Екатерининская тюрьма и этап

Эта тюрьма была интересна тем, что, говорят, была построена ещё самой Екатериной Второй и так построена, что с высоты птичьего полёта было видно, что здание похоже на букву «Е». С самого первого дня своего существования эта тюрьма предназначалась для политических заключённых, поэтому и была разбита на камеры-одиночки. Ну, у Екатерины тоже были проблемы с населением страны: то Пугачёв сотрясает устои монархии, то свои любимые чиновники, вроде Радищева, начинают своевольничать, ей, как говорится, сам Бог велел строить такие здания.

В Советском Союзе после войны было много осуждённых, и камеры-одиночки в тюрьме никогда не пустовали. Ушедших по этапу тут же сменяли другие постояльцы, а на очереди уже стояли следующие. Правоохранительный конвейер работал безостановочно. Это правда.

Когда привезли в эту знаменитую старинную тюрьму, то в камеру-одиночку вертухай меня просто впахнули на головы сидящих и лежащих на полу людей, а те, как по транспортёрной ленте, сопроводили меня дальше, к месту параша - там всегда найдётся уголок для новичка.

Оказалось, что одиночная камера была до отказа набита людьми.

Камерное население было многоликим и разнообразным по составу. Были здесь люди разных возрастов, национальностей, сословий, профессий и даже статей Уголовного кодекса, по которым были осуждены. И поэтому здесь были свои, особые условия и порядки.

Это я чуть позднее узнал, что в каждой такой камере обязательно был свой маленький вор в законе, от которого зависела дисциплина в камере. Он командовал здесь парадом, и прежде всего старался подавить волю вновь прибывших, чтобы те и не думали посягать на его власть. Шестёрки пахана старались с первой минуты появления новичка разузнать о нём всё как можно больше: какой срок и по какой статье отбывает, получает или нет передачи из дома, ну и так далее.

По всем перечисленным выше вопросам я не представлял никакого интереса для пахана, и поэтому моё законное место оказалось у параша.

Кто был более состоятельный, тех они оберегали и создавали более или менее приличные условия: держали ближе к себе и в общении между заключёнными, и по расстоянию от места нахождения параша. И это было по их понятиям правильно: дойных коров нужно беречь.

В общей камере чего только не увидишь, чего не услышишь. Такие пакости и мерзости прошли у меня перед глазами, что язык не повернётся обо всём рассказать, а рука не поднимется всего описать.

Здесь человек становится скотом, едва переступает порог камеры. Его унижают и оскорбляют не только тюремные начальники, но больше всего он страдает от организованного в группы воря и от уподобившегося им человеческого отребья из числа политических заключённых.

Те люди, которые уже когда-то побывали в тюрьме, быстрее привыкают к камерным порядкам, но всё не так обстоит с новичками, например, с такими, как я. Хотя меня тоже не назовёшь маменькиным сынком - за годы войны я увидел и пережил достаточно всего такого, от чего у многих сидящих здесь могла запросто и голова свихнуться - но всё равно время, проведённое в общей камере, осталось для меня на всю мою жизнь тяжёлым воспоминанием, сравнимым с тавром, выжигаемым на теле животного калёным железом.

За полтора месяца пребывания в Екатерининской тюрьме города Уфы я побывал и на нижних, и на верхних её этажах, покормил немало вшей и клопов своим телом и кровью в разных камерах сего богоугодного заведения, потому что засиживаться в одной камере заключённому по инструкции долго не положено.

Побывал и в камере с малолетками.

Вот где ломаются мальчишеские души!

Сподобился «погостить» в одиночных камерах для смертников.

И везде только один ужас и ничего больше.

Бытовиков с малыми сроками быстрее отправляют на этапы в ближние колонии.

Большесрочников, в основном осуждённых по 58-й статье, отправляют реже, их накапливают до нужного количества, а затем вместе с ворами-рецидивистами и откровенными бандитами загружают в столыпинские вагоны и отправляют в дальние лагеря на север Союза.

В начале ноября наконец-то сформировался этап большесрочников на Север, куда попал и я.

Никаких вещей, а также лишней одежды на мне не было. Одет по-летнему, что было лишнее - отобрали уголовники. Остались на мне ботинки на босую ногу да рабочая одежда: брюки и куртка, которые выдали мне ещё на нефтепромыслах в Шимбае.

Из тюрьмы нас вывели во двор, построили в колонну и долго проверяли по спискам, строго сверяя по фамилиям, статьям приговора, полученным срокам и так далее.

Оказывается, воры с большим сроком наказания ухитрились подсунуть на этап вместо себя других зэков. Каким образом они заставляли это делать простых мужиков, оставалось тайной, но, зная тюремные порядки, мы понимали, что делалось это малосрочниками не из любви к ближнему. А может быть, как раз именно из-за этого? Ведь у каждого взрослого зэка был дом и была семья. И каждый из них желал ей только хорошего. Не на этом ли играли преступники, шантажируя несчастных? Долго ли им было порешить всю семью отказника в назидание другим? Возможно, такое и происходило не однажды, и об этом бандиты старались говорить вслух при намеченной жертве, красочно расписывая сам процесс убийства. Всё может быть в этом проклятом мире! Всё!

На все разборки с фамилиями требовалось много времени. Мы устали и стали волноваться. Подошла усиленная охрана автоматчиков с овчарками, и колонна притихла. А вскоре мы тронулись в сторону вокзала.

По ходу направления движения колонны охрана заранее оттесняла с дороги всех случайных прохожих, и мы дошли до вокзала по пустынным улицам без происшествий.

Нас погрузили в столыпинские вагоны с зарешёнными окнами. В каждом «купе» было полным-полно народу. Ни сидеть, ни стоять в вагоне не положено. Нам разрешалось только лежать на койках лицом к железной сетке двери, чтобы сопровождающему конвою было видно лицо каждого заключённого.

В дороге кормили в основном протухшей селёдкой, а воду давали только на больших станциях, и то очень мало, потому что могла возникнуть проблема с туалетом, а конвою это не нравилось.

Рядом со мной лежал узбек Муминов, после селёдки жажда у него была настолько сильна, что он кричал нечеловеческим голосом: «Дайте пить! Дайте пить!».

Своим криком он так надоел не столько нам, сколько конвою, что они наконец вытащили его от нас и куда-то увели. С тех пор я его больше не видел.

И никто не видел.

Зато потом мы лежали чуть посвободнее. Можно было хоть почесать своё искусанное клопами тело, не боясь столкнуть с нар соседа и получить за это от конвоя по первое число.

Мы столько перенесли от сопровождающего конвоя издевательств, что описать трудно. Мне кажется, что туда подбирали специально психически неуравновешенных людей, с извращёнными наклонностями, в основном со склонностью к садизму.

Но вот мы и прибыли к станции назначения. «Вожа Ель» - конечная цель нашего утомительного путешествия, дальше дороги нет.

Конец ноября в республике Коми - это уже настоящая зима, а на мне брюки с пиджачком без головного убора, и из нижнего белья только трусы да майка.

На станции опять передача нас новому конвою. Опять проверка и переключка, пересчёт и сверка...

Дальше нас этапируют в пешем строю.

Новый конвой уже одет по-зимнему, а мы, зэки, кто в чём, большинство таких, как я, одетых в летнюю рабочую одежду.

От недоедания и малоподвижного образа жизни, от заболевания разными болезнями люди разучились нормально ходить и даже просто долго стоять на ногах, а тут нам предстоял такой длинный переход по морозу. Через некоторое время начинается настоящий падёж людей прямо в строю. Зэки падали в снег, как скот в период бескормицы, а конвой с овчарками то и дело подгоняет: «Давай, давай! Подтянись!».

Вслед за нами плетутся несколько саней в конной упряжке, в них инструменты для нас: лучковые пилы и топоры.

Кто уже совсем не может передвигаться на своих двоих, падают в снег замертво, и их подбирают загруженные сани - всё равно обессилевшие окоченеют по дороге, но довезти нужно всех, для счёта у пункта сбора.

Гужевой транспорт с санями, идущими позади колонны, был заранее приготовлен начальством, привыкшим к подобным происшествиям.

С нашего этапа потери были большие. Даже очень большие! Точно как на войне, только ещё страшнее, потому что смерть принимали от своих.

И всё же к вечеру мы кое-как доплелись до назначенного нам места, называемого по местному «подкомандировка от 18-го головного лагпункта».

Здесь намечалось два вида работы: лесоповал и добыча торфа.

На этой «подкомандировке» стояли одни пустые бараки, а вокруг, как водится, вышки с колючей проволокой. Охрана уже заступила на свои посты и маячила на вышках в ожидании нашего прихода.

Мы спешно разместились по баракам и стали обживать зону.

Нас сразу же всех разбили по бригадам, бригадирами в которых назначили блатных.

Откуда-то прикатили пустые железные бочки, и они стали нашими печками. Кое-где сразу же эти печки затопили дровами, и в бараки пошло живительное тепло, а это уже было спасение от холода.

Кто хотел жить и выжить, тот через силу стал двигаться и что-то делать. Только так можно было спастись.

Из тех, кто упал по дороге и лежал на санях, лишь половина выжила, не окоченев на морозе. А из оставшихся в живых через некоторое время ещё много Богу душу отдали.

Всех умерших вывозили за зону и хоронили в снегу, а весной, если они оставались целыми от лесного зверья, закапывали в оттаявшую землю.

В лагере была специальная бригада доходяг, занимающаяся этим печальным делом.

\*\*\*

## Глава сорок седьмая

### Зона

В первый же день прибытия в нашей бригаде произошло ЧП.

Утром, в 6 часов утра, во время подъёма, бригадир из блатных со своим помощником получили на нашу бригаду хлеб, как всегда, неизвестно из чего выпеченный, более тридцати паек по 400 граммов каждая. Перед входом в барак такие же блатные, как и бригадир, воспользовались темнотой, напали на нашего бугра (скорее всего, они перед этим между собой сговорились об этом), выбили из рук разнос с пайками хлеба, отчего пайки разлетелись по бараку.

Кто был очевидцем этого случая, кто ближе других находился к разбросанным пайкам, тот воспользовался этим и стал хватать пайки и тут же съедать их. В итоге многие зэки в бригаде остались голодными, в том числе и я.

Для меня это была настоящая трагедия. Хоть этот хлеб был и вовсе никакой, можно сказать, совсем никудышный, но им и только им мы и жили в лагерях.

В столовой всё же миску тёплой баланды я в тот день получил, тут же выпил через край, и всё равно остался голодным.

На проходной в лагере пробили в рельс - сигнал на развод по бригадам.

На развод я не явился, на работу не пошёл, причина - мне не дали мою законную пайку хлеба, я остался голодный и работать не в силах.

Я ушёл в свой барак и спрятался под нары. Лежал, пока не прошёл развод, думал, мой номер пройдёт. Однако после развода нарядчик, тоже блатной, вместе со своими помощниками из блатяг, начал операцию отлова беглецов - отказников от работы, и всех без лишних разговоров запирали в штрафной изолятор.

Меня за ноги выволокли из-под нар, отлупили как следует, сняли с меня бушлат, который я уже успел получить в хозчасти как зимнюю одежду, шапку-ушанку, и тоже закрыли в изоляторе, где вместо окон одни решётки и кругом насквозь пронизывающий сквозняк.

Все штрафники сразу заскулили как волки: «Выпускайте нас, мы пойдём на работу. Выпускайте!».

И правда, на работе можно хоть у костра греться, благо тайга кругом и дров хватает. А здесь, на ветру, окоченеешь в два счёта.

На работу нас всё же отправили, но отдельно, под усиленным конвоем, и не в тайгу, а копать торф.

Свою дневную норму никто, конечно, не сделал, поэтому все штрафники опять попали в изолятор.

Обычно за невыполнение нормы виновные получают всего 300 граммов хлеба и кипяток вместо тёплой миски с баландой. Ну что это за еда для взрослого человека?

За несколько дней такого питания и адской работы я дошёл до ручки.

В изоляторе я уже лежал на нарах пластом, потому что не мог самостоятельно передвигаться, и молча ждал своего конца.

Утром вертухаи с нарядчиком и его прихлебателями, доставили меня из изолятора в санчасть, где уже находилась лагерная медицинская комиссия во главе с самим начальником лагеря и ещё какими-то вольняшками.

Раздевают всех наголо. Степень пригодности к дальнейшей работе определяют довольно быстро и просто: если на заднице у зэка остались одни мослы, то есть кости, значит, зэк дошёл до последней степени истощения, и его определяют на инвалидность.

Так со мной и произошло.

Меня сактировали и зачислили в инвалидную бригаду. Такая бригада только числилась у нарядчика в списках, чтобы мы могли получать свою пайку хлеба и миску баланды, а на работу мы не ходили, считались как вольношатающиеся по лагерю, верные кандидаты на тот свет.

Лёжа на нарах, я много размышлял, и пришёл к печальным результатам своих мыслительных изысканий. Если я хочу выжить в этом кошмаре, то должен сам искать для себя в зоне что-нибудь такое, что давало бы мне пропитание и шанс на выживание. Здесь никто и никому не поможет, потому что в зоне существует закон: «Ты подохни сегодня, а я завтра».

Дней через десять я отлежался, кое-как очухался, и соображал, что же мне делать дальше. Я понимал, что на голодном пайке мне больше не протянуть, а что делать? Многие зэки из инвалидной бригады, такие, как и я, бедолаги, начали лазить по помойке, искать что-нибудь съестное. А что там найдёшь, если крысы уже опередили тебя, и что нашли съедобного, всё уничтожили.

Если же зэк что-то и находил съедобное, то это была верная погибель. От такой еды у него открывался кровавый понос, и уже спасти несчастного не удавалось. Лекарств у нас не было никаких, да и кому это было нужно - лечить доходягу-инвалида? В лагере мы нужны были только здоровыми и хорошо работающими.

Воспользовавшись тем, что я был официально признан праздношатающимся по лагерю, я большую часть дневного времени проводил возле кухни.

Бывало, замечу, что кухонный рабочий зачем-то выскочил на улицу, я к нему: «Может, помочь что нужно?».

Иногда ему действительно нужен был помощник, и я тогда честно зарабатывал свою дополнительную миску баланды, а это уже было кое-что в моём скудном рационе. Так у меня каждый день что-нибудь да перепало допайком.

Здесь нужно заметить, что не я один был такой шустрый возле кухни, нас было больше чем достаточно, так что за своё место у котла и нам приходилось бороться не на шутку. Не жизнь, а сплошная борьба за выживание. Совсем как по Дарвину.

Порой голодный и побитый я возвращался в свой барак и лез на нары, едва живой от побоев. После этого отлёживался день-два, и снова голодный желудок гнал меня к кухне, с не зажившими ещё ранами и синяками.

Звериная жизнь!

Мой желудок ежедневно требовал пищи, пищи и только пищи.

Каждый день, не обращая внимания ни на какие трудности, нужно было находить хоть какое-то пропитание, чтобы восстановить своё тело и силу, а для этого нужно здоровье, которого у меня тогда не было. Я был так истощён, что у меня остались практически только кожа да кости, поэтому любая баланда была мне в пользу, желудок всё перерабатывал, превращая дерьмо в добро.

Через несколько дней я почувствовал, что стал поправляться. У меня стало появляться мясо в теле, появилась силёнка.

Через полтора-два месяца меня снова вызвали на медкомиссию и, осмотрев меня, комиссия решила, что я вполне здоров, то есть на моей заднице не стало видно костей, поэтому могу вновь вернуться на общие работы по заготовке торфа.

Нормы выработки на торфе были, как и везде, завышены, но их нужно было выполнять любым путём, иначе не получить большую пайку хлеба, а к основной баланде лишнюю ложку магаровой каши-размазни.

На заготовке торфа работа считалась легче, чем на лесоповале, но зато мы целый день находились чуть ли не по колено в воде. Обуви при этом у нас практически не было никакой, кроме верёвочных лаптей или резиновых чуней, сделанных из отслуживших свой срок автопокрышек - чудо местного лагерного производства. Вместо портянок были рукава от старых бушлатов, выдаваемые строго на определённое время носки. И ничего больше.

На заготовке торфа, где я работал первые дни после выписки из инвалидной команды, было так: сделал ты норму или же нет, но подошло время - и вертухаи с бригадирами начинают строить бригады, и под конвоем гонят нас в зону, пока ещё светло.

У них свой распорядок дня, и им, по большому счёту, плевать на твои выработки.

На вахте, то есть на проходной у входа в лагерь, нужно ждать начальника смены охраны. Пока разыщут его, чтобы он пересчитал пришедших и сделал шмон, проходят часы ожидания на морозе с мокрыми ногами.

В бараке также хорошего мало. Одна печка-бочка, обложенная камнями, на весь барак. Печкой распоряжаются блатные, а нам, фраерам, доступа к ней нет, так что просушить или хотя бы подогреть одежду и портянки до следующего утра невозможно, поэтому сушили мокрую одежду, подкладывая её на ночь под себя. Но до этого нужно было ещё выстоять с мокрыми ногами очередь в столовой за своей порцией похлёбки, а затем ждать в мокрой одежде вечерней проверки. Пока нас на несколько раз посчитают, пока снова произведут тщательный шмон, столько времени уйдёт, что кости насквозь промёрзнут. Не каждый зэк выдержит лагерные порядки, вот почему вновь прибывающие зэковские этапы со всего Советского Союза быстро тают и исчезают прямо на глазах у лагерных старожилов. Люди погибают не только от суровых условий севера, но в основном от бесчеловечного лагерного режима.

После вечерней проверки и шмона несколько ударов в рельс дают отбой.

После отбоя никто не имеет права выходить из барака. Ночное хождение из барака в барак считается преступлением, за которое зэк наказывается штрафным изолятором на несколько суток или, что ещё хуже, охранник с вышки может вести огонь на поражение. Ничего за это охраннику не будет: была попытка побега, и он её предотвратил, за это можно только поблагодарить бдительного солдата и отправить его в отпуск домой.

Но отпуск давали не всем. Таких «попыток к побегу» было слишком много, и настоящую их суть начальство знало очень хорошо.

В летнее время тоже хорошего мало: все 24 часа светит солнце, и все 24 часа в тайге гнус, комары, слепни и прочие кровососущие паразиты. Тепло и полярное лето быстро



проходят, но эти твари держатся до самой осени не только в лесу и на болоте, но и в бараках. Во время сна от них нет никакого покоя, да ещё плюс к ним постоянные спутники человека - вши, клопы и тараканы...

В зимнее время почти всегда темно и солнышка совсем не видно. Нас освещает только северное сияние в хорошую погоду. Это зрелище настолько интересное, что, кажется, наблюдал бы его всю жизнь и скучно не было бы. Особенно оно прекрасно в морозные дни, а морозы на Печоре порой доходят до 58-60 градусов по Цельсию.

В такие дни сталь топоров не выдерживает ударов по мороженому дереву и ломается, крошится. И полотно лучковой пилы становится хрупким, как стекло.

Костёр в такие дни в лесу не так-то просто разжечь, если и удаётся это сделать, то не нагреешься возле него, скорее только сожжёшь свою убогую одежонку.

\*\*\*

## Глава сорок восьмая

### Побег из зоны

Усть-Вымские лагеря расположены в самых глухих и болотистых лесах. Да и вообще все лагеря для заключённых в республике Коми - самое подходящее место для удаления нежелательных элементов от цивилизации и от человеческого общества.

Я думаю, что география расположения мест заключения была кем-то грамотно и верно спланирована на самом верху власти и одобрена лично Сталиным и Лаврентием Павловичем. Вот в чём угодно можно обвинить руководство страны и НКВД, но только не в отсутствии внимания к лагерям. Действительно, сделано всё на совесть и на века!

Во время этапа по железной дороге, начиная от Челябинской пересылки, как только остался позади город Котлас, мне пришлось украдкой от охраны увидеть и запомнить некоторые весьма интересные детали пейзажа.

По обеим сторонам дороги стояла сплошная стена колючей проволоки с вышками для охраны и наспех отстроенными бараками для заключённых. Судя по новизне строений, лагеря строились уже после войны, то есть целенаправленно для нас и гражданского населения, побывавшего в оккупации и сотрудничавшего с немцами.

Побегов из этих лагерей практически не было, а если кто-то и пытался бежать, то дальше головного лагеря ему уйти не удавалось.

Во-первых, все дороги и даже звериные тропинки были перекрыты чекистами, а уходить через болота или же лес практически невозможно: в зимнее время глубокие снега и трескучие морозы быстро приканчивали беглецов, летом - мошкара, комары, гнус.

Да и далеко ли уйдёшь без продуктов в этом диком краю?

Населённые пункты, стоящие на расстоянии 100-150 километров друг от друга, были настоящей погубелью для эков, потому что их жители специально натравливались на заключённых, за поимку которых получали приличные вознаграждения, превосходящие порой цену редкого таёжного зверя.

И всё же на моей памяти был один побег из командировки, где царил особенно ужасный произвол, чинимый лагерным начальством. И произошло это в зимнее время, да ещё в нашей бригаде.

Правда, я бы, может, и не назвал этот случай побегом, потому что так рискует только тот, кто хочет добыть себе обыкновенный кусок хлеба, чтобы прожить лишний денёк на белом свете, а не тот, кто хочет вообще уйти в бега на всю оставшуюся жизнь, чтобы сделать эту жизнь другой, совершенно не похожей на первую.

Как обычно, в 6 часов утра, на разводе, каждая бригада получала назначение на работы. Вертухай, принимая бригады, просчитали количество эков в каждой и громко, скороговоркой прочитали свою «молитву»: «Шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой применяет оружие без предупреждения» и повели колонну к инструменталке. Это уже за пределами зоны.

Получаем топоры, лопаты, лучковые пилы, верёвки.

Всё это получают только «мужики», блатным инструментом не положен, да и работать им тоже не положено.

Снова вертухаи пересчитывают людей и читают свою «молитву», а затем гонят за несколько километров от лагеря на заготовку торфа.

Идёт сильный снег.

Как только вышли за пределы зоны лагеря, впереди колонны пошли два вертухая для прокладки дороги, третий идёт замыкающим.

И так вот, по проложенной тропиночке, мы идём вслед за охранниками длинной цепочкой, гуськом.

Снег прекратился, покрыл после себя всё пространство леса безумно пушистым белым покрывалом. Особенно маленькие сосенки и ёлочки выглядят нарядно. А с неба ещё и северное сияние всё это подсвечивает и усиливает сказочный эффект своими неземными космическими красками. Маленькие огоньки большого небесного огня, рассыпавшись миллионами отблесков, сверкают, отражаясь от снежинок, по всему лесу. Не хватает только рядом с ними Деда Мороза и Снегурочки.

Такая красотища в лесу!

Маленькие деревца только сверху принарядились пышной снеговой шапкой, а снизу, у самой земли, под ними образовалось пустое пространство, похожее на шалашик, в котором ещё кое-где сохранилась засохшая летняя растительность. Вот в этот-то шалашик и сделал прыжок идущий впереди меня зэк.

Всё так получилось молниеносно, что я даже не почувствовал, что же произошло. Ведь это же риск, и какой! Сзади идёт замыкающий вертухай, который имеет законное право прошить одной автоматной очередью и сосёнку, приютившую зэка, и самого беглеца.

Я хорошо знал этого зэка. Это был матёрый рецидивист-большесрочник, у него было несколько судимостей и двадцать пять лет срока. За свои десять или пятнадцать лет отсидки, он побывал во многих лагерях Воркуты, Инты, Ухты и так далее. И везде рисковал по-крупному.

В бараке вечерами он говорил, что ему терять уже нечего. Если будут судить, то только добавят к общему сроку ещё одну статью и больше ничего, дальше добавлять некуда, у него и так «четвертак». Хуже, если отобьют почки при поимке или пристрелят. Хотя, последнее, кажется, его больше устраивало из всех возможных вариантов. Он был, как говорят, «отпетый», а такие рискуют всем и всегда.

Пока нас пригнали на объект, прошло довольно много времени. И за это время никто из вертухаев не обнаружил пропажи. Я поражаюсь, как это последний вертухай проморгал, что у него почти под самым носом сидит, притаившись, беглый зэк.

По прибытии на место назначения бригадиры и блатняки позагоняли нас в ямы, копать торф, а вертухаи начали на всякий случай пересчитывать.

Один раз просчитали, потом второй, на третий раз уже забеспокоились, забегали: одного по счёту не хватает.

Я-то знаю, в чём дело, но помалкиваю, думаю, что же дальше будет.

А дальше хорошего мало было.

Всех нас повыгоняли из ям, согнали в одну кучу, как баранов, выстрелами из винтовки и автомата положили всех в снег и так держали нас до самого вечера в снегу.

Потом на участок прибежала вся лагерная охрана с собаками и начальниками. Настолько все они были злые, что готовы были всех нас, лежавших перед ними лицами в снегу, тут же перестрелять или потравить собаками.

Между собой у них ругань, мат...

Одним словом, началось выяснение обстоятельств побега. Разборки пошли прямо при зэках, хотя старались делать всё аккуратно, чтобы не сильно себя позорить перед нами.

Для вертухаев побег зэка, да ещё с рабочего участка. - крупное ЧП. После выяснения всех обстоятельств побега виновный вертухай запросто может оказаться среди нас, то есть

тех, кого он только что так бездарно охранял, и по вине которых сломал свою карьеру. Сидеть, правда, ему придётся в другом лагере и с другими людьми, но радостнее ему от этого всё равно не станет.

К сожалению, до этого дело, конечно, не дойдёт, потому что во время побега заключённого эта весть молниеносно распространяется по округе, по всем оперативным группам, постам и железнодорожным станциям и полустанкам, деревням и так далее. На охоту за человеком выходят все чекистские подразделения и просто гражданские добровольцы, желающие подзаработать.

Вся шумиха с погоней заканчивается довольно быстро и однообразно. Наш случай тоже закончился в пользу вертухаев.

Вечером того же дня беглеца доставили к проходной нашей подкомандировки. Перед этим его так избили, что стоять на ногах он не мог, и его привязали к столбу, как дикого зверя - всем напоказ.

Так держали его привязанным до тех пор, пока перед ним не прошли с работы все бригады заключённых.

Нам тоже досталось. Мы всё это время стояли рядом с привязанным беглецом под усиленным конвоем, как особо провинившиеся, и вынуждены были наблюдать всю эту картину средневекового издевательства над человеком молча.

Потом нас всех насильно раздели, с тумачами, с подзатыльниками, и загнали в штрафной изолятор. Перед этим тщательно прошмонали. Отобрали всё, что могло дать огонь или даже искру для огня, чтобы мы не подожгли изолятор, пытаясь согреться. Да и вообще ээку при входе в зону лагеря, ничего при себе иметь не положено. Ничего! Поэтому всё при прохождении через вахту в зону отбиралось.

Страшнее всего для нас, работяг, было то, что вся наша бригада попала в штрафной изолятор, да ещё всех нас наказали, уменьшив хлебный паёк.

На ночь нам выдали на каждого штрафную хлебную пайку в 300 граммов. Это была наша суточная норма, не считая пол-литра холодной баланды, сваренной и переваренной из чёрных и вонючих листов капусты.

Ночь провели в промёрзших камерах, на голых нарах, лишённые тёплой одежды.

Очень дорого нам обошёлся этот побег из «штрафной подкомандировки 18 головного лагпункта»!

\*\*\*

## Глава сорок девятая

### Законы зоны

Подкомандировка эта была особая. Здесь всё было новое: и наши бараки, и все строения. Но всё было построено на скорую руку, особенно изолятор. На нарах с лежаками даже сучки не были как следует обрублены. Видимо, за строительством никто не следил и никто и ни за что не отвечал. Да и строили всё это такие же ээки, как и мы, лишь бы день до вечера как-нибудь прокантоваться и получить пайку хлеба. Но зато надёжно всё отстроено вокруг зоны. В несколько рядов надёжно натянута проволока, а между рядами дополнительно проложены кольца из неё. Через каждые двадцать-тридцать метров стоят вышки для охраны, на вышках прожектора, и возможно, что проволока перед ними под высоким напряжением. С внешней стороны колючки бегают на привязи овчарки. Одним словом, охрана надёжная, не убежишь.

Охрана в основном из молодых солдат, по виду деревенских.

К дополнительной охране внутри зоны привлекались «бытовики», получившие срок за растрату и прочие мелкие проступки. И опять же вместе с ними попадали в охрану блатные из воря, их называли и до сих пор называют в зонах «суками».

Между ворами и ссученными ворами всегда была самая настоящая непримиримая вражда. Если они попадали в один лагерь, то кто-то из них должен был умереть. Такой у них закон.

Помнится, в 1953 году меня отправили этапом в другой лагерь, в 8-й, который назывался «Зимка», и тоже являлся головным лагпунктом.

К тому времени я уже достаточно изучил лагерную жизнь, был закалённым зэком и считал себя приспособленным ко многим лишениям, бытовавшим за колючей проволокой. Уже умер Сталин и расстрелян Берия, ещё недавно всевластный хозяин всех лагерей страны ГУЛАГ, жизнь стала немного легче, хотя трудиться приходилось почти без отдыха. Я тогда работал на лесоповале вальщиком леса, а ночью, по распоряжению начальника лагпункта приходилось подрабатывать на кухне: котлы подтапливать, дрова подносить, полы мыть, капусту квашеную с картошкой поднести, моржовое мясо порубить, в общем, работы хватало с избытком, зато и голодным я уже не был.

Но за всё нужно в этом мире платить. И я должен был за свою «сытую жизнь» в лагере рвать пупок на лесосеке. Со своим звеном из 5 человек каждый день я должен был выдавать 25 кубометров леса, что и делал исправно. А как мне это удавалось - это уж мои проблемы.

Ко мне в звено дали ссученного вора, Пашу Ливаденко. Он, конечно, не работал, а только числился за звеном, и свою основную и святую обязанность видел в том, чтобы появиться на верхнем складе в то время, когда туда наш возчик привозил и сдавал кубатуру.

Паша зорко следил за тем, чтобы возчика не обсчитали и не обидели его родное звено при приёмке очередной партии леса. На приёмке работали разные хитромудрые счётчики и приёмщики, за ними глаз да глаз нужен! Мы за это были благодарны Паше, хотя его норму исправно выполняли другие.

Срок у Ливаденко был 10 лет. В 1954 году он должен был освободиться.

Незадолго перед этим к нам в лагпункт пришёл этап с Ростовской области, среди прибывших зэков был очень авторитетный вор в законе.

У лагерного воря были такие чёткие связи среди охраны, что они заранее знали все подробности из жизни прибывающего этапа и весь его численный состав. Прибывающих встречали достойно их репутации.

Так вот, воровская лагерная братва решила, что прибывающего вора в законе нужно убраться.

Сделали сходку. Провели жеребьёвку, и жребий пал на Пашу Ливаденко.

В назначенный день Павел не вышел на работу и остался в зоне. Через некоторое время он смог удачно выполнить поручение ссученных блатяг и завалил вора в законе прямо в бараке.

Паша Ливаденко снова попадает на скамью подсудимых, в нашем же лагере получает положенную за содеянное статью и продолжает тянуть лагерную лямку. Приплюсованный к своим прежним 10 годам срок в какое-то новое количество лет он несёт внешне спокойно и даже гордо. Особенно среди своих.

У нас в бараках промеж себя ходил слух, что это органы специально блатным разработали и подсунули такой жуткий воровской закон, чтобы они сами же себя и уничтожали. «Нет человека, нет и проблем!» - известная «кумовская» поговорка.

Но кто его знает, как всё это было на самом деле.

Мы с Пашей были на дружеской ноге, он доверял мне, и часто рассказывал в лесу у костра, что у него где-то в Воронеже есть жена и дочка, которую он ещё даже и не видел ни разу. Всё мечтал как только выйдет на свободу, так завязать с воровством навсегда.

В 1947 году, после побега из нашей бригады зэка и после ледяного штрафного изолятора, моё здоровье сильно надорвалось, появились мелкие болячки, недомогания, чему способствовали навалившиеся свирепые морозы и никчёмная наша арестантская одежда: бушлаты из старой солдатской шинели, а на ногах верёвочные лапти.

К исхудавшему и больному телу такая одежда не пристаёт, в ней ты ходишь, как в гробу.

В санчасти никаких болезней не признают, освобождение от работы дают только при высокой температуре. Бывало, конечно, и сачковали ребята, прятались от работы в бараках, но вечером подрядчик со своими мордоротами всё равно найдёт и, хорошо поддав,

отправит полураздетого в штрафной изолятор, на 300 граммов хлеба и кружку кипятку. Да и мало кто прятался, подрядчик со своими молодцами знал все наши потаённые дыры и норы.

От ежедневного голодания я снова очень похудел. Заработать свою рабочую пайку я уже не мог. Меня начали обижать даже такие же доходяги, как и я. То толкнут и вырвут пайку хлеба из рук, то в столовой, когда сидишь за столом, кто-то сзади похлопает по плечу, обернёшься - никого нет, смотришь - нет и твоей миски с баландой на столе, украли.

Голод в лагере делает с человеком страшные вещи. Зэк теряет всё человеческое и становится настоящим животным.

Например, блатные стараются как можно дольше продержат труп умершего в бараке, чтобы получать за него пайку хлеба и миску баланды. Они уже и ко мне стали нагло присматриваться и примериваться, не стесняясь меня, ещё живого.

И я, и они понимали, что ещё немного - и я уйду на тот свет под литером «А» или «Б», так обычно в канцелярии отмечали умерших в лагере.

Но я держался назло всем.

Для меня 1947-48 годы были особенно трудными. Но я не раз и не два думал, что если уж я прошёл такое испытание на войне и остался живым, не подох в немецком лагере для военнопленных, значит, мне суждено жить и дальше.

Воровать я не умею, грабить тоже, обманывать в лагере некого, скорее сам будешь обманут. Надо было как-то выживать иным способом. И я стал думать - как.

\*\*\*

## Глава пятидесятая

### Наука выживания

Я снова попал на медкомиссию. За три года это уже второй раз, и это просто счастливый случай в моей жизни. Можно сказать, лотерейный билет.

Как и в прошлый раз, меня раздели догола и быстро осмотрели только задницу: на ней выпуклости и на этот раз отсутствовали. Меня быстро заставили одеться и пустили как по конвейеру к выходу.

И тут я решил осмотреться в этом жутком сборище скелетов и посмотреть, что же представляют из себя другие зэки.

Конечно, не дай Бог такое увидеть нормальному человеку! Кожа и кости. И как только они ещё шевелятся? Наверное, и я был не лучше, но я-то себя со стороны не видел, а они - вот они, копошатся в лохмотьях, живые трупы. Немцы таких в концлагерях сразу отправляли в крематорий, чтобы не мучились, а у нас от них ещё хотят пользу какую-то извлечь.

Среди доходяг много больных цингой и другими болезнями. Всех доходяг решено отправить этапом на основной сборный лагпункт для инвалидов, считающийся самым большим по всему Усть-Вымскому лагерю. Название ему «Зимка».

Тех, кто уже не мог сам передвигаться, по решению комиссии, активировавшей зэков, до Зимки отправили каким-то транспортом. Я попал в ходячую группу, так что пришлось добираться на своих двоих, в общей колонне.

Зимка оказался сельскохозяйственным лагерем № 8. И каждый из нас стал надеяться, что если это сельскохозяйственный лагерь, то это уже само по себе спасение. Или шанс для спасения. Было что-то притягательное в слове «сельскохозяйственный», может, оттого, что большинство из нас были всё же крестьяне или пригородные жители, тесно связанные с землёй. Из земли мы вышли, к земле и тянулись, думая, что в ней наше спасение.

Лишь позднее мы на своей собственной шкуре выяснили, что все известные нам лагпункты со своими подкомандировками, в том числе и заранее произведённая в ранг земли обетованной Зимка, абсолютно одинаковы. Лагерный режим один везде и для всех. ГУЛАГ - он на то и есть ГУЛАГ, чтобы зэкам жизнь раем не казалась.

Нет, пожалуй, я всё же не прав. Жизнь здесь была хороша - по лагерным меркам, конечно, - только не для всех, а для заключённых одной категории - для блатных. Здесь, в

Зимке, они чувствовали себя настоящими хозяевами лагеря. Что скажут, так оно и будет, их слово - закон, в том числе и для лагерного начальства.

Таких доходяг, как я, на Зимке и своих хватало, поэтому никому не были мы нужны и интересны. Но всё же нас разместили в отдельный барак, дали отлежаться, на работу не гоняли, брали трудиться только добровольцев.

Как-то нарядчик приходит к нам в барак и объявляет:

- Ну, фитили, есть лёгкая лежачая работа. Кто желает работать, того после рабочего дня будут сытно кормить.

Добровольцев сытно поесть нашлось много.

Работа заключалась в следующем: в большой теплице нужно было готовить к посадке торфяные стаканчики для рассады ранней капусты, затем, положив широкую доску поперёк неглубокой траншейки, лечь на доску и лёжа заполнять заготовленной питательной смесью пространство вокруг стаканчика с ростком капусты, делая нечто похожее на огородную навозную грядку.

Работа на первый взгляд лёгкая, кажется, лежи и делай дело прямо на боку. Но это только на первый взгляд так казалось, когда смотришь на работающего со стороны, а для доходяг это стало настоящей мукой.

Полежишь пару часов на боку - и отключаешься. Ослабленному организму нужна разминка, а её не дают блатные, захватившие в лагере все «тёплые» посты, в том числе и в теплице. Им от нас нужна сдельная работа, поэтому и понукают нас пинками почём зря.

- Раз прислали работать, так, значит, вы должны работать не абы кабы, а по-стахановски, предатели!

И мы работали, надеясь на обещанный сытный ужин.

Но вместо этого на вахте из нас отобрали несколько человек, по мнению блатных плохо работавших, и отправили в штрафной изолятор.

Остальных, правда, хлебом накормили, из расчёта 400 граммов на человека.

После этого я сделал для себя вывод: чем так зарабатывать улучшенный паёк, лучше лежать в бараке и ничего не делать.

Однако на голодный желудок долго не повалеешься на нарах. И хотя бы в бараке было радио, что ли! Или книгу бы где можно было взять. Даже местную лагерную газету почитать - и то было бы интереснее жить, всё отвлечение от голодухи. Но ничего этого не было. Мы были лишены не только свободы, но и элементарной информации о жизни за пределами лагеря. Нас лишали права не только на жизнь нынешнюю, но и на будущую, если эта жизнь не закончится на лагерном погосте.

Мы были лишены всего - и только наше прошлое всегда было с нами. В мозги к нам вертухаи войти ещё не могли, до этого они додумаются позже. И не с нами.

«Сельхозлагпункт Зимка» находился недалеко от железнодорожной станции, поэтому туда частенько приходили не только этапы с заключёнными, но и эшелоны с разными грузами, так что нарядчик частенько навевывался к нам в барак, заманивая эков на разгрузку вагонов, особенно с дефицитными продуктами.

Однажды, когда я немного очухался после ударной лежачей работы на капусте, нарядчик объявил, что нужно срочно разгрузить вагон с американскими галетами, консервами, колбасой и прочими импортными продуктами.

Опять набралась целая бригада желающих хоть немного поесть во время или после разгрузки. Среди них был и я. Рискнул всё же ещё раз выйти на халявную работёнку.

Пригнали нас на станцию, вскрыли вагон, а там оказалась мороженая капуста вилками.

Деваться было некуда, нужно было разгружать.

Во время разгрузки кто-то с голодухи грыз мёрзлые листья, кто-то припрятывал листья под одежду, надеясь сварить их в бараке.

И те, и другие оказались в проигрыше.

Первые – потому, что простыли и заболели, вторые – потому, что на вахте их обшмонали вертухаи и отобрали всю капусту.

Заболел и я.

Отлѣживаясь на нарах при высокой температуре, я стал чаще задумываться над тем, как же мне выживать в лагере дальше.

Днём прогуливался вдоль барака, если позволяло здоровье.

На дорожке мне как-то попался обыкновенный берѣзовый веник, а недалеко от него валялась палка. Я взял веник и палку, и у меня получилась хорошая метла, сослужившая мне добрую службу.

Утром, когда заканчивается развод, почти весь лагпункт распределяется на рабочие места.

После развода нарядчик с вертухаями начинают зачистку в зоне, вылавливая всех отказников от работы и помещая их в штрафной изолятор, потом с ними начинается особая воспитательная работа.

В зоне становится тихо, словно она совсем обезлюдела.

Часа через два из своих бараков выползают доходяги в поисках чего-нибудь съестного. Каждый из нас знает своё место.

Я, например, со своей метлой выхожу и подметаю дорожки, где у бараков находятся жилые кабинки лагерных придурков, шестѣрок и прочих богатеев. Одни из них работают где-то далеко за зоной, ходят на работу как вольняшки, по особым пропускам, без конвоя, другие и в зоне занимают хорошие должности, а значит, и в столовой имеют блат, получают питание свыше арестантской нормы. Вот у них-то и приходится стараться подметать чище и лучше, за это можно получить что-нибудь поесть. Если повезѣт, конечно.

Вот так у меня благодаря метле жизнь стала постепенно налаживаться.

Лучше всего я старался подмести у здания хлеборезки. Ясно, почему. Но там меня заприметил ссученный вор в законе и при первой же встрече наладил пендаря. Ему не нравилось, что я поднимал пыль своим веником.

- Больше, - говорит, - чтоб я тебя здесь не видел, а то худо будет.

Но у меня иного выхода не было, и я снова и снова приходил к хлеборезке. Вор меня гонял, но не бил, пока однажды между нами не завязался разговор.

- Эй, доходяга! - спросил он лениво, покуривая самокрутку.

- Да, - ответил я, и весь насторожился, готовясь к какой-нибудь пакости.

- У тебя какая статья? - всё так же покуривая, продолжал вор.

- 58, пункт 1 б, - ответил я.

- Власовец, что ли? - удивился он.

- Да нет, просто был в плену, а потом работал у немцев на хозработках.

- А-а! - разочарованно протянул вор. - Я уж подумал - как это тебя к нам угораздило прибиться. Какой срок?

- Обыкновенный. Червонец.

- И сколько оттянул?

- Ещё и половины нет.

- Образование есть? - не унимался вор.

- Из десятого ушѣл добровольцем.

- Знакомая картина, - хмыкнул вор.

Вот так незаметно мы и разговорились.

Он всё подробно расспросил обо мне, а я ему, не таясь, всё и выложил, уж не знаю почему. Может, от одиночества, может, от того, что впервые кто-то поинтересовался моей судьбой не для протокола, а просто из человеческого любопытства.

Мне повезло: этот вор, по имени Серѣга, оказался хлеборезом. И, Боже мой, он совершенно неожиданно предложил мне работу в хлеборезке! Я-то самое большое надеялся на мизерные подачки, а тут!.. Это была немыслимая удача! Я даже вначале не поверил в то,

что вор берёт к себе в подручные меня, обыкновенного фраера, каковым я был по лагерному состоянию. Но, видно, бывают чудеса на белом свете. Бывают.

В лагере зэки хватаются за любую работу, лишь бы она приносила хлеб или иную еду. Лишь бы после неё можно было насытить свой вечно пустой желудок и прибавить к скудному рациону несколько десятков калорий.

Я не раздумывая согласился на предложение Серёги.

Работа моя была нелегальной.

Я приходил к нему в хлеборезку по ночам, чтобы никто не видел и не знал, где я работаю; Серёга закрывал меня на замок и уходил спать в барак.

По сути, я был его работником, его рабом. И оба мы были довольны нашей трудовой сделкой, или трудовым договором.

За ночь я должен был нарезать и взвесить пайки хлеба на каждую бригаду. Взвешивать нужно было очень точно, грамм в грамм, иначе потом греха не оберёшься. Бригадные пайки поначалу обрастали небольшими хлебными довесками, а сам я к утру выматывался до изнеможения, но затем я быстро приноровился работать точно и быстро. Хлеб резал уже на глазок.

Главное же для меня было то, что теперь я мог есть хлеб досыта. За ночь я съедал несколько булок, поэтому за первый месяц работы в хлеборезке поправился на 17 килограммов. А за второй месяц ещё на 16 килограммов. За эти два месяца я набрал ровно половину своего довоенного веса. Можно представить, каким я был доходягой.

В лагере я заметил такую странную особенность: едва какой-нибудь доходяга попадает в сытное местечко - на кухню, в хлеборезку или ещё куда-нибудь, он начинает моментально полнеть. Он будет полнеть, даже если будет есть только одну баланду, но вдоволь. А я незаконно откормился в хлеборезке на хлебе, не на воде, поэтому понимал, что это мне даром не пройдёт. Я уже заметил несколько косых взглядов в мою сторону нарядчика, и стал готовить себя к этапу на какую-нибудь Богом забытую и совсем пропущую подкомандировку. Я думал, меня ждала или же погрузка шпал в вагоны, или лесоповал с лучковой пилой, или ещё что-нибудь в этом роде. Я не боялся ни того, ни другого, ни третьего, неведомого ещё мне. Впереди было больше половины срока, и его нужно было прожить и выжить, надеясь только на самого себя. Я был уверен, что всё смогу пройти и выйду отсюда на свободу. Я верил в свою звезду, верил в удачу.

На зоне тоже бывают счастливые моменты, когда, как говорят, один смеётся, а девяносто девять плачут. Вот и мне за три с половиной года жизни в лагере впервые улыбнулось счастье, что совершенно невероятно с моей 58-й статьёй. Наверное, это за мою веру в самого себя и в свою счастливую судьбу Господь порадовал меня.

\*\*\*

## Глава пятьдесят первая

### «Тяжёлый труд»

Подходила весна 1950 года.

Начинался сезон сплавки леса. Зэки готовились к этапам.

Вскоре я попал на медкомиссию, где присутствующий начальник лагеря, едва взглянув на меня, пробасил:

- Хватит ему кантоваться без дела. Вишь как отъелся!

И тут же медкомиссия дала мне заключение - «тяжёлый труд» и направление в лесоповальную бригаду.

Уже на второй день под конвоем вертухаев мы направляемся в инструменталку, берём лучковые пилы, топоры и, отшагав 10-12 километров, добираемся до места, где нам отводят делянки леса для сплошной вырубki.

Норма выработки на каждого зэка даётся по 5 кубометров. Бригадир – естественно, вор - закрепляет за мной ещё двух сучкорубов и одного разряжовщика хлыстов.



- Вас четыре рыла, - ласково напутствует бугор перед работой. - Если не напилишь двадцать кубометров, сходу пойдёшь со всем звеном в штрафной изолятор.

Напилить - это ещё полбеда. Нужно ещё и погрузить спиленное, на вагонке вывезти на верхний склад, на складе учётчик во время приёмки обязательно тебя надует на несколько кубов...

Одним словом, всё даётся с боем.

Сплошная вырубка леса - это тоже не сахар для зэка, а большая беда. Да и не только для зэка, а и для всего живого вокруг.

В зоне вырубки вместе с лесом уничтожается всё: и мелкие речушки, и ручейки с озерцами, и вообще вся лесная жизнь.

Особенно это заметно после работы заключённых.

Посмотришь со стороны на местность, где совсем недавно стоял сплошной лес, и кажется, будто в этих местах прошла стая гигантской саранчи. Всё уничтожено, изгажено, вытоптано...

Мы и не знали тогда, что такое экология, а ежели бы и знали, то всё равно о ней бы не думали. Нам важно было дать свои кровные пять кубов, чтобы получить пайку хлеба с баландой и не оказаться в штрафном изоляторе. Всё остальное было не для нас.

С каждого лагпункта, с каждой подкомандировки, с каждой бригады и от каждого в отдельности взятого заключённого требовалось выполнение дневной нормы, из которой складывался в целом его величество генеральный план ГУЛАГа. И мало кто задумывался, что всё это кем-то придумывалось и направлялось из единого всемогущего центра, озабоченного великой и всеобъемлющей идеей народного счастья. В том числе счастья для каждого из нас, умирающих в лагерях ГУЛАГа.

Так случилось, что я временно остался работать на старом месте. То есть жил в том же бараке, но на работу ходил в лес.

Не только меня, но и ещё несколько десятков зэков, кому комиссия дала «тяжёлые работы», оставили в лагере для работы на лесоповале. Каждый начальник лагпункта, если он не враг себе, заинтересован в выполнении плана, и потому оставляет для себя наиболее работающих и ухоженных, по лагерным понятиям, конечно, заключённых.

Оставшихся доходяг этапировали на 20-й лесосплавной лагпункт. Это был самый старый и самый крупный механизированный лагпункт в составе Усть-Вымьлага, способный принять и разместить до 15-20 тысяч зэков.

Он расположен на выгодном и удобном месте у побережья реки Вымь, притом находится в большом оцеплении, опутанный со всех сторон колючей проволокой, протянутой на десятки километров, хорошо охраняемый вертухаями, оснащёнными всем необходимым на случай побега из оцепления или даже зоны.

На сплавной сезон 20-й лагпункт принимают не только своих местных зэков, их всегда бывает недостаточно, потому что много зэков гибнет в течение короткого времени, поэтому этапы поступают для подкрепления со всего Союза, в основном большесрочники с 58-й статьёй, перемешанной с разного рода ворьём всех национальностей.

За сезон лагпункт должен принять и отсортировать 500 тысяч кубометров леса, раскатать его по штабелям согласно длине и толщине брёвен.

Дополнительно ещё нужно сделать годовой запас для двух крупных лесопильных заводов - для последующей распиловки брёвен на шпалы, доски, бруски и другие пиломатериалы.

Работы много. В зону каждый день приходят пустые и уходят гружёными эшелоны с лесом-кругляком, шпалой, пиловочником разного размера, рудничной стойкой, и отправляются во все концы Советского Союза.

После ледохода, на всех больших и малых реках Печорского бассейна по высокой воде начинается срывка брёвен с берегов, где они заготавливались в зимний период. Их сплавляют до главной запани, где река перегораживается мощными тросами, с заранее изготовленными каркасами с бонами. По отведённому отверстию - воротам между каркасами - специальная бесконвойная бригада по потребности пропускает нужное количество кубометров леса.

Дальше лес сплавляется вниз по реке, проходит по коридору, отгороженному бонами, где на каждом мостике, уходящем далеко в воду, стоит зэк-сортировщик, который багром накалывает брёвна, нужные по размеру, и посылает их на бревнотаску. А таких бревнотасок сотни, поэтому и рабочей силы нужно очень и очень много, так что каждый начальник лагпункта обязан этапировать на эти работы всех, кто только может двигаться.

Люди, люди нужны! Рабочая сила.

Во время сплава зимний распорядок дня отменяется и вводится летний, штурмовой. Все на лесосплаве работают от зари до зари или просто-напросто круглые сутки.

Особенно трудно приходится вновь прибывшим заключённым из других областей. Люди настолько выматываются от тяжелейшей работы и от двенадцатичасового рабочего дня, от плохого питания, а в особенности от «белых ночей», от постоянного северного дня без смены на ночь, от безумно светлого солнышка над головой, что быстро истощаются и физически, и психически и, что часто бывало, накладывают на себя руки. Или, хуже того, попадают под суд и получают дополнительный срок, да ещё по 58-й статье (если, конечно, её у него ещё не было до этого).

Судили зэков на сплаве за саботаж. И гибли их на лесосплаве больше, чем на войне.

Странные были порядки в летнее время в лагпунктах. На работу и с работы зэки шли сами, без конвоя. Вместо него зверствовали блатные, которым было доверено наведение порядка. Эти сволочи издевались над нами хуже любого зверя-начальника. За каждую мелкую провинность били нещадно и держали нас в постоянном страхе побоями.

Месяца через полтора-два и наша бригада загремела вместе с другими придурками на 20-й лагпункт.

За эти полтора-два месяца я уже дошёл до ручки, и понимал, что мне необходима более лёгкая работа, если я хочу выжить.

Но так на этапе думали все.

Конечно, если посмотреть на нашу жизнь со стороны, может показаться, что я излишне стущаю краски. Подумаешь, брёвна в штабеля катать! Разве вольняшки этим не занимаются по всей стране за деньги?

Конечно, занимаются. И хорошо при этом зарабатывают. И хорошо едят, и хорошо отдыхают. А как и что едим мы? И сколько же мы работаем в сутки? И когда отдыхаем?

Двенадцать часов на ногах с багром в руках не только отошавшего зэка, любого богатыря с ног свалят.

А тут ещё и норма выработки идёт не индивидуально, а побригадно: все отвечают за одного и один за всех. Тут уж приходилось вертеться, чтобы норма всё-таки выполнялась при любых условиях, иначе конец будет всем.

Бригадир ставит самого сильного и ловкого работягу в начале бревнотаски, он без передышки насаживает на цепь брёвна, они поднимаются вверх, а там эти брёвна сбрасывают на штабеля согласно размеру и толщине. Дальше раскатывают, выравнивают, и так продолжается 12 часов кряду.

По верху бревнотаски прохаживается бригадир со своими шестёрками, они свысока наблюдают за нами, им всё видно, кто как раскатывает брёвна. Не дай Бог кто начнёт сачковать или уронит бревно между штабелями, тому несдобровать! Отлупят дрыном, как скотину, и возьмут на заметку. А на вахте после работы, по приходе в зону, сходу направят в изолятор: получай, работник, 300 граммов хлеба и кружку сырой воды.

Вот такими методами занимались «перевоспитанием» заключённых в исправительно-трудовых лагерях.

Каждое утро во время раздачи хлеба каждому зэку из бригады хочется получить горбушку хлеба, а их на всю бригаду не хватает. Кому-то и серёdochка пайки достаётся. Вот здесь и начинает помощник бригадира спекулировать своим положением, потому что он является правой рукой своего отца-кормильца - бригадира.

Обычно помощник награждает горбушками хлеба своих подхалимов, тех, кто умеет ябедничать, кто угощает табачком, ну и, конечно, тех, кто лучше работает. А если у тебя нет никаких талантов, получай пайку хлеба из серёdochки, да ещё, бывает, и без довеска, который или потеряют в дороге, или же его просто кто-то съест у хлебобрезки.

Порой такие страсти во время раздачи пайков разгораются, что ругань переходит в оскорбления и драку, в которой все подручные средства идут в ход. Из-за пайки хлеба готовы друг другу глотки порвать, убить, и такие случаи зачастую бывали.

В разгорающиеся скандалы вмешивается наш бригадир татарин Ибрагим, рецидивист, его слово - закон. Как он скажет, так и будет. Его помощники из блатных всегда и во всём поддерживают бригадира и стараются ему угождать во всём и везде: и в столовой, и при раздаче хлеба. За это он наградил их особыми правами на работе.

Сам бригадир не работает, его задача состоит в том, чтобы наладить весь процесс работы, для чего и нужны ему эти шестёрки, неотступно следящие за каждым зэком из своей бригады. Их общая задача заключается в том, чтобы дневная норма выработки была выполнена полностью и даже с небольшим перевыполнением плана.

Они нам говорят:

- Вы, мужики, фраера. У вас на лбу написано, что вам нужно пахать и пахать, и не только за себя, но и за нас тоже.

Поэтому у каждого из них своё место на бревнотаске. На самом высоком сидит бригадир, как попка на вышке, только без винтовки, и наблюдает за каждым нашим движением и за всей бригадой в целом. Никто никуда не смеет отлучиться, даже в туалете и то долго сидеть нельзя. Каждый должен раскатать брёвен столько, сколько ему сбросят с транспортёрной ленты, и всё уложить в штабель.

У блатняков большие права над нами, политическими, даже больше, чем у нашего общего лагерного начальства. Они нас называют контриками, фашистами, троцкистами, бухаринцами и прочими лагерными матюгами.

Если бревно во время раскатки упадёт между штабелями, а такое бывает частенько, потому что брёвна бывают и совсем без коры, мокрые, скользкие, то тогда вместе с бревном могут и самого спустить между штабелями. Передвигаться по штабелю даже без бревна опасно, особенно доходягам.

Те брёвна, что падают между штабелями, обязательно нужно после смены вытаскивать всей бригадой, поднимать и укладывать в штабель. Это называется «зачистка», и работа эта тяжёлая и трудоёмкая. У кого из зэков больше всего падали за день брёвна, того блатные отводят в сторону и дубасят по чём могут. А хуже - лишают горбушки. За любую провинность блатные пускают в ход берёзовый дрын. Это их самое надёжное воспитательное орудие. И пока они этим орудием и другими своими подлыми методами не наведут порядок на участке, никто в зону не уйдёт.

А если обратиться в санчасть и будешь предъявлять побои как доказательство твоей болезни и потому невозможности выхода на работу, то, по лагерным законам, побои не являются болезнью, и лагерный лекарь – доктор - освобождение по ним не даст.

Чем сложнее становится обстановка в лагере, тем труднее в нём выживать рядовому зэку. И всё равно время неумолимо движется вперёд, как молодой росток, ранней весной пробиваясь на поверхность земли. День за днём, месяц за месяцем идут своей чередой, приближая окончание сплавного сезона. И вот он кончился.

Бесконвойные малосрочные бригады делают генеральную зачистку на больших и малых реках. Все брёвна, которые по большой воде были выброшены на берег, спихивают на воду, а дальше брёвна сами плывут по реке до главной запани.

Несмотря на все строгости режима, зачистка проходит абы-кабы, много брёвен ещё остаётся на берегу, а также в реках; их называют топляками.

Топляки - это брёвна, завязшие в иле и устилающие дно в несколько рядов, не хуже, чем в наших штабелях. Таким образом малые реки, чудо северной природы, из года в год постоянно захламляются, загрязняются, и в них гибнет всё живое. Топляки гниют, убивая своими гнилостными выделениями зарождающуюся после нереста в рыбьих икринках жизнь, убивая всякую растительность и живность на дне.

Собственно, как такового нереста в этих реках уже давно нет. Рыба, повинувшись инстинкту, идёт на свои нерестилища, а их и след простыл. Над ними слои брёвен и коры. Куда ей откладывать икру?

Всё последующее идёт до безобразия пошло и глупо: рыба мечет икру и молоку прямо в гниющие древесные отбросы, не понимая, что мальки из этой икры уже никогда не выведутся. Или почти никогда.

Пока бесконвойные малосрочники ведут зачистку реки, мы, конвойные бригады, занимаемся на берегу другими делами, более важными.

Нужно освободить основные два троса, натянутые с берега на берег, к которым крепятся каркасы, сбитые из малых толстых брёвен и опущенные вместе с тросами на глубину до пяти метров.

В первую очередь тросы нужно освободить от крепления к каркасам, поэтому требуются водолазы, чтобы сделать эту опасную и технически сложную работу.

Здесь никакими угрозами эков не заставишь лезть в воду.

Тогда лагерное начальство идёт на любую хитрость, лишь бы к заморозкам успеть закончить такую сложную операцию, как демонтаж запани.

В конце концов находятся добровольцы, готовые за дополнительный арестантский паёк - кусок хлеба - нырять раздетыми в ледяную воду на глубину до пяти метров, чтобы освободить главные тросы от каркасов.

Когда это сделано, настает наша очередь.

Все доходяги из нескольких бригад вытаскивают из воды и тянут подальше от берега эти самые каркасы. А вместе с ними (с полкилометра) и стальные тросы.

Трос весом 50 килограммов один метр укладываем большими кольцами на специально подготовленные площадки - до следующего сезона.

Доходяги-зэки, полуголодные, полураздетые и полубосые, выполняли все работы исключительно вручную. И хоть бы один экономист описал и подсчитал, во что обходилась дармовая рабочая сила только на одном Усть-Вымском лагере, который давал в год стране 500 000 кубометров леса.

Вручную спилить с корня лучковой пилой лесину и сплавить её по рекам, выкатать в штабеля половину от этого леса, не потопленную в реке, отгрузить его в железнодорожные вагоны, платформы, пульмана, которые заходили под погрузку прямо в тупики запретной зоны 20-го лагпункта. Половину от выловленного леса пускали на распиловку на два мощных лесозавода, откуда затем получали готовую продукцию: шпалу, брус, доски. Всё это грузилось вручную и отправлялось во все концы Союза.

Если в начале лесосплава на берегах реки Вымь была почти девственная пустота, то в конце августа всё изменилось. На берегах были построены бревнотаски, правда, опустевшие к осени, и многочисленные штабеля брёвен. Людей на реке уже не было. Зэки закончили свою работу и ушли на более важные объекты «народного хозяйства» всё под тем же конвоем, забыв на время дорогу на лесосплав.

Но ушли не все, наша бригада осталась.

Нам нужно разбирать завалы брёвен между штабелями и прокладывать тупиковые железнодорожные пути, куда будут подаваться вагоны и полувагоны для погрузки кругляка и отправки его по адресам, известным только начальству.

- Эх, - думаешь иной раз, глядя на строящиеся пути, - вот бы по ним махнуть домой! И забыть про всё, что здесь было, к чёртовой матери, навсегда!

Но понимаешь, что это сделать невозможно: ни махнуть домой, ни забыть лагеря и всё, что с ними связано.

Несмотря на то, что сплавная работа закончилась и река опустела, изуродованная многочисленными бревнотасками и штабелями, а теперь ещё и строящимися путями железнодорожных тупиков, народу всё же на берегах много. Остались бесконвойники и малосрочные бригады бытовиков, получивших сроки за растраты и другие незначительные проступки. Они, как и мы, делают окончательную зачистку берегов реки. Через неделю-другую работы не будет и для нас, 20-й лагпункт закроют за ненадобностью.

Расформировывающуюся временную штатную единицу лагерное начальство начинает готовить к этапам в разные лагпункты дальше на север, где будет проходить зимняя заготовка леса на следующий сплавной сезон. Пройдёт немного времени, и для зеков всё начнётся сначала: валка леса в снегу, транспортировка его на склады, затем весной сплав по реке и снова бревнотаски, штабеля и тупики железнодорожных путей летом и осенью. Жизнь в лагере продолжается по своим законам, и у неё свой, особенный календарь для отсчёта времени - календарь физического уничтожения униженного несправедливым наказанием заключённого каторжным трудом и голодом.

Нашу бригаду оставили для обслуживания пилорамы. Работа, как и на лесосплаве, в две смены по 12 часов. Работа тяжёлая. Я за лесосплав дошёл до такой степени истощения, что едва передвигал ноги, и любой труд был для меня пыткой.

В сентябре на севере уже начинаются холода, часто идут дожди с мокрым снегом, а по утрам заморозки, от которых все лужи покрываются тонким ледком. На пилораме кругом сквозняки, потому что всё сделано для временной работы, на скорую руку, никто не думал о людях и технике безопасности, сооружая это чудо современной лесной промышленности.

Наш бригадир Ибрагим куда меня ни поставит, везде мне трудно, везде я не могу выполнять работу - сил нет, а отказываться от работы нельзя, страшно. На вахте таких горе-работников, как я, отбирают и сдают в изолятор. А в изоляторе мало того, что морят голодом, так ещё и вертухаи отлупят. А уж эти звери знают, как бить, чтобы следов не оставалось.

Из работы в этой подкомандировке я сделал вывод, что никаким соцтрудом доходягу не исправишь. В особенности теми воспитательными методами, которыми пользовались вертухаи и блатные, поэтому я своему бригадиру так и заявил:

- Ты видишь, какой из меня работник. Ты можешь меня хоть сейчас убить, хоть потом, но никакую работу я выполнять уже не могу. Всё, баста! Больше не могу.

Тогда Ибрагим идёт на хитрость, чтобы не впутывать себя в неприятную ситуацию даже в том случае, если меня и прикончит кто-нибудь «невзначай» за мою «лень». У него срок кончается, и скоро ему на свободу. Зачем осложнения напоследок? И его понять можно.

Ибрагим ставит меня на лёгкую работу: грузить и отвозить на тачке опилки из-под пилорамы. Отвозить их не так далеко, но есть в этом деле маленькая хитрость: нужна хорошая изворотливость и приличная скорость. Пока ребята отвозят горбыли в сторону, мне нужно собрать и отвезти свои опилки, не успел - пеняй на себя.

Костёр в лагере - хорошее дело для зэка. Он притягивает к себе голодного доходягу как магнит. И стоит только лишнюю минутку задержаться у костра, как опилки переполняют всё вокруг пилорамы, а кроме меня никто не будет их отгребать.

Видя опилки, пилорамщики начинают поминать меня трёхэтажными матами, а если и это до меня не доходит, то набрасываются с дрынами.

Говорят:

- Если тебя поставили на опилки, то душа из тебя вон, а свою работу делай вовремя. Мы за тебя не ответчики.

В тот первый свой день на опилках я получил немало пинкарей и зуботычин от блатных, и было их столько, что я даже не помню, как пришёл в зону. Очнулся в изоляторе. Попал в него еле живой, как отказчик от работы.

На другой день утром, как всегда, подъём, как всегда, получил свою штрафную 300-граммовую пайку, пол-литра холодного кипятку, и бегом на развод.

На работу я не иду, потому что не могу. А раз не могу, значит, я считаюсь отказчиком и мне предстоит крутой разговор с начальством.

Меня и ещё несколько таких же, как я, доходяг доставляют на разборку к самому начальнику лагеря.

Когда дошла моя очередь в кабинет вершителя судеб, то вся воспитательная работа ограничилась пренебрежительным взмахом руки в мою сторону.

И я, и нарядчик лагеря всё поняли без слов. Значит, меня нужно отправлять этапом в другой лагпункт, потому что толку от меня здесь уже не будет. Вот только куда меня отправят? Куда?

Хотя лагерный режим был везде одинаково жесток, начальники всех лагерей спешили избавиться от доходяг на последней стадии их существования, чтобы статистика падежа в самой зоне не была устрашающе высокой. Если зэк умрёт на этапе - это одно, а в зоне - совсем другое дело. На этапе всё можно списать на попытку к побегу или ещё какую-нибудь неожиданность: болезнь, несчастный случай...

Была уже послевоенная пора, прошли годы различных чисток, захвативших и карательные органы, и, возможно, некоторые начальники лагерей прекрасно понимали, что когда-нибудь и им придётся держать ответ за все те зверства, что творились под их началом, и старались в официальных документах показать цифры более благоприятные для себя, чем они выглядели на самом деле.

В лагерях ГУЛАГа тоже бывали счастливые моменты в жизни зэков, Такой счастливый билет достался в тот раз и мне: я снова попал в сельхозлагерь «Зимка № 8», где-то в районе реки Весляна.

По прибытии медкомиссия определила меня в инвалидную бригаду. Вначале эту бригаду не тревожили, давали возможность пройти лагерный карантин. И это было уже хорошо.

Нас разместили в старом бараке доколхозной постройки, наполовину врытом в землю, с двухэтажными нарами, с двумя дверями с торцовых сторон, двумя печками из железных бочек. Посреди барака находился один длинный стол. Под потолком тускло светили две электролампочки. Они были, скорее всего, для показухи, потому что свет в бараке часто отключался, и мы продолжали копошиться в темноте, чиня свою одежду наощупь, а большей частью старались спать в это время. Хотя те, кому нужно было срочно что-то сделать или починить, ухитрялись это делать при лучинах или делали для освещения нечто наподобие коптилок.

Да свет нам совсем и не нужен был. Мы жили в темноте, как кроты в норах, потому что достаточно хорошо изучили своё место на нарах, и всё в своём закутке делали наощупь.

Место в бараке на нарах мне досталось подходящее, рядом с пожилым человеком, добрым и негрубым дядькой.

После этапа я первые дни всё время отлёживался на нарах, приходя в себя, набирался потихоньку сил. Никуда не выходил сутками, молча лежал, смотрел на потолок, по которому ползали наши злейшие враги - клопы и тараканы, потом постепенно разговорился со своим соседом.

Он оказался долгожителем этого барака. Почему-то на этап из этого лагпункта его не назначали, и он многое мне порассказал о порядках, царивших здесь.

Вообще он оказался разговорчивым, культурным человеком, чувствовалось, что он из настоящей интеллигентной семьи.

Когда мы убедились, что к числу стукачей не относимся, то есть поверили друг другу, наши беседы стали затягиваться допоздна или же до тех пор, пока нас кто-нибудь не прерывал.

Он был из тех людей, которые не приняли советской власти, за что и поплатился заключением в концлагерь.

Его жизнь была не менее причудлива, чем моя, но только более продолжительна и изобиловала многими интересными событиями.

После гражданской войны, в которой он не принимал участия на стороне воюющих армий, ему пришлось эмигрировать на чужбину. Кто-то из эмигрантов обосновался в Манчжурии, кто-то в Китае, а кто более состоятельный - тот махнул ещё дальше. Мой сосед по нарам - я называл его господин Профессор - остановился в Харбине. Вначале ему казалось, что это временное пристанище, но затем он понял, что останется здесь навсегда.

Первое время, как и всем русским эмигрантам, ему было трудно прижиться на чужбине, пришлось немало перенести неприятностей, оскорблений и унижений со стороны местных властей, но он смог всё вынести и даже достичь определённого благополучия. Постепенно всё обустроилось, появилась семья, получил хорошую преподавательскую должность в самом Харбине; одним словом, за годы вынужденной эмиграции он смог приобрести всё, что нужно для человека и его семьи, чтобы жить в спокойствии и относительном достатке.

Всё закончилось в 1945, с приходом в Харбин Советской Армии.

Всё сразу и вдруг изменилось в худшую сторону.

Работники особых отделов армии и НКВД взялись за своё дело рьяно.

В первую очередь хватали бывших офицеров царской армии и белогвардейцев. Затем дошла очередь и до простых эмигрантов. Начались повальные обыски и аресты всех более или менее состоятельных русских граждан. Их вылавливали как шпионов и агентов иностранных разведок, потенциальных диверсантов и убийц, поэтому без суда и следствия сразу отправляли в самые дальние и страшные лагеря без права переписки со своими родственниками.

Мой Профессор, а он действительно был профессором какого-то заграничного университета, много рассказывал всяких забавных историй из своей жизни. Он явно нуждался в слушателях, наверное, потому, что в своё время привык много говорить своим студентам на лекциях, и теперь испытывал профессиональную потребность к рассказыванию. Этим мы с ним немного отвлекались от жестокой жизненной прозы. Он - уходя в воспоминания о прошлом, я - получая информацию о неведомом мне мире.

Я с превеликим удовольствием слушал своего Профессора, пока моя голова не туманилась сновидениями и я не погружался в глубокий сон. На удивление, я спал в те дни так крепко, что даже не чувствовал, как меня грызли клопы.

В подробности жизни Профессора я не вникал, это в лагере не принято. Если что-то человек хочет тебе рассказать о себе, то он и так расскажет, а если он молчит, то и спрашивать ни о чём не стоит. Ещё подумает, что ты стучишь на него.

Из всего рассказанного Профессором я понял, что наши власти за что-то уж очень сильно были злы на него, и постарались так его запрятать, чтобы никто и никогда уже его не нашёл. Срок ему не был определён точно, считалось, что ему дано пожизненное заключение, хотя и статьи-то такой не было в Уголовном Кодексе, но, тем не менее, Профессор сидел и считался в этом лагере долгожителем неспроста. Не зря, наверное, его не брали и на этапы. Простым зэкам начальство больше двух лет на одном месте засиживаться не даёт. Прошёл год - собирайся на этап. А это самая настоящая трагедия для доходяги!

Из-за своей неопределённости в положении в лагерной табели о рангах, и особенно из-за принадлежности к профессии - он был юристом - Профессор пользовался большим

авторитетом среди заключённых. К нему постоянно приходили зэки и просили составить письма, прошения, жалобы...

В основном это были заключённые «бытовики», осуждённые за всякие мелкие уголовные преступления. Профессор давал им советы, писал жалобы в Верховный Совет или другие государственные учреждения, и кое-кому эта писанина даже помогала.

Мне он ни разу не предложил написать куда-либо, потому что и он, и я прекрасно знали, что с моей статьёй писать письма и жалобы бесполезно.

С 58-й статьёй надежда была только на самих себя, на своё здоровье и лагерное везение. Естественно, чтобы выжить в зоне, нужно было работать. Работа - вот что давало надежду. Недаром воры про нас говорили:

- У вас на лбу написано только одно: «Работать»!

Мне, конечно, очень повезло с этим человеком, что я с ним близко сошёлся. И хотя я был уже не новичок в лагерях, уже шёл седьмой год моих мытарств по разным лагпунктам, всё же знакомство с ним мне многое дало в понимании происходящего вокруг нас и с нами самими.

На работу мы с Профессором ходили вместе. Мы заготавливали компост для капустной рассады. Делался компост просто: торф и земля в определённых пропорциях перемешивались и отвозились на поля, где и росла капуста.

Рядом с нашей зоны были огромные поля этой капусты. Осенью зэки рубили капусту и переносили в помещения, где другие зэки занимались её сортировкой: верхние зелёные листья обрезали и пускали в квашение для зэков, а хорошие вилки шинковали и заполняли ими большие деревянные чаны - это для начальства и всей лагерной obsługi.

Шинкование капусты доверялось не всем. Боялись не только воровства продукта, а всяких гадостей при засолке. Но как ни старались, как ни отбирали своих людей среди зэков, воровать всё равно воровали, а чем солили капусту для начальства - об этом знали только сами засольщики.

Воровали и мы с Профессором.

Я свою добычу сразу же передавал ему, потому что только он мог каким-то образом пронести через вахту целые вилки капусты.

В бараке уже я брал на себя обязанности кашевара, и буквально не отходил от печки, пока в котелок варился наш ужин. Отойдешь - всё украдут вместе с котелком, и концов потом не найдешь.

Вот так мы с ним готовили дополнительную противоцинготную баланду, и были этому очень рады.

Конечно, в период заготовки капусты жилось в лагере несколько сытнее, чем в остальное время, после окончания квашения капусты начинались трудности. Но всё равно мы ухитрялись пробираться в зону, где росла капуста.

После уборки кочанов в земле оставались кочерыжки. Эти кочерыжки я выкапывал из-под снега в начале самых первых заморозков и припрятывал в укромных местах, а затем, если их не сопрут другие, такие же голодные зэки, я относил их Профессору, знающему, как пронести их в барак.

В бараке я разделял кочерыжки, отделяя съедобное от несъедобного. Съедобное шло в котелок, а несъедобное отдавалось лежащим инвалидам. Им всё негодное было годным, потому что только зубы у них и оставались здоровыми, способными перегрызть любую съедобную вещь. Им только дай!

Дальше шёл процесс варки и затем поглощения капустной баланды, которую мы называли «противоцинготная настойка».

На работу нас водили вертухаи через посёлок. На это было специальное указание от начальника лагпункта. В этом посёлке жили в подавляющем большинстве работники НКВД и весь обслуживающий лагерный персонал.



В центре посёлка над всеми домами возвышался двухэтажный деревянный дом. Это было Управление всего Усть-Вымского лагеря. Вот здесь в конце 1952 года на самом видном месте были вывешены большие плакаты с карикатурами на врачей-вредителей и шпионов, хотевших отравить всё наше доблестное советское правительство и лично самого вождя всех народов товарища Иосифа Сталина.

Этой показухой лагерное начальство хотело нам, зэкам, доказать, что органы НКВД и МГБ работают бдительно и что всем врагам народа на воле будет такой же конец, как и нам, сидящим в лагере.

Но только недолго длилось наше хождение через посёлок, не долго суждено было висеть и лживым плакатикам на здании Управления лагерем.

\*\*\*

## Глава пятьдесят вторая

### Смерть вождя

В марте 1953 мы узнали о смерти Сталина.

В этот день нас, заключённых, выгоняли на работу, как в обычные рабочие дни. Во время развода между бригадами пошёл разговор, что нужно как-то отметить это знаменательное событие, но как?

Зэки, долго не думая, начали принимать решения самостоятельно, разбегаясь по баракам. В течение нескольких минут половина исчезла.

В это время начальство, понимающее, что смерть вождя может вызвать любые беспорядки, усилило охрану, но всё напрасно. Эта мера была слишком запоздалой, хотя нарядчики и их своры, настоящие цепные псы, кинулись вылавливать «отказников» по всем щелям и норам.

В бараках началась бойня.

Но если раньше зэки безропотно сносили побои, то здесь драки переросли в самую настоящую поножовщину. Зэки пустили в ход всё, что у них было под руками: ножи, табуретки, доски... Однако силы были неравны. У нападавших кроме кулаков и дубинок было ещё и стрелковое оружие. Вызвав подкрепление, они довольно быстро расправились с бунтовщиками. Среди заключённых были убитые, были и раненые, и больше всего почему-то, среди пострадавших оказалось зэков с 58-й статьёй. Наверное, потому, что среди нас политических было гораздо больше, чем ворья.

И вот тут мне приходит на ум горестная мысль: как же так вышло, что мы, большинство лагерных жителей, не смогли постоять за себя, не смогли скрутить блатную погань и загнать её под парашу? Наверное, этого не произошло потому, что среди нас, политических, политиков настоящих и не было. Не было вождей и лидеров, способных сплотить вокруг себя людей, дать им выстраданную идею и направить всех нас в нужное для её претворения в жизнь направление. У нас не было общей идеи, сплывающей людей в группы и партии, идеи, ради которой можно было бы и умереть, но скрутить эту блатную мразь в трубочку.

Так знаменательная дата смерти вождя народов была отмечена нами 5 марта 1953 года.

С вышек, где стояла охрана, для страховки пустили по баракам несколько очередей из пулемётов и автоматов. Затем перекрёстным огнём загнали всех в свои стойла, большинство сразу же залегли под нары - наиболее безопасное место при обстрелах - и притихли, ожидая следующих действий вертухаев.

Вертухаи не заставили себя долго ждать.

После затишья вертухаи, а вместе с ними и преданные им придурки, стали врывать в бараки и выгонять всех без исключения на мороз. Кто не мог или же не хотел идти, тех за руки и за ноги вытаскивали из-под нар и, наподдавав, выпинавали на поверку.

В присутствии всего лагерного начальства и всей охраны поверка продолжалась весь день.

Кое-кого из подозрительных сразу же уводили и выстраивали отдельно от всех, мы понимали, что их ждёт штрафная подкомандировка, где они будут пилить лес и прокладывать через болота лежнёвые дороги. Им не завидовали.

После проверки нас побригадно снова загнали по баракам, а после отбоя, во время сна, расталкивали и выдёргивали на допрос к лагерному куму, выискивать и вычислять зачинщиков смуты.

И они нашли виновников.

Обычно к куму вызывали по ночам, чтобы соседи не знали, кто стучит в бараке. Но... В зоне невозможно что-либо долго таить. Дневальный по бараку прекрасно знал, кто и где спал, и всегда, по требованию кума, поднимал нужного ему человека в нужное время. Дневальный же утром и рассказывал, кто, куда и зачем ходил. Дело в том, что дневальные всегда назначались самими нарядами, ссученными ворами в законе, и поэтому обязаны были всё ему докладывать.

Барак на Зимке, в лагере для ссученных воров были большими, с двумя железными печками-бочками в разных концах полуподземных строений, поэтому в помощь к дневальному обычно прибывались прикормленные шестёрки с бытовыми статьями, делающие за дневального всю черновую работу. Обычно шестёрки были педиками, и выполняли роль женщин при воре-дневальном, почему их и называли девками.

В ту ночь попал на приём к куму и я.

К тому времени срок до освобождения - со всеми зачётами - у меня оставался чуть больше года, поэтому на допросах с оперуполномоченным я всячески старался правдоподобно уйти от ответов на все его вопросы: ничего не знаю, ни с кем никаких отношений не имею, хочу свои последние месяцы честно отработать и выйти на свободу с чистой совестью. Как меня ни запугивал кум, ничего у него со мной не вышло. Я был упрям, как осёл, и всё время твердил одно и то же: не знаю, не видел, хочу на свободу с чистой совестью...

Кум был человеком сообразительным, он понял, что я действительно хочу дожить среди своих товарищей до освобождения без проблем, и больше меня к себе не вызывал.

А те, кого вызывали, по возвращении в барак обязаны были рассказывать дневальному всё в подробностях, о чём они шептались с кумом. Если кто что-то утаит или соврёт, то тогда несдобровать нечестному зэку. Дневальный, тёртый калач, видит каждого заключённого насквозь. Он по глазам твоим читает всю правду о тебе и знает заранее все твои мысли. От вора в бараке защиты не найдёшь. Нет, он сам тебя трогать не будет, тебя забьют до полусмерти его девки-шестёрки.

Лагерный порядок в зоне очень строгий. Его жестокие законы соблюдались беспрекословно и абсолютно всеми. И уйти или как-то затеряться в лагере было просто невозможно.

Едва только прослышим о новом этапе, как вору уже знают всех своих «знаменитостей» из него. А как только притопают зэки в зону, уже через день-два шестёрки всё обо всех вызнают: кто, откуда, по какой статье сидит, какой срок... После этого всё докладывают пахану, и уже тот решает, какой будет жизнь того или иного зэка в нашей зоне. И никакое начальство тебя уже не спасёт, если пахан найдёт тебя чем-то неудобным к его лагерному двору.

До 1949 года от 18 лагпункта, куда меня привезли в 1946 году в столыпинских вагонах из Башкирии, я успел побывать на всех безымянных штрафных подкомандировках. За это время пришлось попробовать вкус тяжелейших лагерных работ на лесоповале, на прокладке автолежнёвых дорог через непроходимые топкие болота, на заготовке торфа...

На всех рабочих участках нормы выработки были очень высокими. Несмотря на то, что рабочий день длился по 10-12 часов, нормы не выполнялись на 100 %, и, естественно, пайка

хлеба не вырабатывалась, а миска баланды из чёрных листьев мороженой капусты или такой же брюквы, заправленной вонючей солёной килькой, организмы зэков не устраивали. Чтобы жить и работать, нужно хотя бы 2000-2500 килокалорий, а нам доставалось вполонину меньше.

Возможно, что норма питания была гораздо больше, но по дороге до нашего желудка всё разворовывалось начальниками всех уровней начиная от начальника лагеря и кончая последним блатным придурком, пристроившимся у котла на кухне.

Вот и получалось, что наш организм медленно съедал сам себя.

Настоящими убийцами были и зимний мороз, и летняя мошкара, и комары, и оводы. Лесная нечисть была не только в тайге, но и в бараках. И это было ужасно! От этих тварей доходяг в лагерях только прибавлялось.

После смерти Сталина с Управления лагерем были сняты все плакаты-карикатуры и нас перестали водить через посёлок. А вскоре исчез из лагеря и его начальник. Пошли упорные слухи, что его арестовали и вскоре расстреляли. То-то было радости в лагере! Отлились кошке мышкены слёзки!

Ободрились не только здоровые зэки, но и конченные доходяги-инвалиды. Все головы подняли разом, повеселели. И все ждали каких-то радостных перемен, особенно разного рода ворьё, у них-то большинство имели бытовые статьи, и они с нетерпением ждали амнистии по случаю кончины вождя, убеждённые в том, что уж кого-кого, а их-то освободят в первую очередь. И они оказались правы. Летом 1953 года была амнистия. Кое-кому она запомнилась на всю жизнь.

\*\*\*

#### Глава пятьдесят третья Новые времена

Когда после освобождения блатные проезжали по железной дороге, то на всех станциях и полустанках они устраивали самые настоящие погромы. Разлетались вдребезги продовольственные ларьки, большие магазины опустошались, как после налёта саранчи на возделанное поле.

Через месяц-другой амнистированные блатные опять стали попадать к нам, иногда даже в те же лагеря, из которых были освобождены всего несколько недель назад. Но статьи у многих были уже другие, в основном возвращались осуждённые за разбой, грабёж и бандитизм. Вот так они перевоспитывались в наших лагерях под покровительством лагерного начальства.

Бандиты выходили из лагерей и снова возвращались сюда же, а мы, осуждённые по 58-й статье, как продолжали тянуть зэковскую лямку, так и тянули её, несмотря ни на какие перемены в государстве.

И тем не менее перемены ощущались и у нас. Хоть немножко, хоть совсем-совсем незначительно, но ощущалось лёгкое потепление в отношении к политическим заключённым почти везде.

В зоне на Зимке, в железнодорожном районе, появилась лагерная комиссия. Члены комиссии начали с вопросов к зэкам:

- Какое к вам отношение со стороны лагерного начальства по бытовым вопросам?

Наивность задающих вопросы поражала. Какой же зэк добровольно будет стучать на своего начальника? Что, ему своя жизнь не дорога? Все молчали или отвечали уклончиво. Правду говорить боялись все. В то, что в лагерях что-то коренным образом может измениться, не верил никто.

Конечно, бывали и исключения, но начальники сразу после отъезда комиссии давали понять, кто есть кто в ГУЛАГе и как нужно относиться к начальству, как его нужно любить и почитать, если ты есть зэк, желающий выжить в зоне.

После отъезда комиссии всех, кто давал правдивые показания, вызывали к вертухаям (делалось это обычно по ночам), и те избивали непокорных и слишком разговорчивых до полусмерти.

После ночного допроса про таких зэков обычно говорили:

- Жить будет, но недолго.

Да и какие могут быть жалобы от зэков членам комиссии? Что, они сами не видят, что творится вокруг? Я думаю, что это у них просто такой приказ был - отрапортовать наверх о проделанной работе. А может, просто таким изуверским способом хотели ещё раз унижить и запугать людей, сидящих в лагерях, сделать их окончательно полными ничтожествами и на этом самым возвыситься в своих собственных глазах? Или потому, что с запуганным человеком, как с животным, легче творить всё что угодно?

Всё-таки после смерти изверга и расстрела его покорного пса - Берия, начались изменения в нашу пользу.

Самое главное было то, что всех зэков расформировали и расселили в бараках по статьям Уголовного Кодекса. Всех блатных от нас перевели, стало меньше воровства, драк и издевательств над политическими. Но в каждом бараке главным всё же остался вор в законе. От него по-прежнему зависело спокойствие в бараке и порядок. Он оставался хозяином положения. Но мы понимали, что это ненадолго; все стали надеяться, что придут скорые изменения. Придут!

Придут.

Я постепенно очухался, окреп, и стал твёрдо держаться на ногах после своей «антицинготной баланды», приготовленной из капустных кочерыжек. Окреп настолько, что когда вновь попал на комиссию и с меня в очередной раз спустили штаны, чтобы посмотреть на мою задницу, то оказалось, что ягодицы мои вполне округлились для того, чтобы я вновь был назначен на «тяжёлый труд».

Начальник лагеря, осмотрев мои обнажённые сокровища, говорящие о моей работоспособности, только и сказал:

- Хватит сачковать!

И одним росчерком пера отправил меня на лесоповал.

Работал в звене сначала сучкорубом, потом раскряжёвщиком хлыстов.

Работа была знакомая: срубить дерево, очистить его от сучков и веток, погрузить на тележку и отправить на верхний склад. На звено из четырёх человек нужно было напилить 20 кубометров леса.

В нашем звене подобрались хорошие ребята, все бывшие солдаты-фронтовики, молодые парни, все осуждены по 58-й статье. Все доходяги. Работали безотказно, до потери сознания, но теперь уже знали точно, что если перевыполним норму, то за свои кубометры хоть что-нибудь получим.

И действительно, в конце месяца мы получали хоть небольшой, но заработок. На эти деньги я покупал только хлеб, да и не только я, так делало всё наше звено. Хлеб в лагере всему голова, хотя и было неизвестно, из чего его всё же пекли, с какими добавками к муке.

После первой получки мы поняли, что наше спасение только в труде, на другое мы, зэки с пятьдесят восьмой, не способны.

Ещё применили зачёты. Суть их заключалась в том, что если ты будешь хорошо работать, выполняя и перевыполняя план в кубатуре, то за выполнение плана тебе минусовали срок по дневной норме перевыполнения. Это было тоже новшество, которое было для нас хорошим предзнаменованием. Поэтому, как бы тяжело ни было, все свои мощности отдавали, чтобы напилить 20 кубометров каждый день.

Так мы проработали вместе несколько месяцев.

Работа на лесоповале считается наиболее тяжёлой и опасной из всех работ в зоне, не зря только здесь применили зачёты. Для нас, заключённых, никаких мер безопасности не предусматривали и никто их не соблюдал. Для лагерного начальства нужны только кубометры, а для зэков любые новые строгости и порядки могли бы перерасти в лишнюю меру издевательства. Поэтому мы молчали, когда пару рукавиц-верхонок получали всего лишь одну на три месяца, а их хватало всего дня на три; когда работали без касок, когда мы сами или наши товарищи попадали под падающие деревья или просто замерзали в снегу без одежды. Мы молчали, когда среди заключённых каждый день были жуткие несчастные случаи.

Помню, в нашем звене произошло ЧП. Во время валки сосны сухой сук обломился вверху, упал торцом вниз и угодил вальщику прямо в голову.

Окровавленного, не приходящего в сознание, доставили мы его на верхний склад, а что стало с ним дальше - уже не наше дело. Наше дело - работа. Дальше есть кому с ним разбираться, если парень будет жив. А если умрёт, у начальства одна отписка - «застрелен при попытке к бегству». Дальше - «выбыл по литеру «Б».

Что такое литер «Б»? Это только одни зэки знают.

После этого несчастного случая звено из 4 человек пришлось возглавить мне. Это очень ответственное дело, потому что каждый день нужно вручную лучковой пилой напилить более 20 кубометров, обрубить все сучья, раскряжевать на соответствующую длину, погрузить на тележку, вывезти и сдать на верхний склад. Да ещё при всём при этом не дать себя обмануть приёмщику. И всё это висит на мне одном, на звеньевом.

На этой работе пока сделаем норму, так умотаемся, что вертухаи нас еле живых пригонят в зону. И так каждый день, да ещё пешком туда и обратно больше девяти километров по снегу. Пайка хлеба и баланда из тухлых рыбьих голов не сильно-то помогают при такой нагрузке на организм. Если не будешь иметь прибавку к пайку, быстро снова окажешься в инвалидной бригаде, поэтому весь заработок уходил на хлеб.

Работа наша была так тяжела, что все зэки в зоне стремились от неё увильнуть. А если кого насильно пригонят в лес, то толку от таких мало. Через некоторое время эти «работнички» оказывались в изоляторе, а там два-три раза побудешь - и хана тебе. Дорога на помойки обеспечена. Добыча еды вместе с крысами - конечный маршрут лагерных доходяг.

В лагерных бараках, да ещё на верхних нарах, хорошо думается «за жизнь». Лежишь, никто тебе не мешает, даже клопы меньше кусают, чем обычно. И бывают такие моменты, когда вместе с тобой в полной тишине свои горькие мысли думает целый барак.

Особенно такое бывало после события 6 марта 1953 года. Этот день, как самое сильное землетрясение, вошёл в наше сознание, дал нам почву для размышления. Да разве только нам одним? Всему ГУЛАГу и всем его начальникам было о чём подумать на досуге. Кое-кто из начальства, наверное, подумал, что пора произвол в лагерях обуздать. Пора.

Действительно, вскоре вожжи террора поослабли и на лесоповале дышать стало чуточку легче. Можно было заработать сотню рублей на хлеб, а за перевыполнение плана шли ещё и зачёты, для зэка это была реальная возможность быстрее выйти на волю.

Для меня же наступил самый сложный момент: как исхитриться и сделать так, чтобы, выполняя и перевыполняя план «тяжёлого труда», снова не дойти до истощения и не попасть в инвалидную бригаду.

Я уже доказал всем, что за смену могу напилить до 25 кубометров леса и отвезти его на верхний склад. У меня оказалась хорошая бригада настоящих работяг, доверяющих мне. Я им сказал:

- Раз нам не суждено было на войне искупить свою вину перед Родиной, давайте искупим её на трудовом фронте.

За свою семилетнюю отсидку я кое-что изучил в лагерной жизни и знал кое-какие тайные пружины её механизмов, дающих большие возможности для достижения своих целей.

Я договорился со своими работягами, что с каждой получки каждый из них отдаёт мне десятку - «на лапу» бригадиру, чтобы тот за это выделял нам «пасеку» с хорошим лесом. Если так будет всегда, то мы сможем укладываться в норму выработки и заработаем себе на хлеб и на зачёты. Это понимали все, и все дружно отдавали свои червонцы на взятку бугру.

В лагере приходится идти на всякие мелкие сделки с совестью, лишь бы выжить. Нужда заставляет. Пришлось и мне идти на приём к нашему начальнику лагпункта, выпрашивать письменное распоряжение, чтобы в ночное время мне было официально разрешено приходить на кухню к шеф-повару, выполнять какую-нибудь подсобную работу, за которую будет выделяться дополнительная рабочая пайка.

Пайка, - конечно, сказано громко. На кухне за подсобные работы во внеурочное время давали всё, чем можно было набить желудок, и многие работающие там были рады этому. Такой порядок существовал в лагере «для своих людей» давно, но с приходом нового времени в «свои люди» стали попадать хорошие работяги с лесоповала. Я это знал, и решил воспользоваться этим.

Мой расчёт был верен. В каждом лагпункте есть работники, у которых есть своя основная и ответственная работа, за которую очень строго спрашивают с самого начальника лагеря. Ответственнее, чем работа нашей бригады на лесоповале, в лагпункте не было. Мы должны были давать в день по 200-300 кубометров леса, поэтому начальник шёл навстречу звеньевым-вальщикам, давая им держаться - по лагерным меркам, конечно, - на хорошем физическом уровне, лишь бы план в целом по лесу на его участке выполнялся.

Начальник лагпункта за выполнение плана тоже хорошие деньги получает, только какие - мы не знаем. Да нам это и не нужно знать. Для нас всех и для меня лично было важно за хорошую работу иметь постоянную возможность получать допайку, заработанный подработкой на кухне.

Время выдачи денег в конце месяца было особым. Каждый уже в уме подсчитывал, сколько он заработал и куда потратит заработанное.

В день выдачи денег все толпятся у кассы. Вместе с работягами тут же отираются и блатные, требующие у мужиков свои воровские, положенные.

Отдают все. Быстро и брезгливо отсчитывают какую-то сумму денег вору в законе и тут же уходят. Уходят потому, что стыдно за самого себя, отдающего свои кровные деньги бандитам. А что делать? Не отдашь - наживёшь на зоне кучу неприятностей, если вообще не порешат за строптивость. Зажмут тут же у кассы, намнут бока, отнимут всё, что заработал, и никто не заступится за тебя, никто не крикнет:

- Бей бандитов!

Хочешь или не хочешь, а в лагере нужно жить по законам лагерным. Нравятся тебе или нет порядки, но про свой устав лучше здесь помалкивать. Себе дороже.

\*\*\*

## Глава пятьдесят четвёртая

### Люба

Деньги нам выдавала молодая вольнонаёмная женщина по имени Люба. Она была женою начальника районной тюрьмы, и поэтому пользовалась особым доверием нашего лагерного начальства. Своя, ГУЛАГовская.

Люба часто бывала в зоне нашего лагпункта. Бывало так, что она даже без охраны вертухая, одна, без боязни проходила довольно большое расстояние от вахты до бухгалтерии, концентрируя на себе множество взглядов изголодавшихся без женщин зэков. И она, и мы знали, что у неё есть защита, есть кому за неё вступить, поэтому всё, что касается Любы, было под большим запретом для всех зэков, если они ещё хотели жить. И она свободно ходила, понимая своё особое положение перед всеми вольняшками. Держалась со всеми просто, как своя для всех.

Иногда мы встречались с ней во время её переходов от вахты до бухгалтерии, и тогда мне казалось, что она всегда что-то хотела мне сказать, но она только замедляла шаг и пристально всматривалась в моё лицо и в мои глаза.

Ей, вольняшке, и мне, зэку, при встрече запрещалось разговаривать и вступать в какие-либо контакты. И этот запрет касался не только женщин, но и вообще всех вольных, нанятых на работу в ГУЛАГ. Она прекрасно знала наши порядки и никогда их не нарушала. Мы могли с нею перекидываться двумя - тремя фразами только тогда, когда она отсчитывала мне мои деньги, сидя в своей кассе.

Она как-то спросила меня:

- Бандиты у вас деньги забирают?

- Всякое бывает, - стыдясь своей униженности, ответил я очень тихо, не глядя на неё.

Она внимательно на меня смотрела, и я чувствовал её взгляд всем своим измученным телом.

Она явно не торопилась отсчитать мои деньги и старалась задержать меня хотя бы на несколько минут у окошка выдачи. Возможно, что-то хотела сказать или спросить ещё.

Я поднял глаза, и наши взгляды встретились.

Боже! Что было в её взгляде!

Мне захотелось никуда не уходить от этого окошка, стоять и стоять здесь, смотреть и смотреть в эти прекрасные чистые очи!

Но сзади напирали зэки, им нужны были деньги и только деньги. Они не видели её глаз, видели только мою спину и голову, просунутую в окошко кассира.

Так повторялось несколько раз.

Однажды, взяв деньги и расписавшись в ведомости, я нехотя отошёл от окошка, даже не пересчитывая деньги. Мне казалось, что, пересчитывая свои крохи, я буду унижать это чудесное создание, с такой лаской глядящее на меня.

Отдав часть денег дяде Саше, вору в законе, обирающему нас с нашего же согласия, я вдруг заметил, что у меня оказались лишние деньги.

Я задумался. Получалась какая-то загадка, и я решил её разгадать сегодня и сейчас.

Когда выдача денег прекратилась и все разошлись, я подошёл к окошку кассира.

Люба сидела и как будто ждала меня.

Наши глаза встретились.

У меня сразу возникла мысль, что она решила меня испытать, вернее, проверить мою честность.

- Люба, простите, но вы, наверное, ошиблись. У меня оказались лишние деньги. У меня не такая большая полочка.

- Нет, всё правильно, - ответила, улыбаясь, Люба. - Но если вы не верите, зайдите, мы всё проверим.

Она закрыла окно и открыла дверь кассы, я зашёл к ней, понимая, что этого мне не нужно делать.

Я заранее приготовил лишние деньги, оказавшиеся у меня, и, как только вошёл, сразу положил их на стол.

- Что это? - спросила Люба.

- Деньги. Сумма, на которую вы ошиблись.

- Я не могла ошибиться. Вы что-то путаете! - возмутилась Люба.

- Нет, - настаивал я. - Это вы ошиблись. Возьмите!

- Это не мои деньги! - громко и твёрдо сказала Люба, взяла со стола деньги и протянула их мне.

И я понял, что она всё заранее продумала. Она, конечно, не возьмёт эти деньги, а если я буду настаивать, то это может кончиться для меня плохо. Рядом бухгалтерия, и там всё слышно. Она специально пошла на такой рискованный шаг, лишь бы только мы с ней встретились один на один, хотя бы на минуту или на две. Она знала, что я к ней всё равно вернусь с этими деньгами. Знала.

Она так смотрела на меня, что я взял эти проклятые деньги, едва коснувшись её руки, и она вся встрепенулась от этого лёгкого прикосновения, и в её глазах зажёгся такой огонь, от которого мне стало плохо. Моя голова помутилась, ноги стали ватными, а в глазах запрыгали белые мушки.

Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Долго молчали. И это было любовью наших глаз. Любовью замужней женщины, жены всесильного начальника районной тюрьмы, и бесправного, забитого зэка.

Любовь наша быстро вспыхнула, а ещё быстрее погасла, потому что такое чувство в лагере надолго утаить невозможно. И на меня, и на неё смотрели сотни любопытных и завистливых глаз.

Я-то по глупости и своей извечной наивности думал, что уже изучил лагерную жизнь и всё в ней знаю и понимаю, ан нет!

За нами моментально стали следить стукачи, а их в каждом лагпункте, в каждой подкомандировке хоть пруд пруди. Каждый из них надеется, что если он кого заложит, то ему дадут за это лишнюю миску баланды от кума.

Вот так, благодаря стукачам, вся история моей любви быстро попала на стол лагерного кума, а тот долго разбираться не стал, быстро оформил документы и отправил меня этапом на штрафную подкомандировку.

Вместе со мной подобрали ещё с десятков самых отъявленных головорезов, которые уже совсем оборзели и вышли из-под контроля лагерного начальства.

Надо сказать, что эта подкомандировка была страшна не только для нас, политических, но и для блатных, потому что была совершенно не обжита ими. И вообще никем не обжита. И это было страшно. Условия жизни там были самые невыносимые из всех, что мне пришлось испытать за все свои годы заключения в лагерях.

Время шло к зиме. Морозы в бараках стояли такие же, как и на улице. Никаких печек не было, только голые, наспех сколоченные двухъярусные нары. Питание привозили один раз в сутки сухим пайком. Хлеб замороженный, сухая картошка, жиров никаких.

Во время раздачи этих продуктов каждый раз происходила одна и та же непристойная и жуткая картина: кто был посильнее и блатнее, тот готов был убить более слабого и забрать его кровную пайку.

Этап пригнали, а инструментов не привезли. Даже топора не было, чтобы нарубить дров для печек. Сидели и мёрзли в бараках, постепенно отдавая Богу душу. И хотя так продолжалось всего несколько дней, некоторые не выдержали и сами ускорили свой конец, вспоров себе животы, вскрыв вены или затянув петлю на шее. Все самоубийцы были блатные и отъявленные отказчики-доходяги. Бог им судья! Не всем даны силы выдержать земные лишения. Не каждый способен до конца пройти уготованный ему земной путь.

Рядом с нашей зоной стоял никем не тронутый сосновый бор. Прекрасное место! Отличный строевой лес. Меня просто тянуло в него с лучковой пилой.

Я уже как-то привык к тому, что в лагере нужно обязательно работать, без работы слишком много мыслей лезло в голову, не находя выхода из неё. Мне было неудобно рядом с явными бездельниками из блатных, которые, наверное, были правы, говоря, что у нас, у мужиков, на лбу написано, что нам нужно работать и только работать! А я и правда ничего другого не умел делать в лагере. В работе была вся моя жизнь.

Я понимал, что выжить в этой обстановке я смогу, если только буду работать. А как работать без инструментов и бригады?

Мы, несколько мужиков, собрались, покумекали на досуге, и пошли к начальнику с просьбой о быстрейшем выделении нам пил, топоров и других инструментов для работы в лесу.

Начальник пошёл нам на уступки, с некоторыми оговорками, потому что командировка-то была штрафная. Охрана у нас была удвоенная, лагерный режим строже, чем где бы то ни было в базовом лагере. После вечерней проверки дают отбой и все бараки сразу же



закрывают на замки, всякое движение по зоне запрещено до подъёма. А это значит, что любой каким-то образом вышедший из барака отстреливался на месте.

Как бы ни было тяжело на зоне, но мы всё же выбрали инструменты и вышли на работу. И как-то сразу стало легче на душе. Снова появился азарт в работе, снова замерцала впереди надежда.

На штрафняке вся моя вина заключалась в том, что меня полюбила тридцатилетняя женщина, кассирша Люба, жена крупного районного начальника в системе ГУЛАГа. За что другие сюда попали - не знаю. У каждого своё горе и своя вина перед начальством. А в лагере не особенно любят перед кем-то открывать свою душу.

Кассирша нашла меня в штрафной подкомандировке через несколько недель и даже добилась свидания со мной.

Она предлагала мне досрочное освобождение, лишь бы только я уехал с нею куда-нибудь. Как она меня ни уговаривала, я не согласился ни на какие уговоры. Почему? Объяснить трудно.

Во-первых, мне было уже к тридцати годам, а я до этого времени знал только одну женщину, и та была проституткой из египетского борделя, воспоминание о которой мне было противно.

Во-вторых, я не очень верил ей. Столько лет унижений и предательства сделали меня осторожным, особенно с так называемыми «друзьями», втирающимися в доверие, а затем закладывающих «куму». Как ей, вольняшке, удастся сделать то, что она говорит? Мечты, пустые мечты. И себя погубит, и меня.

И в-третьих, я боялся рисковать. Мне оставался всего только один год до освобождения. Один год отсидки и год зачётов. Восемь я уже отбыл. Впереди ждала свобода, а у неё муж из ГУЛАГа. Мужья такое не прощают, тем более энкавэдэшники.

Можно, конечно, сказать, что я испугался потерять всё: и её, и свободу, и, возможно, саму жизнь. А может, просто моя любовь не была такой сильной, как её?

Мне было очень тяжело. Очень! Когда она уехала, стало ещё тяжелее. Наша с нею любовь, если это можно назвать любовью, ещё не начавшись превратилась в трагедию. Я поплатился тем, что попал в штрафники, а о ней я больше ничего не слышал с тех пор. За связь с заключённым, да ещё с 58-й статьёй, ей, думаю, нездоровилось. На что же она надеялась, бедняжка, когда предлагала мне досрочное освобождение? Какие у неё были связи в ГУЛАГе, чтобы сделать это? Наверное, никаких. Если бы что-то было, то она меня сразу бы вытащила оттуда или же нашла бы по освобождению. Но я с тех пор её не видел. Никогда.

Любовь. Любовь толкает нас на безумства. Но любил ли я её так, как она меня? Наверное, нет, иначе бы я решился на все её предложения, а потом...

\*\*\*

## Глава пятьдесят пятая

### Работа, которая делает человека свободным

Потом на нашу командировку пригнали самый отъявленный контингент заключённых. Этап пришёл из какой-то пересыльной тюрьмы, почти все вновь прибывшие были уголовниками, но среди них были и нормальные зэки, которых сразу можно отличить среди блатной швали по одежде и манере держаться. От нормальных зэков исходил домашний дух, а не запах воровских «малин». Мы, старые лагерники, это хорошо различали.

Местные блатняки моментально приступили к своему обычному делу: за какой-то час они раздели из этапа всех чужих, то есть не блатных, а если кто-то из них сопротивлялся, тех жестоко били.

Я видел, как они быстро расправились с порядочными людьми с этапа. И горько было сознавать, что, возможно, не такие уж они и преступники, эти новоприбывшие, а вот поди ж

ты, вынуждены терпеть унижения и побои от нелюдей, получивших покровительство от самых сильных мира сего и от нашей мерзкой лагерной администрации.

А в бараках тем временем установилась настоящая дьявольщина.

Блатные, ограбив этап, обложившись кучей одежды, играли в карты. Играли азартно, запоем. Просаживали всё, что у них есть, и даже всё, что у них было до этого. Когда вообще всё проигрывали, то начинали играть на жизнь какого-нибудь фраера или лагерного придурка. Назначали цену за человека. В это время обязательно при игре должны были присутствовать лагерные авторитеты.

Так они играли сутками, пока кто-то из них не проигрывался в пух и в прах, тогда наступало время расплаты. Проигравший должен был «замочить» проигранного, а если он этого не делал, то «мочили» его самого. Таковы жуткие законы зоны. И тут уже сами воровские авторитеты следили за тем, чтобы всё было «по-честному», то есть по воровскому закону.

Особо опасных зэков куда-то от нас всё же убирали. Мы догадывались - куда, потому что никто из них никогда назад не возвращался. И слава Богу!

Я тоже ждал своей участи: вот-вот вызовут ночью к куму, и... прощай, Родина! Но беду пронесло мимо. Больше обо мне никто не вспоминал, и никто даже не тревожил. Это было странно, потому что блатные и те как-то ко мне стали относиться по-иному, как к своему.

Я думаю, что Люба всё же успела замолвить за меня словечко перед начальством, да я и сам лез вон из кожи, чтобы не быть последним на лесоповале. Это всегда шло зэкам в зачёт.

Я думал, что если я на протяжении восьми лет выдержал этот кошмар и не потерял себя как человек, то за оставшееся время не потеряю своего «Я».

И я работал. Работал, как вол. Это дошло до самого начальника лагеря.

И мы с ним однажды встретились в его кабинете, и у нас состоялся короткий, не характерный для лагеря разговор.

- Наслышан о тебе только хорошее. Стараешься. Молодец! Будешь работать так, как работаешь сейчас, - будешь хорошо жить! - сказал начальник. - Я тебя запомнил, и не обижу, потому что настоящих работников здесь мало. За каждое перевыполнение дневной нормы будет пайка хлеба. Только работай. Договорились?

Ещё бы я ответил отказом!

- Конечно, договорились, гражданин начальник.

- Тогда, вперёд, ударник! Но с одним уговором: о нашей встрече - молчок. Понял? Своим наври, что хочешь. Тебя я больше к себе тягать не буду. И «кум» про тебя забудет тоже. Ты только работай и держи язык за зубами.

- Не первый год тяну лямку. Спасибо!

После этого на разводах, где всегда присутствовал начальник, как только наши глаза встречались, то он молча показывал мне указательный палец. Это значило, что и сегодня он даст мне дневную премию в один килограмм хлеба за ударную работу, если план в лесу будет перевыполнен.

Никто не знал нашего тайного языка, и я старался держать свой язык за зубами, чтобы мне не завидовали, и чтобы я не стал изгоем среди своих.

И я оправдывал свой килограмм хлеба.

Я трудился на совесть.

Честно говоря, мне здорово повезло, что в 53-м году умер Иосиф, а вслед за ним расстреляли и Лаврентия. При них вряд ли произошло бы смягчение режима содержания заключённых в лагерях. Особенно для нас, зэков с 58-й статьёй. Большой милостью было решение о премировании за отличную работу всех стахановцев. Это давало надежду на выживание. И это было сделано, как я сейчас понимаю, негласно, в форме устного приказа, поэтому каждый начальник лагеря и командировки сам, своей властью, решал пределы дозволенного в поощрении отличившихся.

Однажды на разводе начальник лагеря вышел перед зэками с газетой в руках. Все замерли, ожидая - что в ней, какие новости решил обнародовать гражданин начальник.

В лагерной газете, выпускаемой в далёком Усть-Выме, писалось о нашей командировке и упоминалась в числе передовиков моя фамилия.

«Лучший лесоруб-вальщик, ежедневно перевыполняющий норму выработки всем своим звеном». Это, конечно, радовало меня и ещё больше поднимало мой авторитет среди заключённых, не лишённых честолюбия и уважения к настоящим работягам. Даже у блатных я был на особом месте.

Я свой авторитет заработал своим горбом, мозолями и каторжным трудом. Мои первые годы заключения, мои восемь лет, полные унижений, оскорблений и страшного произвола по отношению ко мне, маленькому человечку, попавшему в капкан системы советских исправительных лагерей, где не исправляют, а уничтожают и физически, и морально, и психологически, дали мне полное право вновь почувствовать себя человеком, даже находясь в робе зэка.

Уже после освобождения, будучи на свободе, я частенько видел, как легко проникает лагерная жизнь со своими порядками, законами и даже со своим языком в образ жизни всех людей нашего государства, особенно в армию, где укрепляется и процветает такая зараза, как дедовщина - чистой воды слепок взаимоотношений зэков в зоне. И думал, что это вещь вполне закономерная, потому что вся наша страна и всё наше общество прошли прививку ГУЛАГом и переболели в лёгкой форме лагерной зоной, освоив её язык и приняв её основные правила поведения: ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Слова - как песня, которую пели в шестидесятых, смысл только у них чудовищный.

После 53-го года стали пересматривать наши дела. Особенно по 58-й статье. Некоторых стали освобождать. Но, странное дело, - зэки, уезжавшие на родину радостными и взволнованными предстоящей встречей с родными, возвращались вскоре обратно подавленными. Особенно те, кто занимал в лагере привилегированное положение бугров и прочих лагерных придурков. Оказалось, что по тем справкам, которые они получали при освобождении из управления ГУЛАГом, а затем и при получении новых паспортов, в документах проставлялась статья, которая гласила, что они, бывшие политические заключённые, враги народа, не имеют права быть прописанными в родных городах, тем более - поступать куда бы то ни было на работу. Таким образом, ни жить, ни работать на родине им было негде.

Многие зэки призадумались над ближайшей перспективой возвращения к родным очагам. Пришлось и мне поразмышлять над этим вопросом. Но недолго. Пока мой срок ещё не кончился, мне нужно думать о другом. У меня много работы впереди и много проблем, далёких от проблем вольного человека.

Например, мне нужно было работать так, чтобы, кроме сокращения срока, суметь сэкономить сумму денег на проезд и обустройство на первые дни проживания дома. Я подозревал, что моим родным жилось не так хорошо в станице, чтобы и меня ещё кормить на халяву. Лишний рот в нищем доме всегда в тягость. А как они жили, я не знал. Переписываться мне было запрещено. Всё-таки за мои грехи не только мне, но и моим близким родная советская власть должна была мстить по полной мере, а значит, долго я у них жить не смогу.

Настало время, когда для пополнения лагерей стало приходиться меньше этапов, видно, всех уже пересадили на воле.

Кто пришёл с первыми зимними этапами и выжил, те, считай, адаптировались и стали своими в зоне, хотя им пришлось трудно. Очень трудно!

Тем, кто не выжил, привязывали бирку на ногу и выносили вон из зоны. Перед тем, как хоронить, надзиратель проверял мертвеца, ковыряя его острой пикой, - вдруг закричит.

Зимой хоронили в снег, летом сбрасывали прямо в траншею, заранее заготовленную на этот случай. В лагерных списках, особо секретных, все мёртвые души считались выбывшими по «литеру Б», а что это означало - один только Господь Бог знал да наше начальство.

Население штрафной подкомандировки заметно уменьшилось к весне, а пополнения не было. Начальник требует больше кубиков давать, а давать некому, одни доходяги в бараках. Какой с них толк! Если и выгонят их в лес насильно, то всё равно просидят у костра, потому что знают, что больше, чем на штрафной котёл, не заработают.

Бригадир, понимая это, идёт на всяческие хитрости, чтобы только заставить их работать.

Вот он даёт мне 10-12 человек доходяг, и говорит:

- Пусть хоть сучки рубят да таскают их к кострам и жгут. Всё какая-то польза. Только ты их гоняй, не давай засиживаться у огня. И кубики, кубики давай!

А как я буду их гонять, если я и сам недавно был точно таким же доходягой? И что, я должен над ними сейчас издеваться только потому, что выжил и выбился в звеньевые? Нет, так дело не пойдёт.

А что же делать? Ведь и на них нужно напилить лес, чтобы они тоже пайку хлеба получили и нас не объедали.

Но бригадир из блатных говорит:

- Я тебе даю их на помощь, а как обеспечить их пайкой хлеба - не твоя забота.

Всё легче. Остаётся их только поднять и заставить хоть что-то делать. Но как? Чем-то их нужно заинтересовать, чем-то привлечь.

И я пошёл на риск.

Наша делянка находилась в запретной зоне, недалеко от верхнего склада, куда вся бригада подвозила свою кубатуру, а бесконвойные шофёры увозили её затем по зимнику к реке. Мы знали, что эта дорога идёт мимо какого-то посёлка. И вот по весне я как-то уговорил одного шофёра с лесовоза, чтобы он привёз нам из посёлка собаку. Удалось мне это с большим трудом и с огромным риском не столько для меня, сколько для шофёра. Если бы его поймали за этим делом, то он бы живо слетел с шофёрской должности к нам на лесоповал, но сначала прошёл бы через штрафной изолятор и превратился бы точно в такого же доходягу, спасти которых пытался вместе со мной. Досталось бы и мне в этом случае. Но нам повезло, всё обошлось благополучно.

Естественно, риск пришлось оплачивать из своего кармана, а слова искренней человеческой благодарности шофёр получил от всех доходяг сполна.

Моментом зэки нашли ведро, нашлись и умельцы, разделавшие собаку с наименьшими потерями мяса, поставили ведро на костёр и сварили свежатинку, только слегка посолив.

По кусочку «баранины» досталось каждому.

Это был для нашего звена счастливый пятиминутный пир, который остался в памяти у каждого зэка, бывшего на нём, надолго.

Самое интересное, что никто из начальства так никогда об этом и не узнал. Всё сохранилось в тайне. Иначе... Иначе бы мне снова пришлось побывать в изоляторе и распрощаться со своей должностью звеньевого.

После собачки работа пошла веселее. Собачий жир для зэков - как эликсир жизни. Стоит хоть раз смазать им желудок - и дело пойдёт на поправку. Это равносильно тому, как смертельно больной человек принимает чудодейственное лекарство.

Я как звеньевой был лично заинтересован в том, чтобы привлечь на работу своих подопечных доходяг, и чтобы они мне поверили, и поняли меня, почему я это делаю.

Я думал: пусть у нас у всех на войне была неудача, вина за которую лежит не только на нас одних, но и на тех, кто нами командовал, кто нас бросал в самые опасные места, не думая о нас как о людях, у которых есть руки, ноги, думающие головы и сердца, любящие и ненавидящие, наконец, души, наши бессмертные души, о которых где-нибудь и когда-

нибудь должны вспомнить и помянуть их добрым словом. И ещё я думал, что и здесь, в лагере, мы не должны терять свой человеческий облик и уподобляться блатной братве. Нужно сохранять в себе человека. Человека. А как это сделать? Только работой. Только работой.

И мы, мужики-трудяги, работали, так как кроме работы ничего в жизни не умели делать, если, конечно, не считать войны...

Мы пахали на лагерное начальство, с их вертухаями, придурками и прочими службами, пахали на ворьё, а в целом - на Советское государство во главе с Коммунистической партией Советского Союза и её Центральным Комитетом. Вот только на себя мы не могли напахаться. Даже лагерную пайку обрабатывали с великим трудом, потому что все нас кругом обворовывали. И потому гибли бывшие воины, лучшие мужики-пахари, в лагерных зонах ротами и батальонами, надорвавшись на тяжёлых работах, уходили в никуда, истощив организмы от голода, замерзали без одежды в снегах Заполярья.

\*\*\*

## Глава пятьдесят шестая

### Свобода

Я продолжал работать на лесоповале до самого последнего дня своего срока. До дня освобождения. Без выходных и отпускных, о больничных днях и думать было нечего. Иной раз хотелось бы и заболеть, отдохнуть денёк-другой в лазарете, но это были напрасные мечты, все болезни отвернулись от меня, и я продолжал свой ежедневный труд в лесу, как заведённый.

Может быть, это и к лучшему, организм был настроен на одну волну, и я жил, как сейчас говорят, на автопилоте.

Бывало, погода люрует, мороз 25-30 градусов, а для меня это самое хорошее время, потому что снег в лесу становится рыхлым, сыпучим, не пристаёт к одежде, а значит, она будет весь день сухой.

Когда делаешь зарубку на комле сосны или ёлки, в это время сверху сыплется снег, в мороз он не задерживается на спине и плечах, не тает до тех пор, пока не подойдёшь к костру. Стоит задержаться у огня минут на пять-десять, как одежда нагревается, и снег, застрявший в её складках, начинает таять. Одежда промокает, и на морозе замерзает, бушлат делается деревянным и частенько ломается при резких сгибах. Хочешь ходить в нормальной одежде - смотри за ней в любую погоду и не грейся у костра, не отряхнув с неё снег.

Перед освобождением снова вызвал меня к себе начальник подкомандировки гражданин Романько и начал расспрашивать, куда я поеду после отбытия срока наказания.

Я так удивился его вопросам и тону, которым он их задавал, что просто ужас! Мне показалось, что его всегда властный голос стал какой-то жалкий, просящий, будто он был виноват передо мною.

Конечно, я ему рассказал, что есть у меня отец и мать. Что я уехал из дома в 41-м году, вступив добровольцем в казачий полк в городе Ставрополе. Что перед этим бросил десятый класс из-за того, что тяжело стало в школе находиться по вине отца, которого считали зажиточным казаком, не желающим вступать в колхоз, а я, оказывается, был сыном «преступного элемента и врага народа», и уже поэтому должен был нести на себе клеймо недостойного. Думал, что, уходя добровольцем, докажу всем, что я и мой отец, вся наша семья, не хуже других в станице. Но судьба распорядилась по-другому.

Сказал, что заеду в станицу повидаться с родными, - ведь не виделись долгих 13 лет, - а что будет потом - посмотрим.

- Трудновато тебе будет, - сказал гражданин начальник Романько в ответ на мою речь.

И сказал это не как грозный начальник, а как равный равному, по-дружески, как будто сочувствовал мне.

- Жизнь на воле сейчас такая, что куда бы ты ни приехал после освобождения, придётся тебе трудновато не только с пропиской, но и с работой. Ты подумай об этом, - сказал он. —

Видишь, какие мужики назад возвращаются? А здесь для тебя никаких проблем не будет. Здесь такие работающие люди нужны. А я, ты знаешь, слов на ветер не бросаю. Останешься - получишь хорошую работу, северную зарплату: квартиру дам. Пройдёт несколько лет - и всё у тебя будет по-другому, всё изменится. Женишься, будут дети, семья.

Я понимал, что ему приходится трудно: людей нет, а план остался тот же. Понимал, что в его словах много правды, но мне очень хотелось домой, на волю. Мне надоел вид колючей проволоки, и я видеть не мог сытые морды вертухаев и слышать лай овчарок.

- Я вас понимаю, - сказал я гражданину начальнику, - но я хочу домой. Я был и на войне, и в лагере мужиком-трудягой, им и останусь до смерти. Мне терять нечего, а трудностей я не боюсь. Я не лагерный придурок и не бугор. Мне ничего просто так не давалось в жизни. Ни пряники, ни конфетти с неба на меня не сыпались. Думаю, что на кусок хлеба смогу и на воле заработать, а больше мне пока не нужно.

И гражданин начальник Романько ничего не стал мне больше говорить. На этом наш короткий разговор с ним закончился. Он понял, что возвращаться сюда и работать с заключёнными, со своими бывшими товарищами, я не смогу. Не в моём это характере.

Вскоре нарядчик сообщил, что до моего освобождения осталось ровно два месяца. Начальник подкомандировки разрешил не стричь волосы, и на моей голове впервые за много лет стала появляться шевелюра.

Это было непривычно радостное ощущение. Я гладил себя по голове каждый день, и чувствовал под грубой мозолистой кожей ладони мягкий и нежный волосистой покров. Чудо - и только! Я сравнивал свои волосы с ростками пшеницы в поле. Вот так же растут они на солнцепёке и так же нежно щекочат ладонь, если провести по ним рукою...

Но как бы я ни радовался предстоящей свободе, никто от работы меня не освобождал, и свою норму кубиков я должен был выдавать ежедневно до самого последнего дня пребывания в лагере.

И я выдавал.

Я работал с удвоенной энергией, чтобы заработать как можно больше денег на дорогу. Хоть и трудно давались эти кубики, но они были нужны мне. И ребятам тоже. Кто знает, как сложится их жизнь в звене после моего отъезда? А тут хоть маленький, но задел на будущее.

Последние дни в лагере были особенно тревожными для меня. Я не столько радовался освобождению, сколько думал над словами гражданина начальника, и пытался представить себе, что будет со мною там, на воле. Ведь мне уже за тридцать. Все мои молодые годы прошли на войне и в заключении, - можно сказать, выброшены собаке под хвост. Что делать и как жить среди тех, кто не пережил того, что довелось испытать мне, кто никогда не поймёт меня и моей судьбы?

Прощался я со своими мужиками-трудягами с тяжёлым сердцем. Жалко их было до слёз. Что ждало их впереди - никто не знал. А они радовались за меня и откровенно завидовали мне.

- Какой ты счастливый, Алёшка! - говорили они мне. - Ты выжил и смог честно дотянуть свой срок почти до конца, что называется, от звонка до звонка. Удачи тебе, браток! Не забывай нас.

А как их забудешь, - мужиков, с которыми пережил самые трудные и голодные времена? Как забудешь этапы и штрафные командировки, штрафные изоляторы и вертухаев? Как забудешь издевательства и побои вора и их подручных? А барачных клопов и тараканов?

Теперь я понимаю, что я действительно выжил и на войне, и в лагере и остался человеком несмотря ни на что. Смерть не однажды пыталась меня побороть, но, видно, Господь Бог миловал меня, и Косая проходила стороной, забирая других, кому не суждено было пережить лагерный беспредел.

Говорят, что на войне солдатики клали свои головы за Родину, а в лагерях за что бывшие солдаты великой армии положили свои молодые жизни? За что гибли в лесу и в болотах, при

строительстве лежнёвок? За что умирали с голоду на нарах? Почему им всем была уготована одна дорога, с общей для всех отпиской в секретных лагерных документах: «выбыл по литеру «Б»? И что это за «литер «Б»? Кем он выдуман? Каким дьяволом во плоти?

Из подкомандировки доставили меня на головной лагпункт и выдали справку об освобождении. Она служила мне временным документом, о том, что я теперь являюсь как бы человеком в своей стране.

По этой справке я получил свой расчёт, в который вошла сумма заработка за последние месяцы. Из одежды на мне милостиво оставили лагерный бушлат, сшитый из старой солдатской шинели, валенки, солдатскую шапку-ушанку и ношенные-переносные ватные брюки.

Насколько я понимаю, всё, что было на мне, было сшито из одежды умерших или убитых наших солдат ещё в годы войны. Другой одежды зэкам не полагалось, а донашивать солдатские обноски кому-то всё равно было нужно. Не пропадать же государственному добру.

Кроме всего этого, я получил билет на железнодорожный транспорт до места моего нового жительства - станции города Токмак Киргизской республики, где проживали мои родители.

После войны отец всё же рискнул переехать в Среднюю Азию, где уже давно обосновался его старший брат. В Ставропольском крае жилось в те годы трудно, несколько лет подряд была засуха, на полях всё выгорало без дождей, поневоле старикам пришлось уезжать с насиженных мест, спастись от голодной смерти.

\*\*\*

#### Глава пятьдесят седьмая Оборотни

Прошли годы. Много прожито и пережито мною за это время. И прожито честно. Везде, где бы я ни трудился, у меня складывались хорошие отношения с людьми и с начальством. Но гложет меня одна мысль: почему реабилитировали Тухачевского, сгубившего десятки тысяч русских жизней? Почему простили мерзавцев-НКВДэшников, пострелянных своими же товарищами в тридцать седьмом? Почему нас, никого не убивавших, может, только случайно или же по трусости, сохранивших свои жизни в страшной войне, до сих пор держат за злейших врагов народа, хотя мы уже отсидели своё в лагерях и в тюрьмах, заплатили каторжным трудом за свои мнимые преступления перед Родиной? Почему, отвоевав почти год на фронте, я не являюсь участником войны? Почему не судят тех, кто развалил СССР и помог сойти в мир иной миллионам своих соотечественников, украв при этом их сбережения? Разве они не большие преступники, чем мы?

Почему их не судят и не называют врагами народа?

Потому, наверное, что и те, кто держал нас в лагерях, и те, кто разваливал великую страну, - свои люди, люди одной породы, одной крови, игравшие и продолжающие играть с нашим народом в одни и те же мерзкие политические игры. А ежели ты из одной колоды краплёных карт, то как не пожалеть своего? Может, и тебя когда-нибудь и кто-нибудь из своих также «пожалует» и простит от имени и от лица всего русского народа, которого ты так нагло обокрал.

\*\*\*

#### Глава пятьдесят восьмая Последняя

Её ещё нет, она только пишется. Но она обязательно будет. Будет! Потому что иначе вся наша жизнь окажется бессмыслицей. Иначе все наши страдания, наши стоны и слёзы напрасны. Кровь погибших должна быть отомщена. Миллионы загубленных судеб требуют возмездия. И оно придёт. Я верю в него и жду. И я его дождусь.

Я дождусь 58-ю статью в её новом варианте и допишу пятьдесят восьмую главу своих воспоминаний.

Дождусь!

И допишу!

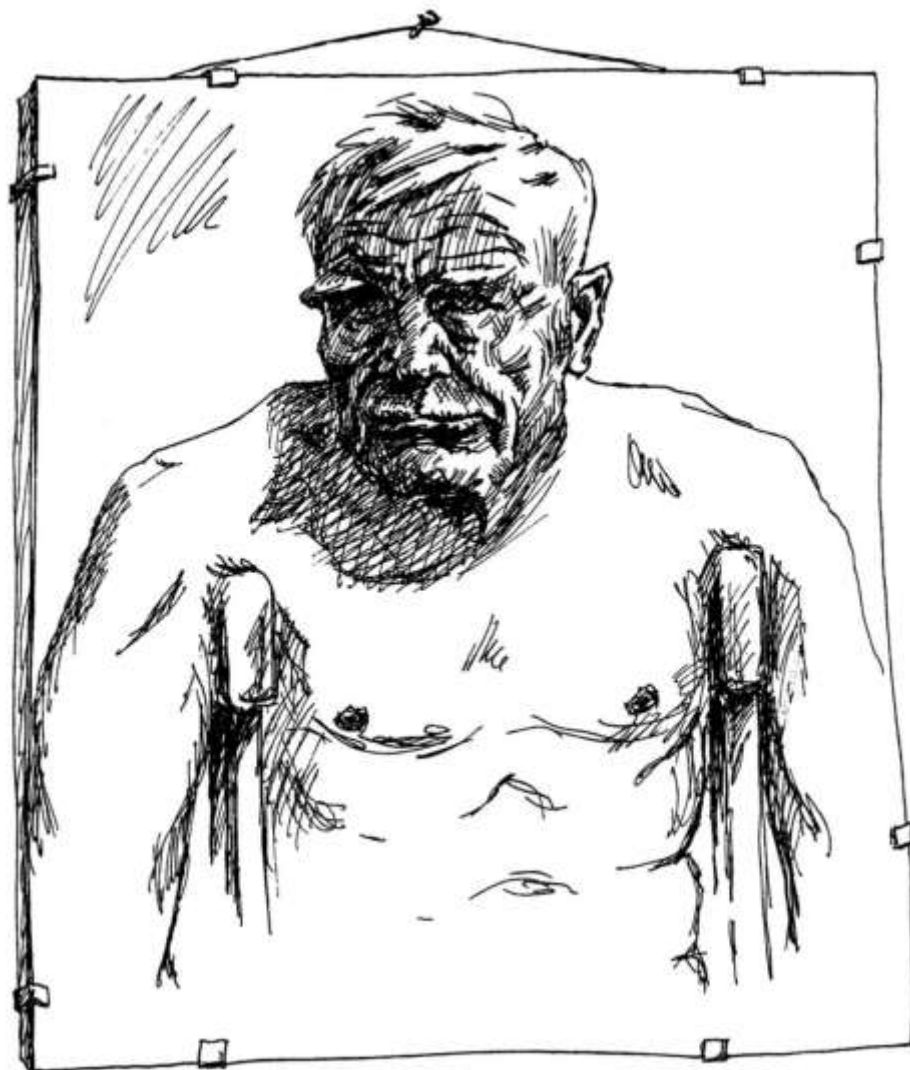
Обязательно допишу.

\*Curriculum vitae - жизнеописание. (Латынь).

2003 год.



## Житие человека



**Помяни его, Господи, когда  
придет он в Царствие Твоё.**

### Гроза

«Сегодня ночью наверняка будет дождь, гроза, – подумал седой, лысоватый старик, глядя в чёрное окно своей каморки. – Слишком душный вечер. И ветер больно... тяжёлый, словно из последних силёнок наваливается на проклятую духоту, прогоняет её: у-ходи, уходи-и!.. Трудно бедняге! Вон сколько туч нагнал в горы. Крупному быть дождю, с громом, с молниями. Вволю покуражится нынче стихия. Вволюшку...».

Он тяжело вздохнул и замер, прислушиваясь к разыгравшейся непогоде, стараясь представить, что же там, на улице, сейчас происходит.

«Вот опять завывает ветер, – сказал он мысленно сам себе и, подумав, изрёк: – Хорошо ему, бедокуру, на просторе, на свободе»...

Уже много лет, когда старику особенно нелегко приходилось в жизни, когда всякие дурные мысли осиным роем одолевали его большую головушку, он начинал говорить и спорить с самим собой, с товарищами и с врагами, с живыми и с умершими, со всем миром. Но про себя, втихомолку, что называется, «под одеялом». Люди говорят, что именно так сходят с ума, а он, зная это, считал, что только таким образом и сохранил свой ум, память, возможно, и саму жизнь. Старик был глубоко убеждён, что благодаря ночным воспоминаниям и «спорам с теньями прошлого» он даже развил свой «духовный потенциал» и, конечно, смог бы, наверное, при иных обстоятельствах жизни достичь большего, например, стать неплохим оратором или журналистом, если бы всерьёз когда-нибудь занялся и тем и другим, и третьим, но...

«Как сказал один толковый писатель о своём герое, – старик неожиданно вспомнил цитату из давно прочитанной книги, – судьба хотела сделать из него кинжал для битвы, а жизнь выковала перочинный ножик». Я хоть и не нож для открывания консервных банок, однако и меня бивали "кувалдами" и "молотками" предостаточно»...

\*\*\*

Первый раз он попал под грозу лет трёх от роду. Мать и отец поехали на соседской лошадёнке за свежей травой для коровы, и его с собой прихватили, дома оставить было не с кем.

На всю жизнь запомнился ему этот день: голубое, безоблачное небо, пыльная дорога в тряской телеге, высокая, необыкновенно зелёная трава, нежная, сочная... Он даже впервые попробовал тогда её пожевать от избытка чувств. Отец смеялся, но не мешал ему, а мать запрещала, строжилась, страшила всяческими напастями...

И правда, не все травинки были сладковатыми, поэтому мальчик вскоре забросил это занятие и стал смотреть на птиц и бабочек, порхающих в небе и совсем рядом.

Вокруг сновало много любопытной живности: тучами кружили комары, натужно гудели страшные оводы и шмели, мелькали беззаботные мотыльки, от цветка к цветку перелетали пчёлы, а за всем этим гонялись птицы, совершенно не боявшиеся малыша, махавшего на них ручонками и бегавшего по лугу. Ему было жутко интересно наблюдать за весёлой и беззаботной игрой жизни, и хотелось, чтобы этот день и эта игра длились долго-долго – целую вечность...

Незаметно сгустились тучи, и небо как бы опустилось ниже. Потемнело. Тишина наступила внезапно, мальчик даже не заметил когда. Всё затаилось в природе, предчувствуя низвержение хлябей Господних, и только он один, маленький дурачок, продолжал носиться по мягкой траве, не ощущая никаких предзнаменований. И вдруг – гром!

Родители мальчугана, увлечшись, отошли от телеги далеко в густое разнотравье, дружно работая косой и граблями, спеша до дождя хоть что-то успеть накосить и сгрести в маленькие копёшки. Да и сам мальчик далеко убежал в другую сторону от родителей и от стреноженной рядом с телегой лошадёнки, невозмутимо щиплющей траву, убежал за красивой бабочкой, перелетающей с цветка на цветок и манящей за собой беспечно несмышлёныша.

Вот тут-то его и оглушило громом.

Небо словно расколосось пополам. Мальчику почудилось, будто кто-то огромный и могучий разрывает над его головой гигантский холстяной полог, перед этим стукнув по пологу чем-то тяжёлым и гулким...

Ох, как он орал! Как орал!

До сих пор старик помнит этот страх и свой крик над притихшей поляной, идущий, казалось, у него из самого нутра. И как бежал к нему перепуганный отец, как он схватил его и прижал к себе. Какие слёзы стояли в глазах у отца... Какие слёзы! Вовек не забудет старик этих отцовских слёз... А как был силен и красив в то мгновение отец! Старик больше и не припомнит его таким молодым. И таким любимым.

...Потом они сидели под телегой, родители что-то ласковое говорили малышу, успокаивали, поили молоком... А дождь лил до самого вечера, струйки его текли по краям телеги и сочились сквозь щели. Отец заботливо укрывал сына и жену старым пиджаком. Гром гремел ещё долго, мальчик при каждом его ударе вздрагивал и тихонько всхлипывал...

Потом он заснул под эту небесную канонаду и проснулся только при въезде в город, радостно дышавший тёплыми дождевыми испарениями, блестящий огромными свежими лужами и жирной грязью, в которой мирно спали толстые свиньи.

Старик до сих пор отчётливо помнит, как много лет назад лежал на влажной повянувшей траве, смотрел на проходивших мимо людей, и ему хотелось каждому из них рассказать о случившемся с ним на покосе. Ему казалось, все ждут от него этого рассказа, ведь они не видели и не испытали того, что видел и испытал он, уезжавший от них на целый день в лес. У мальчика было огромное желание поделиться с людьми единственным и очень дорогим, что у него сейчас было, но что-то сдерживало, стесняло... Это был стыд. Стыд за свой страх перед грозой. Поняв это, мальчик притих на возке...

Он так никому и никогда не рассказал об этом дне. Та гроза и тот страх стали его самой первой большой тайной, которую он сохранил в душе на всю жизнь.

Давно нет на свете отца и матери, и только он один из живущих на Земле помнит этот эпизод из долгой и печальной жизни бывшего городского мальчишки, чудом дожившего до почтенных лет. Но и сам он не вечен. Старик чуял близкий конец и понимал, что после него уже никто не узнает о той замечательной грозе, так много пробудившей когда-то в его детском сознании.

«Впрочем, может, это и к лучшему? У каждого должна быть своя первая гроза, и все последующие грозы – тоже свои. Что толку знать о детских страхах других, если многие и своих-то не помнят! Или не хотят помнить?»...

Старику было приятно иногда уходить в воспоминаниях в чистый, незамутнённый злом кусочек жизни. Приятно было ощущать себя маленьким и беззащитным. Приятно было мысленно жить во времени, где сильный и молодой отец крепко прижимал его к усталой груди, защищая от грозы.

Сколько раз с тех пор над головой старика гремели страшные грозы, сколько раз от его отчаянных криков рвалась грудь и надрывалось от страха сердце, но он не оглядывался по сторонам в поисках родного человека, он уже знал: помощи ждать не от кого – он один в этом бескрайнем и жестоком мире. Один.

\*\*\*

«Да, сегодня будет гроза, – окончательно утвердился в своих прогнозах старик. – Вот уже и дождь пошёл»...

Редкие крупные капли дождя вразнобой зашлёпали по оцинкованной жести подоконника, выводя свою оригинальную барабанную дробь, торопливыми брызгами застучали по оконному стеклу, разлетелись мокрыми кляксами по полу комнаты, и наконец самый настоящий ливень зашумел в листьях тополей под окном, застучал часто-часто по мокрому асфальту перед окном...

Как всегда во время дождя, с первыми его каплями в палату к старику ворвался долгожданный ветер, раздувая занавески и посвистывая в переплётах железной решётки. И это было благо. Старик давно его ждал, изнывая от жары. Он улыбнулся ветру, как старому знакомому, и, набрав в лёгкие прохладный горный воздух, сказал вслух:

– Это хорошо. Хо-ро-шо!

\*\*\*

Сегодня старик уже трижды смачивал свою простыню водопроводной водой. Вода в кране холодная, ледяная, потому что ледниковая, но и она лишь на короткое время спасает от проклятой жары и духоты. Сосед по палате смотрит на старика осуждающе, ему не

нравится завёртывание в мокрую простынь, но сделать со стариком он ничего не может, и только злобно вращает пожелтевшими от старости белками глаз.

Старик в палате старший. Нет, не по положению, по возрасту. Такие атмосферные перепады давления для него губительны, впрочем, как и для соседа, старше которого старик был на целых двадцать лет. Оба сознавали, что здесь они медленно издыхают в тесном и душном склепе на двоих. Медленно двигаются к своему естественному и долгожданному концу.

Порыв ветра принёс облегчение. Старик сбросил с груди давно высохшую простынь и задышал ровно и глубоко.

Вдох – выдох, вдох – выдох...

Когда он так дышал, то ему казалось, что он до самых своих последних омертвевших клеточек наполняется свежестью стихии, заряжается её энергией и духом канувшей в Лету молодости. Снова его куда-то несло, куда-то неодолимо тянуло... Прошное захлёстывало всё существо старика, и он готов был вновь ринуться в неизвестное с отчаянной смелостью обречённого на смерть.

\*\*\*

Его сосед по палате, крупный мужчина, в прошлом руководитель столичного масштаба, тоже почувствовал облегчение, перестал стонать и уже не ловил так жадно большим ртом прохладный воздух. Его лицо матово блестело в ночи, словно смазанная глицерином маска. Веки слегка подрагивали, на запавших висках неестественно сильно бились голубые жилки сосудов. Но это уже не пугало. Оба они понимали, что и на этот раз выжили, выкарабкались, что всё ещё существуют на этой грешной земле и, возможно, будут жить долго. По крайней мере, эту ночь они, кажется, одолеют.

В который раз старик с удивлением отметил, что даже в бесчувственном полусне-полуобмороке физиономия соседа сохраняла барственную неприязнь ко всему, что не являлось материальной оболочкой её хозяина. И выражала она это совершенно бессознательно, слепо следуя установкам укоренившейся многолетней чиновничьей практики.

«Да, действительно, привычка свыше нам дана!» – попытожил свои наблюдения старик. И, глядя на лицо, искажённое неподдельным страданием, жалел соседа минутной жалостью. На большее его не хватало, потому что они не просто не любили, они ненавидели друг друга. А как же иначе? Ведь они, дети своего времени, прожили жизни по разные стороны невидимой баррикады, именуемой во всех учебниках истории бесстыдно поэтично – «баррикадой классовой борьбы». Всю жизнь у них, словно у каких-то механических чудовищ, были разные «платформы, блоки, группировки...». И вот они встретились здесь, в доме престарелых, по-старому – в богадельне, сразу узнали и поняли друг друга до конца, будто знакомы были с раннего детства. Будто и не было между ними разницы в возрасте в целую молодую человеческую жизнь.

«Мы умеем делить всех и вся на своих и врагов с полуслова, с полувзгляда! Умеем!»...

Всё же в такие часы, как сегодня, когда соседу в очередной раз становится плохо, когда он в одночасье меняется в лице до неузнаваемости, задыхается и несёт околесицу, когда сама смерть стоит у его постели, молча наблюдая за агонией, старик жалеет беднягу по-братски. Он почти готов ему простить всё зло, которое тот наверняка принёс многим беззащитным людям за годы своего царственного сидения в важном чиновном кресле. Готов простить и их постоянные озлобленные споры, и даже чтение соседом писем, адресованных лично ему, Алексею Максимовичу Буху-Коломейчуку, из-за чего он не хранит больше писем в палате, а жжёт их сразу по прочтении, как шпион очередные инструкции из центра.

«Кстати, именно в этом меня сосед и подозревает. Тоже, наверное, по привычке», – усмехнулся старик.

Ему было очень жаль писем с воли, единственного, что связывало его с прошлой жизнью, в которой он испытал так мало радостей и так много горя. Но он всё равно был готов простить соседу в пору его страданий всё, всё, даже это...

Однако проходила минута-другая, и жалость растворялась где-то в глубине сердца, и там затаивалась до следующего раза, а на смену ей приходили раздражение и злость.

\*\*\*

В последние годы Алексей Максимович всё больше и больше пребывал в состоянии крайнего раздражения. Сознывая это, расстраивался и раздражался ещё сильнее.

«Всё мне, видите ли, не нравится. Всё не так и не этак!.. И почему я всем говорю вслух всякую чушь и обо всём? Почему не сдерживаюсь, не таюсь?.. И это мне не нравится тоже. Видно, теряю контроль над собой, а это не только чревато последствиями, но и просто неприлично в конце концов!» – изредка делал себе маленький разнос Алексей Максимович.

Он с самого детства не мог терпеть старых ворчунов, надоедающих и в те годы молодёжи воспоминаниями о своей якобы прекрасной молодости, о былой нравственности, моральной устойчивости, «э цэтера, э цэтера», как говаривали древние. Но то были старики, помнившие крепостное право и реформу 1861 года, пережившие осаду Севастополя, взятие Шипки и Плевны, они были просто чисты и непорочны по сравнению с нынешним поколением выживших из ума заслуженных пенсионеров – «героев» позорной гражданской войны и жутких первых пятилеток. Уж кто-кто, а Бух-Коломейчук многое может рассказать и о том, и о другом, и о третьем, но только не с позиций пламенного оратора-большевика.

«Бог с ними, с ветеранами-вожаками и их болтовнёй! – успокаивал себя Алексей Максимович. – Их время и дела ушли, и я на них не в обиде. В конце концов молодёжь сама найдёт себе правильную дорогу, несмотря ни на что. Но вот если бы всё было в жизни так, как они нам рисуют сейчас!.. Ого-го! Где бы была сейчас наша страна! В каком бы обществе мы жили!» – Алексей Максимович тяжело вздохнул и закрыл глаза.

\*\*\*

В отличие от многих сверстников Бух действительно был по-настоящему юн душой, потому что всегда смотрел на окружающее глазами новорожденного, не отягощённого догмами и верованиями. Он никогда по-настоящему не создавал себе кумиров, и всегда и во всём сомневался, всё подвергал беспристрастному анализу как истинный философ, ибо хотел понять своё время и самого себя в нём. Может быть, за эти сомнения, за желание заглянуть в неведомое «завтра», судьба чаще других бросала его в грязь, в дерьмо...

– Да, в дерьмо! – Алексей Максимович ощутил лёгкую внутреннюю дрожь, пробежавшую змейкой по всему телу при одном только воспоминании о пережитом. – Но я всегда поднимался из любой грязи, очищался от любого дерьма. Я ещё бодр, я упорно держу курс на сто лет жизни, сомневаясь, однако, в целесообразности подобного эксперимента. Бороться с мировым капиталом и людскими пороками я уже не способен. И всё же мне хочется дожить до тех дней, когда капитал капитулирует перед социализмом. В крайнем случае, когда США и НАТО перестанут шантажировать, а Китай перестанет враждовать с СССР...

Да, именно так внешне, по-газетному, жил и мыслил всю свою жизнь Бух, пытавшийся найти в ней хоть какой-то тайный смысл.

Теперь он брюзжал. И болтал. Много болтал о том, о чём вообще не следовало говорить даже с самим собой. А ведь однажды жизнь уже проучила его за это.

«Что ж, значит, мало учила. Мало!» – сурово констатировал Бух, ворочаясь в постели.

И был, в сущности, прав, хотя новые времена столь сильно повлияли на мировоззрение каждого гражданина великой мировой державы, развязав языки даже последнему из последних, но пренебрегать собственным опытом не следовало бы даже и на смертном одре. Кто знает, сколько лет жизни впереди у каждого человека и что за перемены ожидают всех нас в грядущем?

Говорят, в древности жил царь, который удачливо правил своим царством с молодых лет до глубокой старости. Как-то на пиру, чувствуя, что его дни катятся к закату, он самонадеянно сказал своим приближённым, что прожил жизнь прекрасно, так, как никто из смертных на земле до него не жил. Все за пиршественным столом согласно кивали головами и пили за здоровье хозяина, а на следующий год пришли завоеватели, и с царя, ещё живого, содрали кожу и сварили в котле.

«Неужели человек так устроен, что про всё забывает? Про всё! – со страхом подумал Алексей Максимович. – Или это способ спасения от действительности, бегство от себя самого? Что есть, собственно, человеческая жизнь? Это всегда – существование сегодня, немного вчера, и совсем мало – завтра. Сегодня – это всегда сегодня, вчера – всё его прошлое. Кажется, только вспомни, что было двадцать, тридцать, сорок лет назад – и вот оно, рядом с тобой. В тебе... Жаль, изменить в нём ничего нельзя. Прошлое – как книга, которую прочитал, но запомнил не всю, а лишь яркие страницы. Хотя притухшие угольки памяти можно расшевелить горячей кочергой фактов. Можно, можно вспомнить всё. Или почти всё... Вот будущее... Будущее всегда заманчиво, как первая любовь, как первая женщина... Даже стоя у расстрельной "стенки", хочешь этого завтра. Если же этого желания нет, то и в прекрасном сегодня можно не дотянуть до действительного завтра. Хотеть жить тоже нужно уметь хотеть. Как, впрочем, и мечтать»

\*\*\*

Нынешний Алексей Максимович знал, что мечтать хорошо в молодости. Мечты дают крылья человеку для большого полёта, если человек ставит перед собой большую цель, и не дают даже перьев, если человек просто не ворочает мозгами... А в молодости всё можно задумать и всё можно осуществить на самом деле – жизнь-то впереди, слава Богу, огромная! Вот только угадать свой конец трудно: столько впереди всего!.. Зато в старости...

«Я свой финал уже знаю, – грустно подытожил свои философские размышления Алексей Максимович. – Даже вижу реально... Скучно становится ждать... Если бы не желание увидеть конец мрази, заполонившей несчастную нашу землю... – Он тяжело вздохнул. – Какое всё же это счастье – верить в Божественное завершение земной жизни, всех этих страданий, войн, верить в воскресение, преображение, обновление всего... В скорбях и испытаниях не падать духом, а наоборот, с увеличением скорбей увеличивать и бодрость... Как трудно без этого жить и страдать!»

\*\*\*

Разве думал Алексей Максимович, что доживёт до таких преклонных лет и до таких страшных мыслей? Он всегда с радостью жил сегодняшним, никогда не хотел оглядываться на плохое прошлое и мечтал о прекрасном будущем. Не для себя, нет, на себя он давно махнул рукой, для других счастья хотел. И вот оно, это прекрасное будущее, за которое столько крови пролито... Только в нём он совсем лишний. Да и другим счастья не шибко навалом накидано. Уродливое, однобокое получилось будущее, и изменить уже ничего нельзя. Ни назад, ни в сторону повернуть невозможно. Для чего же он здесь тогда задержался? Зачем зря коптит небо? Такие мысли частенько приходили в голову Буха, но он находил спасительную мыслишку в том, что «эволюционный период революции» ещё в стадии развития, и что, может, он, Алексей Максимович Бух, как живой организм матушки-природы, нужен для равновесия сил в обществе. Ведь мужиков его возраста почти совсем в России не осталось.

«А сосед тогда для чего? – возражал сам себе Алексей Максимович. – Выходит, что и он для равновесия? И все мы здесь, в богадельне живущие, для равновесия?»

\*\*\*

«Ишь, ветер расшалился – взял и забросил в комнату несколько пригоршней дождя. И ещё, ещё! Вот и лужицу сделал... Ну словно маленький, словно маленький! Ай-яй-яй! Как

тебе не стыдно, дружок, ей-богу? Тебя не останови, так ты весь пол зальёшь. – Алексей Максимович тяжело встал, взял палку и осторожно прикрыл ею окно. – Вот!.. Теперь не зальёшь. Да ты не стучи в стекло, не стучи! Разбудишь, чего доброго, вон того хмурого дядьку, будет нам на орехи. – Алексей Максимович не стал ложиться в постель, а присел на краешек скрипучей кровати. – Вот и ветерок к нам залетел. Правильно делаешь, сынок. Ты не хулиган, ты нас любишь, и мы тебя тоже. А этот – бесстыдник, лужу наделал. – Он потрогал босой ногой лужу. – Вода-то совсем тёплая. И впрямь как будто ребёнок напрудил... Эх, и хорош же воздух во время летней грозы!»...

Ночник горел у Буха почти всю ночь, он не любил темноты, и частенько в часы бессонницы перечитывал разрозненные тома первой советской энциклопедии, блестящей на его книжной полке кроваво-алыми переплётками. Он читал без всякой системы. Читал наугад, читал от желания забыться, и часто наоборот расстраивался, находя в истрёпанных книгах знакомые имена, понятия, лозунги, будившие в нём давно забытые чувства. Свет ночника был слабый, но за окном и вовсе стояла крошечная южная тьма, стекло как зеркало отражало убогую палату.

«О! Что за чучело отражается в окне? – Алексей Максимович с любопытством стал пристально разглядывать своё отражение. – Большеголовый, большелобый... – Усмехнулся. – Умный, видно. И седой. Совсем седой старик, со всклокоченными волосами. Странно, волосы не только поредели и поседели, но стали какими-то тонкими, нежными, как у ребёнка. В плечах-то ещё ничего, силёнка есть, кажется, вот только костыли... А глаза те же. Выцвели немножко, но те же. – Он ещё долго разглядывал себя в тёмном оконном стекле, сравнивая с гадким утёнком из сказки Андерсена, прекрасно понимая, что ему-то уже никогда не стать белым лебедем. – Жизнь идёт вперёд, идёт семимильными шагами прогресса, и никто не может её остановить. Природа вокруг ликует, и мы должны радоваться вместе с нею. И я радуюсь, несмотря на то, что редкие старческие волосы уже не могут скрыть мой крепкий розовый череп...»

Он закрыл глаза и прислушался к шуму листьев деревьев, гнущихся под яростным ливнем, к треску ломающихся ветвей, и деревья показались ему живыми существами, танцующими какой-то страшный танец. Приоткрыв в страхе глаза, он увидел вдалеке два фонаря, слабо освещающих вокруг себя крошечные пятчатковые пространства. Вдруг у него мелькнула странная мысль, что и фонари эти, и освещённые ими квадратные метры земли сейчас зальёт ливнем и наступит темнота, полная и нескончаемая.

«В такую ночь кому-то первому на земле пришла мысль о конце света. Страшно, наверное, ему было, первому-то. Страшно!..»

\*\*\*

Несмотря на шум непогоды, в доме престарелых тихо. Спят обитатели, измученные южной дневной жарой, артериальным давлением, перебоями в сердце и ещё букетом других старческих болезней. Не слышно и дежурных медсестёр. Всё внемлет шуму дождя. Только где-то в дальнем углу коридора внезапно и громко затрещал сумасшедший сверчок. Перепугался разбушевавшейся стихии или же наоборот обрадовался ей, но ему никто из сородичей не отозвался, не поддержал отчаянной песни, и он умолк. Правильно, не высывайся в неурочное время – не попадёшь в конфуз. Всё правильно в этом непростом мире...

«А вообще-то я люблю сверчков. С ними как-то теплее, уютнее. Вроде и нет никого, и в то же время кто-то живой рядом, словно ангел-хранитель даёт о себе весточку: помни, я здесь!»

А вот и первая молния ударила где-то далеко в горах. Наконец-то!»

Бело-зелёный нервный зигзаг расчертил на тёмно-фиолетовом небе многие километры облаков и ярко осветил вершины горного хребта, тяжёлые тучи над ним, мокрую зелень деревьев.

«Пора ложиться, – подумал Алексей Максимович, и лёг на матрас, вытянувшись во всю длину. – Мать в детстве отгоняла от окна во время грозы. Говорила, что человек, особенно его волосы, притягивает к себе небесные электрические заряды. Там-то и там-то молния убила того-то и того-то только потому, что тот стоял у раскрытого окна или же шёл с непокрытой головой.

Счастливой женщиной была моя бедная мать, она знала так мало опасностей в жизни и так много способов уберечься от них.

А простынка уже немного подсохла. Но больше я не буду её мочить. К утру станет совсем прохладно, и ещё, чего доброго, придётся натягивать на себя тёплое одеяло. Вот тебе и жаркий юг, вот тебе и знойный восток!..

А молнии, молнии-то чиркают по небу одна за одной! Совсем светло от них, хоть газеты читай. Правда, тени от решёток мешать будут. Беда с этими решётками»

\*\*\*

Когда, в начале шестидесятых, в городе у состоятельных горожан впервые появились металлические решётки на первом и втором этажах многоэтажных зданий, Алексей Максимович долго возмущался нововведением, напоминая ему добровольное заточение в четырёх стенах. Но со временем и он понял целесообразность железных запоров, однако на свои окна так их и не поставил – на воле решётки делают от страха, а он давно устал бояться, и хотел только одного – покоя.

«Воля есть воля! На воле каждый себе хозяин, – думал Бух. – С самим собой можно любые эксперименты производить, здесь-то, в богадельне, зачем решётки нужны? Кто нас отсюда украдёт? Эх, люди, люди! Стадом были, стадом и остались!

Вон, всё наше богатство по пальцем перечесть можно: кровать с железными спинками – на ней я лежу; стол, заваленный кусочками картона и жести; – здесь я работаю.»..

Да, Бух подрабатывал изготовлением всяких безделушек. Коробки, футляры – его старые руки многое умели. Да и другие в доме престарелых занимались тем же от скуки, хвастая друг перед другом сделанными вещами и заработанными деньгами. «Лишняя копейка в кармане не брякает», – говорили местные нэпманы, и позволяли себе маленькие удовольствия: отправляли письма друзьям и родным в хороших конвертах, поздравительные телеграммы на лучших художественных бланках в дни юбилеев и официальных государственных праздников, книги... Раньше и Бух щедро угощал кого-нибудь из соседей по корпусу арбузом или спелой дыней с базара, но теперь он уже давно на базар не ходит – ноги не позволяют. Да и зачем ходить, когда иногда к обеденному столу и арбузы, и дыни подают. А всё же больших денег у него не было, так как часть из заработанного он честно отдавал в казну, несмотря на ядовитые насмешки соседа.

«Пусть смеётся, пусть! Я не нахлебник, и не хочу сидеть на шее у государства даже в старости.

Что ещё ценного в нашей комнате? Стул, умывальник с раковиной, потом – входная дверь, встроенный шкаф для верхней одежды. Потом – снова стул, но уже соседа. Стол, на котором всегда лежит газета "Правда" и остатки какой-нибудь еды: недоеденный хлеб, половинка котлетки, конфеты, крошки. Ничего больше на столе соседа нет. Он не любит работать, не любит читать книги и писать письма. Зато любит сутками лежать в постели и рассуждать на политические темы. Любит строить перспективные планы, используя единственный источник информации – газету "Правда", читает которую вот уже 50 лет с гаком, чем очень и очень гордится. Рядом со столом – кровать соседа, окно, и... И снова моя кровать»

Над головой у Буха висит небольшая самодельная полочка с несколькими книгами, чудом уцелевшими при его переезде в Дом Престарелых. Сама личная библиотечка Алексея Максимовича, состоявшая из нескольких сот книг, в своё время перекочевала в районную библиотеку сразу же после его поселения сюда. С собой он прихватил лишь то, что не приняли в общее пользование даже в качестве безвозмездного дара: разрозненные тома



энциклопедии тридцатых годов, "Историю КПСС" 1961 года, мемуары некоторых военачальников, книги о героях гражданской войны, словари иностранных слов и два-три старых технических справочника.

Справочники попали в библиотечку совершенно случайно, но из любви к печатному слову Алексей Максимович не мог их выбросить или сжечь. Изредка, когда уж совсем было невмоготу от тоски или человеческой несправедливости, царившей вокруг, он зарывался в эти технические дебри и пытался хоть что-то осмыслить в закорючках и чертежах.

Иногда это ему удавалось, и он был просто счастлив, что смог понять настоящую китайскую грамоту без высшего технического образования.

Если словари и справочники пользовались вниманием Алексея Максимовича лишь в крайних случаях, то художественную литературу он читал и перечитывал регулярно. Однако отношение у него к ней было более чем странное. В своё время его отлучили от чтения, а когда он вновь смог приобщиться к нему, то не нашёл в литературе ничего нового и интересного для себя.

«Пустая она стала, придуманная холодными умами "инженеров человеческих душ". То ли дело радиоприёмник! Вот он стоит на столе и работает без остановки круглые сутки. В нём таится кладёз бесчисленного множества сокровищ. Информация из него так и льётся, так и льётся. Но в последнее время и радио ничего сенсационного не вещает. Надорвалось, видно, год назад, выбросив в эфир целую гору потрясающих новостей. Вот и примолкло, поубавило прыти... Теперь настроилось на привычные лозунги и призывы. "Экономика должна быть экономной!" – завопит вдруг среди ночи. Или: "Всё, что вырастили, – выкосим!"

Выкосил бы я кое-кому и кое-что, если бы силы были.

Вот ведь беда: вижу, что происходит вокруг, вижу, что к чему, а всё равно жду чего-то каждый день... Хочется верить, старому дураку, что вот-вот передадут нечто такое важное по этому ящику, от чего всё вокруг чудесным образом переменится и полетит сломя голову к новым головокружительным вершинам, как это было в семнадцатом»...

Но ничего не происходит, и Алексей Максимович нервничает. Ему становится противна его немощная старость, его болячки, мешающие передвижению, а значит, и свободе мыслей.

Движение, свобода и мысль крепко повязаны между собой, это он отлично понял ещё в годы первой отсидки за колючей проволокой. Нет, радио и телевидение, конечно, расширяют кругозор человека, особенно в его положении, но Бух и телевизор давно перестал смотреть, хотя раньше любил поглазеть в голубой экран от нечего делать. И долго бы он ещё ходил смотреть цветное чудо двадцатого века, но там, в холле у телевизора всегда старики и старухи беспрестанно комментируют каждый поступок телегероев, смакуют любую ситуацию в политике на свой лад. И как смакуют! Может быть, на исходе жизни они так стремятся выплеснуть в мир всю невостребованную ранее фантазию, загнанную в самые тёмные уголки души и ума? Может быть.

Обывательскую глупость ещё можно терпеть в молодые годы, но к старости не стоит сдерживать свои чувства. Бух не призывал и не призывает к ссорам и скандалам – стариков не исправишь, но всегда можно найти достойный способ избавить себя от пошлости. Поэтому он и перестал общаться со многими обитателями своего корпуса, стоящего немного в стороне от шести других.

«Нет, правда, не ругаться же с каждым тупицей по пустякам? Пусть меня называют нелюдимым, гордым, чокнутым – мне всё равно. Беда наших стариков в том, что они не ждут перемен в своей судьбе, а если и ждут, то с тревогой обречённых, потому и от "голубого" экрана им нужно только одно: забвение в воспоминаниях о счастливом прошлом. Если оно вообще было у них, это "счастливое прошлое". Несчастливые люди, несчастное поколение!» – с горечью думал Бух.

Алексея Максимовича раздражала их псевдообщественная жизнь, умело закрученная массовиком-затейником в белом халате по шпаргалке облздравотдела. Шумно, даже азартно писали в Доме престарелых коллективные письма-заявки на центральное и местное

телевидение с просьбой о повторе того или иного фильма их молодости. Вначале объявлялся конкурс на название, затем скрупулёзно вёл подсчёт голосов в каждой палате по каждой заявке, устраивался конкурс на лучший эпизод из жизни, связанный с этим фильмом. В итоге писалось само письмо, в котором проживающие в Доме престарелых коллективно выражали просьбу показать тот или иной фильм сороковых или пятидесятих годов, с обязательным рассказом перед фильмом о жизни артиста или артистки, исполнивших главные роли. Какой же поднимался шум и гам в холле, когда с "голубого" экрана вечно улыбающаяся местная теледива зачитывала их коллективное письмо!..

Обитатели Дома престарелых раздражали Буха бессмысленностью своего существования. Ему с ними было вообще неинтересно, потому как все они оказались людьми, родившимися лет на десять-пятнадцать позднее его. А что значит десять-пятнадцать лет разницы в самом начале двадцатого века?

«А-а-а!.. Это многое значит, многое! Мне по документам девяносто три года, а фактически...» – Бух задумался, словно и сам уже не помнил, сколько же ему лет.

\*\*\*

Его задумчивость прервал громкий храп соседа, зашевелившегося от своего трубного носового звука и вновь затихшего.

«Ишь, только синюшными губами чмокает, словно соску сосёт. Спит. Он много спит. Почти всё время. Это и хорошо – не мешает думать. Поспал бы подольше, мерзавец, а то опять начнёт изводить глупыми вопросами, как самая настоящая скрытая контра. А почему, собственно, скрытая? Он враг. Враг самый настоящий, самый взыправдашний. Тот самый, из-за которого и понесла страна большой урон в людях, в темпах развития социализма, и потому не достигла светлого будущего всех народов – коммунизма. За это его, наверное, и наказал Господь Бог нашей богадельней на старости лет. Ему ещё повезло: времена переменялись, а то бы разгневанные потомки враз на живодёрню спровадили.

Иногда его, как говорится, "душит кровь", и он часами рассказывает разные пакостные истории из своей жизни. Особенно те, в которых от его решений зависели жизни людей. Ему неважно, слушаю я его или нет, ему нужно просто выговориться. Раньше-то все грехи к попу несли, исповедовались перед Всевышним, веря, что, как вода очищает тело от нечистоты и утоляет жажду, так чистосердечное покаяние очищает душу от грехов, а молитва удовлетворяет её жажду. Каждому было понятно, что грех губит, а добродетель спасает. "Сердечно, от души раскаемся пред Господом во грехах наших, – говорил батюшка. – И с верою и благоговением приступим к принятию Святых Тайн, Тела и Крови Его!". И верили люди, что, если покаются, возненавидят грех и полюбят добро, то Отец Небесный всё прошлое скверное простит и поможет побороть в себе зло и стяжать добродетель... Теперь идти не к кому, вот и ищут грешники живую человеческую душу, чтобы перед смертью очиститься. Нет, не очистишься, дружок! На меня свои грехи не свешивай, не помогу я тебе на тот свет чистеньким попасть. Не помогу! Вот и дети твои от тебя живого отказались. На том свете, если он есть, отвернётся от тебя Господь Бог наш, и будешь ты гореть в геенне огненной... Может, даже вместе со мной. Много и я в жизни грешил, ох, много! Хотя на мне невинной крови нет, и винной тоже нет. А на тебе?

Ты всё не договариваешь свои страшные байки. Боишься. Ты всего теперь боишься... Да, видно, была и твоя жизнь крута и извилиста... Я видел на своём веку не одного важного начальника, похожего на тебя, в самом расцвете сил и в самый разгар их "кипучей деятельности" на благо великого советского народа. И могу заранее подробно изложить их биографию – историю существования на Земле нечеловеческого типа живых двуногих...»

Алексей Максимович разволновался и понял, что пора переключиться на нечто иное, менее волнительное.

«Странно, – подумал он, – издыхающий экземпляр чиновника сталинской поры мне понятен целиком и полностью, а вот как понять самого себя? Свою собственную жизнь? Того человека, который живёт во мне, в моём грешном теле?»

Мысли Алексея Максимовича не были бредом или кокетством с самим собой. Следуя русской привычке людей девятнадцатого века, он копался в себе, отыскивая ответы на так и не решённые жизнью вопросы. За последние годы он не однажды вспоминал свою жизнь, сопоставляя свою судьбу с судьбой поколения. И понял в результате размышлений только одно: на его судьбу повлияло рано пришедшее понимание кровавой изнанки борьбы за власть, происходящей в стране. Понял не красивые слова, не лозунги партийцев, а суть драки – непримиримость старого и нового, доведённая до крайней точки – до абсурда взаимного уничтожения. Ведь начало кровавых событий девятьсот пятого года, вошедших во все учебники истории как предвестник грядущей бойни, он, Бух-Коломейчук, тогда просто Коломейчук, встретил сидя на плечах отца.

«Эх, было такое счастливое время на Руси, когда демонстранты на руках носили своих малых детей, а не знамёна и портреты вождей. Помню, и я своих детей носил, но это было так давно...»

\*\*\*

#### Начало Отец

17 или 18 октября 1905 года (за точность даты Алексей Максимович ручаться не может) он встретил, возвышаясь над ликующей толпой сограждан. Всё вокруг шумело, гудело и бурлило. Все беспрестанно кричали «Ура!», приветствуя царский Манифест, дарующий гражданские свободы и создание законодательной думы. Молодёжь и старики шли с красными бантами, знамёнами, и пели песни. Пели красиво. У многих тогда были хорошие голоса. Люди веселились без вина, ходили группками, качали на руках армейских офицеров, тоже сдуру нацепивших на себя красные банты. Тут же стояли мрачные полицейские и молча наблюдали за происходящим – демократия нонче! А про то, как порядок блюсти, в царском Манифесте простому полицейскому ничего не написано. Вот и думай, служивый!

«Было празднично, необычно, – улыбнулся радостному воспоминанию Алексей Максимович. – За этим не чувствовалось того, что появилось потом, через десятилетия, при упоминании о 905 годе. Это послевкусие события было навязано народу красной пропагандой. Во многом поздние революционные восторги пришли к нам от партийных верхов, низы-то помнили совсем другое. Да и вообще многие "великие" события двадцатого века происходили слишком буднично и просто. Их можно было и не заметить в суете жизни. Это сейчас, задним числом, когда знаешь, к чему привело всё это, можешь вспоминать и говорить, что – да, дескать, уже тогда я что-то чувствовал великое в событиях того дня...

Чушь! Лишь некоторые понимали всё величие свершающегося у них на глазах. И одним из таких был отец. Поэтому он решил сделать так, чтобы я как можно подробнее запомнил всё происходящее на улицах в тот день. Именно поэтому он взял меня, четырёхлетнего мальчишку, и посадил к себе на плечи.

– Смотри, – сказал он, – запоминай! Потом внукам расскажешь о первом празднике Великой российской революции.

Этот день я действительно запомнил навсегда. Через несколько часов я увидел, как люди убивают друг друга, как гремят револьверные залпы боевиков, как рвутся самодельные бомбы, как полосуют шашками и топчут конями, как льётся христианская кровь и разлетаются напрочь белые, похожие на творог, мозги из разбитых голов...

После демонстрации у меня был нервный припадок, и мать впервые на моих глазах поругалась с отцом, и впервые отец крепко напился...»

\*\*\*

Данила Яковлевич Коломейчук был токарем на заводе Абрикосова, членом ячейки РСДРП состоял с 1904 года, но после первой русской революции от революционной деятельности отошёл, испугавшись, как позднее понял Алексей Максимович, крови и насилия, захлестнувших страну.

«Мой несчастный отец был, на беду, относительно грамотным, смиренным рабочим, мечтавшим о лучшем обществе, и эти наивные мечты привели его однажды к большевикам,

вербовавшим в свои ряды растерявшихся пролетариев, увидевших в войне с Японией настоящую катастрофу не только для страны и царизма, но и для себя лично. Попал он к ним, скорее всего, случайно, из любопытства, а после вооружённых беспорядков, учинённых партией, рвущейся к власти через трупы своих сограждан, был смертельно напуган её неуёмной энергией и фанатизмом в достижении поставленной цели. И он тихо ушёл из организации. Навсегда. И потом никогда не жалел об этом, и даже не вспоминал, хотя бывшие товарищи по партии не однажды пытались вновь вовлечь его в свои ряды, признавая своим, но сбившимся с пути истинного по недоразумению. Отец не подтверждал это, но и не опровергал, считая, что время всё расставит на свои места. Он вообще был себе на уме мужичок. Именно поэтому, думаю, и не стал боевиком в 905-м, что спасло ему, а может, и нам всем жизнь в годы послереволюционных царских репрессий.

Удивительная штука – время. Оно, как скульптор, лепит нас, как захочет и когда захочет. Всё ему подвластно! Сегодня ты – такой, а завтра, глядь, ты уже – этакий! Сегодня на тебе одни одежды, завтра – совсем иные. Время – Великий Господин наших душ! В этом отец был прав. Оно испытывает нас на прочность постоянно и во всём. Мы лишь пешки в его руках. Пешки!..

В феврале 17-го и в октябрьский переворот отец полностью разочаровался в нарождающемся строе и в его идеалах. Отца, видите ли, итоги революции не удовлетворили. Он ждал чего-то большого и разумного, даже чистого, а тут попирались элементарные законы человеческого общества, втаптывались в грязь нравственность, мораль, религия. Он вообще считал, что миром правит не экономика, а человеческие страсти и пороки. Духовное противостояние одного слоя общества другому рождает социальный протест, осознаваемый всеми ошибочно как форма экономической борьбы классов. Именно поэтому, по его мнению, в рядах революционеров было много представителей буржуазии и даже дворян.

Да-а... Многих его товарищей всё удовлетворяло, а его – нет. Не мог принять кровавое насилие за предтечу вселенского добра. "Злое семя может родить только зло". Это не мои слова, это его слова, его мысли. Мы с ним частенько спорили в то время. Частенько... Видно, его отношение к новому государственному устройству каким-то непонятным образом передалось во время споров и мне. И, возможно, именно поэтому всю свою последующую жизнь я пытался смотреть на новый строй и на новую жизнь его глазами. Может, хотел доспорить с ним, переубедить, а на деле выходило так, что смотрел я на всё своим собственным взором, а не глазами одуроченной толпы, ослеплённой лживыми лозунгами. Спасибо тебе, отец, за это! Спасибо!»

Действительно, отец в детстве имел на Буха колоссальное влияние. Алексей Максимович, даже не подозревая этого, многое взял от него хорошего, но отцовский взгляд на жизнь в те годы коробил паренька, оставлял глубокие царапины в душе, рассосавшиеся лишь впоследствии.

Ну, на самом деле, разве могло, например, пройти без последствий для юношеского мировосприятия такое замечание отца, высказанное им по поводу самого Ленина, тогда ещё мало кому известного революционера-большевика, в начале 18-го года: «Заварил кашу по всей России, а порядка нет. На что надеется? На кого опереться хочет? Русского мужика сперва розгами к европейской культуре приучить нужно, а уж потом о социальных преобразованиях думать. Идеалист! Пятый год его ничему не научил».

Да и о самом Великом Октябре он иначе, как о губительном перевороте, и не толковал.

– Ты подумай, – вразумлял он непугёвого отпрыска позднее. – Подумай здраво, с чего всё началось? С узурпации большевиками власти. Если бы Ленин 25 октября не настоял на восстании, то двадцать шестого съезд Советов мог бы бескровно и на законных основаниях вручить власть нескольким партиям сразу. Ленину этого было просто мало. Захотелось революционного скачка в будущее через диктатуру необразованного и в массе своей дикого пролетариата. Вот он вначале незаконно и сверг законное правительство, а потом хотел уже законно диктовать свою волю большинству. Но он просчитался, времена были не те, настрой у народа другой оказался. Да-да, именно поэтому никто и не захотел работать с

правительством большевиков – боялись дальнейшего развития беззакония и произвола. Именно от этого – саботаж, именно потому – гражданская война. И кровь! И горе народное!.. Люди изначально хотели примитивной справедливости. Как же строить новое общество, если оно в зародыше своём несправедливо?.. Умники давно предупреждали: русскому народу нельзя давать топор в руки. Он в первую очередь на радостях оттяпает голову давшему его, а потом и сам себя порешит под вопли раскаяния. Эх, Россия! Горюшко ты наше, горе!..

Поначалу отец и сын схватывались до криков, но потом у Буха всё меньше и меньше оставалось времени для посещения родного дома, и споры превратились в эпизодические стычки. Вскоре, после смерти матери в 1928 году, их жизненные дороги разошлись окончательно, и они смогли увидеться в последние пять лет жизни отца не более двух-трёх раз. И хотя умер он своей смертью в 33 году, при полном, так сказать, торжестве идей социализма, побеждающего в одной отдельно взятой стране, были они с сыном к тому времени совершенно чужими людьми.

\*\*\*

### Кутерьма

Вообще вся жизнь Коломейчука-младшего, которого тогда звали не Алексей Максимович, а Яков Данилович, была довольно пестра на события и щедра на встречи с разными интереснейшими людьми прошедшей революционной эпохи. И эти встречи частенько влияли на молодого человека сильнее, чем тысячи прочитанных политических брошюр и листовок. Они-то, на беду, и сформировали его внутренний мир, сложили могучий фундамент политического сознания в душе впечатлительного и некогда богобоязненного юноши.

«В стране, – отец был тысячу раз прав, – с грустью подумал старик, – в это время варилась действительно невообразимая каша. Каша во всём: в хозяйстве, в политике, в отношениях между людьми, в вере, в идеологии... Мало, мало кто понимал, что происходит и почему. Для большевиков цели были в основном ясны, а вот пути-дороги к ним – неведомы. Но они упрямо пёрли к намеченному по бездорожью, начисто сметая на своём пути всё или почти всё. Цель – главное, остальное – пыль и прах.

Дикая, неодолимая сила первобытного сознания была в их лозунгах. Она опрокидывала тысячелетние аксиомы, ломала каноны, рушила богов, уничтожала законы, мораль, нравственность. Все древние цивилизации гибли под натиском варваров, Россия, к сожалению, не стала исключением. И это было так трудно безоговорочно принять и понять, даже находясь в одной упряжке с победителями. Хорошо было тем, кто сидел наверху, а что делалось с рядовыми членами партии? Многим приходилось во имя "главного" перешагивать буквально через то, что ещё вчера было святым и недосягаемым даже в воображении: рвались родственные и дружеские связи, лилась родная кровь. От отчаяния спасала лишь призрачная цель и единство множества людей, убеждённых в правоте начатого "святого" дела. Поэтому так тянулись слабые, поверившие новому, к коммунаам, к общему хозяйству, к стандартному мышлению, к стандартной одежде, а в итоге – к казарме сталинского социализма.

Ну а что делалось в головах простых обывателей – не знает никто. Их куда-то вели, им кто-то и что-то приказывал, от них всегда что-то требовали, порою под угрозой смерти.

Ах, как, видно, хотелось им послать всех к такой-то матери и жить по своему разумению и хотению!.. Но нельзя! Вмиг пришьют анархию или ещё что-нибудь похлеще, и прости-прощай родной край, а может, и весь белый свет»

Где-то в самом потаённом уголке сознания у Буха мелькала странная мысль, что и он внёс в эту неразбериху свою маленькую лепту, как, впрочем, и многие из его поколения, но он даже не фиксировал её появление, считая себя недостойным отрабатывать версию виновности и своей причастности к столь глобальному событию, как русская революция 1917 года, повергшая в катастрофу мировую цивилизацию.

«Одним словом, – констатировал Алексей Максимович, – кутерьма в мыслях, вызванная октябрьским переворотом, была невероятная. Да и жизнь русского мужика и рабочего была пестра, как курочка-ряба.» ?

Если не считать аристократическое меньшинство, не делавшее погоду в демографии страны, то 90 процентов населения империи делилось на две неравные части: на тех, кто едва сохранял жизнь скудным пропитанием, изнурая себя непосильной работой и одеваясь в скромные бумазейные одежды, и на тех, кто ел мясо от пуза и катался на лихих тройках, обнявшись с проститутками и цыганами, разодетыми в шелка. И хотя народ был на перепутье, мучительно трудно, но мирно выбирая себе лучшее будущее, крикливые лозунги социальной революции делали своё дело, постепенно склоняя чашу весов в свою пользу. Собственность на землю и надёжный мир волновали всех. Люди начинали думать о себе, о своей жизни, о власти над собой и о своём месте в этом мире, о хлебе насущном, добытым своими руками. Страна вдруг зажила политикой. Забеременев гениальной идеей, она готовилась к великому акту перерождения. И, если сказать правду, не была она тогда в общем-то уж такой нищей, безграмотной и голодной, как о ней сейчас толкуют некоторые бессовестные «исследователи». Мужик кое-что понимал и умел, мог и хотел себя прокормить, себя и ещё десяток просвещённых стран великой Европы, которой нам сейчас всякие диссиденты в нос тыкают. Но за столетия рабства и унижений он привык к простой и грубой пище, к неброской и тёплой одежде, к тесной деревянной избе и к широкой русской печке, и потому был недоступен развращённому уму Запада, обожающему безудержную роскошь и пуштышное хвастовство...

\*\*\*

Трудно, конечно, поверить, но в Донбассе вплоть до 19-го года лотошниками продавались сдобные булочки на лотках. Уже два года шла смута по Руси и голод, а на её окраинах ещё всю можно было роскошно существовать на прошлых «империалистических» капиталах. Однако, как ни был запаслив и изворотлив русский мужик, а после 19-го года всё круто изменилось к худшему. Гражданская война подошла к своей вершине, власть переходила из рук в руки с постоянством удивительным. Всюду расстрелы, виселицы, грабежи и с той, и с другой стороны, и с третьей... Страна вдруг сошла с ума и кинулась в разбойный загул. Рядом существовало и Всевеликое Войско Донское, и харьковские пролетарии, в Гуляй-Поле панствовал батька Махно, в степи – зелёные, белые, красные и разные мелкие батьки и атаманы... Деньги утратили свою цену. В ходу были и керенки, и донские, и даже колчаковские дензнаки появились каким-то образом... То-то отцу было разговоров по вечерам!

Потом обрушились страшные неурожаи. Уже всего через два года, в 1921, начали приходить с Волги эшелоны с мёрзлыми трупами умерших от голода. Зачем их посылали к нам из зоны уничтожения? Может, для нашего устрашения?

А что было в стране до 21 года?

И кто в этом виноват?

Кто?

Обесценились не только деньги, всё старое теряло силу, ветшало и рушилось на глазах, а нового практически ничего не было, кроме лозунгов, конечно. Человеческая жизнь и та ценилась не дороже винтовочного патрона или же верёвки, на которой несчастного вешали.

\*\*\*

1921 год. Это уже год прочной советской власти, конец гражданской войны. Я хорошо помню всё, что тогда было. Сам вместе с руководимой мною учащейся молодёжью родного города хоронил мёрзлые полураздетые трупы несчастных. Вытравить их у меня из памяти не так-то просто. Я собирал ребят небольшими стайками, ставил боевую задачу, доставал им детские саночки, лопаты, и дети свозили заколоченные тела в ближайший овраг и зарывали их там без имён и фамилий, без памятных знаков и гробов...

Не тогда ли мы закладывали в сознание малолеток привычку к последующим ужасам тридцать седьмого года, нравственную чёрствость по отношению к бесчисленным безымянным могилам погибших в последующих войнах, да и к бесславно сгинувшим на всевозможных «фронтах» мирного строительства социализма тоже?

У наших первых советских школьников было много свободного времени из-за отмены ряда «буржуазных» предметов, мешавших из молодёжи воспитывать преданных строителей нового, коммунистического общества и новой жизни. Жизни, которая начиналась для них со смерти, с цинизма и фактического надругательства над человеческой моралью в борьбе за собственное выживание. Мы ведь хоронили трупы не за просто так, не за «сознательность», а за кусок прогорклой «макухи» – подсолнечного жмыха. Откуда же было нам ждать потом от них, достигших чиновничьих высот в различных аппаратах власти, жалости и милосердия, если оно было убито в детях нами же ещё тогда, когда мы сами ставили их на грань между жизнью и смертью.

Ну да что вспоминать грустное? Главное – после стольких страданий, перенесённых за эти годы, все верили: будет лучшая жизнь, будет новый мир, будут новые люди.

Новые люди... Все верили, а я вот уже тогда сомневался. Нет, мне искренне хотелось верить вместе со всеми в прекрасное будущее, но кусок «макухи» застревал в горле. Я-то получал его за того, кто уже не дожил до этого прекрасного завтра. Может, и за меня в райкоме кому-то вскоре отваяют щедрой рукой такой же гнилой кусище. И за других, ещё живых, но уже обречённых.

«Пошёл первый Ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его», – написано в Великой Книге Откровения. Не зря, видно, писано.

Эх, сколько же этих мертвяков я успел насмотреться к тому времени! И вешанных, и рубленых, и топленных, и стрелянных... И сам уже пострадал за новую жизнь жестоко... И людей живых видел всяких.

\*\*\*

Вот, например, был у нас сосед на улице, Черкасов фамилия, как сейчас помню. Беспартийный активист. Жили они с нами по соседству всю жизнь. Мой отец вместе с ним на одном заводе работал, мать с детства дружила с женой Черкасова, дети в обеих семьях не разлучались. И вот заглянул я как-то домой в гости из Харькова зимой того же 21-го года, и первым делом в окно к дяде Васе сунулся – его дом рядом стоял; хотел позвать старшего сына Черкасовых к себе. Сунулся, а у них... мешков двадцать крупчатки в комнате стоит. Их муки. Не общества. Всем на пропитание давали крохи, а у них – мешки с мукой.

Откуда?

И опять сомнения... Вот оно – равенство, братство на деле. Почему дядя Вася не придёт и не спросит, что ест его сосед с детьми и как? А другие товарищи по работе? Поделиться не надо ли? Да ему и спрашивать не нужно было, сам всё знал. Ан нет, не пришёл ни к кому, и ни с кем не поделился. Вот она, первая рабочая аристократия победившего пролетариата! Ещё не успели победить окончательно и на всех фронтах, а уже заразились язвами побеждённых.

Хотел я тогда лично поговорить с Черкасовым в райкоме партии, да отец отговорил – не по-соседски, мол... Не по-людски... И нам навредить можешь.

До сих пор не могу простить, что послушался отца, не стал заводить сыр-бор. И сколько раз потом вот так же отступал там, где нужно было выступить по всему фронту. Ведь если бы наступал, то кто знает, может, и другой кто, на меня-то гляючи, тоже в кусты не прятался бы.

А утром старший сын Черкасова поехал с продотрядом в немецкий посёлок. Назад вернулся уже с убитым отцом. И ещё там были убитые. И уже не красавцем мужчиной лежал дядя Вася в гробу, а безмолвным трупом, с обезображенным крупной дробью лицом.

Вот так платили тогда за первые шаги по служебной лестнице рядовые коммунисты, активисты партии и сочувствующие новой власти. Вот так!

\*\*\*

А что творилось в деревнях? Никто не хотел сдавать хлеб добровольно, никто! В этом, кстати, тоже было сомнение крестьянина в великих начинаниях партии и правительства. Это тоже заставляло думать, что, может, и не совсем правы пролетарские вожди и активисты. И ядовитые черви сомнения медленно заползали в мой разгорячённый думами мозг и селились в нём на всю жизнь именно в первые годы советской власти, когда на светлую арену мировой истории выходил он – победивший класс, самонадеянно именовавший себя гегемоном»...

\*\*\*

В голодные годы юности, в редкие свободные минуты, невольно вспоминалось молодому комсомольцу Коломейчуку дореволюционное босоножье. Особенно – как носил он обеды к отцу на завод. Тогда все ребятишки таскали узелочки через проходную, и никто их не останавливал, потому как не было ещё и самого понятия о заводских столовых. На самом заводе, правда, много было препятствий для лихих мальцов, но это уже каждый пацан преодолевал самостоятельно.

А опасностей имелось действительно немало. Нужно было и от маневренного паровозика вовремя увернуться, и от деталей, что тащили над головой и рядом, тут же и ковши с расплавленным металлом проплывали, искрясь и обдавая жаром... А чего стоил один проход между мартеновским и прокатным цехами? Рольганг опять же нужно было проскочить... А там железные болванки таскали раскалённые... С искрами. С горячей окалиной... Это самое тяжёлое испытание. На завод-то ходили босиком, а бежать нужно было как раз по искрам, больше негде.

Господи, кожей пяток чувствовал мальчишка эти искры уже на проходной! В два прыжка пробежал опасное место и сразу же совал ноги в огромный чан с водой, почему-то стоявший тут же. Вода иногда от ног самым настоящим образом шипела и парила.

У отца в цехе было ещё одно препятствие – стружки. Как балерина, плыл Яков на пальчиках к отцу. И смех, и грех!

Зато обедал вместе с отцом, что называется, из одного котелка. И обед был вкусный, сытный... Еды было много. И разной... Это была настоящая награда за путешествие по заводу.

Потом купание в тёплой воде градирни. Правда, там нельзя было засиживаться, могло засосать в заборные трубы, но это считалось среди пацанов делом пустяшным...

\*\*\*

А вот в 18-м году завод встал. Надолго встал.

«Да, сравнения с уютным довоенным прошлым и революционным бурным бытом шли явно не в пользу последнего. И в моей голове засело: зачем всё это, во имя чего такие страдания? Куда ни кинь взгляд – везде беспризорные, безработные...

"Жил Николка-дурачок,

Была булка пятачок.

А как стал родной Совет –

И ржаного хлеба нет".

Хохлы пели по-своему: "А як став Совіт, так и житного ніт". Только от перемены мест слагаемых сумма, как известно, не меняется. Голодали и русские, и украинцы, и татары, и весь прочий российский интернационал. Песни пели разные, но всё про одно и то же.

А двадцать третий – двадцать четвёртый годы?

Биржа, старое здание "казёнки", где раньше торговали водкой, всегда полна народу. Безработные лежат и у стен снаружи. На пятках босых грязных ног и ботинок написано



мелом: "1 р.", "3 р.", "5 р.". Значит, только за эту сумму босяк согласен работать. И это несмотря на полуголодное существование его самого и семьи, в которой, как правило, было несколько детей, и при той всеобщей дешевизне, которая установилась, казалось навсегда: масса магазинов в городе, ресторанов, пивных, увеселительных заведений. Базары ломились от продуктов. Цены на продукты сельского хозяйства довоенные, на фабрично-заводские значительно выше. Корову можно было купить в разных районах области от 150 до 50 рублей. Трудно было это понять: человек нуждается и не хочет заработать. Возможно, это был переизбыток политобразования масс – никто не хотел быть эксплуатируемым, а может, обыкновенная лень? Лень с политической платформой. Безработный член Союза получал какие-то свои рубли в месяц, на которые мог существовать, жизнь действительно тогда была на Украине дешёва, умереть с голода в то время было уже трудно. И вот человек жил впроголодь, но зато с гордо поднятой головой – его не эксплуатировали проклятые нэпманы и кулаки. Как заставить такого пролетария и гегемона работать, трудиться на самого себя и на общество?

Как?

\*\*\*

Сомнения, сомнения...

И только к 28 году в моей голове начал наводиться относительный порядок – как снег на голову в начале лета – коллективизация!

Ну конечно, потомственный пролетарий не может не быть настоящим коммунистом и активистом в трудный для страны период. "Нужно отдать все силы, всего себя для быстрейшего искоренения кулачества и вести активную борьбу с антисоветским троцкистско-зиновьевским блоком, восстанавливающим затасканную буржуазную теорию о мирном вращении кулачества в социализм".

Сидел я однажды в райкоме, дежурным был, зашёл человек какой-то, попросил позвонить. По телефону спрашивал у кого-то в области об инструкциях по поводу детей раскулаченных. Всё у кулаков, мол, отобрали, что теперь делать с детьми? Отправлять вместе с родителями...

Чувствовалось, что этому человеку тяжела его... работа, будь она трижды проклята! Тяготила она его. Да только ли его одного?

Был я как-то в командировке в одном из районов области, зимой. И в какой-то деревне мне попала навстречу подвода, везущая детдомовских детей из бани. Серые, худые лица, плохая одежда, и с самого края саней я увидел девочку лет пяти в одном платьишке и с босыми ногами, загребающими придорожный снег. Я хотел было подбежать к ней, накинуть на неё то, что было на мне, но сопровождавший меня руководитель района сказал:

– Не лезь! Это дети врагов народа. Повезёт – выживет, не повезёт – плакать некому.

И опять сомнения.

"Соловки, Соловки,

дальняя дорога.

Сердце, грудь болит,

на душе тревога!"...

\*\*\*

Алексей Максимович хорошо помнил, что ещё совсем недавно говорилось о нэпе и о союзе с крестьянством. Знал, что в 1920 году производство нашей промышленности составляло только 18 процентов довоенного производства. Знал, что только в тесном союзе с крестьянством, свободно торговавшим своей продукцией, страна смогла рвануться в короткий срок далеко вперёд от этой удручающей цифры... Так почему же к тридцатому году мы свернули голову нэпу и возвратились к году двадцатому? Кому помешал нэп? Сталин сам говорил: "Кто не понимает переходной двойственной природы нэпа, тот отходит от ленинизма... Как же он мог после этого своими руками его уничтожить?"

Мука в городе 20-25 рублей за пуд, да ещё не во всех магазинах. Мёд – 2 рубля 70 копеек фунт. Сахару нет; только членам Центррабочкоопа по 1,5 фунта на человека, а не члены ЦРК ничего не имеют, даже мыла. Консервов – нет. Колбас – нет. Сыру – нет. Ничего нет. В то же время почти все указанные продукты экспортируются за границу. Даже конфеты в прекрасной упаковке идут за рубеж, а населению только по книжке ЦРК по 1,5 фунта какой-то сладкой дряни по 4-5 рублей за кило.

Банк не даёт серебра. Мелочи нет, купить ничего нельзя, а власти чинят обыски, если найдут серебро, хотя бы на 10 рублей, – ссылка. Ссылка – это эпидемическая малярия, от которой трясётся каждый. При обысках забирают всё – золото, вещи, деньги, съестные припасы, материи, хотя бы и купленные в госмагазинах, после долгих стояний в очереди.

Принимают на работу только партийных, комсомольцев (коммунистическую молодёжь), демобилизованных из Красной Армии, вообще лиц "пролетарского" происхождения. Кроме того, проводится "орабочивание" аппарата, то есть влитие в него рабочего элемента. А в этом аппарате и делать сейчас нечего, всё одна видимость работы. Кругом мертвечина, полный застой: частная торговля совершенно убита фантастического размера налогами. Частных магазинов в городах нет, уцелели лишь единичные лавчонки на базарах. Бывшие купцы частью высланы в Нарым или на Соловки, частично сидят по тюрьмам.

Приезжают из-за границы разные делегации, конечно, все коммунисты. Их откармливают, рассказывают. Если те увидят стоящих в очередях людей и спрашивают, в чём дело, объясняют, что это бедные люди за даровым обедом. А те едут домой, и рассказывают про страну советов чудеса.

А деревня? Что сделали с деревней? Голодная, измотанная поборами и нововведениями, утратившая понятие "моё", она так и не научилась говорить "наше". Народ в панике. Люди бродят, как тени, и не знают, что им делать. Масса самоубийств и сумасшествий на этой почве. Все воют, и стонут, и ругаются. У всех на уме один вопрос – когда же это наконец кончится.

Где же правда? Где истина? К какому забору притулиться? Какому Богу поклоняться?

Алексей Максимович искренне пытался вникнуть в суть теоретических разногласий между вождами, но ещё больше путался и плутал меж ними. Жизнь преподносила одно, вожди говорили другое. Не высокая политика ими двигала, а мелкие, низменные стремления, борьба за власть, за трон. Обыкновенный человеческий эгоизм. Кроваво дрались у всех на виду, интриговали, спорили со всем миром и собирали под свои знамёна сторонников слишком уж нескромно. И вот уже только один Сталин, прочно севший на русский престол при "всенародном одобрении" трудящихся масс, упрямо вёл корабль партии и великой страны Советов от "политики ограничения и эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса...". И как результат классовой борьбы – голод.

Снова страшный голод. Голод после года "великого перелома"...

«Вымирали десятками тысяч. Семьями, родами, деревнями. Пирожки из человечины на базаре – не выдумка сумасшедшего. Всё это было, было!

Даже в пятидесятых и шестидесятых годах, через двадцать-тридцать лет после случившегося, то тут, то там возникали слухи о возобновлении страшного производства на рынках страны, но, как мне кажется, это было уже чисто фольклорное осознание происходившего в двадцатых и тридцатых, а не желание пощекотать нервы сограждан.

Помню, как-то вечером, в конце шестидесятых, подсел я к группе малышей, сидевших на скамейке у моих ворот, спросил:

– О чём гутарите, казаки-разбойники?

Малышня почти все были потомками казаков-первопроходцев, и на моё приветствие радостно заулыбались.

– Да так... – замылся соседский Олег.

– Выкладывай, чего уж там, – сказал я. – Не сидеть же под забором молча.

И он выложил.

Бабка Олега, толстая, заплывшая жиром старуха лет семидесяти, приехала в наш южный город сразу после войны в поисках лёгкой и сытной жизни из Сибири. Не знаю, как уж она прожила свой долгий век в таёжной глуши, но, как говорили, злые языки, была настоящей пройдой, служившей в молодости в доме терпимости, в зрелом возрасте с муженьком-душегубом выходила на большую дорогу и почём зря губила души богатых купцов. Так говорили соседи, общавшиеся с её родственниками, сбежавшими на юг ещё в начале гражданской войны. Я видел многое в своей жизни, и потому не особенно дивился странностям биографии пожилого человека, но рассказ Олега меня заставил задуматься над многим.

– Да, бабка моя, дура старая, несёт всякую чушь, а я вот пацанам пересказываю.

– Ну и какую же чушь несёт твоя бабка? – не отставал я от него.

– Всякую... – уклончиво протянул мальчишка.

– Да ты давай не тяни, рассказывай, – заверещали пацаны, увидевшие во мне такого же слушателя, как и они сами.

– Ну, значит, живут они, на базаре ворованным торгуют втихаря, – продолжил Олег начатый рассказ. – А тут к ним приезжает какой-то дядька из деревни и на постой просится. А у бабки подвал под домом огромный-преогромный, туда на тройке запряжённой можно было въехать.

– Врёшь? – удивился кто-то.

– Ей-богу, не вру! – побожился Олег. – Мать тоже говорит, что был подвал под домом. И стены, и потолок в нём были сплошь из красного кирпича. Ну вот, значит, приехал мужик с товаром, каким уж – не знаю, продал, а дед его и пришил топором прямо в подвале. Там же и лошадь завалил, махан сделал и на базаре оптом татарам продал. А самого мужика, чтобы все следы замести, на большой мясорубке прокрутил и на пельмени пустил.

– Ух ты! – удивились ребята.

– Вот тебе и "ух-ты"! – сказал Олег. – Деду и на этот раз всё бы с рук сошло, но кому-то в пельменях ноготь попался, и деда взяли.

– Куда взяли?

– Куда надо, туда и взяли, – сказал Олег. – Ну, ладно, пацаны, пойду я.

И Олег ушёл. Следом разошлись и ребята, а я долго сидел и размышлял над его рассказом: врёт или говорит правду? Хочет порисоваться перед сверстниками или же скрывает истинную причину ареста деда? Как бы там ни было, но вместо страшилок с чертями и привидениями, мальцы пугали друг друга эпизодами уголовных преступлений, взятыми из реальной жизни. Возможно, что именно так народ снимал шок, вызванный нечеловеческими испытаниями во времена Великого Голода и прививал юному поколению стрессовую независимость при повторении подобного впредь?

\*\*\*

### Голод

Голод – невыносимый. Продналог – не выдерживаемый. Кто не имеет ничего, всё равно должен платить продналог. Платят даже те, кто не имеет ни кола, ни двора, а ходит с сумою, и платит по одному пуду жита с души. Хлеба нет. Пуд муки стоит уже 130 рублей, мяса нет совсем. Водка в магазине стоит 8 рублей, а суточная зарплата шахтёра-забойщика – 5 рублей 70 копеек. На станциях люди часто ложатся под поезд, бросаются с мостов...

Нет, не хочу, нет!.. Это вспоминать слишком страшно! Достаточно того, что я всё это видел и пережил когда-то. О, это было тягчайшее потрясение! Великое испытание веры! В те годы я окончательно осознал свою неспособность в нашем мире насилия и лжи. Почувствовал себя не винтиком – песчинкой, пылинкой, ничтожным прахом. На дворе только начало тридцатых и все их ужасы были ещё впереди, но я уже ощутил приближение апокалипсиса и замолчал, оцепенев изнутри и снаружи. Надолго замолчал»...

\*\*\*

## «Ветеринар»

Снова шевелится во сне сосед, отвлекая Алексея Максимовича от воспоминаний. Это уже третий «сокамерник» за время его пребывания в Доме престарелых. Первый, прожив всего два дня вместе, ушёл в освободившуюся большую и более удобную палату, и теперь изредка приходит сюда или же сам зазывает Буха в гости. У них сложились на редкость дружеские отношения, и они даже подумывают о том, чтобы вновь съехаться, как только где-то в палатах освободится место.

Вторым соседом был вновь поступивший симпатичный слепой эпилептик, за которым Алексей Максимович усердно ухаживал, в чём тот, несомненно, нуждался. С детства Алексей Максимович был неравнодушен к убогим и сирым, всегда подавал милостыню нищим и калекам. И здесь не мог переломить натуру, водил соседа по кабинетам, доставал всё необходимое для поселения, потому что тот моментально забывал номера комнат, имена врачей и обслуживающего персонала и не мог потом самостоятельно добраться до постели. Его привезли из дома слепых, хотя одним глазом он всё же видел процентов на шесть. На груди у него болтались две медальки: «Ветеран труда» и «За доблестный труд».

Так они прожили недели полторы.

Однажды в воскресенье «ветеринару», как себя называл новичок, захотелось... выпить. Алексей Максимович никогда и в молодости не увлекался «зелёным змием», да и потом не пришлось ему засиживаться в пивнушках. А уж к старости и вовсе думать забыл о том, что водку можно пить и ему. Зачем? Жизнь и так коротка, стоит ли сокращать её алкоголем? Пойти за водкой и принять участие в выпивке он, естественно, категорически отказался. Даже, может быть, слишком категорично, потому что тут же получил презрительную кличку «баптиста» и «антеллигента».

Обиделся на эпилептика Алексей Максимович здорово, но не смог отказать несчастному калеке в просьбе одолжить полотенце, своего у того почему-то не оказалось.

Ах, если бы знал Алексей Максимович, для чего давал полотенце! Оказывается, у беспомощного слепца нашлись силы и способности добыть где-то две бутылки «Таласа», дрянного дешёвого вина, завернуть их в полотенце (в его, Алексея Максимовича, полотенце!), и в таком виде незаметно пронести на охраняемую территорию Дома престарелых и в палату.

Бух разозлился не на шутку, но смолчал. Решил не торопить события, не провоцировать раньше времени назревающий скандал.

Демонстративно выпив обе бутылки сразу, «ветеринар» закуражился. Нагло раскурил сигарету прямо в палате, что категорически запрещается делать, и стал пускать дым в сторону Алексея Максимовича.

Тут уж Алексей Максимович не сдержался, на что «ветеринар» грубо сказал:

– Мне, «ветеринару», всё положено. Даже переходить на красный свет и заплывать за буйки на пляже... И я буду пить, и буду курить днём и ночью. А всех, кто мне мешать будет культурно отдыхать...

Ну и дальше бедный Алексей Максимович услышал столько матов в свой адрес, что вынужден был позвать старосту из числа опекаемых, который потребовал от «ветеринара» строгого соблюдения правил внутреннего распорядка Дома престарелых.

Но не таков оказался наш шельмец, он бушевал до самого утра, и Алексей Максимович не спал по его милости всю ночь, боясь всяческих неожиданностей и ещё большей беды от полного сил и здоровья слепого хулигана...

На следующий день к нему подселили третьего соседа, который очень скоро заинтересовался его перепиской с внешним миром. Бесцеремонно, иногда даже на глазах Алексея Максимовича, он брал со стола письма и читал их. Поначалу Алексей Максимович просто не знал, как себя вести в подобной ситуации, и лишь потом сообразил, что нужно делать. Однако не нашёл ничего лучшего, как уничтожить всё, что у него уже было в мини-архиве, и решил уничтожить всё, что придёт в будущем.

«Умру, – решил он, – хоть никто их читать не будет, никто рыться в моих чувствах не сможет. Ни осуждать, ни одобрять будет нечего. И за друзей спокойнее».

Новый сосед оказался, как он говорил, участником «ВОВ», бывшим «смершевцем», персональным пенсионером. С одной стороны, он очень даже кичился своими «заслугами» перед Отечеством, с другой – страстно ненавидел существующий общественный и государственный строй, чем поначалу Буха очень и очень удивил.

– Даже Ленин мне ничего не дал, – сказал как-то сосед в порыве откровения.

На что Бух ему возразил с остервенением необыкновенным. Давно, ох как давно он не говорил с таким пафосом, давно не обрушивал на противника весь запас знаний старого партийного оратора. Не помогло. Сосед быстро и точно парировал все его выпады и сам переходил в яростное наступление, используя те же термины, факты, цитаты... Оказывается, они оба с ним были хорошими учениками одной партийной школы, у них лишь учителя были разные.

Сосед в полемическом задоре даже согласен был на то, чтобы первый ядерный удар империализма уничтожил в нашей стране всё и всех, вместе с ним, разумеется.

Вот после этого признания Алексей Максимович и прекратил бесполезный спор. Понял: перед ним не просто заблудший человек, не растерявшийся рядовой гражданин страны и партии, а враг. И ещё подумал: очень хорошо, что сосед находится здесь, в Доме престарелых, и не сможет больше изливать свой яд на людях, в миру, не сможет отравлять молодёжь, заражая её духом неверия в лучшее, сея вокруг себя ненависть ко всему живому.

Он отлично знал, чем кончается путь неверующего, будь то не верующий в бога, не верующий в прекрасное в человеке или же не верящий в коммунизм. Любое активное безверие в лучшее настоящее или же будущее ведёт человека к краху, к гибели. Человек имеет право на сомнение, потому что оно подталкивает к поиску истины, но он не имеет права на слепую ненависть к прекрасному, к лучшему, прогрессивному, живому, наконец. Не имеет права ненавидеть саму жизнь на Земле, ибо сказал Христос: «И воздастся вам по вере вашей». Не в загробной жизни, а здесь, на Земле, в доме нашем воздастся. Нужная книга Библия, если её с умом к действительности применять, если не быть религиозным фанатиком, а реально смотреть на вещи, на материальный мир.

Ну, а если уж говорить о том, кто же из двоих обитателей палаты больше имеет прав хотя бы на частичку ненависти к людям, к партии коммунистов, ко всему, что оболваненные пропагандой люди называют коммунизмом, то, конечно, им окажется не сосед Алексея Максимовича, бывший «смершевец» и участник «ВОВ». Это Бух знал доподлинно.

Жизнь Алексея Максимовича была поистине странной и двойной всегда. Одной жизнью он жил на людях, другой – в себе. И обе до некоторой степени были несовместимы друг с другом, и трудно было понять постороннему, как же они существуют рядом. Если в себе он был во всём и всегда сомневающимся, ни во что не верящим до конца и бесповоротно, то жизнь внешняя была у него более чем прямолинейна и ясна каждому работнику любого отдела кадров.

\*\*\*

### Жизнь первая Детство

«Я, Коломейчук Яков Данилович, родился 23 марта 1901 года, – начал монотонно, заученно вспоминать свою жизнь старик, словно писал анкетные данные, как делал это неоднократно в различных кабинетах и в разных регионах великой страны, где ему пришлось побывать и по своей, и по чужой воле. – В 1909 году отец отвёл меня в школу. В школе учился довольно легко, меня часто поощряли и ставили в пример другим ребятам, потому как обнаружил я в учении таланты незаурядные. Сказано не по хвастовству, не в зазнайстве, а так, как было на самом деле – из песни слова не выкинешь.

Как-то на родительском собрании, или же на собрании гласных, точно уже и не вспомнить, я даже читал заблаговременно подготовленное по просьбе учителя стихотворение "Смерть Сусанина":

– Куда ты ведёшь нас, не видно ни зги! –  
Сусанину с сердцем вскричали враги. –  
Мы вязнем и тонем в сугробинах снега,  
Знать, нам не добраться с тобой до ночлега...

Хорошие стихи. Я и сейчас помню их наизусть. Велика и честь была – читать их перед таким представительным собранием знатных людей города. Ведь там, кроме наших педагогов и родителей, присутствовали попечители, два посторонних священника и другая интеллигенция. А у меня, ко всему прочему, был ещё и отменный музыкальный слух, неплохой мальчишеский голосок, что сразу было оценено присутствующими, едва я спел по просьбе директора, кстати, большого любителя фольклора, обыкновенную коляду. Меня тут же, на собрании, пригласили в церковный хор, где около сорока взрослых мужчин и женщин с хорошим регентом во главе, поощряемые всячески настоятелем церкви за счёт церковных средств, занимались искусством пения.

Искусство церковного пения – старое и сейчас, к сожалению, забытое искусство, привлекало тогда массу народа в церкви. Недаром сам Шаляпин с Горьким пробовали поступать в какой-то церковный хор, да и многие великие мужи российские не гнушались петь в хорах. Лестно было и мне петь во взрослом хоре на виду у всей православной округи. Да и кому было бы это не лестно хоть и сейчас даже? Недаром в молодости все рвутся в артисты – славы жаждут; наверное, тогда жаждал её и я.

А мне ведь мало того, что повезло состоять в таком престижном хоре, так меня ещё в церкви стали использовать для чтения на славянском языке "Апостола" и пения псалмов, каковые в качестве солиста я вначале, читая книгу, пропевал один, а за мной их уже повторял весь хор.

Честь мне этим была оказана невероятная! И вскоре богомольные старушки заговорили обо мне с подобострастием по всем закоулкам и разнесли славу о юном отроке, отмеченном печатью свыше, по всему городу. Такое, как правило, согражданами не забывалось долго и приносило немалые выгоды носителю славы в будущем. Но о будущем я тогда ещё мало думал. Я пел в церковном хоре, и это занятие мне нравилось».

Да, Якову Даниловичу повезло с самого начала и путь его мог быть действительно прекрасной иллюстрацией возможностей выхода «в люди» простого человека со способностями. Он был от природы одарённым мальчиком, притом удивительно послушным и дисциплинированным, что всегда особенно ценилось начальством. У него никогда не было претензий на лидерство, и он никогда не настаивал на своём особом мнении по любому вопросу. Он больше всего ценил уважение вышестоящего начальника и дорожил личным знакомством с ним. Одним словом, это был природный чиновник, родившийся в рабочей семье, знающий своё место и никогда из него не высовывающийся. Так было заложено в генетической программе Якова Даниловича и так оно, наверное, и случилось бы, если бы жил он в любое другое время.

«О, я даже гимнастикой в школе занимался, – неожиданно вспомнил Алексей Максимович. – Её по собственной инициативе преподавал нам либерально настроенный адвокат немецкой национальности Шульц, считавший меня наиболее способным и перспективным гимнастом всего учебного заведения. Иными словами, по нынешним стандартам я рос вполне благополучным ребёнком, за будущность которого можно было не беспокоиться. И родители счастливо купались в отражённых лучах моей славы. Им льстило внимание, которое оказывалось их юному отпрыску. Они уже наперёд знали, что я вытаскил в жизни счастливый билет, так как меня прочили "в люди" очень влиятельные в городе господа: священники предлагали бесплатную учёбу в святом монастыре, Шульц – в

двухклассном народном училище, рекомендуя последовать примеру великого Ломоносова. Да, были и такие планы на мою жизнь. И, не скрою, я ими тешился в душе безмерно. Мне и сейчас приятно вспоминать об этом. Ведь мог бы, мог... Да вот не сумел.

Начало Первой мировой войны в 1914 году предотвратило моё "восхождение" на вершину человеческого олимпа, хотя ореол некоторой "святости" всё же лежал на мне долго. Отличная память давала возможность петь и читать наизусть множество молитв, псалмов и канонов: "Отче наш", "Верую", "Отверзу уста моя", "Христос рождается", "Воскреси, Боже, суди земли", "Ангел вопияше"... Кажется, сейчас могу, напрягши память, запеть радостную песнь: "Твой (Богомати) Сын воскрес, тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитесь..." или "Очи всех на Тя, Господи, уповают".

Ко мне частенько наведывались из церкви странные паломники, заставляли читать Евангелие на славянском языке, дивились, говорили – это дар свыше, пели со мной псалмы, лобызали в уста и уходили просветлённые. Даже товарищи мои и те со временем перестали "тыкать" в разговоре и обращались на "вы". Я ругался последними словами, даже бил их за это, но они упрямо "выкали", заявляя, что так велели делать их родители. А родителей раньше почитали первым почётом...»

Да, неизвестно во что бы превратился Коломиец-младший, если бы последующие годы войны и революции вконец не расшатали веру в Господа Бога и в святых! Ну и сам он, конечно, вскоре стал вести такую развесёлую жизнь, в которой уже не было места псалмам и песнопениям. Кстати сказать, и голос он с возрастом потерял окончательно, так что и петь больше никогда в жизни не пел, разве что только на домашних вечеринках и уличных демонстрациях. И вот настал момент, когда его богобоязненные поклонницы и поклонники старались уже не вспоминать больше о своём былом почтении к нынешней "краснопузой безбожной сволочи", новому Иуде Искариоту.

А началось всё вот с чего.

\*\*\*

### Юность

Сразу после февральской революции пригласил его на работу в село бывший учитель гимнастики Шульц, избранный незадолго до этого секретарём волостного ревкома. Труд был лёгкий, хотя и пришлось работать в 53 населённых пунктах, но за него шёл паёк, реальная продовольственная помощь семье.

Карьеру юноша начал с должности рядового письмоводителя, потом стал помощником секретаря, секретарём, членом исполкома. А затем и заведующим отделом. Работая, одновременно стал комсомольцем, секретарём комячейки и секретарём волостного комитета комсомола. Попутно пришлось организовывать местную милицию, принимать участие в экспроприации имущества у помещиков и зажиточных крестьян, за что и получил, наконец, в 1918 году пулю в живот из обреза. Это был ещё один весомый повод к постоянным размышлениям над смыслом жизни в свободное время. Рана до сих пор даёт знать о себе мучительной изжогой и неожиданными резкими болями в кишечнике. До сих пор Алексей Максимович икает, глотая густую пищу.

Вообще же самое трудное в тогдашней работе заключалось не в экспроприации, а в распределении экспроприруемого между членами комитетов бедноты. Здесь можно было такую бузу допустить, такую анархию развести, что потом и сам Господь Бог бы не разобрался. Но Алексей Максимович как-то умел налаживать контакты с активом комбедов, умел найти общий язык с самыми дремучими мужиками, и его работа приносила свои плоды.

«Моложе-то я контактнее был, шустрее. Всё новое с лёту хватал и умел это новое привязать к текущему моменту, умел любое лыко в строку вставить», – восхищался собой Алексей Максимович.

И вот однажды волость, где работал Алексей Максимович, посетил сам Народный Комиссар Земледелия Украины товарищ Дмитрий Захарович Мануильский. А надо сказать,

что родители наркомзема проживали в селе отца Алексея Максимовича. С Дмитрием Захаровичем отец был знаком с детства, хотя никогда дружен не был. Товарищ Мануильский из богатеньких всё же, из буржуинов. От отца Алексей Максимович многое знал из биографии прославленного революционера (деревня есть деревня!), да и сам он частенько посещал это село, даже несколько раз наведывался и к родственникам Мануильского по весьма и весьма щекотливым делам – они были духовного звания, и нужно было недвусмысленно решать вопрос с их имуществом и переселением. Но вот с самим Дмитрием Захаровичем Алексей Максимович встретился впервые. Оказалось, товарищ Мануильский наслышан о молодом активном комсомольце через своих деревенских родственников предостаточно, и очень доволен его работой по реализации экспроприруемого добра среди бедноты и строгому учёту реквизированного. Конечно, он был благодарен и за помощь родителям, но, по-видимому, всё же ему понравилась боевая биография комсомольского вожака, сына земляка, и прославленный революционер взял Буха на заметку.

«О, это великое дело – быть замеченным в юности умным и сильным старшим товарищем! Великое!» – почти воскликнул вслух растревоженный радостным воспоминанием старик.

\*\*\*

«Когда наступали в 19-20 белополяки, я, едва выздоровев после тяжелейшего ранения, возглавил эвакуацию дел и имущества волостного ревкома, а затем присоединился к эвакуации уездных учреждений.

В пути познакомился с предисполкома уезда товарищем Волковым, которому понравилась моя оперативность и моя способность печатать на пишущей машинке любую заковыристую справку в пять минут. (Поди знай наперёд, что нужно уметь в жизни для карьеры!) После сдачи имущества и дел уезда в Киеве товарищ Волков неожиданно рекомендовал меня Киевскому Губкому КПБУ для направления на политкурсы в город Нежин. Но оказалось, что к Нежину подходили поляки, поэтому меня срочно направили в Харьков, в Центральную партшколу Украины. И тут случилась анекдотическая заминка.

Политически грамотный боец революции Яков Коломейчук оказался беспартийным, хотя и комсомольцем с биографией. Вот здесь-то мне и помог товарищ Мануильский, преподававший в ЦПШ уроки земледелия и другие дисциплины»...

Встретил Коломейчука Мануильский в Харькове как хорошего старого партийного товарища и земляка. Сносно по тем временам устроил с жилищем, при этом никакого панибратства или излишнего официоза между ними не существовало: всё ровно, всё достойно, как со всеми, не больше. Сам написал прекрасную характеристику и рекомендацию (поручительство) для принятия в партию большевиков. Затем направил прямо к Наркому Внутренних дел Украины товарищу Антонову, с просьбой тоже поручиться и рекомендовать в ряды КПУ. И уже потом поручителем Коломейчука стал преподаватель ЦПШ Стрельбицкий. Он сделал это довольно оригинально, проэкзаменировав его выступлением на открытом партийном собрании. Повестка дня собрания была "О роли профсоюзов на производстве".

\*\*\*

Конечно же, Коломейчук критиковал троцкистов и шляпниковцев, поддержал позицию ленинцев. Идею платформу Шляпникова охарактеризовал как "синдикалистский уклон, полный разрыв с коммунизмом и переход на позиции синдикализма"... Говорил и о Троцком, но осторожно, не навешивая громких ярлыков. Он уже тогда проникся некоторым пренебрежением к фракционной борьбе в верхах, не любил и боялся их политических сплетен и грязи, от которых уже вовсю смердило бесчисленными трупами жестоких разборок с рядовыми инакомыслящими. Он всегда старался избегать открытой полемики с кем бы то ни было из товарищей по партии, оправдываясь тем, что полемика лишь расшатывает партию, а главным считал работу, работу, работу, работу.



Конечно же, без помощи старших товарищей никакого выступления на столь представительном форуме коммунистов у юного комсомольца не получилось бы, тем более такого грамотного, яркого и насыщенного правильной партийной полемикой. Это выступление помог Буху сделать сам товарищ Мануильский. Он заодно и детально разобрал с ним все "про" и "контра" конфликтующих группировок, "промыл мозги младшему товарищу" в отношении критикуемых им, так что некоторые моменты из закулисных дрызг юноше стали известны лучше и в большем объёме, чем рядовым партийцам. Это было неслыханное доверие. И его, конечно же, нужно было оправдать, что Бух и сделал с явным удовольствием, хотя... Хотя он и понимал всю нечистоплотность своего выступления, но политика есть политика, и если он хотел войти в неё полноправным членом партии большевиков, то и должен был делать то, что ему приказывали её испытанные вожди, знающие лучше и умеющие больше любого буржуазного министра-всезнайки, не говоря уж о каком-то никому неведомом комсомольце-молокососе из глухой провинции.

Восторженное состояние после собрания стёрло все негативные сомнения в правильности совершённого поступка и только укрепило желание стать членом партии и драться с её врагами, утверждая новую жизнь в стране и во всём мире.

Таким вот образом комсомолец Яков Данилович Коломейчук и был принят в ряды компартии с полугодовым кандидатским стажем в ноябре 1920 года.

\*\*\*

#### Первые университеты

Учился он яростно. Курс политграмоты закончил на отлично и попал в число первых 13 курсантов, направляющихся в Москву в Коммунистический университет имени товарища Якова Свердлова. Однако перед самой отправкой неожиданно заболел тифом, и вынужден был согласиться уступить своё место в группе отправляющихся девушке-землячке, тоже курсантке-отличнице...

Позднее он много раз пытался представить себе свою дальнейшую судьбу, проигрывая в мыслях разные соблазнительные варианты с неизменным началом: что с ним было бы, не заболел он проклятым сыпняком? Куда бы он пошёл после университета, чем занимался бы, до какой должности мог бы дорасти? Где бы ещё продолжил своё образование? Очень уж хотелось получить фундаментальные знания и стать "человеком с большой буквы", местным Ломоносовым... Но не выпала судьба великого учёного, жизнь распорядилась иначе. Впрочем, и те, кто окончил университет, тоже не сверкнули на небосклоне советской науки и общественной жизни выдающимися открытиями. Ни одной знакомой фамилии так и не встретил Бух на длинных дорогах истории России.

А может, ему и не нужен был этот университет? Ведь за свою жизнь он познал столько на собственной шкуре, что вряд ли смог бы всё это где-то вычитать, изучить под микроскопом в тиши лабораторий, рассмотреть в самом мощном телескопе... Для овладения теми знаниями, которые имел нынешний Бух-Коломейчук, нужно было прожить жизнь Буха-Коломейчука с его первого и до его последнего дня такой, какой она была и есть, ничего не умаляя, ничего не прибавляя. Всё продумать головой Буха-Коломейчука, всё прочувствовать его сердцем, его ногами отшагать отмеренные ему судьбой пути-дороги... И какие дороги!

\*\*\*

После выздоровления он был направлен в распоряжение одного из губкомов Украины (теперь это несколько областей республики, собранные вместе), где секретарём состоял товарищ со странной нерусской фамилией Мусульбас. Кроме официального направления ему было дано личное письмо товарища Мануильского на имя Председателя губисполкома товарища Николаенко.

Не забыл товарищ Мануильский своего юного протеже и как мог, так и помогал ему.

На месте изучив документы и рекомендательные письма Буха, назначили его вторым секретарём Губисполкома: человек молодой, грамотный, с большими связями в верхах – пусть движется вперёд на пользу великой идее.

Работал он справно на столь ответственной должности, но снова зигзаг в карьере начинающего партийного работника, и в 1922 году его неожиданно мобилизовали для пополнения политсостава Красной Армии, в которой Бух служил политруком сводного отряда полковых разведок 45 дивизии. Затем командовал дивизионным коллектором, но так как после кулацкого ранения в живот и перенесённого тифа здоровье его было из ряда вон плохим, то он даже не смог нормально ездить верхом на резвых кавалерийских лошадаках, падал всё время без сознания во время сильной скачки, разбиваясь в прах. Естественно, что такая обуза в отряде лихих конных разведчиков была не нужна, конники ещё вели боевые действия, громили банды Орлика и Карого, постоянно находясь в боевой готовности.

В конце всё того же 1922 года Буха демобилизовали из армии по состоянию здоровья, "расстроенного в результате кулацкого ранения в живот", как было написано в справке. И в начале 1923 года предложили должность заведующего статистическим бюро Раевского стекольного завода Житомирской области. Алексей Максимович не особенно расстраивался тем обстоятельством, что понижение в должности было весьма ощутимо, в те годы легко и просто залетали и слетали с высот невероятных, главное, считал он, партии служить можно всегда и везде, лишь бы здоровье позволяло. А вот со здоровьем ему явно не везло, и поделаться он с этим ничего не мог.

Перед тем, как прибыть на место своего нового назначения, он несколько недель отдыхал в родном доме, точнее, мотался по городу, смотрел на жизнь знакомых и незнакомых земляков, пытался разглядеть ростки нового в послевоенном бедламе...

\*\*\*

Да, много интересных и поучительных наблюдений сделал для себя Алексей Максимович, жаль, выводы были неутешительными: революция осилила только первую ступеньку громадной лестницы, ведущей к общечеловеческому счастью, впереди ещё вся основная работа, и неизвестно, хватит ли всей его жизни для того, чтобы увидеть светлые плоды гениальной мечты о равенстве, братстве, о всеобщей любви и сострадании... Разор в краю был, порядка не было никакого. И Бух с удвоенной энергией ринулся в работу. Дело ему нравилось. Его мозг снова получил пищу для раздумий, для сравнений и сопоставлений, но уже на уровне цифр, а не эмоций.

\*\*\*

Усердие молодого специалиста было отмечено наверху, и в 1926 году его откомандировали на курсы техноруков элеваторов "Заготзерно".

После успешного окончания курсов Бух приступил к работе на Кусковском пункте, что на берегу Азовского моря, где вскоре обнаружил совершенно неожиданно для себя вопиющие злоупотребления управляющего, старшего приёмщика, кладовщика и двух конюхов, которые за свои гнусные коллективные преступления ответили перед судом народа: одному из них – управляющему – была вынесена высшая мера наказания, старшему приёмщику дали десять лет лишения свободы, завхозу – восемь, и конюхи получили по пять лет.

Алексей Максимович никак не мог понять, что же им было нужно, этим негодьям. У каждого была семья, каждый был обеспечен по тому времени необходимым сверх всякой меры, впереди столько перспектив в работе и просто в личной жизни. А в итоге такой конец, которого, между прочим, они все ждали давно. И сколько уворовано у народа, сколько просто пропито и сожрано в компаниях собутыльников и проституток!

Авторитет в партии у Алексея Максимовича после разоблачения расхитителей социалистического добра вырос невероятно. Но рабочие косились и, когда он настойчиво требовал от них строгого исполнения инструкций и предписаний, бурчали под нос

явственные угрозы. День ото дня недружелюбие рабочего класса по отношению к Буху росло, а он явно не понимал его корни.

Ну что такого он сделал? Он просто нащупал и порвал цепочку, по которой хлеб, заработанный ими же кровью и потом, уходил к спекулянтам, к преступникам, а они... Нет, не понимал он тогда рабочих, не понимал и относил их нелюбовь за счёт политической безграмотности масс и остатков у них старого мышления.

Поэтому, когда в 1929 году на юге ему предложили вступить в должность бухгалтера Сотинского курорта Минераловодческого района Северного Кавказа, с оплатой подъёмных не только ему, но и всей семье, с радостью согласился. Хотя, если уж быть откровенным до конца с самим собой, то... это он сам напросился в райкоме партии на эту должность. И ему с радостью пошли навстречу, как пострадавшему в борьбе с врагами в годы гражданской войны.

Природа Северного Кавказа пришлась по душе Алексею Максимовичу, прельщала и возможность постоянного лечения, а также предоставление курортом просторной отдельной квартиры – недостижимой мечты многих сослуживцев, не проявивших себя на поприще борьбы за новую власть и за новое социалистическое общество.

Ко времени переселения на юг у Буха уже была большая семья: жена Александра и двое детей – девочка и мальчик. Женился он в 1924 году и был, как ему казалось, счастлив в браке. И всё у него в те годы складывалось как нельзя лучше: красивая молодая жена, послушные дети, относительный достаток в семье, прекрасное место работы, отличная квартира, природа юга. Но проработал в этом раю Алексей Максимович всего четыре года.

За разоблачение злоупотреблений директора и завхоза в статье «Жулики», опубликованной районной газетой, ему было предложено уволиться в срочном и безоговорочном порядке «по собственному желанию» самым главным районным начальством.

И вновь ничего не мог понять бедный Алексей Максимович. Попробовал было искать справедливость в высших партийных инстанциях, но ему тактично намекнули, чтобы он больше думал о семье и о детях, чем о чистоте кадров в курортной зоне: «Край дикий, нравы под стать природе, мало ли что может случиться...».

Да и жена... Её сломила публикация в газете, написанная и вышедшая в свет без её согласия, и нехорошая трещинка, словно чёрная гадюка, пролегла в их отношениях.

«Трещинка... – тяжело вздохнул старик. – Еле приметная трещинка! Все глубокие овраги начинаются с такой вот... трещинки. С ерунды, с пустяка... Не заметишь её с самого начала, и всё – пиши пропало, – вздыхает Алексей Максимович. – Семейная жизнь – дело тонкое и нервное. Опять же дети...»

В последние годы Алексей Максимович всё меньше и меньше времени уделял семье, работа захватывала всего целиком, жена не понимала этого, считала, что он охладел к ней как к женщине, но не ревновала, зная, что на измену муж не способен, и тихо страдала. Бух видел всё, но ничего изменить не мог. Пробовал несколько раз объясниться и наткнулся на глухое непонимание. И тоже мучился. Семейные ссоры, раньше обходившие их дом стороной, всё чаще возникали по любому пустяку и перерастали в грандиозные скандалы с постоянной демонстративной перестановкой убогой мебели из одной комнаты в другую, с жалобами на отсутствие со стороны мужа внимания и ласки, будто внимание и ласка нужны были только одной Александре. Но об этом Алексей Максимович тогда не думал, он был слишком занят другим, и на жену и детей у него по большому счёту просто не хватало времени и сил. Жизнь кипела вокруг, захватывала в могучий водоворот событий, из которого вырваться было просто невозможно. А жена... Он считал, что она любит его и по настоящему ревнует к работе, отнимающей у неё мужа-любownika. Он верил ей. Думал, что когда-нибудь сможет возместить Саше за всё, что она вытерпела в эти годы. За всё! Она была его крепким тылом. Дом – последним прибежищем, где он зализывал раны, о которых никогда не говорил жене, боясь расстроить её. И она ни о чём не догадывалась. И это было его самой большой ошибкой. Лучше бы она мучилась и страдала вместе с ним, тогда они

были бы вместе не только дома, но и там, где пропадали целыми днями лишь он один. Там, где вместе с потоками красивых слов текли мутные реки лжи, клеветы, где рядом с героями вырастали гнуснейшие подонки...

Обстановка в доме немного улучшилось с рождением третьего ребёнка, и Алексей Максимович думал, что всё налаживается как нельзя лучше, что всё будет хорошо в их жизни и они проживут счастливо до глубокой старости, воспитывая внуков и правнуков. Нужно только время и немного достатка. И работал, работал... И дома старался по мере сил облегчить нелёгкий труд жены в воспитании детей, и в общественной жизни кое-что всё же успевал, не пил, не курил...

Александра то ли поняла его стремление к сохранению семьи, то ли у неё прибавилось забот, но она притихла, успокоилась, замкнувшись в себе, и вновь стала похожей на ту, прежнюю, гордую уравновешенную женщину, которую так любил Алексей Максимович.

Да, он любил жену и не хотел причинять ей боль. Не хотел травмировать новыми глупыми выходками, накликая беду в семью, лишая детей и без того скудных радостей жизни.

Короче, отступил Алексей Максимович и на этот раз, утешая себя мыслью о том, что всё-таки преступление отражено в прессе и это так просто не пройдёт мерзавцам, какие бы посты они ни занимали. А то, что мерзавцы занимали посты солидные, в этом он уже не сомневался. Его совесть, совесть коммуниста и борца за лучшую жизнь, может быть спокойна, зло будет наказано. Обязательно будет!

«Кто-то и где-то допустил непростительную ошибку в кадровом вопросе, и ошибка эта может сильно навредить нашему общему делу,» – думал Бух, отбывая с семьёй на должность главного бухгалтера в Алийский укрупнённый пункт «Заготзерно» весной 1934 года.

Здесь-то, наконец, он окончательно понял свою некомпетентность в мире большой политики и больших людей, делающих её, и смирился с этим на удивление без эмоций. Бух тихо отошёл от политической жизни и, ссылаясь чаще всего на здоровье, заботу о семье, на болезненное состояние жены, всячески увиливал от партийных поручений, потому что к тому времени стал сильно сомневаться в правильности выбранного партией пути. В нём, наверное, заговорили гены отца, и ему стало лень ежедневно следить за газетами, слушать радио, неприятно было видеть восхождение на олимп власти новых вождей советского народа и мирового пролетариата, забирающихся туда в прямом смысле по трупам своих старых боевых товарищей.

\*\*\*

Самое странное состояло в том, что если он, испытанный боец партии, покачнувшийся в своей вере, отказался от какой бы то ни было борьбы и сидел дома, трусливо поднимая лапки кверху, то люди вокруг наоборот не мирились с несправедливостью, пытались противостоять тьме, охватывающей их, и некоторым это даже удавалось.

«Помню, даже в цирке клоун открыто издевался над нашими промахами и дуростью, – нахмурился Алексей Максимович. – Весело пропев частушку о том, что "капитан Воронин судно проворонил", он начал катать по манежу большую бочку, мешая униформистам. Когда его спросили, что в бочке, он ответил:

– Раскулаченные кулаки.

– А почему ты их с места на место катаешь?

– Да не знаю, что с ними делать!

Конечно, смех в цирке, аплодисменты, а настоящим раскулаченным было уже не до смеха. Да и некоторые смеявшиеся понимали, что их собственная жизнь, словно по мановению чьей-то злой волшебной палочки, превращается в самый настоящий цирк, в котором все номера трагические, смертельные. Кирова-то уже убили, процессы-то уже пошли...»

«Второй Ангел вылил чашу свою в море; и сделалась кровь как бы мертвеца, и всё одушевлённое умерло в море».

«А я сидел с семьёй на представлении и покупал мороженое детям, смотрел на арену, на зрителей и ровным счётом ничего не понимал в жизни, но чувствовал непонятную тоску и страх перед будущим».

\*\*\*

### Арест

На новом месте в занимаемой должности Алексей Максимович пробыл три года, до 1937...

«В июне 1936 года, в ожидании поступления зерна на пункт "Заготзерно", в рабочее время гражданин Я.Д. Коломейчук затеял спор с сотрудниками вверенной ему бухгалтерии по поводу вреда курения. Говорил, что курение некультурно, вредно для здоровья и неприятно для окружающих. Товарищи по работе возражали, говорили, что курение наоборот является признаком культуры человека со времён Петра Великого. Гражданин Коломейчук Яков Данилович пытался на примерах показать ошибочность подобных взглядов, потому что сам некурящий. Курящего человека вообще нельзя считать человеком, говорил он. На что подчинённые резонно заметили ему, что товарищ Сталин курит...»

Это заявление на себя Бух прочитал в кабинете следователя НКВД в июле 1937 года, когда по всей стране был организован массовый поиск врагов народа. Алексей Максимович попал в число 527 невинных жертв, арестованных в одну неделю только в небольшом Алийске, городке с населением чуть больше двадцати тысяч человек.

Обвинение было таким: «Дискредитация вождя партии – товарища Сталина, при разговоре о курении». За это тройка НКВД заочно дала ему 10 лет исправительно-трудовых лагерей.

Ему ещё повезло, что не пытали, не требовали, как у других, давать ложные показания на знакомых и вовсе незнакомых людей. А повезло так потому, что начальником НКВД района оказался его хороший знакомый ещё со времён учёбы в Харькове, дружески пососоветовавший «не портить себе здоровье упрямством, а молча подписать на себя любой компромат».

– Так хоть будет шанс выйти потом на свободу физически не покалеченным человеком. Тебе здоровье теперь нужно крепкое иметь. Подумай об этом и не ерепенься! По-дружески советую!

«По-дружески» же дал возможность прочувствовать правоту своих слов, поместив Буха в камеру с другими заключёнными.

Камера была преогромная, квадратов на сто пятьдесят, наверное. Раньше там было помещение какого-то склада, который пустовал уже несколько лет. И вот ему нашлось применение... Временно в нём разместили человек сто семьдесят, арестованных в последние два дня.

– Что сельдей в бочки понатолкали, только без рассолу, – мрачно шутили несчастные узники и, кажется, завидовали при этом рыбам, вина которых только и была в том, что они рыбы. А здесь поди угадай, кто ты, что ты...

Условий в камере не было ни каких. Все спали на голом полу, на подстилке из гнилой, давно перепревшей соломы. Тут же бегали огромные амбарные крысы и по ночам даже кусали за нос и щёки наиболее окровавленных. Тюремная еда была отвратительной – варили всякую дрянь вместо продуктов, лишь бы создать видимость кормёжки и поддержать на время жизнь в арестованных «врагах народа». Однажды в баланде нашли ту часть туши лошади, которую так любят жеребцы, и в камере объявили суточную голодовку. Охрана откровенно посмеялась над арестантами, сказав, что это вам не при царе права качать, у нас, мол, рабоче-крестьянское государство, и нам виднее, кого и чем кормить. И отдали их баланду в соседнее помещение.

По стене подвала шла наверх, прямо в кабинет следователя, труба водопровода. Там, где она проходила сквозь потолок, был выбит, может быть, нарочно, изрядный кусок штукатурки вместе с перекрытием, и всё, что происходило в кабинете следователя, было слышно в камере подвала очень даже хорошо.

На допрос брали по одному, допрашивали иногда по несколько часов подряд, и каждый заключённый знал, что его товарищи слышат внизу каждое слово, каждый стон, каждый навет...

И всё равно люди признавались в самых чудовищных преступлениях, клеветали и на себя, и на своих самых лучших и преданных товарищей, которые порою находились здесь же, только этажом ниже.

Что происходило при этом с заключёнными в подвале, передать трудно. Крики протеста раздавались только в первые дни, а потом...

Допрашиваемых обычно приносили в камеру (редко кто мог спуститься вниз после пыток), они плакали, просили прощения у товарищей за свою слабость, пытались целовать ноги у оклеветанных... И это всё были люди, геройски прошедшие гражданскую войну на стороне красных, испытавшие на себе все ужасы в застенках белогвардейских генералов и разномастных атаманов, и никого там не предавшие.

\*\*\*

В этой камере сидел, например, Василий Васильевич Семёнов, участник Волочаевского сражения, четырежды награждённый путёвками на курорт за ударную работу только в тридцатые годы. В двадцатые он был директором санатория, потом, в порядке переброски партийных работников «сверху вниз и снизу вверх», перевели его в Алийский район, где избрали членом райисполкома и доверили заведование райземуправлением. По его инициативе в райцентре было взорвано большое здание церкви, утилизирован огромный колокол, в сплаве которого содержались золото и другие драгметаллы, так необходимые нашей стране. Церковь эта долгое время была закрыта для верующих, но использовать её для какой-либо надобности не было возможности из-за сопротивления местных жителей, терских казаков.

И вот тогда товарищ Семёнов лично изготовил взрывчатку и благополучно взорвал здание церкви. Перед этим, правда, говорят, произошло странное событие.

Когда спиливали крест, снимали колокола, главы и сбрасывали вниз, собралось у церкви множество людей. Все плакали. Рабочие, смеясь, вынесли иконы и сложили в кучу, принесли соломы и все иконы подожгли. Народ рыдал. Но всех разогнали по домам.

На ночь поставили стражу из одного человека. Ровно в 12 часов ночи он, то есть сторож, услышал женский плач и увидел свет (в церкви не было ни одной лампадки). Рыдающий голос воскликнул: «Боже мой, боже мой, что вы наделали!».

Сторож, конечно, испугался, побежал в совет и доложил обо всём. Собралось у церкви несколько милиционеров. Да, огонь горит, и голос слышится.

Со взведёнными курками винтовок двинулись они к церкви. Действительно, видят свет и слышат голос. Только ногу поставили на порог церкви, всё прекратилось.

Наутро в совете собрались все участники ночного происшествия, и решили никому ничего не говорить о случившемся. Да разве такое удержишь за зубами? Все в округе уверились, что было видение Божьей матери.

Это было летом 1937 года. Через неделю Семёнова арестовали, страшно жестоко допрашивали. В результате увечий лишённый многих зубов, с поломанными рёбрами, с раздавленным мочевым пузырём, он подписал протокол допроса, в котором обвинялся по шести статьям Уголовного кодекса. Он полностью признал себя виновным и согласился быть расстрелянным как можно скорее.

Однако ему не повезло. Он оказался осуждённым тройкой НКВД всего лишь на 10 лет.

\*\*\*

Конечно же, все понимали, что с ним свели счёты верующие казаки, не выявленная контра, но почему этого не хотели понять следственные органы? Да и сами верующие... Как они могли пойти на такое? Лучше бы уж убили втихаря в тёмном переулке. Да, наш народ бывает фанатичен до предела: если он что-то любит – готов последнюю рубаху ради этого

спустить, если ненавидит... Ремни на спинах красноармейцев в гражданскую – ещё цветочки по сравнению с тем, что доводилось мне тогда видеть лично. Озверел народ в войне братоубийственной войны и хотел крови сородичей в мирное время. Фанатично искал новые и новые жертвы. «Добро» на вседозволенность сверху было спущено. Машина злодейства запущена...

\*\*\*

«А разве во мне самом мало фанатизма? Даже если взять, например, ту же религию? Сколько времени прошло, а всё думаю, что зря мы так круто с церковью разошлись, зря. Много в ней есть такого, что на пользу могло пойти. Хотя бы при исправлении тех же дурных нравов. Дикого зверя всегда на цепи держать нужно, а тут люди без тормозов совсем озверели, совсем оскотинились.

В детстве я очень сильно любил плевать. Иду и плюю, иду и плюю. Ну просто машина какая-то по плевкам. Так вот бабка моя, Царствие ей Небесное, как-то сказала мне, заметив такое безобразие:

На том свете, внучок, все свои плевки грешники языком своим поганым вылизывают. Подумай об этом прежде, чем плевать будешь.

Вот до сих пор живу и думаю: где плюнешь, а где и переждёшь. Или вот такой ещё случай. В самый разгар гражданской войны слышал я как-то байку – не байку, сказку – не сказку, а довольно занятную историю.

Будто бы на первый день Пасхи пошёл один молодой мужик в лес по какой-то надобности, уж по какой и не помню. И вот видит мужик: сидит на поле, на куче недавно завезённого навоза, старик в драном полушубке. Сидит и на того мужика кротко так посматривает.

Спрашивает его будто бы мужик:

– Чего сидишь, дедушка?

– Да вот устал, отдыхаю, – отвечает.

А сам старичок из себя вшивенький с виду, на шубейке тут и там навозные шарики нацеплялись, но мужик не побрезговал, взял его к себе домой, отмыл, накормил... А мать у того мужика жадная была. Когда сын того старика привёл, стала она ворчать на сына за такого гостя. Прикрикнул не неё мужик, мол, негоже в Христов праздник так с людьми поступать.

Вот, значит, живёт тот старик у мужика, и день живёт, и два, на третий день в дорогу засобирался. И просит он, чтобы снова отвёл его мужик на то самое место, с которого его взял. Отвёл тот и посадил так же. Старик ему и говорит:

– Гостил я у тебя три дня, большое спасибо за это, может, и ты ко мне в гости заглянешь?

Мужик удивился, но согласие дал, и в ту же минуту очутились они в некоем царстве, похожем на рай Господний. Ну, значит, отдыхает он в этом раю, во все уголки доступ ко всему имеет, и лишь в одну комнату дворца запретил ему старик заглядывать.

Известно, запретный плод сладок, заглянул туда мужик и увидел свою мать в кипящей смоле. Уварится она будто до макового зёрнышка, потом вновь вырастет до нормальных размеров, и опять уваривается. И так бесконечно.

Испугался мужик, понял, что мать его на том свете ожидает. Но вместе с тем и понять не может, как же так. Мать-то ещё жива, ещё по земле ходит.

Смотрит он на мать и видит, что тянет она к нему руку, вытащить из котла просит. Схватил мужик её за косу – коса отвалилась. Он косу машинально в карман засунул. Схватил за одежду – расплзлась в руках. А тут мать ему луковицу подаёт, тyani, мол. Мужик удивился, но потянул, и увидел, что подалась мать из котла кипящего, однако перья луковые порвались, и снова мать в смолу ушла. Так и не смог ей ничем помочь мужик.

Так и ушёл ни с чем из той запретной комнаты.

Ходит грустный по дворцу, понять ничего не может. А тут и старик вскорости его увидел. Говорит:

– Знаю, смотрел ту комнату, помочь пытался.  
– За что, – спрашивает мужик, – ты её так, батюшка?  
– За жадность. Ты её за одежду тянул?  
– Тянул.  
– Это она одежды свои старые, совсем уже гнилые, нищим отдавала, и жалела ещё. И за луковицу тянул?

– Тянул.

– А это всё, что она в своей жизни нищим от всего сердца подала.

Короче, вернулся домой мужик, и оказалось, что не был дома он ровно три дня и три ночи. Его уже и потеряли совсем. А ему у старика показалось, что он вот только-только со своего двора вышел. Так время там летит быстро. И видит он, что у матери голова как-то странно платком повязана, спрашивает:

– В чём дело?

Отвечает мать, что в одну ночь коса отпала и куда-то исчезла совсем. Вытащил тогда сын косу из кармана и спрашивает:

– Твоя?

Потом всё рассказал, как было, напугалась мать. Спрашивает сына, как же ей теперь быть, как кипящего котла на том свете избежать.

Сын и отвечает:

– Сказал старик, что если отдашь всё добро нищим, то, может быть, и спасёшься.

И стала старуха всё добро раздавать. Но только вряд ли в рай попала, раздавая, всё равно жалела. А жалеть – большой грех, добро с лёгким сердцем делать надо.

Вот такая история бродила в те дни по свету. Простая вроде бы, но как на психику действовала! Ласковыми руками за горло брала: будь милосерден, твори на земле добро не жалея об этом. И главное – как вовремя, как кстати был такой призыв в то время! А мы? До чего мы дошли в своём диком желании взрастить добро, посеяв зло?

\*\*\*

Помню историю терской казачьей семьи, услышанную от двух девчушек, живших неподалёку.

Выселили их в 22-м году из станицы, рассеяли по белу свету, кто куда смог, туда и подался. Дома частично повзрывали, пожгли, поотдавали чеченцам, сады выкорчевали. Многих, очень многих порасстреляли. Их станицу делили на три категории:

"белые" – мужской пол расстрелян, женщины и дети рассеяны;

"красные" – выселены, но не тронуты;

и третья категория – "коммунисты".

Включённым в первую категорию никому ничего не давали, "красным" давали на одну семью подводу, на которую можно было брать всё, что желали, а "коммунисты" имели право забрать всё движимое имущество.

Дворы всей станицы поступили чеченцам и ингушам, которые тут же и задрались за казачье добро между собой.

Тех девчушек в глаза и за глаза бессовестные люди называли "белой сволочью". Всё у них отобрали, лишь по воле Божьей ещё жили они на свете. Одна церковь была у них в душе, но и ту взорвали. Может, это они в сердцах писульку нацарапали на Семёнова? Может, и они, да только не поворачивается у меня язык лично против них плохое сказать.

\*\*\*

А историю жизни товарища Семёнова я хорошо знал потому, что мы с ним вместе потом отбывали свой срок в желдорлагере НКВД на территории Коми АССР, на строительстве железной дороги от станции Котлас до станции Воркута.

В желдорлагере он стал вскоре бригадиром на лесоповале. Так как с детства, видно, был прирождённым вожаком и заводилой. Да ему и терять-то уже нечего было, поэтому и



работал на последнем пределе, надрывался на лесоповале. Ну, его, значит, и выделило начальство за старшего. И с ребятами он умел ладить по-свойски, потому как действительно хороший был мужик. И вот этот-то мужик решился на дерзость неслыханную: ушёл в побег с лесоразработки вместе с шестью рабочими своей бригады. На третий день беглецов поймали и возвратили в зону. Суд добавил ему ещё три года за побег. А через непродолжительное время товарищ Семёнов был освобождён и реабилитирован, как жертва клеветы. Случай для той поры совершенно исключительный. Видно, кто-то всесильный лично вмешался в его горестную судьбу».

\*\*\*

Сам Алексей Максимович пробыл в желдорлагере два года, четыре месяца и 17 дней. Освобождён в 1940 году "ввиду снижения срока наказания до фактически отбытого срока" после общеизвестного выступления Жданова со статьёй "Об избииении партийных кадров". Полностью реабилитирован краевым судом после XX съезда КПСС "за отсутствием состава преступления".

«А сколько сидевших со мной, – думал Бух, – так никогда и не вышли из лагерей? Сколько их похоронено в вечной мерзлоте Колымы, сколько заживо сгнили в болотах Нарыма, в дальневосточной тайге? А ведь за каждым человеком стояла целая жизнь. Жизнь человека! И какого порой человека!»

\*\*\*

### Лагерь

Алексею Максимовичу с самого начала заключения в лагере крупно не повезло: не "вписался" в лагерную жизнь и медленно стал "отдавать концы". Через два-три месяца был уже доходягой со стажем, ещё бы несколько недель, и... И вот тут-то вмешался в его судьбу Его Величество Слепой Случай. А впрочем, как истинный фаталист и, кажется, гегельянец отчасти, Алексей Максимович философски отнёсся к произошедшему: чему быть, того не миновать. Гегель ведь не зря считал, что ничего не бывает случайно. Другими словами, всё в нашей жизни предопределено. Возникает только один вопрос: кем?

Однажды, когда он едва передвигался по лагерю, встретился ему на пути молодой чернявенький хлопец в ладном полушубке казённого кроя, с португеей и кобурой на поясе. Посмотрел он на него и вдруг неожиданно спросил:

– И ты, дядя Яша, здесь?

Алексей Максимович, который тогда ещё был Яковом Даниловичем, только раскрыл рот от удивления. Смотрит на хлопца, а узнать не может. Тот же вообще разговаривать больше с ним не стал, повернулся, поскрипев ремнями, и ушёл. А был он не один, с небольшой свитой местных энкавэдэшников. И вот, сколько с тех пор ни ломал голову Алексей Максимович, так и не мог припомнить молодого начальника: кто он, откуда знал его? Но если бы не эта мимолётная встреча, вряд ли долго бы протянул в лагере враг табачного дыма. Как бы то ни было, а на следующий день приставили его к сытному месту – поваром к сторожевым собакам. А это было законное место блатного зека. Ведь собак кормили хорошо, и от них всегда можно было урвать и себе, и корешам на прокорм не только хлеб, но и мясо. Собакам часто привозили лошадиные головы и ноги. Алексей Максимович на конских языках в месяц человеком стал, и ребят некоторых на ноги поставил. И тут ему опять крупно подфартило и, конечно, не без вмешательства того паренька в полушубке, как полагал Яков Максимович. Вскорости его как специалиста забрали в финчасть управления лагеря, находящуюся в урочище "Княжий погост". При этом ему было оказано неслыханное доверие, потому что ходил он туда, за два-три километра, без конвоя, один. И так каждый день. И это была лучшая лагерная сказка, которую мог себе представить зэка-политик в 1937 году.

Он проходил эти километры лесом, собирая летом кислый щавель, ягоды и грибы, зимой – наслаждаясь относительной свободой, потому как не то что убежать из этого затерянного в северных широтах края было невозможно, но и просто выехать куда бы то ни было, даже совершенно свободному человеку.

\*\*\*

В лагере Бух часто вспоминал семью. Тосковал по жене, беспокоился о детях. До эзков доходили тревожные слухи о родственниках заключённых, в которые верилось с трудом. Но, зная о том, что творится за колючей проволокой, можно было поверить любой глупости. И сердце каждого семейного человека, оставившего на воле самых родных и близких ему людей, невольно сжималось от страха за них. И страх этот был настолько силён, что подтачивал здоровье сильнее побоев конвоиров и морозил сердце свирепее самых лютых северных морозов.

Здесь, в лагере, Алексей Максимович теперь имел достаточно времени не только для анализа статистических данных о народно-хозяйственном потенциале страны, но и для осмысленного взгляда на себя и свою семейную жизнь как бы со стороны. И этот анализ он проводил каждый день, потому что не проходило дня, когда бы он не вспоминал жену, когда бы его мозг не был занят видением её смутных очертаний на фоне более чем чётких лагерных бараков.

Бух сделал для себя много интересных выводов и открытий, но это были чисто теоретические соображения по поводу создания идеальной социалистической семьи на базе уже существующего союза мужчины и женщины, испытывающих друг к другу чувственные отношения и имеющих троих детей.

\*\*\*

Работая в должности старшего бухгалтера, Алексей Максимович обслуживал одиннадцать подотчётных точек (хлебопекарня, магазины и тому подобное), возглавляемых вольнонаёмными, но малограмотными людьми, помогал доводить отчётность до нормального и "отличного" состояния, за что получал от них "благодарность" хлебом и другими продуктами питания. Этим он значительно улучшал свой собственный паёк и помогал, как и прежде, товарищам по бараку. А разве могло быть иначе? Неужели же он и впрямь мог опуститься в заключение до скотского состояния и жрать, как уголовники, свой паёк в одиночестве? Нет, не лез кусок в горло, когда рядом умирали с голоду люди, товарищи по партии, упрятанные за колючую проволоку врагами истинной революции, укравшими у народа его победу.

\*\*\*

В лагере у него вновь неожиданно проснулась жажда активной общественной деятельности, тяга к борьбе за справедливость, за своё собственное поправное достоинство. Только там он и стал понимать себя и своё поведение в последние годы перед арестом. И Сталин... Нет, конечно, о нём он понимал тогда не так, как сейчас, на девятом десятке своего существования на земле, но именно под Воркутой у него сложился впервые довольно точный портрет этого нелюдя и чётко представилась расстановка политических сил в стране. Вспомнились в лагере и голодные толпы тридцатого – тридцать третьего годов, целые обезлюдевшие деревни и волости, десятки и сотни тысяч погибших в мирное время по воле "вождя народов". Да, теперь он понимал, что это была его преступная воля, "единственного" и "гениального" учителя, перекраивающего карту великой страны и судьбы миллионов на свой лад и манер. Именно в лагере он понял, что большевики-романтики проиграли свой "последний и решительный" у самого финиша, у последней черты, а по сути, за чертой. С ликвидацией нэпа верх взяли грубые материалисты с преступными наклонностями, которые скорее перестреляют весь мир, чем откажутся от своих бредовых целей.

Что же оставалось делать ему, Якову Коломейчуку, бывшему партийцу, бывшему революционному романтику, а в настоящее время эзку, осуждённому по 58-й статье? Только жить. И как можно дольше жить. И увидеть крах этой банды садистов и убийц. И выйти чистым на свободу.

Но как можно выжить в аду? Кто знает, сколько придётся ждать справедливого возмездия за содеянное нынешним правителем страны? Может, вечность, может, год? А смерть – вот она, рядом...

И впрямь косая ходила рядом. Сытая жизнь Алексея Максимовича пришлась не по душе всесильным уголовникам, и вот однажды мимоходом они сунули ему промеж лопаток остро заточенный напильник...

Но он и на этот раз отлежался, выжил назло лагерным уркам, выкарабкался из лап смерти, потому что имел цель жизни – жить. Жить и дожить до конца своих мучителей. До освобождения страны от её "преобразователей".

\*\*\*

### Измена

Так уж случилось, что после выхода из лагеря Яков Коломейчук не смог сразу выехать на Большую землю. Дело в том, что жена ушла от него, пока он был в заключении. Совсем ушла. В последние годы их совместной жизни она очень изменилась, стала нервной, раздражительной.

Особенно это было заметно в их личных и интимных отношениях. Посыпались необоснованные обвинения во всех тяжких и не тяжких грехах, скандалы, отчуждение...

"Любовь пытаюсь удержать,  
Как шпагу, тянем мы вдвоём...  
Один к себе за рукоять,  
Другой к себе за остриё...  
И рук, сжимающих металл,  
Ему не жаль, ему не жаль,  
Покуда сам не испытал,  
Как режет сталь,  
Как режет сталь...  
Любовь стараясь оттолкнуть,  
Как шпагу тянем мы вдвоём,  
Один эфесом другу в грудь,  
Себе под сердце остриём..."

Этот странный, ныне забытый романс бедный, страдающий борец за высшую справедливость в дни размолвок с женой повторял, как молитву, постоянно. Что-то пытался делать, чтобы вернуть её былое чувство, но делал это неумело, бестолково. Одним словом, день ото дня положение в доме становилось только хуже. Как теперь понимал Алексей Максимович, она увидела в нём однажды совершенно другого человека, чуждого её представлениям о жизни, и... разлюбила его. Если вообще любила. Если не принимала обыкновенную влюблённость за нечто большее. Самое интересное, что она, кажется, понимала это сама, видела в этом свою вину и, чтобы хоть как-то оправдать себя и своё поведение, сознательно, или же бессознательно, но старательно искала у мужа недостатки во всём, провоцировала ссоры, скандалила с детьми...

«Такое бывает, – пытался осмыслить случившееся Алексей Максимович. – Особенно с женщинами. Они как-то так устроены природой, что совершенно не помнят ничего хорошего о человеке, которого ещё недавно обожали, с которым делили кров и постель, от которого рожали детей. Это в них так заложено дикой природой – искать лучшего в жизни партнёра для продолжения рода. В этом стремлении к лучшему они порой бывают безжалостны и коварны. Хотя случается и по-другому: супруги, много лет прожившие вместе, вдруг осознают, что рядом существует совершенно незнакомый им человек, и... продолжают жить. Трудно разорвать единым махом привычный круг жизни, трудно человечески сказать себе и другому – "нет". Опять же дети, соседи, родственники,

отсутствие перспективы нового брака... Всё сглаживается само собой роковыми обстоятельствами, если не успели друг другу в азарте кухонной драчки наговорить обидных и не прощаемых мерзостей. Человек, как это ни ужасно звучит, смиряется со своим положением, и, кажется, жизнь снова входит в свою привычную колею, только это уже совершенно другая жизнь. И какая она будет, зависит от того, кто пережил драму узнавания нового человека и переоценки своего семейного счастья и самого себя. Ведь давно известно, что самые крепкие браки – не по любви, а по расчёту, не обязательно материальному. Часто бывает, что к помирившимся супругам снова приходит любовь и настоящая плотская страсть, если двое хотят быть вместе.

Если хотят...

Любовь, как и жизнь, не даются навечно. Просто каждый день нужно хотеть любить близкого тебе человека. Нужно старательно подкармливать в себе угасающее чувство, и тогда оно будет вечным... В пределах человеческой жизни, конечно.

В моём же случае всё проще. Кто я был раньше? Полусвятой в детстве, начинающий вождь революционной молодёжи в юности, а потом... Потом опустился до заявлений в органы через газету. И ровным счётом ничего этим не добился, ничего! Меня гнали по кругу, как гонят волка, загоняя в ловушку, а вместе со мной бежала и вся моя стая. Моя бедная, страдающая по глупости жожака-отца, семья. Как финал всему – тюрьма, лагерь, бесчестие... Тут уж и любящая жена подумает о себе и о своём будущем, а разлюбившая или не любившая вовсе – тем более. Я её не осуждал, но... Тяжело и обидно было до слёз. Она-то меня знала, как никто другой, она-то должна была понять меня, а не предавать с первым встречным. Нехорошо это, по-человечески нехорошо.

Я же факты в наши советские органы правдивые излагал, ни от кого не скрывая своего отношения к сволочи. И фамилию свою везде ставил для верности. Так за что же меня так? Разве я виноват, что времена наступили иные, перевёртошные, а я не понял этого? Я-то шёл в открытую, это меня взяли "втёмную" "честные" людишки. И если уж не жизнь, то семью они у меня отняли точно. Распалась моя семья на несколько частей, разбежалась по всему великому Союзу республик, поэтому и не знал я до времени, где и кто из моих детей находится и куда мне самому ехать нужно».

\*\*\*

### Вербовка

Пока мысли бывшего зэка по стране бегали, отыскивая единственное и родное местечко на будущее, наступила зима. И решил он зимовать в Котласе, устроившись вольнонаёмным на временную работу. Думал, за это время и справки о детях наведёт точные, и деньги подкопит.

И вдруг...

Однажды в столовой к нему подошёл мужчина лет пятидесяти в приличной гражданской одежде, в котором он сразу же узнал одного из зэков, сидевших с ним в лагере. Подошедший тоже был осуждён по 58-й статье, но жил в другом бараке, и Коломейчук даже не знал его имени, хотя на плацу встречал каждый день утром на разводе.

– Здравствуйте, Яков Данилович! – сказал, улыбаясь одними губами, бывший зэк. – Узнаёте?

– Здравствуйте! – улыбнулся и Коломейчук, обрадовавшись человеку одной судьбы, словно родному. – Мы теперь друг друга вовек не забудем.

– Это точно. Вы уже отобедали?

– Да.

– У меня к вам есть разговор. Можно, я вас провожу?

– Конечно, можно, конечно. Я бы вас к себе пригласил, но, знаете, в бараке живу. Обстановка не лучше, чем там у нас.

– Что вы, что вы! Я всё прекрасно понимаю. Сам бы рад посидеть в хорошей компании, да разговор у нас не для посторонних ушей.

Коломейчук насторожился: не провокация ли? Только сейчас вспомнил, что никто и никогда его с этим человеком не знакомил в лагере. Откуда же он знает моё имя и отчество? Как нашёл?

– Давайте договоримся сразу, – сказал бывший товарищ по несчастью, едва они очутились на улице. – Вопросы буду задавать я. Только я! Всё, что надо, скажу сам, если сочту нужным. Извините за столь недружелюбное вступление, но время такое. Мне не до сантиментов. Хочу представиться. Зовут меня товарищ Николай. В прошлом профессиональный революционер, член партии с 1912 года. С 18-го профессиональный военный. Арестован в 37-м, в должности... Впрочем, это не имеет значения. Я к вам пришёл по поручению товарищей. – Он на мгновение задумался, бросил осторожный взгляд по сторонам, прислушался. – За ваши два с половиной года отсидки мы присмотрелись к вам, изучили ваше личное дело, навели кое-какие справки...

Этот странный разговор кончился тем, что они, проговорив на морозе часа три, разошлись, почти заочневшие, договорившись о скорой встрече в одном из малолюдных районов города.

\*\*\*

Сидя у себя в бараке, отогреваясь у пылающей жаром чугунной буржуйки, Яков Данилович только глубокой ночью до конца осознал всю значимость состоявшейся встречи.

Оказывается, здесь, в месте заключения и уничтожения лучших людей партии, лучших сынов народа, группа эков-политиков, членов партии с дореволюционным стажем, арестованных в разные годы по вздорным клеветническим обвинениям, смогла создать в глубоком подполье антисталинскую организацию, поставившую перед собой святую цель – "физическое уничтожение кровавого диктатора". Во главе группы, как позднее узнал Яков Данилович, стоял бывший секретарь одного из волжских обкомов партии.

\*\*\*

Он не спал всю ночь. И было от чего. Ведь ему предложили вступить в эту организацию. Предложение было ошеломляюще неожиданным. В первые минуты Яков Данилович подумал: уж не НКВД ли это? Очень подозрительным показался старый знакомый с его неуклюжими повадками и фальшивой конспирацией. Но, поразмыслив, он решил, что вряд ли представляет для НКВД в сегодняшнем состоянии какую-либо ценность. Во-первых, он оторван от людей, ни с кем в последние месяцы не встречался и близко не сходил. В переписке состоит только с дальними родственниками и официальными организациями. А репрессивному аппарату нужны личности, нужны масштабы, громкие дела и процессы... Хотя, конечно, в периоды массового психоза они хватали всех подряд, набивая "закрома НКВД" первыми попавшимися. Но сейчас уже нет, слава Богу, железного наркома Ежова, кое-кого даже стали выпускать, ослабив удавку на шее народа. Да вряд ли им и в голову придёт мысль о том, что после всех перенесённых лагерных ужасов кто-то по доброй воле снова готов будет подставить свою шею под "карающий меч революции". Последнее, что уверило его в правдивости существования названной организации, было имя врача, тоже зэка, вытащившего Коломейчука с того света после удара напильником...

Яков Данилович, честно говоря, тогда уже не надеялся, что сможет выжить в лагере даже после выздоровления. Блатные умели свои приговоры доводить до конца, и ошибку с ним они, конечно же, исправят в самое ближайшее время. Поэтому он и разоткровенничался с одним-единственным человеком, которому поверил в лагере сразу. Ведь если бы он хотел зла Якову Даниловичу, то вряд ли стал бы с ним возиться. Одним жмуриком больше, одним меньше – какая для него разница! Да и от блатных ему благодарности за Коломейчука не будет. Сведут и с ним когда-нибудь счёты. Не знать всего этого он не мог, поэтому на такого можно положиться. Не продаст. Так они и подружились. Яков Данилович не скрывал от него всего, что накопилось в душе за эти годы, и тот в свою очередь также делился сокровенным. И вот теперь "товарищ Николай" передал ему привет от врача, оставшегося досиживать срок

и после ждановской речи. Каково ему там? Нужно будет снова собрать посылку и передать через товарищей. Он уже дважды переправлял ему передачи, и однажды написал письмо. Видно, по нему-то и нашёл Коломейчука товарищ Николай.

\*\*\*

Удивительное дело: Владимира Барышникова, того самого врача, все знали по профессии, а не по имени. Он не был освобождённым доктором, он, так же как и все остальные, ходил на работу, валил лес, копал грунт, но всегда успевал заметить и помочь обессилевшему. Хоть словом, но старался вдохнуть силы в уставшее и измученное тело заключённого. И вот он-то, оказывается, был связан какими-то невидимыми нитями с этим странным военным человеком в гражданской одежде.

До этой встречи у Коломейчука было совершенно подавленное настроение: он чувствовал себя лишним на свободе, не нужным людям и стране, выбравшей путь к общему счастью через насилие. К тому же несколько дней назад он узнал, что жена его через газету публично отреклась от него и с тех пор живёт с другим, что старший сын находится у тётки во Владивостоке, в пограничной зоне, куда ему, сидевшему по 58-й статье, вряд ли дадут возможность выехать, что малолетние дочери его живут в новой семье матери, где-то на далёком хуторе. Одним словом, по выходе из лагеря он оказался никому не нужен. Ехать ему теперь было некуда и не к кому. Оставалось одно из двух, как ему казалось: или голову в петлю, или снова в лагерь, к товарищам. И вот предлагают ещё один выход.

И какой!

\*\*\*

«Нет, действительно, – размышлял Яков Данилович, разомлев от тепла, – легче начать жизнь заново, с чистого, так сказать, листа, чем оказаться на Большой земле в положении выпущенного на свободу "врага народа". Ведь даже здесь, в центре Российской тюрьмы и каторги, я не человек, а бывший зэк, падаль подзаборная... А тут люди, товарищи...»

И он дал "товарищу Николаю" согласие на вступление в организацию. Прощаясь, товарищ Николай предупредил, что любое лишнее слово об организации будет караться смертью. На карту поставлено слишком много, и организация не может и не будет терпеть в своих рядах не только явных предателей, если такие найдутся, но даже просто болтунов. Коломейчук с этим согласился, признав правоту слов нового товарища гарантией успеха задуманного.

Потом они встречались ещё несколько раз. Во время встреч ему давались азы конспирации, ставились примерные задачи на будущее, проигрывались на словах возможные непредвиденные ситуации, в том числе говорилось о поведении у следователя при возможном новом аресте.

Новый арест...

Коломейчук понимал, что теперь так просто не выкрутится, если возьмут за членство в организации, готовившей покушение на самого товарища Сталина. Ведь теперь он состоял не в вымышленной, выбитой побоями и пытками, а в настоящей, тем более – организованной бывшими "врагами народа", подпольно-террористической группе. Это серьёзно. Очень серьёзно! Тут нужно быть готовым ко всему.

Видимо, у руководителей группы был большой опыт нелегальной работы ещё с царских времён, и они обладали огромными связями на Большой земле и здесь, среди бывших и настоящих зэков, среди вольнонаёмных и даже "энкавэдистов", поэтому вскоре после вербовки у Коломейчука появились великолепно сделанные документы на имя Буха Алексея Максимовича. Назван он был так по роду своей основной деятельности – бухгалтер и в память о великом пролетарском писателе. Ему была придумана прекрасная "легенда" жизни, состарившая его ровно на десять лет. По полученной инструкции Бух должен был воспользоваться этими документами лишь на Большой земле, после того, как устроит свои

домашние дела под именем Коломейчука. Основное задание было таким: устроиться на жительство в столицу и ждать, ждать, когда позовут. Ждать, возможно, придётся долго.

Явок не дали, оставили только пароль.

\*\*\*

Позднее Бух долго размышлял над заданием: почему оно было таким, почему ему не дали каких-либо имён, адресов? Сначала подумал, что могли не доверять до конца и давали возможность проявить себя в простеньком деле, но могло быть и так, что таких "бухов" – рядовых членов организации, – было очень много, и все они должны были быть использованы в один и тот же день или же час, который определяли руководители организации.

А может, думал он иногда, это были всё те же "игрушки" НКВД, готовившего новую волну репрессий и специально подбиравшего будущие жертвы для заклания в жестоких судебных процессах? Кто знает, что задумывалось в головах параноиков, дорвавшихся до безграничной власти над парализованной страхом страной?

\*\*\*

### Смерть диктатора

Сейчас многие, вспоминая сталинские времена и его "железный порядок", переосмысливая себя в том ужасе, в который вверг страну её "гениальный вождь и учитель", вспоминают свою жизнь, своё собственное отношение к тому, что происходило тогда, через призму себя нынешнего. Но ведь не у каждого почти тридцатилетний террор вспоминается кошмаром. Люди и тогда находились по разные стороны баррикад, точнее, по разные стороны колючей проволоки. Никто не спорит – и тогда люди влюблялись, женились, рождались и умирали естественной смертью и в собственной постели, но сколько умирали неестественной?

Противоестественной!

Насильственной!

Да, воспоминания у разных людей разные, но всё же есть и у них одно общее для всех. Есть одна общая для тех лет и для всех тех людей временная точка, к которой рано или поздно приходит каждый из них – это день смерти "товарища Сталина".

Чёрные тарелки репродукторов, тоскливые гудки заводов и паровозов, растерянность на лицах (как жить дальше?), обеспокоенная сосредоточенность (что будет дальше?)...

Бух не раз видел в журналах и газетах тех лет фотографии пышных похорон с толпой услужливых генералов, трепетно несущих награды генералиссимуса, снимки с рыдающими согражданами, слышал и сам от многих, что с ними творилось тогда, видел и тех, кто "залетел" на Колыму лишь за то, что не плакал, не бился головой о стену в фанатичной истерике, а истово крестился, не скрывая долгожданной радости...

Было и у него своё воспоминание, правда, более позднее, но было.

Было!

Было!!!

\*\*\*

«Обычный рабочий день. После работы, как всегда, в полной темноте, брёл я вместе с другими эсками в лагерь. У самых ворот почему-то стояло лагерное начальство.

В колонне зашушукались: "В чём дело?"

Первая пятёрка остановилась.

И вдруг из лагеря чей-то ликующий голос:

– Сталин сдох!

Секундное молчание и...

– Ура-а-а-а!

Шапки вверх!

Крики!  
Шум!  
Мат!..

Конвойные – ни звука, присмирели, гады! А раньше бы за одни только разговоры в строю и "по соплям", и в карцер, и на тяжёлые работы – чего бы только не насовали бедным энкам исполнительные стражники. А тут – тишина...

\*\*\*

В конце марта в лагерь прибыла комиссия, произвела рассортировку по статьям "обвинительных заключений", мельком осмотрела «долину смерти» за сопками, где лагерные покойнички хоронились, и документацию на этих невинно убиенных. Может, рассказало лагерное начальство, как это у нас делалось, а может, и сами высокие гости знали всё это не хуже их, технология-то везде была одна и та же.

Американские бульдозеры (наших не было) прорезали траншеи сквозь мох вечной мерзлоты, клали туда покойничков с привязанными бирками на большом пальце ноги, и... всё. Через некоторое время выросла на этом месте длинный холмик со столбиком, на котором был написан номер траншеи. Только в канцелярии и знали, кто в этом ряду лежит и сколько их там...

Невесёлый анекдот ходил в те годы по лагерю про эти холмики.

Пишет ээк письмо отцу: "Живу хорошо, лежу в ОК, думаю, перейду в ОКА... А там бирку на ногу – и ПОКА!"

"ОК" – оздоровительная команда, "ОКА" с буквой "А" – место, где собирали доходят перед "последним и решительным"... Прямой путь из ОКА был в холмики за сопкой.

Массовые расстрелы в лагере проводились довольно часто и без всякого повода. В них не было системы, и уберечься от них заранее не было никакой возможности. Приезжал, например, какой-то чиновный туз, и говорил:

– Какая бригада лучшая сегодня? Построить!

Срочно строили бригаду "стахановцев", приезжий генерал, сверкая погонами, выходил к ним и говорил:

– Сволочи! Маскируетесь под передовиков? Расстрелять!

И стреляли их ночью в сопках под грохот тракторного мотора, работающего без глушителя.

На следующий раз мог приехать тот же генерал или другой начальник, и спросить:

– Какая бригада худшая на сегодняшний день?

Выходил, говорил:

– Сволочи! Саботируете великую стройку социализма? Расстрелять!

Может, у начальства свой план по ликвидации заключённых существовал, может, личная склонность к убийству, но мы, ээки, видели, что некоторые с удовольствием соревновались друг с другом в количестве уничтоженных "врагов народа".

"Врагов народа" стреляли и поодиночке, и по заранее заготовленному списку. Однажды в такой список попал и я, но когда стал расписываться под приговором, оказалось, что инициалы были не мои.

Не мои!!!

Какого-то другого Буха нашли через пару минут в соседнем бараке и увели в сопки. А я до утра не мог заснуть и благодарил Бога за милость, оказанную мне свыше, и молил за душу того несчастного, который лежал сейчас в холодной траншее вместо меня».

\*\*\*

### "Большая земля"

Весной 41 года Яков Данилович под своим именем съездил на родину, посмотрел на дочерей и, не встретившись с бывшей женой, уехал с тяжёлым сердцем, не оставив родственникам адреса.



Хотел махнуть сразу с новыми документами на Дальний Восток к сыну, но вовремя одумался. Так не только себя, но и сына под расстрел подставить можно. Подумав, решил, что настало время жить по "легенде".

Так исчез Яков Данилович Коломейчук и появился на свет Алексей Максимович Бух, 1891 года рождения, беспартийный, воевавший в гражданскую на стороне красных, дважды раненный, одно ранение штыковое.

Со штыковой раной было немного притянута "за уши", её легко можно было опознать за свежую, но никто не думал и не гадал, что Алексей Максимович будет обследоваться у хирурга в ближайшие два-три года, а за это время рана должна была состариться до неузнаваемости.

Здоровье у "новорожденного" для бывшего зэка было хорошим, чему поспособствовал совет начальника Алийского НКВД, которому Бух безропотно последовал в 1937 году, подписав на себя все протоколы допросов. Хотя, конечно, глядя на него, никто не смог бы сказать, что последние годы своей жизни прошли у него на курорте.

\*\*\*

### Жизнь вторая Война

Приехав в столицу, Бух сразу же бросился на поиски жилья и посильной работы, жить на что-то нужно было, да и неработающим существовать в Москве было просто страшно. Но буквально через несколько дней после приезда наступило трагическое 22 июня 1941 года и смешало все глобальные планы новоиспечённого москвича и его лагерных товарищей.

Для Алексея Максимовича этот день был днём мучительных раздумий, прибавивший не один седой волос на голове. К его концу он чётко осознал, что "сейчас не время для заговоров, сейчас необходимо все силы бросить на ликвидацию главной опасности для страны и социализма – нашествия немецко-фашистской сволочи". Хотя не только вероломство немцев пошатнуло веру Алексея Максимовича в реальность задуманной акции против Сталина, нет, не только это. Он ведь не имел явок, друзей и знакомых в Москве, и первое время просто ночевал на вокзалах, после чего успел близко и не однажды познакомиться с нравами московской милиции, а с ней ему вообще не хотелось иметь дело ни при каких условиях. Едва-едва Бух смог устроиться на несколько дней в какую-то дешёвенькую гостиницу, потом на квартиру к какой-то полусумасшедшей бабке... Только ступив на землю родной столицы, Алексей Максимович понял, что здесь всё не так, как ему казалось раньше. Милиция, НКВД, просто добровольные соглядатаи не отпускали из поля зрения нового человека целыми сутками. И целыми сутками Алексей Максимович неустанно контролировал себя, "держал в руках, и праздновал подленького труса" ежеминутно. Не такая ж это, выходит, простая задачка – вжиться в шкуру москвича, сделаться незаметным горожанином столицы предвоенной сталинской России. В душу постепенно закрался стойкий подлый страх разоблачения, страх, от которого он потом не смог отделаться многие и многие годы.

Но всё это было ещё до 22-го, а после...

\*\*\*

В первые же дни войны Бух сунулся было в военкомат, однако ему вежливо, с благодарностью, но решительно отказали, сославшись на то, что он непризывного возраста. Да, действительно, 1891 год не призывался, а 901-м он идти уже не мог: освобождённый из заключения Я.Д. Коломейчук к месту постоянного жительства вовремя не явился, нигде не отметился, и теперь вполне мог быть разыскиваем милицией и НКВД. Бух, выдуманный и имеющий почти настоящие документы, был вне закона на законном основании, но и настоящий Коломейчук представлял сам себе не меньшую опасность. Это был тупик, ловушка, в которую он сам себя загнал. Страх и горькое раскаяние в содеянном преследовали его недели две, пока он не смог устроиться по специальности и определиться с

квартирой. Но и после этого не испытал Алексей Максимович душевного спокойствия. Ведь немцы чудовищно быстро продвигались вглубь России, а он, сравнительно молодой и сильный человек, коммунист по убеждениям, а не по разрядке, пусть и выглядевший после Севера на все свои фиктивные 50 лет, играл косточками счётов и писал "приход-расход" в какой-то вшивой конторе... Его мучили совесть и страх.

К страху он стал привыкать, а вот совесть... Ему казалось, что она мучила бы его меньше, если бы он был под своей настоящей фамилией. И если бы его под настоящей фамилией не брали бы в армию по заключению врачей на вполне законных основаниях. Вот такое парадоксальное мышление существовало в голове Буха в то время, подогретое невыносимыми душевными муками. Ему казалось, что легче перенести любую физическую боль, чем день и ночь терпеть издевательства от дикого зверя по имени совесть.

\*\*\*

### Фронт

В августе сорок первого года он ещё раз пришёл на призывной пункт и в грубой ультимативной форме потребовал своей отправки на фронт. У него стали сдавать нервы, замучили противоречия, постоянный страх разоблачения и вынужденное безделье. Безделье, конечно, относительное, он работал в те дни, как и все, с огромным напряжением всех сил, хватаясь за любую возможность быть полезным. Просьба его, к немалому удивлению, тут же была удовлетворена, и он понял, что дела на фронте идут совсем паршиво.

\*\*\*

Как бывшего пулемётчика с опытом гражданской войны его направили в район Вязьмы, где включили в зенитно-пулемётный расчёт, охранявший уже развёрнутый полевой госпиталь, первым номером.

Это был не фронт, но и не тыл. Однако и здесь можно было приносить реальную пользу армии, стране и народу. Совесть его на время успокоилась, и он, со всей энергией, не растрачиваемой в последние дни, бросился в изучение совершенно нового для него дела.

Пулемёт он, конечно, знал, но не в такой степени, чтобы сразу освоить счетверённую установку, смонтированную на полуторке. Кое-что объяснил молоденький взводный, несколько удивлённый незнанием "дедом" матчасти боевой техники, списавший, наверное, всё это на давность гражданской войны. Тем не менее, после нескольких часов упорных занятий, уже в конце дня, Бух ловко крутил стволами "максимов" по секторам обстрела и мечтал о скорейшей встрече с самолётами противника.

В первый же день он успел ознакомиться и с госпитальным хозяйством. Оно понравилось. Всё в госпитале было новое, первоклассное: палатки, хирургические инструменты, лампы освещения, кислородная станция... И он подумал: может, не всё так и страшно, как казалось ему в начале войны, сидя в Москве. "Что-то же они делали здесь, пока мы гнили там", – думал он, осматривая сверкающее никелем и матово блестящее краской военно-медицинское великолепие...

\*\*\*

Конец августа – начало сентября 1941 года. Достаточно посмотреть на карту боевых действий того времени, чтобы понять, что судьба и здесь не проявила милости к Алексею Максимовичу и подсунула ему не самый лучший участок фронта. Хотя кто знает, где он – "лучший"! Да он и сам напросился сюда, сам. Значит, не на кого ему сваливать свои беды и напасти. Не судьба играет человеком, а человек выбирает себе судьбу. Только человек сам и никто другой совершает свои поступки и делает свои дела. Он за них один и ответчик. А ему, Буху, за многое нужно ответить. Ох за многое!

Дело в том, что уже здесь, на фронте, его с новой силой одолели сомнения в правильности сделанного поступка. Ему же ничего, собственно, не грозило в Москве: возраст, пулевое и штыковое ранение гарантировали стопроцентный "белый" билет, да и

вообще можно было устроиться на работу с "бронью". Молодёжь ушла на фронт, и вакансий хватало, только работай. "Где же меня теперь будут искать люди из организации? – думал он. – Выходит, я подвёл их. Не оправдал доверия и поставил под удар общее дело. Важное дело для всей страны".

Он долго размышлял над этим, и пришёл наконец к выводу, что вряд ли захотят те, кто планировал избавление от Сталина в мирное время, осуществить свой замысел в военное лихолетье. Подобная акция, несомненно, внесла бы панику в ряды сражающихся, подозрения, распри... Время, когда на карту поставлено не просто существование страны, а всего коммунистического мировоззрения, нужно было использовать на спасение самой идеи, хоть и в искажённом Сталиным виде, на спасение людей и страны от порабощения ещё худшими "преобразователями" Земли в планетарном масштабе. Нет, руководители организации – не те люди, чтобы отсиживаться в кустах и выжидать удобного момента для нанесения коварного удара в спину. Нет, они тоже здесь, на фронте, тоже воюют, успокаивал себя Бух, а значит, мы снова вместе, значит, я их не предал...

Так уж он, видно, устроен, этот Бух-Коломейчук, что не мог не сомневаться, не мог не терзать себя всевозможными вопросами и вопросиками. Ему всегда казалось, что судьба вертела им как хотела, а он лишь безропотно шёл по пути, проложенному ею, подчиняясь безысходным обстоятельствам, правда, при этом проявляя какую-то активность в желании отстоять своё право на самостоятельность действий. С годами он привык вначале что-то делать из самых лучших побуждений и со всей искренностью, а потом долго сомневаться в правильности содеянного им. Он тогда ещё не понимал, что не судьба правит им, а он сам, его вечные метания из огня да в полымя, его страхи и подозрения.

\*\*\*

Итак, район Вязьмы и Брянска, конец сентября 1941 года, звание – рядовой, должность – первый номер счетверённого пулемёта системы "Максим", смонтированного в кузове полуторки. Полуторка замаскирована огромной сеткой с разноцветными тряпками и стоит за углом большой конюшни, в которой живут несколько госпитальных лошадок.

Алексей Максимович пробыл в госпитале всего три дня, но успел здесь найти своего земляка по первой, по настоящей биографии, совсем молоденького военврача из Маёвки, лейтенанта Витю Зубкова, который, конечно же, никогда не знал и не видел Коломейчука Якова Даниловича, но мог поверить, что рядовой Бух Алексей Максимович когда-то в своём далёком детстве жил в его родном городке.

Да, землячество нигде так не роднит, как в армии. Будь ты старый или же молодой, рядовой или генерал, но тебя всё равно тянет встретиться, поговорить, сделать что-то приятное своему земляку. За три дня Бух с Виктором сумели подружиться, как отец с сыном. Обоих тянуло друг к другу. Каждый видел в сослуживце далёкий ответ довоенного домашнего очага и былого семейного счастья.

В госпиталь ежедневно прибывало много раненых, шли в основном "самотёком", никто их не возил, не сопровождал, поэтому тяжелораненых было сравнительно мало. Так продолжалось двое суток. По звуку усиливающейся канонады в госпитале с тревогой гадали о состоянии дел на фронте.

А фронт приближался быстро.

\*\*\*

И вот на третьи сутки сыграли тревогу и зачитали приказ о срочном отступлении на восток. Приказ есть приказ, выполнять его надо, а бензина нет. Как всегда, снабженцы подкачали.

Тогда поступает новый приказ: всё бросить и уничтожить, спасти только спецтехнику.

Ну что ж, этот приказ выполнили в точности. Весь оставшийся бензин слили в спецмашины, но до времени не жгли ничего, боялись, что могут "пришить" паникёрство. Такое в то время делалось сплошь да рядом.

«За простое подозрение можно было под трибунал угодить. Да и трибунал подчас был роскошью непозволительной, стреляли тут же, на месте подозрения. Не преступления, а именно "подозрения" в преступлении. Сколько так людей погубили, сколько судеб человеческих живым искалечили, сколько сирот оставили! Сколько потом, после войны, невинно убиенных списали на немцев, на боевые операции, на естественные потери в неравном бою с врагами... И сам Господь Бог не знает этого. Дьявол и дьявольщина, как и в гражданскую войну, одурманили народ зельем безумства. Вложил Владыка тьмы оружие в руки маньяков и трусов, надел на них комиссарскую и энкавэдэшную форму, и поставил начальниками над людьми мирными и беззащитными, аки овцы...» – Бух, на удивление себе, по привычке детских лет иногда снова чувствовал в себе потребность говорить и совершать поступки, соглашаясь с церковными правилами и лексикой.

Всем раненым, естественно, места на спецмашинах не хватало. И было решено, что медперсонал и легкораненые пойдут пешком.

И вот настал час выступления...

Ждать больше было нельзя, потому что по всем дорогам прекратилось движение войск на запад.

Наконец начальство решилось сжечь брошенные машины.

Так началось отступление Буха.

\*\*\*

#### Бегство

30 сентября 1941 года немцы начали свою наступательную операцию на Брянском направлении мощным ударом 2-й танковой группы Гудериана в районе Шостки.

2 октября рано утром фашисты нанесли главный удар по Западному фронту севернее Ярцева. Между 19-й и 30-й армиями образовался разрыв шириной до 40 километров, куда устремились немецкие моторизованные части.

По плану операции "Тайфун" группа армий "Центр" должна была тремя мощными ударами танковых группировок из районов Духовщины, Рославля и Шостки расчлнить оборону советских войск в районе Вязьмы, охватить Москву с севера и юга и одновременным ударом с фронта захватить столицу.

На четыре дивизии командарма Лукина наступало двенадцать вражеских дивизий. На левом фланге армии к концу первого дня враг завяз в предполье. Но к 4 октября гитлеровцам всё же удалось выйти к Днепру в районе Большеева, форсировать реку и захватить плацдарм.

Армии Западного фронта оказались под угрозой окружения. Об этом командующий фронтом доложил Сталину, но тот решения не принял. Тогда Конев доложил обстановку начальнику генштаба маршалу Шапошникову, Конев просил разрешения отвести войска на Гжатский оборонительный рубеж. Однако ответа из Ставки в тот день так и не последовало.

И тогда Конев приказал вывезти в район Вязьмы управление 16-й армии Рокоссовского, потребовал от Лукина снять с фронта 50-ю и 166-ю стрелковые дивизии и перебросить их туда же.

5 октября Лукин получил приказ Конева оторваться от противника и отойти к Днепру, где занимала оборону 32-я армия Резервного фронта. 6 октября дивизии Лукина подошли к Днепру. Здесь командарм узнал, что севернее противник с ходу прорвал фронт 32-й армии. 7 октября немцы вышли к Вязьме с севера и с юго-востока. В окружение попали 19, 20, 24, 32-я армии и группа генерала Болдина.

Военный совет фронта подчинил все эти войска командарму Лукину и приказал организовать их прорыв из окружения...

Всё это Бух узнал только в конце шестидесятых, а тогда...

\*\*\*

Госпиталь отступал медленно. Его колонну нагоняли не только автомашины, но и отдельные бойцы. Изредка пристраивались в хвост малочисленные подразделения, с трудом

сохранявшие видимость солдатского строя. Их вели уставшие молоденькие командиры, в основном младшего командного состава. Они не кричали, наводя порядок в строю, не заставляли никого идти в ногу, всё делалось как-то само собой. Люди тянулись к ним, видя в них единственную надежду на спасение и победу, и сами непроизвольно делали то единственное и необходимое в таких случаях, что спасало им жизнь. А командиры, вчерашние школьники, повзрослевшие в одночасье, взвалившие на себя громадину ответственности за жизнь многих и многих, доверившихся им, молчали, подавленные не столько непосильным грузом, сколько нежеланием быть разоблачёнными в своем невольном святом обмане, дававшем надежду.

Несмотря на то, что эти подразделения были сильно потрепаны, в них чувствовалась внутренняя сила. Сила, способная в будущем переломить ход войны.

Алексей Максимович давно догадался, что фронт распался на ряд мелких разрозненных очагов сопротивления, потому что не стало слышно сплошного гула орудий, лишь кое-где вспыхивали вдалеке, и каждый раз на новом месте, яростные звуки скоротечного боя...

"Что-то ждёт меня впереди?" – думал он.

\*\*\*

Ночью отдельные самолёты противника сбрасывали осветительные ракеты, минуты на две-три освещающие всю огромную колонну, уже остановившуюся к тому времени окончательно, и Бух с сожалением вспоминал тогда о своём "Максиме", сгоревшем вместе с полуторкой, так и не успев сделать ни одного выстрела по фашистам. Самолёты противника вели себя странно: не бомбили и даже, против обыкновения, не стреляли, резвясь, из пулемётов. Это нервировало.

По цепочке беспроволочный солдатский телефон передал, что где-то впереди не оказалось переправы и несколько тысяч солдат, машин и артиллерии скопились у воды, растянувшись по дороге километров на семь-восемь. С головы колонны всё время шли тревожные вести. Народ жужжал, как пчёлы в улье.

Подошёл Зубков, спросил с тревогой:

Что будем делать, дядька?

– Пойдём вперёд. Под лежачий камень... сам знаешь, – неожиданно даже для самого себя предложил ему Бух, и первым сделал шаг в голову колонны.

Их никто не остановил, никто не спросил, куда это они направились, потому что в колонне уже давно всё смешалось, каждый жил сам по себе, каждый был сам себе командир. Это было началом конца воинского подразделения как боевой единицы регулярной армии. И Бух уловил это одним из первых. Он давно почувствовал, что случилось непоправимая беда. Большая беда! Теперь жизнь каждого солдата будет зависеть только от его личной инициативы, потому что единого боевого и управляемого организма на этом участке фронта, способного к активному сопротивлению, больше не существовало. Деморализованная, запуганная нелепыми слухами вооружённая толпа не могла быть воинской частью, её участь, следуя жестоким законам войны, должна была решиться в ближайшее время. Сколько осталось этого времени, Бух не знал – час, сутки, двое? – но понимал, что настал момент, когда на карту уже в который раз поставлена сама его жизнь. И зря, значит, тешил он себя напрасными мыслями о непобедимости советской армии, обескровленной Сталиным ещё в проклятом тридцать седьмом году. Те, кто сидели с ним в лагерях, вряд ли допустили бы такой позорный разброд в самый ответственный момент военной кампании, а значит... Значит, надеяться на лучшее не имеет смысла – почти все бывшие с ним в лагере командиры Красной Армии уже давно в "штабе у Духонина", то есть в лагерных оврагах под колышком с номерком. Нужно принять единственное и верное решение... Пока не поздно. В плен сдаваться он не хотел и не мог. Слишком хорошо знал, что потом не отмоется до самой смерти от этого пятна. Чем помочь толпе несчастных мальчишек, одетых в солдатскую форму, тоже не знал, да и не смог бы, даже если бы увидел хоть какой-то просвет в их судьбе. Значит... Значит, он выбрал правильный путь.

Его спутник, молоденький лейтенант, некоторое время стоял, переминаясь с ноги на ногу, тоже что-то понимая, что-то предчувствуя, впрочем, как и все в этой несчастной колонне, и не двигался. Он был офицером, лейтенантом медицинской службы, на нём лежала громадная ответственность за судьбы раненых. Он был воспитан комсомолом, партией Ленина-Сталина, он должен воевать на чужой территории. Бух понимал его состояние, и ему было жаль совестливого мальчишку, связанного долгом и честью, но ему хотелось спасти хотя бы одного из этих несчастных, стоящих на краю гибели, и, вернувшись, он решительно потянул Зубкова за рукав гимнастёрки в голову колонны.

\*\*\*

Молча прошли они метров четыреста, и с каждым метром тревога нарастала всё сильнее. Никто ничего не знал точно, но все возбуждённо перешёптывались и насторожённо чего-то ждали.

Впереди показалась полоска реки в лёгком прозрачном тумане. Мост через неё был полуразрушен и частично сожжён. На середине несколько десятков метров между останками моста были совершенно пусты, лишь сваи сиротливо торчали из воды, темнея в лунной дорожке, словно обгоревшие пеньки на поляне. По берегу одиноко бродили обеспокоенные молчаливые командиры и рядовые. Кругом стояла удивительная тишина, только едва слышно плескались о берег волны таинственной реки.

– Знаешь что... – не выдержал Зубков. – Давай рванём... Ты же понимаешь, что здесь скоро будут немцы. Давай, дядька! Времени осталось мало. Промедлим – перестреляют в воде.

– А они? – Бух кивнул в сторону госпитальной колонны.

Он не совсем ещё доверял Зубкову, и очень обрадовался, когда мысль о бегстве на ту сторону первым высказал именно он, его непосредственный начальник. Так спокойнее, сообразил Бух. Не будет лишнее говорить у наших. Вслух же снова повторил:

– А они?

– Ты можешь им помочь? – угрюмо спросил Зубков. – Я – нет! И никто им уже не поможет. Никто! Ты разве этого не видишь? Не видишь?

– Прекрати истерику! Не слепой.

– Так чего ждать? Может, ты хочешь попасть в плен?

– Возьми себя в руки, Витя.

Бух впервые назвал лейтенанта по имени, и тот вдруг сразу успокоился от этого домашнего, неуставного обращения.

Бух пошёл к мосту, по пути захватив длинную жердину, и крикнул, чтобы Зубков нашёл себе что-нибудь подобное. Видя, что кто-то хоть что-то начал делать, за ними робко потянулись наиболее отчаянные.

\*\*\*

### Переправа

По уцелевшим перекрытиям моста их небольшая группа быстро добралась почти до середины реки. Спустившись по обгоревшей свае в воду, Бух зацепил жердину одним концом за целую сваю, вторым – за обломок, торчавший из воды. Течение намертво прижало жердь к сваям, и получилось нечто вроде примитивного понтона в одну жердь. Придерживаясь за эту жердь руками, Бух первым вплавь добрался до свайного пенька и, уцепившись за него, крикнул, чтобы Зубков передал ему свою доску.

Вода была холодная, почти ледяная, но это был единственный выход, возможный в данном случае. Без осеннего купания их ожидал позорный плен. По брёвнам, по доскам, вплавь от сваи к свае, они добрались до противоположного берега. С ними вместе переправилось несколько человек и, оглянувшись, Бух увидел, что реку продолжали переплывать десятки и десятки увязавшихся за ними. Что это была за река, Бух так никогда

и не узнал: может, Днепр, а может, и ещё какая водная преграда из бесчисленных на великой Руси...

У самого берега их приглушённо окликнули:

– Стой, кто идёт?

– Свои.

– Много тут своих ходит... Подходи по одному.

Тут же выскочили бойцы, наскоро обыскали и отвели в штаб части, стоявшей на позициях у самого берега.

В штабе в столь поздний час находилось необычно много народу, и это Буху сразу показалось странным. В боевой обстановке так быть не должно. Что-то происходит у них на этом берегу из ряда вон выходящее. Может, контрнаступление готовят? Нет, вряд ли. Настроение у них не для драки, скорее наоборот.

Всех переправившихся тут же допрашивали два офицера. Допрашивали скорее для проформы, так же быстро, как и обыскивали задержанных солдаты на берегу. Офицеры были армейцы, и спрашивали в основном Зубкова, оказавшегося старшим по званию. Потом отвели всех в какие-то сараи неподалёку и переодели в сухое – холодно всё же в мокрой одежде ночью, не петровки!

Переодеваясь, Бух, как настоящий хозяйственник, искренне удивлялся огромному количеству новой амуниции, собранной в одной воинской части и почти под открытым небом.

"Наверное, – думал он, – здесь должно было быть развёртывание новых подразделений. Ждали прибытия крупных сил новобранцев, не иначе. А тут... мы".

Ещё его поразило то, что допрашивали как-то... лениво. Непрофессионально. Никого не интересовало, что двое военных из госпиталя самовольно покинули свой пост и переправились на этот берег без приказа вышестоящего начальства и без какой бы то ни было видимой причины. Да и на остальных, по сути, дезертировавших из своих частей, точно так же не обратили ровно никакого внимания.

"А может, причина нашего бегства уж слишком очевидна для всех на этом берегу? – подумал Бух. – Почему же тогда они не ставят настоящее боевое охранение, не готовятся к бою? Почему никто не переправляет застрявшие части на том берегу, почему не спасает тех пацанов в военной форме?... А может... – похолодел от ужаса Бух, – уже всё кончено и здесь?"

Скорее всего, так оно и было, потому что иначе вряд ли приبلудным бойцам из разных частей и неизвестно каких соединений кто-то из традиционно прижимистых армейских интендантов просто так, за здорово живёшь, выдал бы новое обмундирование взамен замоченного в чистой речной водиче.

– Дело совсем плохо, – сказал Бух Зубкову. – Видишь, переодевают всех без разбора, никому не отказывают и нигде расписываться не просят. А переплыли уже сотни. Значит, не собираются здесь засиживаться, и всё, что нельзя будет взять с собой... Господи, сколько же народного добра пропадает!

Мысли в голове у Алексея Максимовича мелькали с лихорадочной скоростью, он анализировал события последних дней и минут, проигрывал то одну возможную ситуацию, то другую, и везде выходило одно: катастрофа! Надвигалась катастрофа, и избежать её уже было нельзя.

"Господи, доколе забудеши ны?" – неожиданно пронеслось в воспалённом мозгу. – Неужели до конца?"

Бух совершенно не удивился возникшей из небытия лексике и своему столь же неожиданному обращению к Господу Богу. Он даже не заметил этого и продолжал смиренно рассуждать сам с собою:

"Впрочем, не как мы хотим, а как Ты: воля Твоя да будет над нами! Значит, беззакония наши так велики, что правосудие Божие определило ещё наказать нас... Смиримся!"

Но именно смирения он и не хотел. И уже совсем иной голос вещал внутри его: "Зачем усомнился, маловерный? Ведь я же сказал заранее, что в мире скорбии будете, но дерзайте, яко Аз победих мир, что претерпевый до конца спасётся, что не будете подобны тем, кои во время счастья веруют, а во время напасти отпадают. Я с вами до скончания века".

– Воистину Царствие Божие внутри нас, – неожиданно тихо сказал вслух Алексей Максимович и переключился мыслями на иное...

Буху страшно не хватало информации. Он уже давно не слышал радио, не читал газет, не видел в глаза живого всё знающего политрука. Дорого бы он дал сейчас за клочок карты с истинным расположением войск, хотя бы приблизительным. Ему нужно было понять, что происходит на фронте, и здесь – тоже, как видно, не в тылу, – чтобы выяснить, где же он, наконец, находится, в каком водовороте исторических событий оказался на этот раз... Но газет не было, не было и радио. Слухи повторялись те же, что и на том берегу, а офицеры и политруки в лучшем случае болтали всякий вздор и приказывали не распускать языки, в худшем – молча опускали голову...

\*\*\*

Лейтенанта Зубкова и рядового Буха зачислили в один полк, в одну роту, которая была сформирована из переправившихся с того берега.

Буху выдали винтовку, и он стал бойцом стрелкового взвода. Перед рассветом новоиспечённое подразделение немного соснуло, но вскоре было поднято по тревоге и двинулось на восток, в сторону Москвы.

Те же, кто был за рекой, так там и остались. Когда уходили с места ночлега, Бух оглянулся на реку, но не увидел движения по своему понтонному мосту. Может, бойцы спали, а может, кто-то из шибко догадливых отцов-командиров запретил эту переправу, дожидаясь, когда сапёры наведут настоящую и прочную...

\*\*\*

"Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь.

И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты Господи, Который еси и был и свят потому, что так судил".

\*\*\*

### Колонна

В новой колонне шли недолго, часа через три её разделили на два потока. Один поток пошёл вправо, другой – влево. Вышло так, что поделили колонну в основном на технику и пехоту. Техника, вздыбив тучи пыли, тут же скрылась из глаз.

В колонне пехоты Бух с Зубковым протопали ещё часа три-четыре, пока не вышли на место, где валялось множество всякой бумаги, личных вещей, военное имущество разных родов войск и даже деньги, которые разносились ветром в разные стороны... Настроение у людей и так было подавленное, а тут и вовсе упало до нуля. Гнобили неизвестность и страх. Сразу за этой свалкой сделали короткий привал, и ещё километров десять протопали, задыхаясь в пыли. Когда только успели размесить грязь от последних дождей?

Неожиданно с хвоста колонны послышался рёв самолётов, трескотня пулемётов, взрывы бомб и снарядов... Все стали разбегаться кто куда. Бух впервые попал под бомбёжку, страшно перетрусил, как и все новички в этом деле, потерял Зубкова из виду и забегал по обочине в поисках укрытия. Страх лишил его рассудка. Ему казалось, что все самолёты охотятся только за ним одним, все пули и осколки летят только в его сторону. Хотел Алексей Максимович забиться под перевернутую взрывом автомашину, но она тут же загорелась от прямого попадания из пушки. Хорошо, что его не задело осколками и не оглушило, и он рванулся к лесу, у самой кромки которого наткнулся на вывороченную коряжину, с небольшой ямкой под корневищем. Залез в неё, и она оказалась словно на него сделана. Сверху от пуль и осколков надёжно прикрывали корни с прилипшей на них землёй,



по бокам плотно обнимала сама матушка-земля. На мгновение он почувствовал себя в полной безопасности. Через минуту-другую, осмелев, Алексей Максимович даже высунул голову из укрытия.

Вокруг паника. Стрельба... Бомбёжка, правда, прекратилась, но зато из леса в полный рост и цепью повалили... немцы.

Никто и не заметил, что самолёты уже не стреляют и не бомбят, а только имитируют атаки, проносясь на бреющем полёте над головами залёгших по кюветам бойцов.

Немцы шли по обе стороны дороги, стреляя из автоматов веером над головами лежащих вдалеке, поднимали пинками и сгоняли в общую кучу валяющихся рядом. "Лёс, лёс, рус, лёс!" – громко разносилось вдоль дороги. Пиная медливших коваными сапогами под зад, они снова строили всех в колонну, построив – быстро гнали вперёд.

Бух рассмотрел фашистов достаточно хорошо. Это были мотоциклисты. Плащи, каски с защитными очками, автоматы... словно пришельцы из другого мира мелькали у него перед глазами, словно страшные упыри и оборотни из детских снов появились наяву...

Он ничего не думал, только смотрел и запоминал. Смотрел и запоминал...

Вдруг кто-то сильный потянул его за воротник гимнастёрки и врезал чем-то по хребтине. Бух вылез из своего убежища и, бросив винтовку, поднял руки...

Сознание продолжало бесстрастно фиксировать всё происходящее с точностью кинокамеры, а чувств не было. Он был в шоке.

Кричали на дороге одни немцы, с нашей стороны всё делалось молча. Перепуганные красноармейцы поднимали руки и сдавались в плен, ещё не осознав этого, не соображая в достаточной мере, что секундой раньше поставили большой жирный крест на своей судьбе и судьбе своих родственников. Теперь они были военнопленные великой Германии, рабы, добровольно сдавшиеся на милость победителя, и потому ставшие преступниками на своей родине. Тень от их "гнусного преступления" легла и на все их семьи. Пока они этого не понимали, но очень скоро они это поймут.

\*\*\*

Плен  
Лагерь

Стемнело.

Наконец подошли к какому-то полю. В поле белело строение и вокруг него большой огороженный выбеленными жердями двор.

– Может, станция испытательная, может, ещё что, – сказал Бух Зубкову, которого, к счастью, быстро нашёл в толпе пленных, и теперь держался рядом с ним.

Лейтенант подавленно молчал. Сразу было видно, что в жизни ему до сегодняшнего дня везло, и он не имел опыта борьбы с невезухой. Счастливчик!

Пленных загнали во двор, уже наполненный такими же бедолагами. Немногочисленных раненых, сказали, можно положить в здании.

Бух с Зубковым тащили на себе последние километры раненного в грудь паренька. Он был в тяжёлом состоянии, бредил, но держался молодцом. Когда становилось лучше, пытался идти сам.

Во двор зашли почти последними, и когда протиснулись к зданию, в котором вроде бы помещался лазарет, здание было наполнено до отказа. Вокруг него грязь, кровавые лохмотья бинтов и обмундирования. Дверь оказалась закрытой, перед ней стоял немец с автоматом на шее.

Зубков начал что-то объяснять ему по-немецки. Но тот отрицательно мотал головой и угрожающе водил стволом автомата.

Неожиданно дверь открылась, вышел офицер в плаще, с двумя автоматчиками, охраняющими его. Зубков бросился в объяснения, чем на время задержал вышедших возле раненого.

Офицер вначале удивился знанию языка Зубковым, но, выслушав его просьбу, усмехнулся и пошёл дальше. Зубков схватил его за руку, и что-то сказал резко. Офицер молча ударил Виктора по лицу, а потом вернулся к раненому и, вытащив браунинг, застрелил паренька тут же, у стены так называемого лазарета. Проходя мимо лейтенанта, он что-то зло сказал ему.

Зубков стоял окаменев. Он не понимал, что произошло. Не понимал, как врач может убить раненого и остаться спокойным и злым на тех, кто пытался спасти несчастного.

"Это по молодости, по наивности. Потом пройдёт", – подумал Бух, беря Зубкова за рукав и оттаскивая в сторону.

- То ли мы ещё увидим, Витя! – сказал он ему вслух. – Немцы, видать, люди серьёзные.

Двор был почти весь забит военнопленными. Все были напуганы, взбудоражены случившимся. Если кто и питал радужные надежды на плен, на избавление у немцев от "сталинского рая", на возможность отсидеться за колючей проволокой, пока идёт драка гигантов на фронте, то сейчас эти надежды померкли. Жизнь тысяч людей в одно мгновение сделала роковой поворот, отрезав их от всего, что было ещё несколько часов назад смыслом существования, их настоящим и будущим, сделала их рабами, присутствие которых на земле зависело от прихоти цивилизованных дикарей в военной форме. В это поверить сразу было трудно, и люди смотрели на белый свет в непомерном удивлении, думая, что это сон...

Алексею Максимовичу тоже было нелегко, но привычнее. Колючей проволокой его не удивишь, как и бессмысленными убийствами тоже – есть опыт.

Постепенно во дворе возникли разговоры. Вначале вполголоса, потом стали выкрикивать наименования воинских частей, имена и фамилии, собираться в группки. Повсюду были слышны одни и те же вопросы: кто, где, откуда? Все искали товарищей, земляков, однополчан. Со знакомыми всегда легче, есть уверенность, что свои помогут, выручат.

Надвигалась ночь, люди устали и хотели спать, а спать-то и не на чем. Конечно, солдат-окопник привык ко всякому, но во дворе зловонная жидкая грязь, хотя дождей уже не было несколько дней и солнце пекло нещадно, не спать же в грязи? Хоть бы соломки постелить в проклятую жижу. И кто её замесил в этой изгороди? Будто нарочно готовили для несчастных!

У кого были плащ-палатки, подстелили их и кое-как устроились, остальные, побродив по двору, валились в грязь, закутавшись в шинели, уже не обращая внимания ни на что. Так обычно закладываются первые кирпичики распада личности в человеке – теряется уважение к себе, теряется ощущение человеческого в человеке.

Некоторые всю ночь ходили по двору, что-то выискивая, выясняя. К утру пленные поделились на группы по регионам проживания. Деление на принадлежность к воинским частям исчезло окончательно. Воля к активному сопротивлению в общей массе исчезла, как исчезли и командиры Красной Армии, а вместе с ними комиссары и политработники.

Затихли с рассветом.

\*\*\*

Рано утром у здания лазарета заговорил громкоговоритель, установленный на незнакомой немецкой автомашине.

– Всем построиться по национальностям! – проорал динамик по-русски.

Сразу началось движение по всему двору, крики. Кто-то поднял на палке рубаху и громко подзывал к себе украинцев. Бух с Зубковым подошли к нему, потому что ночью кто-то пустил слух, будто украинцев немцы не будут держать в плену, всех отпустят по домам. Вот они и решили сыграть на этом, так как свободно владели украинской "мовой" с детства.

Суэта в лагере закончилась довольно быстро, все уже и так были поделены ночью по территориальному признаку, что почти соответствовало признаку национальному.

По громкоговорителю вскоре объявили, что всех со временем отпустят домой, кроме комиссаров и евреев. Красная Москва капитулировала перед доблестными германскими

войсками, и вермахт успешно продвигается, не встречая сопротивления, уже в сторону Урала.

После этого сообщения во дворе наступила жуткая тишина. Слишком много потрясений за неполные сутки. Психологически не подготовленные к поражению молодые люди не могли так быстро всё переварить в мозгу, не могли вместить в своё сознание весь страшный объём столь краткой информации. На это и рассчитывали немцы: запугать, оглушить, сломать! И они больше чем преуспели в своём намерении. Чудовищная ложь в сочетании с шоком пленения на время превращала людей в безмолвных скотов. Правда, не всех. Одни – это были те, кто уже твёрдо видел себя на воле в родной хате – довольно усмехались, поглядывая на понурых "москалей", другие – их было не так много – стояли, не опустив голов, не пряча глаз, и твердили вполголоса, что всё это ложь, фашистская пропаганда...

\*\*\*

А верил ли немцам Бух?

Нет, он, как всегда, сомневался. Во всём сомневался: в том, что наши войска разбиты, в том, что немцы так быстро заняли Москву, сомневался в том, что отпустят по домам... И – самое страшное – сомневался в том, что можно одолеть немцев. Сомнение возникло не от их военной мощи, которую, честно говоря, он ещё и не видел по-настоящему, а от их самоуверенного вида, от их заграничного лоска, от их европейской сытости и франтоватости, так сильно бьющей по глазам среди растрёпанной и грязной толпы военнопленных азиатов... Этому сомнению суждено было прожить в Бухе долго.

Слишком долго!

И ведь на что его купили – на пшик! Так обычно делают мелкие наглые фраеришки в драке с сильным, но неопытным противником. Они берут его на "понт", пугая бицепсами и грязным, громким матом. И не дай Бог тому клюнуть на эту удочку – изуродуют!

Бух клюнул.

\*\*\*

Кормёжка

Громкоговоритель после небольшого перерыва вновь ожил и сообщил, что сейчас всех будут кормить. Каждая группа сама должна выбрать себе командира, которому и будет впредь подчиняться. С сегодняшнего дня все находящиеся в лагере объявлялись военнопленными, с вытекающими отсюда положениями.

Проорав свой текст, немцы вышли из машины и ушли за территорию лагеря.

Шло время, но никто не разводил огни полевых кухонь, никто не вёз термосы или, на худой конец, ведра с кашей. Часам к девяти люди, не евшие уже больше суток, начали волноваться, и это заметили часовые за изгородью. О чём-то посоветовавшись между собой, они стали громко звать кого-то со стороны леса. Через минут двадцать к воротам подъехали повозки, в которые были запряжены большие немецкие лошади, битюги.

Кто-то сказал, что это порода "арденн".

– Арденн так арденн, лишь бы жрать привезли скорее! – раздражённо выкрикнул кто-то.

Голод явно стал управлять сознанием и диктовать поступки пленникам. И всё равно военнопленные, в основном бывшие крестьянские парни, с завистью смотрели на громадных тяжеловозов, невольно сравнивая их со своими и колхозными клячами. Это тоже действовало на нервы угнетающе, на что, собственно, немцы и рассчитывали.

Все ждали нормальной еды, но на повозках вместо термосов и ведер оказалась сырая картошка. Толпа изумлённо расступилась, пропуская повозки к центру, потом вдруг разом бросилась к ним, сообразив, что больше им ничего не привезут. Немцы-возчики, тщедушные мужички в военной форме, сразу в кнуты: "Вер! Вер!". Не помогает. Люди осатанели, от голода в них пробудились первобытные инстинкты, и они набросились на сырую картошку, разбрасывая её в стороны, давя друг друга и толкая в суматохе раздражённых возчиков, словно пытались эмоциональным взрывом потушить бушующий в них самих пожар – пожар

обиды, пожар унижения, пожар издыхающей человеческой совести и гбнущей христианской морали.

Одного немца едва не стащили с повозки и пару раз то ли случайно, то ли нарочно ударили в грудь. Немец, ругаясь, вытащил пистолет и стал стрелять по головам наседающих на него и на повозку.

Он убил человек пять-шесть. Израсходовав все патроны, развернулся и уехал. За ним уехали и остальные. На этом завтрак закончился.

Лагерь молчал. После нескольких минут оцепенения зашевелились, разбрелись... Трупы отнесли к зданию лазарета и сложили у входа. Раненого перевязали и затолкнули вглубь толпы, чтобы не высовывался и зря не маячил перед часовыми.

И снова целый день толчея. Снова разговоры в национальных группах...

Зубков не выдержал:

– Бежать надо. Отощам совсем, они нас как мух передавят.

Бух ничего ему не ответил, лишь едва заметно кивнул головой. Они поняли друг друга и замолчали, подозрительно осматриваясь по сторонам. По лагерю уже полз страх: не предаст ли товарищ, не выдаст ли друг? Эпоха подозрительности и выискивания "врагов народа" не прошла для страны даром. Везде и во всём люди искали крамолу, видя враждебное для себя начало в других, подчас самых близких и преданных им. Пленники ходили по двору группками по два-три человека, бросали короткие фразы, дополняя их жестами, мимикой... И боялись друг друга. Не немцев. Соседа. Товарища.

– Так скоро на своих бросаться будем. Передушим сами себя, и фашисты не понадобятся. Дело нужно делать, – занервничал Зубков.

– Согласен. Но подождём немного. Ночь не самое худшее время в нашем положении.

Бух видел, что разложение мгновенно пустило свои ядовитые ростки в каждом военнопленном, в каждой душе, и теперь только один Господь Бог знал и ведал, что ожидало этих несчастных в будущем. У него у самого кругом шла голова не первые сутки. Предательские мысли, столь часто посещавшие его в последние годы, не покидали ни на минуту:

"Неужели всё? Неужели прав был отец? Что же теперь делать? Как теперь жить?.. Или... выжить?"

Вспомнил, как Коломейчук-старший принял Октябрь, как боялся последствий развязанной в стране кровавой гражданской войны.

"Но ведь не мы её развязали, не мы! – кричал он сам себе внутренним голосом. – Не мы жаждали крови, нас вынудили обороняться!"

Что толку в безмолвном крике? Отец не верил и тогда ни в какие доводы, а что бы он сейчас сказал? Ведь ещё в тридцать третьем бросил сыну в лицо:

– Это вы спровоцировали захват власти фашистами!

"Мы? Нет, я этого не хотел. Когда-нибудь потом умные головы во всём разберутся и скажут правду о нас, но... Но буду ли я тогда жив? И будем ли МЫ? Вот в чём дело".

\*\*\*

### Побег

Немецкая охрана за оградой несла службу не слишком ретиво. Их, наверное, опьяняло чувство лёгкой победы над сильным и грозным противником и коварное легкомыслие причастности к всеильному и всемогущему воинству, победоносно шествующему по миру, слегка туманило анекдотично трезвые головы потомков педантичных тевтонских рыцарей. Днём охранники лениво грелись на холодном осеннем солнышке, исправно следили, чтобы никто не перелезал через забор и чтобы в лагере не возникало драк. Но днём никто и не пытался бежать из лагеря, а драки... Кроме потасовки у повозок больше происшествий не было. К ночи же фашисты устанавливали на двух противоположных углах двора бронетранспортёры, и через каждые три-четыре минуты стреляли из пулемётов вдоль забора. С темнотой на них нападал страх, они становились истинными служаками, и смены

часовых с жестокой методичностью поливали землю со своих бронированных чудовищ тяжёлым немецким свинцом.

В принципе это мало помогало, потому что уже в первую ночь из лагеря бежали целыми группами. Люди быстро поняли систему периодичности в очередях пулемётов и легко проскакивали опасную зону в промежутках между очередями. Потом делали рывок вперёд и уходили через лес на восток, ориентируясь по звёздам.

Бух с Зубковым после "рывка к звёздам" первые километры прошли легко, без приключений. Скованная заморозком земля казалась городским асфальтом. Размешанная тысячами ног и отогретая сотнями тел земля лагеря осталась позади. Морозный воздух свободы пьянил и охлаждал грудь, вселял восторженную уверенность в везении и в близком выходе к своим.

Алексей Максимович так был возбуждён побегом, что при неясном лунном свете не заметил воронку из-под снаряда, заполненную водой, уже покрытой стеклянным ледком, и провалился выше колен. Солдатские обмотки и тяжёлые ботинки не пропустили воду, а вот галифе дали течь, заставив вздрогнуть от ледяной воды, и несколько остудили восторг свободного бега по ночному лесу. Пилотка, сорвавшись с головы, лежала на уцелевшем прозрачном льду, и Алексей Максимович, чертыхаясь, сделал ещё один шаг, чтобы взять её. Ледяная вода, словно ножом, резанула в пах, в голову сразу ударила мысль: только бы не простудиться. Большой в осеннем лесу – покойник!

Где-то километрах в десяти от лагеря они обменяли в деревне свою военную одежду на поношенные гражданские костюмы, и совсем стали похожи на мирных жителей, если бы не короткая стрижка Зубкова и уставная "нолёвка" Буха. По ним немцы легко находили переодевшихся красноармейцев и набивали ими лагеря для военнопленных новыми узниками. Бух не знал ещё тогда этого, но чувствовал всей кожей, что это улика, от которой необходимо скорее избавиться. Но как? Подумав, он решил обрить голову совсем. Да, вот такая блажь у человека непризывного возраста – бритая голова. И там же, в деревне, обрился наголо. Бритва у хозяев была тупая, навыков парикмахера у Зубкова – никаких, и голова вскоре запестрела бумажными наклейками с кровавыми точками посередине. Но Бух на это не обращал внимания. Маскировка удалась. Глядя на него, вряд ли кто мог подумать, что совсем недавно он служил в армии. Крестьянский костюм и измождённое лицо, обросшее трёхдневной седой щетиной, старили и дряхлили изрядно.

Конечно, немцев эта уловка могла бы ещё провести, но только не русских полицейских, уже появившихся в зоне оккупации. Они схватили Буха и Зубкова к вечеру того же дня и посадили в обыкновенную деревенскую баню. Дело осложнялось тем, что полицейские забрали у них документы, не отобранные немцами в лагере по безопасности победителей.

\*\*\*

Сидя в бане, Бух и Зубков решили, что будет лучше, если они расскажут полицейским правду про плен, про отступление (Свои же, русские, должны понять!), но маршрут на восток заменят югом. Мол, не в сторону Москвы топали, а в Донбасс решили дёрнуть, до дома, до хаты.

Неизвестно чем бы кончилось это враньё, но полицейским нужен был врач. У них оказалось двое раненых. Кто были эти раненые – неизвестно, но ранены они были серьёзно, и Зубков после их осмотра и перевязки ни за что не ручался: может, выживут, а может, и нет. Крови потеряли много, уход нужен госпитальный, медикаменты...

Староста деревни в благодарность за помощь и консультацию решил помочь пленникам, покормил варёной кукурузой, дал её немного на дорогу, не обделил и хлебом. Предложил идти железной дорогой, по которой немцы вроде разрешают пока ходить гражданским лицам. Так быстрее до дома добраться можно, если, конечно, дом в Донбассе...

Старик подумал-подумал и приказал двум полицейским подкинуть арестантов до станции на подводе. Это было похоже на почётное конвоирование.

Перед отъездом Бух с Зубковым помылись в той же бане, в которой сидели, и стали совсем нормальными мирными гражданами.

На прощание староста сказал, что немцы прошли здесь неделю назад, власти вокруг никакой нет, только местная полиция по деревням назначена. Идти на Москву не советовал, поскольку всех местных жителей, кто шёл на восток, немцы обогнали, и многие вернулись в деревню. Кто успел, конечно, и кто был жив от непрерывных в дороге бомбёжек.

Что ж, и за такую информацию можно было благодарить странного старосту, по крайней мере, становилась ясна картина поражения Красной Армии в летнюю кампанию 1941 года.

\*\*\*

Расставшись на станции с услужливыми полицейскими, Бух и Зубков, посоветовавшись, отказались от похода на восток и двинулись на юг. В Донбасс. Там свои. Может, что и придумают вместе. Наивно, конечно, с их стороны было рассчитывать на какие-то лучшие условия в родных краях, оккупация везде одинакова, но и рисковать понапрасну головой в незнакомых местах – тоже не выход. Они знали одно: дома и стены помогают. Авось всё обойдётся и они как-нибудь выкрутятся. Однако если у Виктора в Донбассе действительно были свои, то для Буха давно уже перепутались и друзья, и враги, и сам он не понимал своего нынешнего положения на оккупированной немцами территории. Подумав, Бух решил, что будет лучше, если он временно заляжет "на дно" и заживёт тихо-мирно, как самый настоящий обыватель времён военного катаклизма.

"Буду вживаться в образ Алексея Максимовича Буха в новых условиях существования и ждать прояснения ситуации. Ждать! – сказал сам себе Алексей Максимович. – Именно это мне было приказано делать в Котласе. Ждать и соблюдать глубокую конспирацию. Самодеятельность ни к чему хорошему не приводит".

Что думал Виктор о своём положении, Буха не интересовало вовсе. Отныне их пути-дороги круто и навсегда разошлись в разные стороны, и Алексей Максимович мысленно уже отделил его от себя, предоставив молодому человеку самостоятельно выбирать тропу жизни и дальнейшую судьбу.

\*\*\*

Через неделю они добрались до Маёвки. Немцы в зоне оккупации, на удивление, вели себя довольно беспечно, поэтому Бух и Зубков прошли до родных мест не одну сотню километров не предъявляя документов. А может, им просто повезло, фашисты ведь были ещё в победном угаре и не думали о серьёзном сопротивлении побеждённых. Они и впрямь были уверены, что народ, "освобождённый" от ига комиссаров и евреев, благодарен им донельзя и будет лизать за это их грязные пятки до скончания века.

Бух матерился:

– Победители, сволочи ... ! Погодите, как бы вам не пришлось пожалеть, что на свет Божий родились!

Во время "путешествия" по родным местам он вынес очень интересные наблюдения о немцах, об их дисциплине, о хвалёном "железном порядке" и тупой солдатской чванливости.

– Нет, русский мужик этого не выдержит долго, взбунтуется. Вот помяни меня, Витёк, добрым словом потом, взбунтуется. У немцев власть ненадёжная, хоть с виду и крепкая. Будет ещё кровь на святой Руси, и большая!

И хоть понимал он, что наступили времена тяжёлые и кровавые, сам в них хотел, как и многие, до поры отсиживаться в стороне. Сознал Бух, что грех этот с ним приключился из-за пошатнувшейся веры в идеалы юности и от многих страданий, перенесённых напрасно, от обыкновенной слабости человеческой и от страха перед неизвестностью. За последние годы он тяжко устал душой, и ему нужна была прочная крыша над головой, под которой бы он смог затаиться до поры до времени, отдышаться после долгой дороги в никуда, оглядеться... До поры, а там... На большее он и не загадывал, так как не знал, что ждёт его на

родине, как сложатся отношения с новой властью, да и просто будет ли он жив завтра – не на прогулке же они, в конце концов, здесь.

\*\*\*

#### В тылу у немцев

В Маёвке они сразу пошли к Зубкову в дом. Оказалось, что половина родни у того в эвакуации, половина не трогалась с места, оставшись на оккупированной территории добровольно.

"Зачем, почему? – думал Бух, искренне не понимавший, что мирное население во всём цивилизованном мире нигде не воюет и во время военных конфликтов предпочитает проживать дома, а не путешествовать по дорогам с отступающими войсками. – Может, наши их с заданием оставили, – строил догадки Алексей Максимович, – а может, просто не захотели с места сниматься? Нет, наши тут ни при чём! Вон сколько их по домам околачивается. Все агенты НКВД, что ли? Конечно же, добро, хозяйство... У-уу, частники проклятые, куркули! За барахло готовы душу дьяволу продать!" – ворчал он скорее на себя, чем на людей, бескорыстно приютивших его в трудную и опасную минуту. Ведь у самого-то не было вообще никакого дома. Он был бездомен, как пёс бродячий, и даже хуже того. С новыми документами и новой биографией не было ему места на родной земле. Не было! Он понимал, что ему нужно срочно и серьёзно подумать о своём будущем, если он ещё хотел жить на этом свете. Немцы, при всей их нынешней победной эйфории, люди действительно серьёзные, и если вдруг что-то пронюхают подозрительное, церемониться не станут – шлёпнут за милую душу, и оплакивать некому будет.

Прежде чем что-то предпринять, решил Алексей Максимович всё же показаться в доме бывшей жены, посмотреть что там и как. Душа-то болит по старой жизни, не железный же он, с мясом прошлое от себя отрывает, да и дети там... Это было, конечно, опасно, могли узнать и донести соседи, поди потом доказывай, почему у тебя, у бывшего партийца и зэка, документы на имя какого-то Буха, но он решился.

\*\*\*

В родных местах Бух с изумлением увидел много знакомых мужиков, молодых, здоровых, со стрижкой под "ноль", сидящих по родным хатам и чего-то ждущих.

"Вот оно что! – сообразил Алексей Максимович. – Значит, и они прошли тем же страшным путём, что и я. Значит, и они ещё не определились в этой новой и странной жизни... Эх, как нужна сейчас твёрдая руководящая комиссарская рука, способная собрать всех воедино и повести..."

Но куда вести, куда? Армия с пушками и танками разбита, так неужели немцев одной трёхлинейкой взять можно? Да и где она, трёхлинейка? Нет, здесь иное нужно... И руководители нужны, руководители! Центр! Штаб! Кадры! Кадры, которые решают всё..."

О родных Бух ничего толком так и не узнал. Жена, по слухам, проживала на далёком хуторе в здравии и в согласии с его преемником, дочери были с нею, в его помощи никто не нуждался и свою не предлагал. Настроение у Буха было препаршивейшее, потому что каждая улица, каждый дом родного города, которые чем-то были связаны с Александрой, вызывали у него почти физическую боль, напоминая о жене, о детях, сердечной режью заставляли думать о тщетности существования на земле, и не прибавляли сил, а наоборот, отнимали последние.

"Господи, как же это непереносимо трудно – быть обманутым любимым человеком! Как мучительно больно любить предателя, безжалостно растоптавшего в твоей душе всё самое чистое и светлое! Как трудно после этого сохранить в себе человека и не пустить пулю в лоб..."

И решил он не испытывать больше судьбу, а мотануть куда-нибудь подальше, где о нём знать не знают...

По сведениям, которые Бух собрал в дороге, в Яркино, маленьком шахтёрском городке, был староста и местная, никем не управляемая полиция. Шахтами заведовал пожилой немец, с десятком солдат вермахта. Никаких притеснений с их стороны жители ещё не испытывали.

"Но это только начало. Дай им осмотреться да вникнуть в нашу жизнь... – размышлял Бух. – И всё-таки какой-никакой, а шанс есть. Есть в городе и надёжный адресок на первый случай".

Этот адресок ему дал Витя Зубков, добрая душа, провожая старшего товарища в дорогу. Он надеялся на скорую встречу и, возможно, совместную борьбу с врагом.

Бух не надеялся ни на что.

\*\*\*

В первые дни войны шахты Донбасса работали очень продуктивно, но весь уголь шахтёры вывезти уже не могли – катастрофически не хватало вагонов, и вся территория вокруг шахт была завалена советским "чёрным золотом". Уходя, наши взорвали шахты, но запасы угля оставались на поверхности земли колоссальные. И это всё досталось немцам, которые почему-то с реализацией захваченного в первые месяцы не торопились. Угольные залежи поливались дождём, развеивались ветром, проклинались оставшимися в оккупации шахтёрами и их жёнами, в две смены добывавшими их для фронта при Советах, но от этого горы угля не уменьшались и не исчезали.

Вскоре на шахтах Яркино появился человек, заведовавший у немцев ресурсами. Он довольно быстро собрал команды шахтёров и заставил их работать на рейх. Одни собирали так нужный великой Германии цветной металл, другие сортировали битый кирпич и свозили в общие кучи уголь.

Голод не тётка, да и расплачиваться за хлеб-соль с незнакомыми людьми было нечем, поэтому как ни не хотел, а на работу Алексей Максимович всё же был вынужден выйти.

Шахтёрской специальности у него не было, вряд ли могли пригодиться и его бухгалтерские знания в условиях нового "немецкого порядка", поэтому надежд на "хлебное" трудоустройство Бух не имел никаких. При его здоровье, он это знал, долго работать физически Алексей Максимович был не в состоянии. В лучшем случае проработал бы полгода и сдох на куче холодного угля, добывая тепло германским печкам и каминам. Посомневавшись в очередной раз в правильности избираемого пути, Бух пришёл к немцу, ведавшему ресурсами, и рассказал ему всё по легенде. Пожаловался на ранения и нездоровье, на возраст. Особенно нажимал на подробности последнего месяца жизни, усиленно показывал свой страх перед военной мощью германской армии. Не скрыл, что был в плену и бежал из лагеря. И эта откровенность немцу понравилась очень.

Он ответил:

– Хорошо, старик! Если ты такой откровенный, такой правдивый, ты будешь старшим над рабочими. Будешь получать хороший паёк, и великая Германия никогда не напомнит тебе о твоём побеге из плена. Я Франц Цепнер, гауптман, по моей записке ты получишь всё, что тебе нужно.

Бух так сумел понравиться гауптману, что тот сам решил показать "правдивому русскому старику" объём его работы на территории одной из шахт и объяснить смысл самой работы.

\*\*\*

На службе великой Германии.

На большом отвале шахты масса людей собирала в мешки куски угля. Гауптман, увидев это, расвирепел, выхватил пистолет и хотел стрелять в воздух, но пистолет несколько раз дал осечку, и это ещё больше взбесило Цепнера.

– Ферфлюхтен!.. Ферфлюхтен!.. – орал он во всё горло, и в бессилии целился в людей и нажимал на курок.

Собирающих уголь как ветром сдуло с отвала.



Бух, неплохой знаток людей, сразу понял, что эксцентричный немец не такой уж великий ум и практичный хозяин, коли, сидя, образно говоря, на вершине разлагающегося угольного Монблана, ничего не делает для его спасения, но зато сам на глазах у подчинённых и жителей посёлка пытается охранять песчинки от доставшегося ему богатства силой неисправного личного оружия. И Бух сделал для себя соответствующие выводы.

Буквально на следующий день Алексей Максимович настолько осмелел, что спросил у гауптмана через переводчика:

– Неужели господин гауптман в самом деле хотел стрелять в этих несчастных?

– Да! – ответил гауптман твёрдо. – Германия никому не позволит безнаказанно грабить её военную добычу. Меня пистолет подвёл. Я получил его ещё в Париже, и с тех пор ни разу не стрелял из него. Я не кадровый офицер.

– Как? – искренне удивился Бух. – У вас же ранение, шрам на щеке.

– О нет! Я фон Цепнер! Это понимать надо. Это удар рапиры. Да!

И хотя поначалу Бух ровным счётом ничего не понял из сказанного, но он благоразумно сделал глубокомысленно-озабоченное лицо и почтительно склонил голову, обрастающую седым ёжиком волос.

Так он начал работать на немцев в должности заведующего угольными складами и отвалами. И это была самая настоящая удача. Столь важный пост в той непростой обстановке значил многое: Бух исправно распределял, продавал, а кому-то и выдавал всё необходимое по личным запискам самого гауптмана. Мог и на свой страх и риск пустить что-нибудь "налево", но аккуратно, не нахальничая. Так у Алексея Максимовича завелись деньги, вино, продукты питания, а в скором времени у них с Цепнером возникло даже нечто вроде дружбы.

\*\*\*

В конторке у Буха всегда толпился народ, и народ разный, поэтому у него всегда имелась возможность урвать чужой кусок масла на свой кусок хлеба. Отныне он уже не тревожился за своё неустроенное ближайшее будущее, боялся только старых знакомых, которые могли узнать и донести немцам о том, что он коммунист Коломейчук, а не Бух, и тогда немцы, не разобравшись, могли просто шлёпнуть "правдивого старичка" как советского агента. И ещё он боялся оставаться тёмной ночью один.

Долго не мог заснуть, ворочался в постели, думая о своей теперешней жизни, о судьбе несчастной страны, сражающейся далеко на востоке, о партии...

Он не считал себя предателем, потому что работал на немцев под чужим именем, но чувствовал, что иначе назвать его трудно. И в ночном одиночестве Буха не утешали придуманные наспех оправдания, разумные доводы "за" и не менее логичные доводы "против". Он знал, что должен был или бороться с врагом, или сделать шаг в противоположную сторону. Невольно, под давлением обстоятельств, он уже сделал этот шаг, как сделали его миллионы сограждан в оккупированной зоне. Но его личная сопричастность к толпе рабов Германии не приносила утешения. Бух страдал душой.

\*\*\*

Власти, в привычном понимании этого слова, в городке не было никакой, но зато существовала итальянская комендатура. Эти итальянцы были то ли из дивизии "Позубио", то ли из корпуса "Торино". А может, и наоборот. Командовал ими комбат Ферванти – полковник. С ним Алексея Максимовича свёл однажды неугомонный гауптман, относившийся к южным союзникам несколько иронично. С полковником у Буха вскоре также наладились самые тесные контакты. Итальянец был на редкость свойским парнем, большим любителем выпить и повеселиться. Притом оба они оказались, как считал комбат, одного года – 1891.

Вообще к итальянцам у Алексея Максимовича сохранилось больше симпатий, чем к немцам. Они не зверствовали и были, конечно, лучше гитлеровцев во всех отношениях. Но

всё равно это были оккупанты, и водить с ними знакомство вряд ли нужно было, тем более на виду у всех русских жителей городка. Бух это понимал преотлично, как, впрочем, понимал и то, что жить и работать в оккупированном врагами городе и не водить с ними знакомство – невозможно. Да и опасно. Очень опасно сторониться тех, кто в силе и ищет не только встречи с тобой, но и дружбы.

\*\*\*

#### Качентраменто

Однажды, месяца через три после своего трудоустройства, поехал Алексей Максимович на соседнюю шахту, и там был неожиданно арестован итальянскими солдатами. Его арестовали и посадили в "качентраменто" – в лагерь.

В лагерь итальянцы уже до чёрта собрали здоровых и сильных мужиков, которых прилично кормили, работой не изнуряли, и даже разрешили вести переписку. Никаких объяснений и протестов от Буха не принимали, заявляя на все просьбы одно:

– Поедешь вместе со всеми на фронт, копать для нас окопы. А пока сиди, отдыхай, набирайся сил, они тебе ещё пригодятся.

Хорошо, что за забором лагеря Бух увидел знакомого парня, и попросил его, чтобы тот сказал Ферванти о том, что его русский друг сидит в "качентраменто".

Через трое суток Алексея Михайловича освободили из лагеря. Приехал итальянец на трескучем и вонючем мотоцикле и увёз его назад на шахту. Вот тогда Бух и понял, что знакомство с фашистами может нести не только опасность, но и выгоду.

«В итальянском "качентраменто" кормили действительно хорошо. Даже очень! – с удовольствием вспомнил Бух блюда южной кухни. – Каждый день давали итальянские макароны с распаренным варёным мясом. Очень вкусная еда! Если бы не предстоящая отправка на фронт, можно было бы и дальше сидеть у итальянцев, ей-богу!»

\*\*\*

#### Свобода в плену

И вот Бух снова на работе, снова в обществе оккупантов. Работает, как всегда, на совесть, потому что откровенно боится немцев, опасается опереточных итальянцев и чувствует смутную тревогу в присутствии соотечественников.

Да и как не бояться немцев? Они уже успели себя показать не с лучшей стороны. Вся округа стонет и полнится страшными слухами. И все вокруг их боятся, даже итальянцы. Боятся и ненавидят, но работают так же, как и Бух. Слишком уж большие мастера оказались господа фашисты по части нагнетания всяких ужасов: тут и виселицы в центре городка, и массовые расстрелы, и порка... И всё прилюдно, всё открыто до безобразия, как в анатомке. Жизнь превратилась в бессмыслицу, в адову пытку, и единственным светлым лучиком у горожан была надежда на приход наших.

Фронт был ещё далеко, но уже к началу сорок второго года многие поняли, что немцы и в этой войне проиграли. Даже те, кто искренне хотел поражения ненавистным Советам, видели, что сорок первый год больше не повторится. Но сколько ещё продлится этот вселенский ужас, называемый новым немецким порядком? И кто выживет к приходу наших, если уничтожение русского народа будет идти такими темпами?

В сорок втором из городка угнали всех итальянцев на фронт. Угнали под Калач, а может, ещё куда подальше. Бедные потомки римских легионеров, нёсшие в своих генах воспоминания о распятом Иисусе Христе, принявшем страдания во искупление всех грехов человеческих, страшно не хотели уходить с обжитого места, будто предчувствуя свой бесславный конец в нескончаемых просторах ледяной России, ставшей вскоре их собственной Голгофой.

И опять Алексей Максимович остался один на один с гауптманом и его командой, число членов которой возросло за счёт призывников старших возрастов, негодных на фронт, но вполне способных заменить на оккупированной территории ненадёжных союзников.

\*\*\*

### Диалоги

Оставаясь одни, Бух с гауптманом вели бесконечные разговоры о жизни. И тому, и другому были интересны эти беседы, многое им становилось ясно не только в собеседнике, но и в его народе в целом. К тому же у них уже не существовало языкового барьера, что, несомненно, делало их встречи привлекательнее. Бух довольно быстро научился сносно понимать по-немецки, а фон Цепнер по-русски. Его предки, оказывается, некогда жили в России, в Прибалтике, знали наш язык по учёбе в Петербургском университете, и дома любили говорить по-русски. Ну, а Буху, видно, не прошло бесследно длительное общение в детстве с немцем учителем. Какие-то основы разговорного немецкого языка крепко сидели в его восприимчивой к точным знаниям голове и дали результат только сейчас.

Гауптман в разговоре с русским специалистом любил хвастать своим талантом инженера и всячески превозносил "немецкий порядок" во всём, даже в интимных отношениях между супругами. Это было довольно необычно и противно слушать от здорового и полного сил мужчины в возрасте, но Бух с ним благоразумно соглашался: да, для здоровья порядок необходим... Сам он с женщинами не имел дела со времени первого ареста органами НКВД, и большой потребности в этом не испытывал и по сей день, хотя в оккупации возможности у него были по женской части преогромные. Просто Бух в первый год супружеской жизни дал сам себе клятву никогда не изменять жене. Никогда! И, несмотря на её измену, он оставался верен своей клятве, потому что всё ещё любил жену. Бух – жену, а гауптман, похоже, – разговоры о женщинах и мундир. Немец постоянно чистил его своей маленькой красивой щёткой, привезённой из Франции, и смотрелся в любое зеркало, попадавшееся ему на пути. Этим он напоминал Буху капризного ребёнка, увлечённого своей единственной и чем-то очень дорогой для него игрушкой.

Ещё фон любил принимать у себя в доме гостей, особенно начальство, которое к нему относилось вполне благосклонно, потому что в Берлине у Цепнера были большие связи в самой рейхсканцелярии.

Бух расспрашивал его за рюмкой водки о разном, но в основном о жизни в Германии, хотел разобраться в немецкой идеологии и понять первооснову их жестокости и силы.

Например, он как-то спросил:

– Господин гауптман! (Цепнеру очень нравилось именно это обращение. И хотя воинское звание для его возраста было небольшим, он им очень дорожил, как всякий гражданский человек, призванный в армию из запаса и стремящийся показать себя окружающим истинным и прирождённым душкой-военным.) – Мы, русские, как и все в мире, знаем немцев только с хорошей стороны: вы и учёные отменные, и добрые хозяева, и чистоплотные, и вообще... представители высшей расы... Но как вы допускаете зверства в отношении других народов? Почему у вас существует антисемитизм? Ведь это, извините... Это чуждо здравому смыслу.

– Ничего, ничего, не извиняйтесь! – усмехнулся Цепнер. – Это в вас говорит ваша добрая русская душа. У вас в России всего много, поэтому вы так терпимы. Вы слишком богатая азиатская нация, но вы не умеете пользоваться своим богатством. Вот мы и пришли к вам, чтобы вы поделились с нами, бедными европейцами. А антисемитизм... Антисемитизм возник оттого, что в Германии слишком много было евреев. Немцам жить стало трудно, даже плохо. Это правда! Евреи взяли власть в свои руки, они прибрали всё оставшееся у нас богатство к себе в сундуки и хотели вообще нас уничтожить. Да, да, уничтожить! Мы не могли этого допустить, поэтому мы, истинные немцы, поддержали антисемитизм. Мы одобрили, как вы говорите, зверства против евреев в силу исторической необходимости и лишь для того, чтобы выжить как нация. Мы только защищаемся от них! Поверьте, только защищаемся.

Фон Цепнер был большой любитель порассуждать на отвлечённые темы и не мог сразу остановиться, если вопрос его каким-то образом задевал за живое или же просто был

сложным, неоднозначным и требовал определённой доли изворотливости при ответе. Он неоднократно возвращался к уже сказанному, интерпретируя ранее высказанную мысль по-новому, подходил к сказанному с иной точки зрения, сыпал цифрами, именами, но всегда и при любом случае стремился более ярко доказать то, что хотел. В нём несомненно погибал очередной "великий учитель и вождь", оратор и пламенный трибун, демагог и болтун, и именно поэтому он ценил Буха, слушавшего со вниманием любую чепуху, которую Цепнер нёс самозабвенно. Других слушателей у фона не было.

– Конечно, – продолжал гауптман, – нас можно обвинить в излишней жестокости к представителям еврейской национальности. Но вы плохо знаете историю этого... народа. И никто не знает, потому что незримая цензура во всех странах распространила категорический запрет для всех, кроме евреев, на изучение их истории. Нееврейям изучать историю "богоизбранного народа" не рекомендуется.

– Почему?

– Вот именно, почему? Почему это можно и даже должно изучать историю Ассирии, Вавилонии, Египта, Греции, Рима, русских, немцев, японцев, англичан, а из истории евреев выбраны лишь отдельные выгодные для них факты? Вы это хотите спросить? Шире откройте глаза на нашу жизнь, мой друг! – гауптман нервно зашагал по комнате. – Среди народов Земли есть один проклятый Богом и людьми народ, давно лишённый государства, осуждённый скитаться за свои безмерные преступления по миру и живущий среди других народов. Среди других народов он живёт своей замкнутой внутренней жизнью за счёт окружающей среды. Проживая в чужой среде, он в то же время старается влиять на окружающее население, извлекать из него всевозможные выгоды, подчинять его своему влиянию, – продолжая расхаживать, гауптман потирал руки, словно мыл их под краном с водой. – Еврейство, следовательно, в какой-то степени участвует во всём, что происходит вокруг нас: ведь нет страны, кроме Японии, где бы не было евреев, где бы они не достигали временами больших вершин влияния и могущества! Следовательно, еврейство выступает перед нами как некий мировой фактор: хотим мы этого или не хотим – игнорировать его никак нельзя...

Видя, что Бух внимательно слушает всё, что изрекает гауптман, последний с удвоенной энергией принялся объяснять несведущему славянину теорию расовой неприязни.

– Иудизация современного мира, захватывающая все стороны государства, хозяйства и культуры, представляет собой страшный факт современности, гораздо более страшный, чем чума, землетрясение или нашествие гуннов. 80 % мирового капитала, 60 % мировой прессы принадлежат "вечным сторонникам Талмуда". Кто об этом в мире знает? Всё покрыто тайной, потому что рычаги дезинформации мирового сообщества у евреев...

Цифры, приводимые гауптманом, подействовали на Буха шокирующе, но, как вечный скептик, он тут же подумал, что будь это так, то всё, что говорит стареющий "камрад", наверняка тоже является плодом творения евреев. Но вслух сказать свою мысль не решился. Как не решился спросить самого себя: зачем евреям всё это нужно? И почему, собственно, он этого испугался?

– Не-ет, не мы первые начали, – протяжно тянул гауптман. – Но именно нам необходимо покончить с ними. Это наша историческая миссия... Иудейство – это элемент антисоциальный по преимуществу... – говорил он как бы сам с собой. – Не у народов, принявших в свою среду евреев, нужно искать причину еврейских страданий, а у самих евреев. Вот объяснение вопроса, откуда появляется вечная ненависть к евреям. Ведь даже самый знаменитый еврей Карл Маркс говорил: "Какова светская основа еврейства? Материальные потребности, своекорыстие. Каков земной культ еврея? Торгашество. Кто их земной Бог? Деньги... Деньги – вот ревностное божество Израиля. Эмпирическая суть еврейства – торгашество", – гауптман многозначительно поднял палец правой руки вверх и продолжил: – Народы мира никогда не пойдут вслед за евреями-ростовщиками, несущими гибель любому производству, любому талантливому человеку иной национальности, кроме еврейской, конечно, потому что знают: в этом их гибель.

Вы понимаете, о чём я говорю? – спросил гауптман Буха, строго глядя ему прямо в глаза.

– С трудом, – честно признался Алексей Максимович. – Я слишком много испытал за последние годы и вынужден был жить долгое время, аки червь земной, думая о выживании, а не о глобальных вопросах, ответы на которые всё равно не знаю.

– Жаль! – искренне сказал гауптман. – Очень жаль! Потому как еврейский вопрос – один из наиболее жгучих социально-политических вопросов, заново поставленных переживаемой нами эпохой. И вы многое могли бы понять и переоценить в своей тяжёлой прошлой жизни, если бы основательно взялись за его изучение, – многозначительно заявил Цепнер. – Редкий мыслитель, учёный или писатель проходил мимо этого вопроса, не заинтересовавшись им, – продолжил с пафосом гауптман свою просветительную лекцию об антисемитизме. – Ибо один уже факт существования многомиллионного народа с резко обозначенными племенными признаками, с особыми верованиями, особой культурой, особым бытом и объединённого сильным национальным самосознанием, но не имеющего собственной государственной территории, – факт совершенно исключительный, не имеющий никаких параллелей в истории других народов.

Бух промолчал.

– Поэтому я понимаю, как трудно подойти к еврейскому вопросу вам, русским, ибо роль еврейства в современной трагической судьбе вашего народа столь ярка, столь очевидна и столь многозначительна, что невольно должна вызывать в каждом из вас сильную эмоциональную реакцию. Кроме того, в русской интеллигентской умонаправленности существует в отношении еврейского вопроса особая традиция. Один из ваших талантливейших публицистов, Дорошевич, писал: "Русский интеллигент подходит к еврейскому вопросу только на цыпочках и чуть дыша от страха". От страха прослыть "нелиберальным", то есть "некультурным" – добавим мы. – Эпоха демократического либерализма выносила немало подобных ложных "истин", которые систематически вбивались в головы читающей публики, находившейся под сильным влиянием еврейской прессы. Смелчак же, позволявший себе высказывать публично определённо отрицательные взгляды на еврейство, немедленно навлекал на себя уничтожающие клички: "черносотенец", "погромщик", "хулиган"... Антисемитизм и хулиганство сделались для вашей либеральной интеллигенции понятиями тождественными. Большевицкая же революция, протекавшая при деятельном и огромном по своему процентному отношению участии евреев, поставила еврейство в особенно привилегированное положение: антисемитизм был приравнен законодательно к уголовным преступлениям, и всякое проявление антисемитизма каралось советской властью как антигосударственное преступление, с неумолимой суровостью.

Ну уж это-то вы должны, наверное, знать? – обратился гауптман к Буху, намекая на его заключение в советском лагере.

Алексей Максимович утвердительно кивнул головой. Действительно, в лагере ему встречались и такие заключённые.

– Революция в России была еврейской революцией, ибо она есть поворотный пункт в еврейской истории, – продолжал гауптман. – Положение это вытекает из того обстоятельства, что Россия является отечеством приблизительно половины общего числа евреев, населяющих мир, и потому свержение деспотического царского правительства должно было оказать огромное влияние на судьбы миллионов евреев, как живущих в России, так и тех многих тысяч, которые эмигрировали из неё в другие страны. Кроме того, революция в России – еврейская революция ещё и потому, что евреи являлись самыми активными революционерами в царской империи. Наша с вами сегодняшняя цель – способствовать правильному разрешению еврейского вопроса освобождёнными от еврейско-коммунистической диктатуры народными массами, готовящимися приступить к постройке новой и лучшей жизни. Народ, желающий жить и выжить, должен понять всю глубину еврейской опасности и, поняв, принять радикальные меры к её устранению, – гауптман сделал акцент на последней фразе, подведя некую итоговую черту под интересным для него разговором. – И вот здесь возникает вопрос: кто, если не мы, наиболее активная часть

народонаселения планеты, может остановить евреев? – гауптман задумался. – Кстати, у вас, у русских, давно существуют настоящие фашисты, организованные в крепкую партию. Правда, они проживают пока только на Дальнем Востоке, в Манчжурии, но кто знает, сколько их рассеяно по всей России! Знаете, какой основной лозунг они выдвигают в национальном вопросе?

– Откуда мне знать? – сказал Бух. – Ведь кроме коммунистических газет и коммунистического радио в советской России почерпнуть информацию неоткуда.

– "Россия для России"! – со значением произнёс гауптман, вновь подняв указательный палец правой руки к потолку. – Они стремятся создать на территории вашей страны под руководством фюрера и дуче настоящее Великое Русское государство, настоящую русскую власть, которая будет заботиться о русских национальных интересах, интересах российской нации. И по своему национальному составу будет русской властью! Российским государством должны – со временем, конечно – управлять сами русские, как представители большей нации в стране... Вы мне не верите? – неожиданно насторожился фон Цепнер, подозрительно уставившись на Буха. – Считаете, что это лживая немецкая пропаганда?

Бух, смутившись, неопределённо пожал плечами.

– Нет, не пропаганда! – убеждённо сказал гауптман, довольный явным замешательством собеседника. – Каждое фашистское движение в каждой стране идёт к осуществлению наших общих идеалов сугубо национальными путями, вкладывая в фашистское движение своё собственное содержание. Внутренняя сущность российского фашизма определяется его стремлением к служению российской нации, к созданию российского национально-трудового государства – государства российской нации и существующими в России условиями и обстановкой. – Гауптман сделал паузу, успокоился и продолжал совсем как университетский профессор на лекции перед студентами-первокурсниками. – Главнейшее отличие российского фашизма от других фашистских движений заключается в том, что российский фашизм должен прийти на смену коммунизму, в то время как фашизм в Италии и Германии заменил собой либерально-демократическое государство и капиталистический строй. Поэтому российский фашизм в своей практической политике должен идти путём раскрепощения, путём предоставления русскому народу известной сферы внешней свободы, конкретно выражающейся в признании частной собственности, свободы труда, свободы вероисповеданий, научного творчества, и даже в определённых пределах свободы печати, слова и так далее. Естественно, мы, немцы, окажем своим братьям по борьбе только первоначальную помощь, а дальше... – гауптман усмехнулся. – Дальше они должны продвигаться сами. Российский фашизм, кстати, имеет глубокие корни в русском историческом прошлом. Вспомните времена царя Алексея Михайловича.

Бух удивился знанию русской истории захватчиком земли русской и с удвоенным вниманием пытался понять то, что тот ему втолковывал.

– Ведь весь государственный строй того времени представлял не что иное, как прототип современной корпоративной системы, – разглагольствовал гауптман. – Всё население было организовано по чинам – корпоративным объединениям. Вы, наверное, знаете, что корпоративный строй обеспечивает государственной власти надклассовый – независимый от классовых и личных влияний – характер.

Бух вообще тогда не знал и не понимал, что такое "корпоративное объединение", но помалкивал, подобострастно кивая головой, потому что видел, как гауптман нехорошо "заводится" на еврейском вопросе.

– Он, этот характер, – продолжал гауптман. – может превратить государственную власть в подлинного стража общих национальных интересов. Интересов всей российской нации. И вот здесь снова вернёмся к началу нашего разговора...

Кстати, вы знаете, что в России евреи как часть её населения появились только в 18 веке? – неожиданно спросил гауптман.

Бух в знак согласия молча кивнул головой.

Фон Цепнер остановился на секунду, задумался, глядя на Буха мутными глазами, а затем сказал:

– Я вижу в вас определённое сомнение в услышанном.

– Да нет, что вы! Я вам верю. Да я и сам немного знаю историю России, – испуганно произнёс Бух.

– Это хорошо, историю своего народа нужно знать, – похвалил Буха фон Цепнер. – Я вам докажу на исторических фактах, и вы со мной согласитесь, что не только немцы жестоки к евреям. Возьмём, например, ваши еврейские погромы. Что это, если не антисемитизм?

– Это всё в прошлом, – только и мог возразить гауптману Алексей Максимович внезапно охрипшим голосом.

– Возможно. Не будем уточнять, что и как есть на самом деле, – не стал накалять обстановку гауптман. – В вас всё ещё сильна коммунистическая закваска, но вы очень скоро с ней расстанетесь, уверяю вас. Вы слишком долго находились в духовной изоляции от цивилизованной Европы. Вашей стране придётся нас догонять по многим параметрам, в том числе и по национальному вопросу, который большевики никогда не смогут решить. Ваш путь – идти вслед за нами, под руководством наших идеологов и наших исполнителей воли фюрера, иначе... – Цепнер запнулся, словно поймал себя на мысли, что сказал слишком много этому старому русскому, и через некоторое время продолжил: – Да, а вы знаете, что нашего обожаемого фюрера едва не убили в Киеве еврей-большевик? – неожиданно спросил гауптман.

Бух уже слышал подобные слухи, но не верил им, знал, что немцам нужно как-то оправдать массовый террор против евреев и коммунистов, и они придумали для этого грубую ложь, которой мог поверить разве что сверхнаивный человек, но оспаривать это утверждение не рискнул. Помнил, как однажды в его городок нагрянули эсэсовцы в чёрной одежде, повсюду выискивающие евреев, как потом за городом пойманных заставляли рыть большие рвы, в которых их и расстреливали, помнил, как выгнали затем часть жителей городка за город и приказали засыпать вместе с мёртвыми и живых, недобитых...

– Конечно, это-то я слышал, и даже сам читал в газете, – поспешил откликнуться Бух.

– Теперь нас стало слишком много в самой Германии, – продолжал фон Цепнер развивать какую-то свою затаённую мысль, словно забыв о покушении на фюрера. – Нам нужно жизненное пространство. Новые территории, новые поля, леса, моря... Словом, новые земли, где могли бы жить немцы – самая трудолюбивая и дисциплинированная нация мира, способная преобразовать земной шар в цветущий сад при помощи "нового порядка". И мы это сделаем.

Гитлер говорил: "Когда Германия объединит в себе последнего немца, не будучи в состоянии обеспечить его пропитанием, из нужды возникнет моральное право народа на завоевание чужих земель. Плуг тогда превратится в меч и на почве, увлажнённой слезами войны, для потомства произрастать будет хлеб насущный". Нынче мы едины как никогда, и наш плуг превратился в разящий меч.

– Но это почти Библия... Библия войны и ненависти. – Алексей Максимович был поражён и мыслью, и слогом речи Цепнера, и он не мог сдержаться и не высказать своего отношения к сказанному.

Гауптман снисходительно посмотрел на Буха и торжественно произнёс:

– Придёт пора, и, возможно, он скажет, как Христос: "Новую заповедь дарую вам: любите друг друга", а пока... Пока у нас с вами работы хватит. Новое мышление всегда проникает в сознание через насилие, через зверства. Это понимать нужно!

С приходом фашизма в России каждый гражданин будет иметь право владеть частной собственностью, проявлять свои предпринимательские способности и таланты, накапливать богатства, если это накопление не носит спекулятивный, ростовщический, таким образом вредящий всему национальному хозяйству характер. Новый порядок – это порядок настоящих, органических, а не придуманных и искусственных ценностей. Живой человек –

Образ и Подобие Божие, а не кусок материи, не абстрактный индивидуум, не одно только тело, а тело и душа. Семья. Связь с предками и потомками, любовь к ближним. Нация...

И тут господина гауптмана снова понесло.

– Новый Порядок призван решить много больших вопросов – взаимоотношения Труда и Капитала одни чего стоят! Но самым больным вопросом, без решения которого немыслим Новый Мировой Порядок, вы это угадали достаточно точно, является, конечно, вопрос еврейский. Нам нужна открытость. Ибо узнавший правду о евреях – будет с евреями драться за свою свободу.

Пусть они уберут свои поганые руки от наших религий, наций, государств, экономики и культуры! Пусть отдадут нам наши газеты и кино, наши театры, искусство, музыку и литературу, нашу промышленность и торговлю, всё, что награбили, изгадили, подделали, фальсифицировали, отравили. Пусть вернут нашу жизнь, которую пустили под гору! Пусть уходят от власти, уходят из нашей жизни куда хотят, уходят подобру-поздорову... пока целы!

Будет новая Европа, новая Азия, новая Америка! Будет и новая Россия... Будет новый мир, вы слышите, Бух, будет! Правда фашизма, как живая вода, сделает своё дело. Мир освободится от Агасфера.

Новый Порядок самой системой хозяйства обеспечит каждому российскому гражданину известный минимум личного благосостояния и благополучия, он даст ему сытую и привольную жизнь...

К концу своей речи фон Цепнер напоминал впавшего в транс руководителя изуверской секты, призывающего не то к погрому, не то к всеобщему самоубийству: его глаза горели, руки слегка дрожали, речь была отрывочна и напоминала лай, он был в крайней степени возбуждения... Таким Бух видел его впервые, если не считать "стрельбу" из пистолета на шахте...

В тот вечер в знак "дружбы" между арийцем и цивилизованным славянином растроганный Франц Цепнер подарил Буху цветной портрет фюрера из своего кабинета.

Алексей Максимович поблагодарил гауптмана за подарок, долго рассматривал лицо человека, именем которого пугали детей матери доброй половины земного шара, и вдруг совершенно неожиданно для себя спросил:

– Господин гауптман, вы говорили, что цвет глаз – признак арийского происхождения, но у вас и у фюрера...

Он не договорил свою крамольную правду вслух, потому что фон Цепнер с удивлением уставился сначала на Буха, потом на портрет. Цепнер долго молчал, что-то соображая, затем гордо промолвил:

– Я счастлив, что цвет моих глаз совпадает с цветом глаз фюрера. "Жена Цезаря вне подозрений!" – сказал однажды великий римлянин, а Гитлер не просто великий человек, он – фюрер! Хайль Гитлер!

Фон Цепнер вытянулся в струнку и выкинул вперёд правую руку.

– Хайль! – повторил растерявшийся Алексей Максимович, догадавшийся, что хватил на сей раз через край.

Карие глаза Цепнера потеплели, и он ушёл домой удовлетворённый. А Бух приуныл, осознав, что нужно утроить бдительность, иначе... Иначе никто и ничто не спасёт.

"И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело своё или на руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и Агнцем", – с грустью подытожил результат встречи Алексей Максимович, рассматривая дарённый портрет.

"Язык мой – враг мой!" – вспомнил Бух ещё одну древнюю истину, и вздохнул.

К сожалению, язык был врагом не только у одного Буха, и дёргала нечистая за этот предмет человеческого общения не только Алексея Максимовича.



\*\*\*

### Братья по интернационалу

Ещё в начале сорок второго года на руднике обосновалась какая-то спецкоманда армян. В бывшем здании треста несколько десятков человек с характерной кавказской внешностью разместились с завидным комфортом и сказочной по тем временам роскошью удельных князьков. Они гордо ходили по городку в немецкой военной форме, говорили только по-русски и вели себя с населением подчёркнуто корректно. Это была команда контрразведки из числа бывших пленных. Нечто вроде националистического батальона, ратующего за национальную самостоятельность. Насколько далеки были их планы в отношении послевоенных дел, неизвестно, но наверняка с Россией им было не по дороге. Немцы для них оказались ближе и роднее российского мужика, делившегося с ними последним в течение веков. Своё будущее кавказцы-христиане видели только в Германии, и свой выбор сделали вроде бы вполне самостоятельно и добровольно, но только находясь в плену, за колючей проволокой и под дулами вражеских пулемётов.

Бух не испытывал к ним особой неприязни, потому как ещё помнил свои впечатления о лагере довольно живо, и осуждать кого-то за простую и так понятную человеческую слабость на краю позорной гибели не имел морального права. Он уже знал, что немцы были великие мастера разжигать национальную грызню, сами при этом старались оставаться в стороне и были как бы ни при чём. Но Бух отлично видел эти игры, шитые белыми нитками, игры, рассчитанные на простаков и окончательно сбившихся с пути несчастных людей. Да и не он один понимал, что происходит вокруг. Видели и понимали многие, но до поры и до времени держали рты на запоре. Почерк националистов всем был хорошо известен: они не щадили никого. Немцы это знали и особенно активно заигрывали с явно неславянскими народами, рассчитывая на их дикость и дремучесть нравов. Фашисты хотели утратить покорённых неслыханными жестокостями и казнями, используя при этом азиатский садизм и коварство отдельных представителей азиатских народов, народностей и племён.

Армянам из контрразведки шли все те же льготы, что и немецким военнослужащим, что должно было бы им, несомненно, льстить. Их ставили на одну доску с арийцами, ими не гнушались, как некоторыми другими... Командовал этим воинством человек лет пятидесяти, с большим, совершенно гражданским пузом и толстым восточным носом. Немцев рядом с ними не было, значит, доверие было полное. И, надо сказать, это доверие они оправдывали сторицей.

\*\*\*

Как-то пришёл в один из домиков, стоящий недалеко от шахты, молодой человек, и стал проситься на ночлег. Ему отказали. Он пошёл в следующий... И так ходил долго, пока не пристроился к одной бабе, у которой муж был на работе.пустила она его из жалости, лишь на погрёв, и только до прихода мужа. Боялась пускать незнакомого человека, немцы могли за это и к стенке поставить, но русские люди, в особенности женщины, бывают на удивление бесстрашными, ослеплённые жалостью, если видят человеческое страдание и могут хоть немного его облегчить.

Кормить гостя было нечем, поэтому за стол не приглашала. Посидели, поговорили о том, о сём, а вечером пришёл муж. И тут молодой человек вынужден был признаться, что он... советский разведчик. Сразу же попросил помощи, чтобы выйти на явку. Сказал, что и в людях нужда имеется. Не могли бы, мол, посоветовать кого-нибудь из самых надёжных людей шахты?

Муж оказался не умнее жены и попался "на крючок", назвав в качестве "надёжного" самого себя и... Буха.

\*\*\*

Странен человек. Когда ему плохо, он готов совершить невозможное, лишь бы ему стало хорошо, пусть и ненадолго. Когда у него всё складывается относительно хорошо, то он

забывает про всё плохое и становится по-детски легкомыслен и легко попадает в капканы нового несчастья.

Так и Алексей Максимович, едва ощутил на себе реальную силу "дружбы" Цепнера, как стал вести себя опрометчиво, а порою просто глупо. Временно он потерял страх перед немцами и, чувствуя несомненную вину перед родиной, говорил обо всём на свете, не скрывая своего истинного отношения к оккупантам. Может, он так хотел показать соотечественникам, что он тоже "свой" и что ему также противны немцы? Всё может быть. Человеческая душа – потёмки даже для самого человека.

На следующий день после встречи "советского разведчика" со своим предполагаемым резидентом, Бух сидел в конторке на территории шахты под дарёным портретом Гитлера, вставленным ради глупого озорства в обратную сторону портрета Сталина, перевёрнутого лицом к стене, и гонял чай.

Иногда, при своих людях, он разворачивал портрет любимого "вождя народов" и смотрел, какое действие оказывала на людей его смелость.

"Глупец! Мальчишка! – Алексей Максимович и сейчас густо покраснел, вспоминая этот случай. – Не только себя, но и других мог под расстрел поставить".

Но, подумав, решил, что, наверное, по-другому он тогда и не мог поступить. Слишком много всего накопилось внутри, нужен был выход, всплеск, эмоциональная разгрузка... Хотелось отомстить хоть кому-то за целую жизнь унижений и страданий, хоть в кого-то плюнуть, дать в морду или просто обругать матом.

И вот сидит Бух, пьёт свой чай, забыв с вечера повернуть портрет Сталина к стене. Вдруг входит итальянец, они ещё тогда не уехали на фронт, видит портрет "дорогого" Иосифа Виссарионовича, встаёт по стойке "смирно" и кричит во всё горло:

– Виват Сталин!

У Буха, что называется, всё внутри оборвалось. Ещё бы немного, и его хватил паралич или медвежья болезнь, но оказалось, что итальянец – антифашист, которому уже наплевать было на всё на свете, а на политику тем более, их вот-вот должны были отправить на фронт.

– Мне нужен уголь, – сказал на плохом русском итальянец на немой вопрос о цели прихода.

Язык у Алексея Максимовича несколько секунд просто не ворочался. Бух упорно молчал.

– Есть лиры... Понимаешь, русской подруге нужен уголь. Уголь... Подруге... – пытался объяснить итальянец непонятному русскому причину своего желания купить уголь.

Ну, дал ему Бух угля, а сам портретик быстрёхонько перевернул, вздохнул с облегчением и стал думать, что дальше делать с изображением "вождя и учителя".

Алексей Максимович не боялся, что итальянец донесёт на него. Итальянцы вообще все поголовно недолгоблывали немцев и всегда рады были устроить им какую-нибудь мелкую пакость. Население об этом знало и слегка подтрунивало над "союзничками": "Хороша ось, как в горле кость!". Это намёк насчёт знаменитой оси "Рим-Берлин-Токио." Поэтому он решил пока ничего не предпринимать, но впредь быть осторожным.

И только этот итальянец вышел из дверей, а в дверь уже армяшка из контрразведки вваливается и вежливо предлагает пройти с ним в здание бывшего треста.

Бух вначале ничего не понял, но в штабе у капитана ему учинили настоящий допрос, обвиняя в связи с партизанами и ещё в какой-то ерунде.

Естественно, Алексей Максимович ни в чём не признался. Его не били, не пытали за это, просто сказали, что сейчас отвезут в Матюшево, в полицию СД, так что в дороге ему будет время подумать над заданными вопросами и ответами к ним. Но ответы он будет давать уже тамошним следователям.

При упоминании об СД волосы на голове Буха слегка зашевелились. Однако он не мог припомнить за собой ничего такого, что могло бы заинтересовать тамошних заплочных дел мастеров. И только когда во дворе контрразведки Бух встретился с доверчивым шахтёром, который подвёл его под монастырь, узнал, в чём дело.

Запечалился после этого Бух крепко: от СД так просто не отделаешься, это не "качентраменто". Там умеют языки развязывать. Госка его охватила... Снова жуткий животный страх перед немцами вернулся. Страх перед неизбежными пытками и позорной принародной казнью.

Для партизан иного пути из тюрьмы не было.

\*\*\*

#### Матюшево

СД в Матюшево занимало бывшее здание больницы, здесь же находилась и тюрьма. В марте сорок второго ещё совсем холодно было, по ночам заключённые мёрзли здорово. В камере 17 человек арестованных натолкано, все за разное сидят, в основном за ерунду: воровство, нарушение комендантского часа... Никто толком ничего не знает, и много не говорят – боятся провокаторов. Ну что ж, сидеть так сидеть, это дело Буху не впервой, главное – искать выход отсюда.

Время шло, немцы на допрос Буха не вызывали, тянули, добывая психологически, но его, старого зэка, этим не проймёшь. Просчитались, господа завоеватели! Прямых доказательств его "преступления" нет, а то, что наговорил какой-то пьяный шахтёр, думающий про него именно так, как он думает, – не доказательство вины. И потом, Бух не совершил и, главное, не собирался совершать ничего преступного против немцев. Вот всё это Бух так прямо и выскажет при первой же встрече со следователем.

– А может, им и не нужны признания и доказательства вины? – тревожился Бух. – Если они стреляют по любому поводу и просто без повода сотни людей устрашения ради, будут ли они докапываться до сути дела в истории жизни какого-то Буха? Нет, дело всё-таки худо, – подытоживал свои наблюдения и умозаключения Алексей Максимович.

А тут ещё немцы обозлены были делом железнодорожников... Нет, явно не повезло Буху с арестом. Не ко времени его взяли, ой не ко времени!

– Будь прокляты железнодорожные воры всех стран! – ругался Бух.

\*\*\*

Рядом с Матюшево находились базы снабжения немецкого южного фронта, и поэтому на базаре городка можно было купить всё, что лежало на этих складах. Воровали и немцы, и наши. Особенно усердствовали в этом господа русские полицейские, сплошь бывшие уголовники. Дело своё они знали прекрасно и действовали нагло, быстро и без следов. Воровали только заграничное добро. Служили все в железнодорожной полиции или охране... Точно и не вспомнит сейчас Алексей Максимович, как называлась у немцев тогда эта служба. Одним словом, они заведовали охраной грузов. Пустили немцы русских козлов в свой немецкий огород, и те долго и умело водили их за нос. Очень долго!

Эшелоны из Германии наши урки маневренным паровозиком отгоняли за стрелку, там их покойненько "потрошили", а потом возвращали на старое место.

Кто его разграбил, где? – неизвестно! В пути следования, должно быть.

А кто?

Партизаны.

Так всё и шло.

Охотились полицейские кроме вещей в основном за продуктами питания, мылом. А в эшелонах было всё, что можно было пожелать и солдату, и офицеру вдали от цивилизованной Европы. Награбленное полицейские тащили на базар, и там через хорошо налаженную сеть спекулянтов выгодно совершали обмен или продажу.

Наконец немцы догадались, что дело тут не в кражах на пути следования и не в партизанских диверсиях, а в чём-то другом. Тайная полевая полиция, здоровенные парни с бляхами на груди, оцепили однажды утром одну улицу в Матюшино и устроили обыск по всем хатам без исключения.

В одном доме у машиниста паровоза нашли кучу подарков на фронт из Германии. Как ни отнекивался машинист, что купил, сменял, что не знал о том, что это посылки из Германии, – не помогло. В одной из коробок немцы нашли почтовую открытку с обратным адресом из Германии. Это четырёхлетняя дочка машиниста, когда полицейские выбрасывали всевозможные улики из посылок, спрятала от отца красивую карточку.

Довольно быстро после этого немцы раскрутили всю эту историю до конца, и расстреляли человек пятьдесят сразу. Об этой акции знали все, немцы не скрывали причины расстрела, полагая, что таким образом смогут предотвратить хищения на других складах.

"Наивные люди! – думал Бух о немцах, сидя на тюремных нарах. – Разве этим наших людей остановишь?"

И действительно не остановили. Только лишний раз указали на верный способ воровства и на его возможные прибыли. А впрочем, какое теперь до этого дело ему, Алексею Максимовичу? Сами немцы заварили эту кашу, сами пусть и расхлёбывают, лишь бы на нём не отразилось. А то под горячую руку возьмут да и шлёпнут, спаси Господи!

\*\*\*

На третий день пребывания за решёткой Бух узнал, что в тюрьме началась эпидемия тифа. Жизнь снова сунула его в самое пекло, из которого, казалось, выбраться уже не было возможности. После этого известия он как-то успокоился душой, смирился с возможным концом, но всё же искал ходы и выходы из создавшейся ситуации.

"Конечно, – думал он, – двум смертям не бывать... А попробовать выкарабкаться отсюда можно".

На допрос его ещё не вызывали, всё выдерживали в камере до степени созревания. Других таскали чуть ли не каждый день, особенно двух молчаливых парней, всегда сидящих немного в стороне от остальных заключённых. Бух сразу заподозрил их в принадлежности к подпольной организации, но молчал, с ними не заговаривал.

И они молчали.

Тем временем в камере у многих поднялась температура, появился жар. Немцы каким-то образом дознались об этом, и допросы прекратили. Через сутки выстроили всех во дворе СД, заставили поднять рубахи, осмотрели голые тела.

– У кого жалобы на головную боль?

Многие подняли руки, в том числе и шахтёр, подставивший Буха под удар. Их всех увели, якобы к врачу, на более тщательный осмотр, затолкали в грузовик и увезли куда-то под охраной взвода солдат.

Больше их никто не видел.

"Значит, и остальные последуют тем же путём, – догадался бывалый Алексей Максимович, – если не смогут защитить себя от тифозной вши".

Нужно было что-то срочно придумать, хотя особенно бояться Алексею Максимовичу нужды не было, тифом он переболел ещё в двадцатом, но... Бережёного и Бог бережёт! С возвратным тифом тоже шутки плохи.

У него на пальце чудом сохранилось тоненькое золотое кольцо, купленное уже здесь, в оккупации, в память о прошлой семейной жизни, вот с его-то помощью и решил Бух избавиться от вшей.

В соседних камерах сидело много женщин – спекулянтток, воровок и прочих нарушительниц "нового порядка". Самое большое наказание им за воровство немцы определяли в 20-25 палок по мягкому месту. Били резиновыми дубинками усердно. До исполнения приговора девчата мыли у немцев полы в кабинетах, и им разрешалось даже свободно ходить по территории бывшей больницы. Вот Бух и попросил одну из них принести ему порошок от вшей в обмен на кольцо. У немцев этого порошка было навалом, целые россыпи. Дивчина принесла, не обманула. Алексей Максимович обсыпался весь этой дрянью, для чего ему пришлось раздеться догола. Остатки отдал другим. Так и спал, обсыпанный порошком, и вши его больше не кусали. А может, и кусали, да у него с

гражданской войны такой надёжный иммунитет выработался, что он и через сто лет тифу бы не поддался.

Через пару суток немцы повторили процедуру с осмотром, но никто уже не говорил о жаре и головной боли. И всё равно, осмотрев всех, забрали двух несчастных, показавшихся им подозрительными.

Так прошло в тюрьме целых восемнадцать суток. За это время немцы всё же вызвали несколько раз Буха на допрос, но ничего предъявить в обвинение не смогли, так как показания расстрелянного шахтёра не были зафиксированы на бумаге, а сам Бух всё начисто отрицал. Несмотря на выбитые зубы и два раздробленных пальца левой руки, Бух не подписал себе смертный приговор признанием и постепенно интерес к нему со стороны немцев пропал.

А вскоре его отпустили совсем, не без ходатайства гауптмана, конечно. Цепнер несколько раз потом напоминал об этом в разговорах как знак признания в дружбе.

– Хороша дружба, – зло думал Бух, рассматривая изуродованные пальцы, – мог бы и пораньше вытащить, и без этого зверства.

Но всё равно он был по-человечески благодарен Цепнеру, проявившему хоть и запоздалое, но участие в его судьбе. Призрак тюрьмы отошёл в прошлое, хотя и не исчезал из головы окончательно. Бух и сейчас частенько возвращается в воспоминаниях в её стены, и жуткий страх сковывает его волю при каждой мысли о пережитом в ней.

В те горестные дни не однажды думал Алексей Максимович о партизанах и о подполье, об активном сопротивлении фашистам, но каждый раз гнал от себя эти мысли, потому что трусил.

Да, он был далеко не герой, обстоятельства жизни, сыгравшие с ним злую шутку, давно уже убили в нём того красивого бесшабашного парубка, который, не боясь, шагнул однажды на мужицкие обрезы, одурманенный сладкоречивой пропагандой о равенстве, братстве и грядущем коммунистическом рае. Жизнь многое в нём перевернула, искорёжила, заставила понимать и исповедовать иные ценности. Однако если бы ему и сейчас сказали: "Умри – и что-то изменится к лучшему в мире!" – он бы умер, наверное, а так...

Страшна смерть в безверии и в неизвестности. Но и жизнь не лучше.

\*\*\*

Как-то ездил он за соляжкой на немецкий склад с двумя подозрительными молодыми грузчиками, из числа вновь принятых на работу, и всю дорогу трясся. От добрых молодцев за версту несло знакомой по гражданской войне дурной удалью и обыкновенной тупостью, так свойственной их отцам, да и самому Буху двадцать лет назад. Вляпаться с ними в историю было дважды два, и Бух не раз проклинал тот момент, когда согласился поехать с ними.

И ведь не зря предчувствовал что-то...

То ли от дурости, то ли по заранее согласованному плану эти недоумки прямо в помещении склада стали светить себе спичками и подождённой ветошью, выискивая нужное горючее. Залезли с огнём в бочку с соляжкой, и даже уронили туда сначала зажжённую спичку, а потом ветошь.

Алексей Максимович, глядя на всё это, боялся пикнуть, потому что мог там же и остаться на веки вечные. Впрочем, они и сами в конце концов здорово перепугались своей прыти, хотя выкрутились из этой передряги на редкость удачно.

На счастье всей троицы, бочка была полной, и соляжка не сразу загорелась, а уж взорвалась тогда, когда всех троих и след простыл на территории склада. Таким образом, склад был ликвидирован, а лихие грузчики вскоре бесследно исчезли с шахты, ни слухом, ни духом не напоминая о себе Алексею Максимовичу, чему он был рад несказанно.

Немцы, к счастью, так и не смогли установить истинных причин взрыва, на Буха подозрение не падало, так как он был постоянным потребителем соляжки, почти своим человеком на складе.

"Честное слово, – искренне признался сам себе Бух, – больше всего я боялся не немцев, а наших недотёп, их разудалой разрушительной деятельности и лихой русской вольницы. И вообще я побаивался предстоящей встречи с нашими. Знал – придётся отвечать за то, что сделано, а больше за то, что не сделано. За то, что захотят навесить на меня крутые следователи, слепо выполняющие подлые разнарядки своих безумных начальников.

В последние дни оккупации особенно часто я вспоминал тех двух молчаливых парней, всё время сидевших в сторонке от остальных. Потом действительно оказалось – они имели какое-то отношение к подполью. Что с ними стало – одному Богу теперь известно: может, расстреляли, может, повесили, может, в концлагерь отправили... Совсем мальчишки были. Один немножко на меня смахивал в молодости..."

\*\*\*

### Освобождение

В 1943 году настроение у народа изменилось, страх перешёл в ненависть. "Новый порядок" окончательно осточертел, и даже враждебно настроенные к коммунистам горожане поняли: лучше свои, чем пришлые. Резко усилились саботажно-агрессивные настроения. Люди уже не снимали подобострастно шапки при встрече с немцами, а норовили избежать её любым путём, чтобы не выдать своих чувств взглядом, независимой походкой и прямой спиной, громким голосом. Оккупанты уловили эти настроения и старались террором подавить растущее внутреннее сопротивление, но разве этим можно заставить русский народ перестать ненавидеть?

\*\*\*

В 1943 году, когда город освободила Красная Армия, Бух, обросший густой, рыжей с проседью бородой, явился в военкомат и попросился на фронт. Всё объяснил про себя по легенде Буха и был искренне готов принять мученическую смерть на поле брани с оружием в руках. Но ему вежливо отказали, объяснив, что сейчас не сорок первый год, что его возраст уже давно не призывной и что имеется огромная нужда в людях, знающих здешние шахты. Предложили поработать в тылу.

– Время ополченцев, отец, прошло, – сказал на прощание молоденький военком с жёлтой нашивкой на груди за ранение. – А фашистов мы и без тебя добьём!

Целый год проработал Алексей Максимович на складе на своём прежнем месте. Потом его арестовали.

Арестовали как Буха.

Следствие шло быстро.

Следователя в основном интересовал один вопрос: почему бывший красноармеец Бух Алексей Максимович не застрелился, а сдался в плен?

Почему сотрудничал с оккупантами? – был второй вопрос в деле.

Дали десять лет.

Злобы на советскую власть у Буха не было. Арест и тюрьму он воспринял как должное наказание: за всё в жизни нужно платить, значит, нужно платить и за "сотрудничество с немцами".

Думая о своей судьбе, Алексей Максимович считал, что его жизнь давно уже катится к закату, и ничего хорошего от неё не ждал, и был готов ко всякого рода поворотам и неожиданностям. Вечно сомневающаяся душа его, видя вокруг всеобщее горе, страдала от бессилия и сознания собственного ничтожества в этом мире, раздираемом вселенскими катаклизмами. На этой планете, как он понял, ему ничего не оставалось, кроме страданий и подчинения жестоким необходимым обстоятельствам, кроме пассивного наблюдения вечных процессов движения материи, отпущенных временем на его отрезок жизни. Любовь к витанию в облаках всегда спасала его внутренний мир от губительных внешних потрясений, уводя из кошмарной реальности в область отвлечённых понятий и величин. И хотя рядом с ним шла по этапу такая же человеческая боль, требующая внимания и

сострадания окружающих, он больше думал не о ней, конкретной, а о масштабах народной трагедии, носящей космический характер. Все новые "кореша" его были "изменниками родины", штрафниками, "врагами народа"... И число их было устрашающим, а имя им было легион... Сколько же было трагедий, достойных пера Шекспира, Толстого, Матфея, Луки, Марка... Кто там ещё впереди по списку великих летописцев человеческих страданий?

\*\*\*

### Этап

Этап для зэка равносителен пожару в доме для мужика. Горе и слёзы приносят они в одинаковой степени. У простого пересыльного заключённого обычно нет никаких шмоток при себе, а если есть, то их всё равно ворьё по дороге отбирает и пускает в продажу или в карты проигрывает. А для настоящего мужика в лагере любая тряпица нужна. Он, сидя на одном месте, как бы прирастает к нему разными, ничего не значащими для постороннего вещами и предметами, и этим живёт. Во время этапа с насиженного места он теряет всё. По прибытии в другой лагерь ему нужно будет всё по новой наживать, а это не просто. Вот почему опытному зэку страшно попадать на этап.

Обычно нарядчики составляют списки на зэков в согласии с начальником лагеря. Основательно потрошат дела заключённых, смотрят количество судимостей и статьи, сроки и так далее.

Прежде всего начальник с нарядчиком хотят избавиться от тех, кто нарушает лагерный режим, от разного рода ворья, рецидивистов, злостных отказчиков от работы, доходяг, фитилей и всякой прочей швали. Если лагерное начальство назначает кого-то на этап в другой лагерь, а тот всячески начинает сопротивляться, то на непокорного набрасываются, как псы, вертухаи. Надевают на руки «браслеты» или накидывают «смирительную рубашку». Долго ни с кем не чванятся, быстро рога обламывают...

Блатняки же, особенно кто уже прижился на одном месте в общей тюремной камере или в лагере, не хотят попадать на этап ни под каким видом и идут на всякие крайности, лишь бы избежать этапирования. Они даже каким-то образом ухитряются вместо себя отправлять на этап подставных лиц. И вот всю эту путаницу делают лишь для того, чтобы как можно дольше продержаться на обжитом месте.

Вся процедура отправки на этап занимает много времени. Начальник этапа со своими вертухаями по несколько раз перепроверяет, пересчитывает всю команду, и при любом недовольстве зэков в их толпу врываются вертухаи и начинают наводить порядок рукоятками револьверов...

Весной сорок пятого Бух уже "путешествовал" из Находки кораблём на север. До этого месяц проболтался в "столыпинском" вагоне по бескрайним просторам могучей и прекрасной родины, от имени которой и получил свой второй приговор.

Второе путешествие под замком не запомнилось ничем выдающимся, за Уралом было ещё холодно, и даже знаменитый Байкал и тот остался в памяти холодным туманом и морозной сыростью.

В Находке же – солнце, бодрящий морской воздух. На первый взгляд чем не курорт? Разделись зэки, ловя ласковые лучики солнца и любясь далёким морским пейзажем... Потом повели их в баню. В бане полный ящик американского пятисотграммового мыла. Бери – не хочу! Где сейчас такое на воле увидишь? А здесь – изобилие!

В моечном отделении старикашка зэк у вентиля с водой орудует.

Сразу видно – вредный, ворчливый старикашка. Только намылились зэки – может, впервые за последние пять лет войны! – отключил, подлец, воду, поднял швабру и кричит: "Выходи без последнего!". Это значит, чтобы кучей вываливались, а последнему он врежет по первое число. Но ошибся старик, не думал, что это бывшие фронтовики, на уголовников хай поднимал. Озлились ребята на такое его хамское поведение, хотели посадить разок-другой на пол старого пердуна задницей, но дед вовремя сообразил, с кем имеет дело, открыл воду...

Алексей Максимович с ним дипломатично и по-стариковски разговорился. Оказалось, это директор одного из крупнейших ленинградских заводов. Милейший человек, старый большевик с дореволюционным стажем. С Колымы его комиссовали по состоянию здоровья и перевели сюда. ("Надо же, – удивлённо подумал Бух, – случается, оказывается, и такое!") Срок у него ещё с 1937 года шёл. Знакомый Буху срок.

А вообще, по сохранившемуся общему эковскому впечатлению, весело в ту пору было в Находке. Было ли это реакцией на месячное прозябание в конуре тюремного вагона или действительно победная весна, красивая бухта, великолепные окрестные пейзажи и мирная жизнь давали дополнительный источник энергии, бодрости и веселья... Кто знает, если бы не колючка, собаки да часовые...

\*\*\*

### "Василий Суриков"

Все зэки в Находке жили в бараках: и уголовники, и политические, и мужчины, и женщины. И все с нетерпением и страхом ждали пароход, который отвезёт их к месту отбывания наказания, а может быть, и к последнему их месту пребывания на этой грешной земле.

И вот он пришёл.

Старый пароход "Василий Суриков" был приспособлен для перевозки этапников давно. Но этап этот заслуженно пользовался "уважением" и дурной славой у уголовников, они за многие годы слишком хорошо изучили его "прелести" и ни в какую не хотели идти на древней посудине, всеми способами пытаясь отвертеться от посадки на него.

Один из них, например, сидел как-то на нарах (высоких, трёхэтажных), думал свою горькую думу, думал и придумал: оттянул мошонку и прибил её гвоздём к столбу. Сидит, орёт!.. Псих, шпана уголовная, что с него возьмёшь! Хотели его всё-таки отправить по этапу, но что-то у него там приключилось с мужским хозяйством после ржавого гвоздя серьёзное, и его оставили до другого раза. Как бы там ни было, а на своём он настоял, и чувствовал себя после этого героем. Подстать ему были и другие.

Да там и без гвоздя всякой заразы хватало! Стены бараков были красно-коричневыми от живых и мёртвых клопов, пёстрые, что накидка немецкого десантника. Сплошной мрак и ужас! Кажется, вдохни этот гнилой барачный воздух человек с воли – и трупом будет. Это уж закалённым этапами, пересылками, войной и страшными годами лишения русским мужикам всё было нипочём. Они как бы замкнулись каждый в своём горе, и ничего не видели, ничего не слышали, ни на что не реагировали по-человечески. Так каждый неосознанно спасал себя, своё тело и свою душу, не пуская посторонних к самому сокровенному, что у него было. И плевать они хотели на то, что творится вокруг них: уголовники, крысы, смрад, насекомые... Каждый живёт в тюрьме за себя. У каждого своя жизненная тропа, своя судьба, своя и смерть.

- Но всё-таки здесь, на берегу, лучше, чем на этапе, – говорили бывалые уголовники. – Нет, не поедем на "Сурикове". Не поедем!

И вот однажды утром накануне погрузки из одного барака никто из уголовников не вышел. Нагло потребовали к себе санитарных врачей. Когда те пришли, они их "взяли в плен" и стали шантажировать этим лагерное начальство. Главным пунктом их требований стал отказ от этапа.

- На этот этап не пойдём ни под каким видом! – кричали урки из окон.

В бараке урки разобрали печь, вооружились кирпичами, колосниками... Приготовились держать оборону стойко.

Взбунтовавшийся барак, естественно, начальство сразу окружило, ждут, что дальше будет. Ведь от зэка-уголовника "в чувствах" чего угодно ожидать можно. Чистые анархисты!

Немного погодя урки ультиматум предъявили: хотим в Тайшет!



Начальство подумало и согласилось. Поставили вагон под загрузку на виду у барака, в час-полтора построили в нём нары, затащили бочки с едой, бочки с водой... Всё, мол, ваша взяла, выходите, в Тайшет поедете.

Уголовники поверили. Вышли, построились в привычные пятёрки. Ждут погрузки. Человек сорок их было. Вышел к ним начальник спецчасти с делами ЗК, устроил переключку.

Ворота взбунтовавшегося сектора, ведущие в лагерь, когда там эти сорок гавриков у вагона стояли, быстро закрыли, чтобы лишних глаз не было, и всех любопытных загнали в бараки. Пока шла необычная переключка, начальник конвоя незаметно зашёл с правого фланга и начал спокойно, словно в тире, лупцевать бунтовщиков из нагана. Потом конвоиры сразу всех на землю положили, каждому надели наручники, затолкали в металлические контейнеры вместо карцера, и – в трюмы "любимого" ими "Василия Сурикова". И провезли их, голубчиков, по этапу вместе со всеми прочими, только в условиях ещё более некомфортабельных. Двух человек сразу тогда в лагере убили, самых вредных и горластых на тот свет спровадили. Недаром "гражданин начальник" переключку по их личным делам делал.

\*\*\*

В порту назначения этап Буха встречала знаменитая по всему северу ГУЛАГа "мадам Гридасова", одна из шишек сталинской системы уничтожения. Рослая женщина-палач, со свитой мужиков, лебезящих перед ней, как кобели перед сукой на собачьей свадьбе. Никогда раньше, да и никогда позже Алексей Максимович не видел больше такого высокого начальства в лагерях.

«Да и про "мадам" ничего не слышал после пятьдесят третьего. Может, ещё жива, тварь подкодная, – с ненавистью подумал Бух, – пенсию где-нибудь получает, на персональной даче проживаючи, пионерам рассказывает о тяжёлой борьбе "ленинцев-дзержинцев" с врагами народа, а может, после пятьдесят шестого года вместе с другими палачами и её в расход пустили. Тогда ведь многим головки поотшибали, жаль, не всем. Самые шишкарки сухими из воды вышли – мол, ошибочка в теории вышла. Мы тут ни при чём!

Ошибочка! У них это называется "ошибочкой"..."»

\*\*\*

Сегодня в своих воспоминаниях Бух немного торопится, перескакивает с взволновавшего его события, забегаая вперёд, но затем, остыв, вновь возвращается к тому месту, на котором невольно остановился.

«Это от волнения, – констатирует Алексей Максимович. – Со мной в последнее время такое бывает часто... Тот порт назначения когда ещё будет, а тут Находка, материк... Большая земля!.. Большая надежда, что ты ещё можешь выжить...»

Как бы ни было плохо человеку, жизнь его всё равно не одной чёрной краской мазана. Есть в каждом её мгновении свои маленькие радости, которые и радостями-то в другое время не назовёшь, а вот, поди ж ты, всё равно приятно их иметь в нужное время.

\*\*\*

В трюмы и на палубу "Василия Сурикова" набили тогда несколько тысяч народу. Естественно, никакой санитарии, удобств и прочего. Часть команды парохода сразу после погрузки поехала за продовольствием. К вечеру они привезли горячий хлеб, и тут же его затолкали в трюм. Через день, уже в море, обнаружилось, что он зацвёл. И хлеб – в воду. А был он единственным продуктом для эков на долгие дни плавания. Правда, на пароходе было несколько армейских полевых кухонь, и на следующий день в них сварили муку, перемешанную с жирной американской тушёнкой. Варено получилось сладкое, жирное, клейкое... Никто есть его не стал – все страдали от морской болезни, и на еду первое время просто смотреть не могли, тем более на такую.

Мимо корабля по левому борту проплыли красоты "арестантского рая", воспетые писателями, поэтами и музыкантами прошлого – скалистые и туманные берега острова Сахалин, но никто не обратил на это большого внимания: впереди транспорт ожидал "солнечный, гостеприимный Магадан", да и в грузовых трюмах парохода иллюминаторов не было, а с охраной много не поразговариваешь. Да и сам Бух увидел красоты Сахалина лишь потом, после освобождения, когда возвращался тем же путём на Большую землю уже свободным человеком.

Прошли пролив Лаперуза, конвой бдительность увеличил: чуть что не так – в железный контейнер.

Вышли в Охотское море... Жрать хочется неимоверно...

Ехали тут же на пароходе два бессараба, оба нарядные, в добротных полушубках. Зэки уже знали, что всё равно в зоне всё отберут, и предложили им продать команде "Сурикова" полушубки по доброй воле – на прокорм себе и товарищам. Всё с пользой дела на сторону уйдут. Продали полушубки команде через посредничество конвойных. Нашлась у кого-то и золотая монетка царской чеканки в пять рублей. Нужно и её как-то реализовать, всё равно пропадёт ни за что. Но как реализовать? Это же чистой воды криминал! Подумали, и по праву старшего по возрасту от небольшой группки зэков с золотой пятёркой пошёл вместе с нарядом по кухне на верхнюю палубу Алексей Максимович Бух.

Команда парохода, естественно, имела свой отдельный камбуз, и у неё был свой небольшой запас хлеба. За золотую пятёрку матросы, наверняка агенты НКВД, дали Буху аж целых три буханки белого хлеба.

"И за то спасибо! – думал Алексей Максимович. – Ведь могли и расстрелять за самовольное хождение по палубе, или просто так отобрать, из озорства. Теперь срочно назад, а то часовым на глаза попадётся празднующимся, те точно благодарность за бдительность на мне заработают..."

Сунув хлеб под рубаху, Бух кубарем скатился вниз мимо неподвижных охранников...

Каждому корешу – по щепоти, и самому едва кусочек достался.

Был ещё в общем котле сахар, но что он голодному мужику?

И тут пришла кому-то в голову мысль осмотреть один отсек трюма, почему-то накрытый брусьями. Незаметно для охраны подняли завал из леса и на самодельной верёвке спустили вниз лихого зэка. Утром он вытащил оттуда сразу штук двадцать банок сгущёнки, потом ещё и ещё... Тем и кормились до самого порта назначения. Разве это не радость – банка сгущёнки в голодное время?

\*\*\*

Вся жизнь за колючей проволокой вспоминается Алексею Максимовичу рваными кусками: то одно, то другое. И так каждый день, точнее, каждую ночь. Трудно, ох как трудно соединить в единое целое то несоединимое и ужасное, что выплывает из памяти сгустками страха и боли. И вместе с тем все приходящие воспоминания объединены одним многолетним монотонным рабским существованием, постоянной гнетущей работой, лишь иногда прерываемой каким-нибудь неординарным событием, врезавшимся в память навечно. Но таких событий в лагерной жизни было не так уж и много.

\*\*\*

Колыма.

До прибытия "Сурикова" с новым этапом в Нагаевский порт в Темчанском лагере отбывали срок одни закоренелые уголовники. Все довоенные политические к той поре уже навсегда исчезли оттуда: конвейер борьбы с "врагами народа" работал чётко и отлаженно. Уголовников, засидевшихся на одном месте, быстро перебросили на какой-то секретный рудник, а на освободившееся жизненное пространство, огороженное сторожевыми вышками, вселялось новое, послевоенное поколение жителей ГУЛАГа, называемое "изменники родины".

Это было странное население северных территорий великого и могучего Советского Союза. Изведав всё, что может изведать человек на войне, они так и остались во многом наивными и доверчивыми, как дети. Даже свой ужасный срок некоторые получали за более чем странные для взрослого человека поступки.

Например, трое офицеров-победителей после 12 мая 1945 года рванули на американском джипе очертя голову вслед за потоками «перемещённых лиц» в старую матушку-Европу. В изумлённом Париже их радостно встречали парижанки и владельцы бистро, предки которых видели казаков Александра I. Встречали как загадочных посланцев не менее загадочного вождя победителей – Сталина, а через неделю, вернувшись в часть, они отправились в Находку уже как враги товарища Сталина и шпионы мирового империализма.

И таких историй было множество. Как было множество искренних и нравственно неиспорченных мальчишек в солдатских и офицерских гимнастёрках, со следами орденов и медалей на «хэбе» и «чэшэ», с ужасными ранами на теле и жуткими сроками заключения.

Лагерное начальство очень быстро поняло суть произошедшей перемены: если при уголовниках прииск перерабатывал 70-80 кубометров грунта, то уже через неделю после прибытия этапа "изменников" – 900-1000 кубометров в сутки. Работали "предатели" сознательно, без понукания, точно так же, как это делали в своё время "враги народа" в тридцать седьмом. Было видно, что простые совестливые люди искупали свою – мнимую во многом – вину перед родиной трудом непосильным и тяжким. Хотя, конечно же, были и среди них настоящие сволочи, но их, настоящих выродков и палачей, как правило, ставили к стенке ещё в прифронтовой полосе. СМЕРШ на фронте работал засучив рукава и не давая отдыха автоматам, через его свинцовое сито редко прорывались невинные, про виновных же и говорить нечего. На Север отправлялась в большинстве своём мелочь, заблудшие, не запятнавшие себя кровью. Из бандеровцев, как говорили, вообще в живых оставляли только рядовых членов бандформирований.

Нет, "изменники" и "предатели" прекрасно понимали, что от ударной работы вряд ли что-то изменится в их личной судьбе, слишком наглядно и не таясь внушали им конечную цель "рабочего государства" по отношению к ним. Так, например, у входа в лагерь с внешней стороны на воротах было написано: "Дадим Родине сверхплановый металл!", а с внутренней стороны: "Добьём врагов народа физическим трудом!". Обе надписи почти выцвели, но на деревянной арке читались достаточно хорошо, чтобы стал понятен их зловещий смысл для всякого думающего и умеющего читать. Маленькие винтики в большой политической игре уголовных гигантов, случайно попавшие в капкан обстоятельств, спровоцированных вождями отечества, они уже ничего не значили в краплёной колоде карт усатого генералиссимуса, которого ничуть не интересовало, что где-то на далёком Севере гибнут люди, ложно обвинённые им в страшных преступлениях. И зэки не столько понимали это умом, сколько чувствовали общими условиями существования на краю света. Но у каждого из них была своя Родина, семья, родные, любимая... Так неужели из-за тех, на совести которых столько чёрных преступлений против России, должны страдать они, оставшиеся там, на далёком материке?

И Алексей Максимович каждое утро, выходя на опостылевшую работу, и вечером, возвращаясь с неё, читал и ту, и другую надпись, и думал, думал... И невыразимое отчаяние терзало его душу, и подлый червь сомнения превращался в огненного дракона, пожирающего серое вещество мозга, выхолащивая все мысли и чувства, оставляя лишь одно: страх, страх, страх... Обессиленный им, униженный и раздавленный осознанием собственного ничтожества, доведённый до состояния готовности совершить самовольный акт ухода из жизни, он понимал, что нужно найти в себе силы победить этого дракона, но одолеть вездесущее чудовище в одиночку, казалось, было не под силу даже знаменитому Георгию-Победоносцу, а сбиваться в группы... Нет, шалишь!

Все понимали, что их ждёт впереди, и всё-таки работали. Работали, потому что это спасало от дум хотя бы на дневное время, работали, потому что понимали: это та же передовая, но на ней ни отступить, ни поднять руки вверх невозможно...

\*\*\*

### Сомнения

«У нас как-то привыкли с гражданской войны всё делить на белое и чёрное, не признавая полутонов, а в жизни всё не так. Жизнь, слава богу, многоцветна, многообразна. Вон у тех же итальянцев, завоевателей и фашистов, проклятых народом и советской пропагандой оккупантов, пришедших на нашу землю грабить и убивать, кажется, жизнь и имущество порабощённых вообще не должны были иметь никакой цены, а вот и у них на моей памяти был случай, который любого дальтоника-патриота загонит в угол своей неоднозначностью.

Один из итальянских солдат по глупости застрелил нашу девушку. Ну застрелил и застрелил, мало ли на войне стреляли в девушек! Ан нет, его судил военный трибунал, и только учитывая его корсиканское происхождение, ему сохранили жизнь и отправили на родину отбывать наказание в тюрьме. Оказывается, что застрелил он девчонку из ревности. Вот такая история приключилась у меня на глазах. А ведь и у итальянцев на совести было кое-что такое, за что им можно было бы угодить по нашим законам на Север не на один срок длиною в "четвертак". Да и от международного военного суда многих из этих рыцарей чести и любителей русских девушек спасли лишь... могильные рвы подо Львовом.

Разные люди, разные судьбы, чего тут говорить! А смерть-матушка везде одна: и у нас, и у немцев, и в тылу, и на фронте.

А полковник Ферованте – командир 82 батальона, которого немцы при желании могли бы расстрелять хоть до, хоть после выхода Италии из войны? Он как-то особо не скрывал своей неприязни к идеологии побеждающего фашизма, и это очень удивляло меня, привыкшего к атмосфере массового верноподданнического психоза в масштабах целой страны и абсолютной тайны вокруг всего, что касалось личности одного человека, его внутреннего "я".

Ферованте неплохой был мужик, неплохой товарищ, хоть и легкомысленный.

А капитан Грапнелли?

Помню, как я достал однажды ему, коменданту городка, прекрасную серую лошадь... Сколько раз потом благодарил за неё капитан!.. Нет, итальяшки народ хороший, с ними можно было жить в войну, да и потом тоже. Если бы не это разделение на фашистов и коммунистов, если бы не бедность и богатство, не подлость и благородство, не варварство и человечность...

Если бы не подлая натура самого человека!

Вообще в этой жизни всё взаимосвязано достаточно нерасторжимо. Если где-то совершается гадость, то злодеяние уравнивается тут же добродетелью, и наоборот. Я в этом уверен. Вот взять ту же серую лошадь... Ведь я увёл её с крестьянского подворья. Мало ли, что её всё равно бы через день-другой увели немцы, конкретное зло сотворил конкретный человек – Бух Алексей Максимович, никто другой. И в глазах крестьянина я и только я явился грабителем хуже оккупанта, потому, что был свой, нашенький... Значит, мне и ответ держать. Страданием должен искупить страдание другого. Такая вот арифметика видится мне на этот счёт...»

\*\*\*

Как ни старался Алексей Максимович жить тихо и по возможности незаметно, всё же за время оккупации он неоднократно был на волоске от гибели ни за понюшку табаку. Как-то так случилось само по себе, что за чужие грехи мог он и своей шкурой поплатиться, и других за собой потянуть. Это, кстати, в годы войны было не такой уж и редкостью. Немцы вообще были большими любителями подобных акций устрашения ради самого устрашения. Да и советские войска, как говорили прибывающие после войны зэки с Украины, тоже не отличались большим человеколюбием к "освобождённым" западным братьям. Но этого Бух на своей шкуре уже не испытал.

\*\*\*

Когда Бух сидел в тюрьме СД, он видел из окна камеры большие пожары на складах, расположенных на соседних станциях. Немцы скопили там много эшелонов с боеприпасами и горючим, готовились, наверное, к большому наступлению или длительной обороне, заготавливали всего впрок. Все лесопосадки вокруг железной дороги завалили бочками с бензином, керосином, маслами... Охраняли станции по высшему разряду, и всё же как-то ночью одинокий сумасшедший "кукурузник" на бреющем полёте, прилетев почему-то с запада, сбросил бомбы точно на склад с боеприпасами.

К утру одной станции не существовало.

И всю ночь обитатели тюрьмы смотрели на невиданное по красоте зрелище, с которым не сравнятся тысячи фейерверков и салютов, собранных вместе.

И всю ночь их мучил один и тот же вопрос: что ждёт их завтра?

В ярко освещённой пожаром камере Алексею Максимовичу хотелось забиться в самый тёмный угол и спрятаться ото всех, чтобы никто не видел его страх, его ужас перед наступающим днём.

Пришло утро, потом ещё одно, и сокамерники облегчённо вздохнули: немцы про них забыли. А может, взяли тех, кто был ближе? До разбомблённой станции по прямой двадцать четыре километра. Двадцать четыре тысячи метров жизни, каждый из которых мог стать последним всем им.

Противнее всего, это Бух прочно усвоил в лагерях, быть беспомощным, не имеющим возможности ответить на удар ударом, не имеющим силы воли, чтобы лишить себя жизни, когда сама жизнь стала хуже смерти.

И нет ничего страшнее неизвестности в ожидании собственного конца или же чудесного воскрешения из мёртвых...

\*\*\*

### Встреча

Года через два-три, в конце сороковых, в лагерь Буха прибыла новая партия заключённых.

В одном из прибывших он с ужасом узнал сына начальника Алийского НКВД, "помогшего" Алексею Максимовичу избавиться от пыток после ареста в тридцать седьмом. Бух с мальчиком был почти незнаком, виделся мимоходом всего лишь несколько раз в году тридцать пятом – тридцать шестом, но не узнать друг друга при встрече они не могли. Счастье Буха, что он первым его увидел, узнал, и вовремя сумел затеряться в толпе.

Ночь прошла в мучительных раздумьях: как поступить? Ведь если парень назовёт его настоящим именем... Конечно, можно "убрать" мальчишку втихаря, но он, Бух, никогда на "мокрое дело" не пойдёт. Всё-таки сын бывшего друга. В прошлом милый и интеллигентный юноша, обучавшийся в столице и приезжавший к родителям лишь на каникулы. В чём он-то провинился перед режимом? И что теперь с его отцом, если сын здесь?

За ночь Бух заново пережил всю свою жизнь, все свои самые лучшие и худшие дни, и пришёл к выводу, что нет, пожалуй, ничего поганее на свете, чем смерть под чужим именем.

Кто после этого сможет рассказать о нём, Якове Коломейчуке, его детям? Кто сможет оправдать и объяснить его исчезновение в самый трудный период их жизни? Нет, ему не хотелось всемирной известности и славы, он просто хотел мимолётной памяти о себе в сердцах милых и дорогих ему существ.

Промучившись ночь, он решил на откровенный разговор с парнем. Решил сказать ему о перемене фамилии, но истинную причину скрыть.

Он рассчитал верно: всё обошлось как нельзя лучше.

Подловив Костю – так звали парня – за баракком, Бух положил ему руку на плечо и сказал:

– Не оборачиваться! Я Бух Алексей Максимович, запомни хорошенько это, сынок. Раньше мы с тобой никогда не встречались. Запомни, иначе нам обоим придётся туго. Ты меня понял?

– Понял. А в чём дело?

– В том, что я тебе сказал. Теперь можешь повернуться.

Бух подкараулил его перед выходом на работу. Разговор занял не более минуты и для посторонних не был подозрительным. Когда Костя обернулся, он уже знал, что перед ним Бух, с которым он только что познакомился. Так он и будет потом говорить всем своим новым и старым знакомым.

В тот же день Бух узнал грустную и печальную историю молодого человека и его отца, репрессированного сразу же после ареста сына.

\*\*\*

### Морская история.

Костя Васильев закончил 2-й медицинский институт в 1938 году. Сразу после окончания института его призвали в армию и отправили служить на флот, в дивизион подводных лодок на Камчатку. Призыву в армию молодой человек был рад, так как втайне давно мечтал стать кадровым военным, а служба на флоте, да ещё на востоке страны, о котором в те годы ходили легенды, была почётна вдвойне.

Служил он нормально, и служба ему нравилась. Почётная служба на красном подводном флоте. Всё складывалось у молодого врача прекрасно: в Москве заканчивала учёбу в пединституте подруга, с которой дружил уже давно и теперь решил окончательно связать свою судьбу. Начальство намекало, что после женитьбы будет хлопотать о повышении в звании и переводе в береговой госпиталь.

И вот война.

В самом её начале добровольцев из экипажа подводных лодок отправили на север, на базу флота в Заполярье. В числе их оказался и Костя, корабельный доктор.

Время было сумасшедшее, полное самыми неожиданными событиями и прожеками, которые в те дни считались нормальным проявлением военной мысли, последним достижением тактики и стратегии. Никто и думать не мог иначе о приказах высших командиров, так страна и армия были воспитаны "вождём и учителем всех народов". Но так было лишь в первые недели войны, когда ещё не проявились все детали трагедии, обрушившейся на нашу страну. Так думали до тех пор, пока на своей шкуре не испытали эти самые "последние достижения" гениальных выскочек тридцать седьмого года.

Через несколько недель после начала военных действий в Заполярье умные военные головы краскомов формируют десант в одну из северных стран, оккупированных фашистами. Шаг, достойный гения Льва Давидовича Троцкого, ни больше ни меньше. Несчастный Костя Васильев попадает в него вместе с двумя сотнями моряков-дальневосточников. Десант планируют высадить с быстроходных торпедных катеров в удобную для десантирования бухту в самое ближайшее время. У всех моряков-десантников мощное желание драться с врагом на его территории, как это и было предсказано "гениальным вождём нации" задолго до войны.

"Война малой кровью!", "Война на территории противника!", поэтому – в последний и решительный бой, и как можно скорее, пока изнывающий под игмом немецкой оккупации пролетариат не восстал и сам не уничтожил фашистов. При этом никто не думает о своей судьбе, о возможной смерти, все возбуждены неудачным началом военной кампании, вероломством гитлеровцев, и горят желанием отомстить, и отомстить любой ценой. У всех в голове романтические представления о боях, связанные с песенно-фольклорным описанием войны гражданской: "...если смерти – то мгновенной, если раны – небольшой!". С прозой моряка Всеволода Вишневского...

\*\*\*

И вот десант уже в море. Вот уже и чужой берег скоро...

Немцы, конечно, видели, как в сумерки наши катера входят в бухту и высаживают маломощный десант прямо в море, потому что у берега оказалась валунная свалка, а уровень начинавшегося прибоя был больше четырёх метров. Только сумасшедший мог рискнуть высаживать десант при такой волне на сушу. Высадившись, моряки поняли, что лишь полоумный мог вообще придумать эту операцию. Берег так укреплен, что без мощной корабельной артиллерии здесь делать нечего. А поддержки, которую клятвенно обещали в штабе, не было.

Утром, когда рассвело настолько, что стало видно как днём, немцы, не показываясь из бетонированных укрытий, начали методичный обстрел десанта из миномётов. Осколки от мин и камней разили насмерть. Вскоре у Кости кончились бинты, а через сутки у десанта иссякли боеприпасы, вода... В горячке боя моряки палили по ненавистным скалам в невидимых врагов, не жалея скудные запасы патронов, и вот остались ни с чем.

Погиб командир отряда, погибли почти все офицеры. В бухте немцы сожгли огнём артиллерии все катера, доставившие десант. Лишь один, повреждённый пожаром, искусно прятался за могучими валунами невдалеке от берега.

Командование десантом взял на себя молоденький лейтенант. Дважды он успел сгонять обречённых людей на штурм береговых укреплений, ровно наполовину сократив доставшийся ему численный состав десанта. Он и в третий раз поднял бы моряков, да тут подполз к нему какой-то отчаянный старшина и выстрелом из нагана в ухо прикончил ошалевшего от крови мальчика.

К тому времени в живых осталось всего 19 человек, и все они были ранены или контужены.

Старшина, убивший лейтенанта, сказал:

– Не подыхать же нам здесь из-за чьей-то дурости! Кто хочет жить, сегодня ночью попробуем прорваться на катере назад. Кто хочет... Кто согласен... Неволить не буду: вольному – воля, спасённому – рай! Всю ответственность беру на себя; и сейчас, и потом. И перед земным судьёй, и перед небесным. Так и запомните, братцы.

Были несогласные. Они остались там, за валунами, на чужом берегу, обречённые на бессмысленную смерть волей бездушных и подлых людей, сидевших в далёком и безопасном месте.

А может, оставшиеся верили, что выполняют какую-то важную военную задачу? Может, просто боялись возвращения на базу, понимая, какой "рай" ждёт бежавших с поля боя?

Подбитый катер вырвался из бухты под огнём противника ночью. К утру у него кончилось горючее. Пассажиров мучила жажда и полная безнадёжность. До того, как через сутки их подобрала англичане, идущие караваном в Мурманск, один матросик не выдержал и пустил себе пулю в лоб. Его тут же скинули в море, чтобы труп не мозолил глаза и не "давил на психику" оставшимся.

У союзников, идущих с военным грузом для Советского Союза, была хорошо налаженная связь с нашим командованием, и когда конвой, радостно принимавший у себя русских героев, пришёл в порт назначения, одиннадцать десантников сразу же взяли под стражу у самого трапа английского транспорта.

Косте Васильеву поставили в вину, что он, офицер, не принял на себя командование десантом и в критический момент боя не довёл операцию до конца, допустил самосуд. Он этого не отрицал ни тогда, ни потом. И никогда не жалел о случившемся.

Позднее Костя несколько раз видел в тюрьме своих товарищей по несчастью, но никто из них больше не встречал того отчаянного старшину, спасшего им всем жизнь.

\*\*\*

### Долг и страх

20 лет каторги и 5 лет поражения в правах. Срок, который свернёт любого в бараний рог, но рядом находилась такая же отчаявшаяся братва, имевшая не меньшие сроки за меньшие

"преступления" перед народом, и Костя отмяк среди них, найдя себе занятие в лечении страдальцев доступными средствами.

Поначалу он был лагерным врачом в Сибири, потом работал на приисках Чукотки, на проходке шурфов. Долбил вечную мерзлоту ломиком и взрывал её аммоналом. Работа адская! Руки у бывшего хирурга, подававшего когда-то отличные надежды, превратились со временем в сплошные мозоли, растресканные до мяса, с грязью, въевшейся в кожу навечно.

Всё в этой жизни происходит большей частью случайно, неожиданно и вдруг. Никому не гарантировано спокойствие и безмятежность с рождения и до самой кончины. Даже самого великого владыку преследуют неудачи, опасности, измены друзей и любимых, тайфуны, цунами, обвалы, сели... Нам не дано знать, где найдёшь, где потеряешь.

В Певеке у начальника Таунчукотского горнопромышленного управления неожиданно случился приступ аппендицита. Медицинскую службу там возглавляла простая медицинская сестра из вольнонаёмных, не имевшая, естественно, понятия о настоящей хирургии. Дело осложнялось тем, что нельзя было вывезти больного на Большую землю, стояла нелётная погода.

В управлении срочно стали перетрясать все личные дела эзков, и нашли, на счастье больного, дело военного хирурга Васильева.

Санно-тракторным поездом в пургу доставляют его из лагеря за сто с лишним километров от Певека, переодевают и приводят в больницу.

Можно представить, что испытал бедный Костя, увидев после нескольких лет пребывания в положении рабочего скота, чистые халатики, белые стены, сверкающие инструменты, нормальную еду... А если представить, что и начальство вокруг копошится, даже сама генеральша пришла и просит спасти кого-то...

"Уж не сон ли это? – думал Костя. – Нет, не сон. Это сама справедливость на время напомнила о себе. Значит, и она ещё не умерла, ещё существует на свете и шлёт мне свой небольшой привет из далёкого завтра".

– Кто больной? – спросил Васильев.

– Генерал, начальник Таунчукотского управления.

Костя срейфил.

Шутка ли – сам начальник управления! Это не какой-нибудь паршивый лагерник, которому он мог запросто вырезать любую ненужную часть организма перочинным ножом, одолженным у охранника. Здесь можно досрочно "деревянный бушлат" схлопотать, если вдруг что-то не так выйдет.

Минут десять сидел, молчал, потом показал обступившим его людям руки и сказал:

– Разве этими руками можно резать?

Жена генерала привела двух малолетних детишек, встала перед ним на колени...

Уговорили.

Руки часа полтора отмывал, чистил, смазывал...

У генерала перитонит оказался.

Нужна была немедленная операция.

Немедленная!

И он её сделал.

Потом три недели не отходил от постели больного, нянчил...

Выходил.

Ну и решил генерал на радостях отблагодарить Васильева. Но как это сделать, чтобы не навлечь на себя гнев вышестоящего начальства? Чтобы не пошла отсюда в верха анонимка или же докладная о попустительстве самого начупра к "врагу народа"?

О многом они с Костей говорили за три недели вынужденного соседства. Генерал был при смерти и откровенничал, но не обо всём, умел и на краю пропасти держать язык за зубами старый чекист. Исповедоваться надеялся лишь у самого Господа Бога. Однако понял Костя из бесед, что и среди палачей есть понятие о происходящем вокруг, что и они живут



тем же страхом, что и эки. Страхом, сковавшим всех в стране, сделавшим преступную круговую поруку нормой поведения. И сказал ему в конце генерал:

– Подержу тебя здесь, в Певеке, до навигации, а потом дам направление в Сибирь. Там, говорят, режим получше нашего. Может, уцелеешь... Я позвоню кое-кому, бумаги сделаю.

Дал часы с дарственной надписью, не побоялся.

И зажил Костя в Певеке целых четыре месяца как король!

Все знали о нём, и никто его не трогал, никто не допекал работой. Всё у него было. И не только со стола генерала, от душевных щедрот его милейшей жёнушки, но и от других офицерских жён, которым делал Васильев подпольно направо и налево запрещённые в те годы аборты.

На пароход Константин погрузился с кучей вещей и подарков. Со стороны посмотреть – вроде бы и не зэк даже, а комиссованный как бы. Во Владивосток без конвоя прибыл. Сам! А это ЧП необыкновенное. Но это потому, что о Васильеве заранее сообщили, что едет такой-то и такой-то. Конечно, его встретили у самого трапа с "почётным" конвоем и отправили в Тайшетлаг, но уже без почёта. Конвой, естественно, все вещи отобрал в дороге, и вышло так, что из Тайшетлага вскоре отправили его снова в Магадан с очередной партией зэков. Круг замкнулся. Видно, не дошли бумаги генерала до того, кто мог что-то сделать для Кости, а может, их и не было. А может, и были, да решили не делать исключения какому-то бывшему докторишке, не стали рисковать карьерой и головой.

«Слава Богу, что выжил всё же Костя. После 56-го года женился там же, на Колыме, на бывшей связной бандеровцев, живёт счастливо. Впоследствии его реабилитировали, и он ещё долгое время работал в Магадане по доброй воле. Не всех и не сразу отпускала от себя политая невинной кровью и потом, миллионами проклятая земля лагерей.

Васильев выжил, может, и сейчас жив, давно от него писем не было, а вот все остальные... Все, с кем сидел, с кем бедовал, кто понимал меня и кого я мог понять, уже там... Все. И сколько за ними стоит таких историй, как у Кости!.. Сколько судеб и жизней загублено зря. Ради чего? Ради амбиций нескольких ошалевших от власти и людской крови мерзавцев? Нет, сомневаюсь... Здесь что-то иное... По-моему, природа делает с нами свой глобальный эксперимент, выковывая из человек нечто новое, ранее неведомое миру. Узнать бы только – что! Может, иначе как-то всё случилось бы, может, и не нужно было тогда идти к этому новому типу "хомо сапиенса", устилая путь костями великого множества живых, мыслящих и чувствующих людей, не оставивших после себя ничего, кроме могильного праха...

Лет десять назад ходил в Кисловодске на могилу одного из них, Бориса Чичерина, однофамильца красного дипломата. Тоже был незаурядный человек. Личность! Но и он сомневался. Во всём сомневался. Такая, видно, была жизнь в те годы – сомнительная. И каждый находил в ней своё место как мог и умел. Как ему позволяли совесть и его силы. Не у всех они, к сожалению, оказались беспредельными. У меня, в частности, тоже.

\*\*\*

Баня

«А непогода всё беснуется под окном, крутит, вертит фонари на столбах. Хлещут за окном струи дождя...

Честно говоря, я всегда немного побаивался неистовства стихии. У меня с ней как правило связаны самые грустные события в жизни. И сердце, милосердный вещун, в предчувствии какой-то очередной пакости судьбы сжимается и саднит в груди, прыгает, дёргается в непогоду...

Вот так же тяжело было 31 декабря 1946 года. Время близилось к полуночи, на тёмном безлунном небе ярко горели северные звёзды, шестидесятичетырёхградусный мороз сделал воздух тяжёлым и неподвижным. Сковал холодом всё живое и мёртвое. Громче, чем обычно, хрустел под ногами снег, дыхание стало неглубоким, частым и прерывистым.

Дышать таким воздухом в полную грудь невозможно и самоубийственно, поэтому зэки дышали с одышкой, словно загнанные лошади.

В бане, срубленной ещё "пионерами" Колымы, было тепло и даже уютно. Она стояла в рабочей зоне лагеря, и в ней раз в неделю, приходя с работы, зэки мылись и сушили одежду в дезокамерах.

Банный день назначался обычно один раз в месяц, согласно графику по баракам, после конца рабочего дня. На работе каждый уматывался так, что сил едва хватало доплестись до кухни, получить свою порцию «магаровой» каши-размазухи и завалиться на нары. До бани ли тут?

Но после прихода с работы вертухаи всегда устраивали шмон у барака. Они не торопились делать «отбой», а тщательно обыскивали зэков-«мужиков» на морозе, выискивая недозволенные предметы. И всё равно блатные проносили в зону тесаки и заточки.

После «шмона» можно было входить в барак, в дверях которого стоял вор в законе, или его «шестёрка», и проверял, все ли зэки принесли с собой дрова. Если у кого-то не было чурки или хотя бы небольшой щепы, его не пускали в барак.

После этого дневальный, всё тот же вор в законе, объявлял баню. В баню брали с собой на прожарку всё, где завелись клопы и вши. Мыться в бане должны были все, иначе лишали пайки. Большинство, конечно, делали вид, что моются, а на самом деле выжидали момент, когда принесут вещи с вошебойки, чтобы получить свои шмотки, иначе могли остаться совсем без одежды.

Пока братва мылась в бане, их места на нарах шпарили кипятком, выпаривая клопов и тараканов. В бараке после этой пропарки становилось душно и смрадно. И в этом смраде отчётливо слышался многоэтажный мат, которым крыли друг друга зэки, недосчитавшиеся своих вещей после бани.

Окрик дневального прекращал ругань, объявлялось построение в столовую за получением порции баланды с кашей. В столовой, почти бегом, на ходу, выпивалась чашка каши через край, вылизывались языком остатки, и – снова строем в барак, за законной пайкой хлеба, неизвестно из чего испечённого...

Хлеб выдавался каждому по списку самим бригадиром, и в это время, что бы ни произошло вокруг, зэк-«мужик» должен был молчать, иначе вообще мог остаться без хлеба.

После того, как получали хлеб, зэки садились на свои нары, постелив на одеяла какие-нибудь тряпицы, чтобы не уронить и самую малую крошку из пайки хлеба. В это время в бараке стояла мёртвая тишина. Каждый старался тянуть эту счастливую минуту насыщения как можно дольше.

Потом начиналась вечерняя поверка. Фамилия, статья, срок... К полуночи все движения прекращались, объявлялся отбой, и все замирали до пяти часов утра...

И так было почти всегда.

В тот праздничный вечер в огромный предбанник набилась добрая сотня давно помывшихся заключённых. Мы молча сидели на мокрых лавках вдоль стен, сложенных из сухих, как порох, листовых брёвен, и молчали. Измождённые работой и зверским холодом наши разомлевшие в тепле тела издавали страшной силы кашель, раздражающий больные лёгкие. В предбаннике собрались не все, кое-кто ещё возился в мойке, наслаждаясь самим процессом мытья. Обслуга из самых блатных уголовников в своём отгороженном закутке на редкость мирно провожала уходивший 1946 год. На грубо сколоченном столе, видимом всем зэкам, кроме традиционного праздничного чифира лежал белый хлеб, копчёная рыба, банка с красной икрой и чеснок...

Мы старались не смотреть в их сторону, но глаза сами искали давно забытые продукты, а нос поневоле втягивал соблазнительные запахи.

Запах, запах! Как он нас раздражал! Среди банной вони, сдобренной "ароматом" гнилых тряпок, он, словно нежный цветок на асфальте, поражал воображение своей неестественностью и абсурдностью.

"Мужики" в предбаннике сидели голые, наша одежда и большие армейские одеяла американского производства на огромных кольцах висели внутри дезинфекционных камер. Особенно ушлые – как правило, зеки со стажем – исхитрились прицепить на кольца и валенки, в расчёте на то, что и им тоже неплохо подсохнуть.

В топках по камерам весело и ярко горели чурки разрубленных смолистых лиственничных пней. Жар от них доходил и до нас, высушивая влажную, прыщавую, жёлтую кожу.

В ту новогоднюю ночь настроение у всех было всё же каким-то миролюбивым и благодушным на редкость. Куда девалась нервная раздражительность, не покидавшая нас все другие дни и ночи. Похоже, что каждый, сидя в тепле и глядя в огонь, вспоминал что-то своё, оставшееся там, на далёком "материке"...

Вот сейчас самое время постучаться бы Деду Морозу в заснеженное окно нашего довоенного общего дома, и сказать: "Здравствуйте, дети!". И дети запрыгали бы вокруг него, делая вид, что не узнают в бородатом дядьке своего батьку, привязавшего к лицу мочалку и вывернувшего наизнанку тулуп...

Но в моё окно никто и никогда не постучит ни там, ни здесь. Только Большая Медведица за промёрзшим стеклом показывает, что уже вот-вот наступит полночь. Зеки хорошо научились определять время по звёздам, и, как только созвездия к двенадцати часам заняли положенное место на небосклоне, все дружно стали требовать окончания "поджаривания" вшей и открытия "вошебойки".

На наши дружные крики из закутка вышел "бригадир" – рыжий, хорошо сложенный и затейливо разукрашенный татуировкой бандит со стажем, имевший срок в пятьдесят лет по приговору не одного суда, и сказал:

– Ничего, ничего, мужики! Сейчас роба прогреется, и спокойненько поспите без вшей. Новый год всё же, христианской душе подарок нужен. Понимаем!

Ловким движением он привычно лихо распахнул обе двери дезокамер...

Я сидел напротив одной из них, и с превеликим ужасом вдруг увидел, что всё, что в них находилось, давно уже тлело, а большой приток воздуха мгновенно воспламенил эту тлеющую массу, и пламя буквально выплеснулось из камер к потолку и стало заполнять весь предбанник.

Что делать? Ведь голый же!

Голый!!!

Быстро сунул ноги в чьи-то валенки, стоявшие рядом со мной, и бросился к двери, толчком открыл её, и пулей вылетел на шестидесятиградусный мороз. За мной стали выскакивать и остальные. И всё это делалось молча, молча...

Блатная обслуга, видя, что огонь уже ничем не затушить, не спеша оделась и благополучно вышла через дверь кочегарки.

Наконец мы опомнились, и с криками "Пожар!" помчались к лагерным воротам, а это было не близко – две стороны лагерного прямоугольника по четыреста метров каждая.

Примчавшись к воротам, остановились, дождались отставших и построились в колонну по пять человек в ряд.

Дежурный вышел из караулки, вылупил глаза, и с видом полного идиота рассматривал строй. Так длилось какое-то время, необходимое надзирателю для осмысления происходящего. Наконец, до него дошёл смысл слова "пожар". Торопливо открылись ворота, нас скорёхонько пересчитали и пропустили в зону...

В холодном бараке едва теплилась печка, сделанная из железной бочки, и мы, посиневшие от холода, с нетерпением ждали прихода нового, 1947 года. Но мы уже не ожидали от него ничего хорошего. Ничего! Слишком впечатляющим был его приход»

\*\*\*

Побег в никуда.

Побеги заключённых из тюрем и лагерей были и будут всегда, как бы бдительно их ни охраняли. Узники иногда сознательно пребывание в заточении меняют на кратковременную свободу и смерть при побегах. И у каждого есть на то свой резон. Побег был и из немецких лагерей. Разница состоит лишь в том, что если там едва удавалось вырваться за колючую проволоку, дальше след беглеца мог для преследователей затеряться навсегда. В советских лагерях ситуация совершенно иная.

Например, в Печорских лагерях, которые располагаются в выгодных для охраны местах, кругом непроходимые болота, и в летнее время всё живое заедают комары, гнус, оводы, а зимой глубокие снега и трескучие морозы делают побег самоубийством.

Кроме того, везде хорошо налажена оперативная служба. На всех полустанках и перекрёстках железнодорожных и автомобильных дорог спецслужбы имеют свои посты. Во всех населённых пунктах завербованы в нештатные сотрудники НКВД-КГБ-МВД местные жители, коми-зыряне. Они хорошо снабжаются за сообщение в надлежащие органы о появлении в их регионе неизвестной личности. Кроме денежного вознаграждения получают ещё и рыбу, муку, растительное масло. Поэтому внештатным секретным сотрудникам, сексотам, выгоднее «стучать» по инстанции, чем бить таёжного зверя, а экам, сидевшим по 58-й статье, даже мысли о побеге были противопоказаны. Но зэки всё же бежали...

Кажется, в том же 1947 году на Колыме была дерзкая попытка массового побега. А может, в сорок восьмом? Может, и в сорок восьмом. Разве упомнишь точно, где и когда всё это было? Ведь мы жили там без газет, без радио... как на необитаемом острове. В некоторых лагерях зэки даже не знали, что была война. Власти всё делали для того, чтобы превратить нас в скотов, бездумных и послушных рабов системы, для которых будущее заключалось в их собственной смерти. Поэтому и памяти моей трудно уцепиться за даты, события. Но это было. Было. Было!..

Столько легенд, столько слухов и домыслов ходило потом по лагерям об этом подвиге отчаяния! Я сам не раз слышал их, и каждый раз – с новыми подробностями и именами. Так, наверное, рождались в народных сказаниях образы знаменитых богатырей земли русской. В каждом новом пересказе незримо жил свой Илья Муромец, свой Алёша Попович, князь Игорь...

А дело было так.

\*\*\*

Иван Тонконогов, бывший лейтенант, дерзкий мужичонка с редкими зубами, – это он всё организовал. Он, и его кореша. Они всегда держались отдельно от остальной зэковской шушеры, все были "лагерной интеллигенцией": кто повар, кто писарь, кто вообще "принеси-подай"... Ловко они всё это сумели сделать, незаметно как-то выжили со своих мест "старичков"-уголовников и прижились на лакейских харчах вроде бы хорошо, прочно. Жить можно... по лагерным меркам. И даже выжить... Выживешь при любой гулаговской катастрофе, если, конечно, не поголовно всех... А они вон, оказывается, для чего всё это делали! Да иначе у них и быть не могло – почти все кадровые офицеры, люди думающие, грамотные, повоевавшие на своём веку сполна. Жизнь повидали, и знали ей цену. Поляк, помню, был среди них – Янцевик фамилия – офицер Войска Польского... Всего четырнадцать человек рискнуло. Храбрые были ребята, отчаянные. Не каждый решится и "вольняшкой" мотануть с Колымы до Тихого океана, а они – из лагеря, зимой...

Зона окружена была обычными жердями, народу в ней немного, и площадь была всего га четыре. Бараки одноэтажные, глинобитные, в каждом по 100 человек на двойных деревянных нарах.

Зима, февраль. Лагерь весь белый, дым от печек не давал копоты – топили только дровами. Красота, конечно, ежели бы вольным был жителем. Хоть пейзажи красками пиши... Белая зона кругом, белая зона пустыни!..

Против главного входа в лагерь – барак ВОХРы. Военная охрана лагеря состояла в основном из демобилизованных уже солдат, добровольно оставшихся на сверхсрочную службу.

Понятно, что добрый человек на такую паскудную службу сам не оставался, и поэтому у эзков был вечный антагонизм с охраной, ставившей нередко последнюю точку пулей в этой никогда не прекращавшейся конфронтации.

Лагерь охранял часовой на вышке и дежурный надзиратель по лагерю.

Ночь. Ночная смена уже не работает. Все спят. И эки, и охрана. Только "интеллигенты" пригласили после отбоя дежурного надзирателя к себе на чай. И пока Иван Тонконогов вёл "игру" с надзирателем, тому сзади набросили полотенце на шею...

Тонконогов быстро переоделся в одежду надзирателя, труп которого сунули под нары.

Дежурный на вахте привычно дремал, и Иван прибил его поленом. Теперь у эзков был наган. Захватили с собой наручники. С часовым разделались вовсе просто: позвали с вышки погреться чаем. У вышки же Иван наставил на него наган и надел наручники.

Теперь у них была ещё и винтовка.

Всей гурьбой двинулись в барак ВОХРы. Дежурного в бараче сняли быстро, но допустили непростительную оплошность: один солдат головой пробил оконную раму и семь километров бежал до центрального посёлка в одном нижнем белье.

Этот человек и погубил всё дело на корню. С его побегом шансов на удачу не оставалось совсем, но отступить было поздно и, забрав всё оружие, приковав солдат к нарам, эки рванули на трассу...

На трассе им посчастливилось захватить лесовоз, они хотели махнуть на нём до Алдана, где, как говорили в лагере, американцы ещё перегоняли для Сталина самолёты. Захватив самолёт (среди них были два лётчика), можно было бежать в Японию, в Корею, в Китай... К чёрту на кулички!

Бежать!

Бежать!!

Бежать!!!

Сколько раз мне приходила эта шальная мысль!.. Но я знал, что это отчаяние говорит во мне, отчаяние! Единственное место, куда можно было бежать с Колымы, – на тот свет. Это им, молодым, разбалованным на войне свободой, первая отсидка казалась концом света, а у меня уже был тридцать седьмой год, и условия тогда были ещё страшнее. И шансов на выживание тогда не было никаких, потому что кроме ВОХРы лютовали ещё и уголовники, которых нарочно подсаживали к "врагам народа".

Конечно же, ни в какой Алдан беглецы не попали, да и не могли попасть. А если бы и попали, то никаких американских самолётов там и в помине не было. Уже давно шла холодная война, и уже давно на нашу страну вновь опустился железный занавес секретности и молчания, отгородивший нас от "тлетворного влияния" Запада и Востока, кажется, навсегда. По всей трассе уже была поднята тревога, все лагеря ошетились штыками и пулемётами, и никого не подпускали к себе на пушечный выстрел: боялись нападений на другие лагеря и новых выступлений эзков.

Кстати, странно, но беглецы и не думали о таком обороте событий. Они даже и не пытались обратиться за помощью к осуждённым, предложив им вступить в их группу. Не предлагали и вооружиться оставшимся или просто разбежаться кто куда. Они твёрдо придерживались своего плана, и шли на смертельный риск только сами.

Их "застукали" у женского лагеря. У беглецов было мало патронов, зато два пулемёта, автоматы, винтовки, и каждый из них прошёл нелёгкую школу войны.

Они держали круговую оборону на сопке несколько часов. Сколько положили солдат у той высоты – неизвестно, но первым убили начальника своего лагеря, который, ошалеv от возможности оказаться за решёткой из-за ЧП, шёл на беглецов в полный рост, не таясь и не прячась.

И всё же из четырнадцати трое ушли неизвестно куда. Одного из них я встречал потом где-то в пересыльном лагере, но уже под другой фамилией. Это был старший лейтенант, разведчик, попавший когда-то с фронта в тыл по делам и убивший за что-то в Риге милиционера прямо на улице среди бела дня. Вот этот лейтенант остался живым. И ещё не нашли поляка, офицера Войска Польского. А через некоторое время взяли где-то лейтенанта Солдатова, он уполз из сражения в самом начале и прятался в кустарнике. Ему полностью восстановили срок и хорошо помучили в лагере.

Удивляюсь – почему не расстреляли сразу же...

Так и закончился ничем этот побег, ещё раз показавший зэкам силу НКВД и бесполезность сопротивления сложившейся системе угнетения.

Сопротивление...

Было ли оно?».

\*\*\*

В лагере Бух изредка вспоминал свою вербовку в подпольную организацию, и не раз спрашивал себя: где мои товарищи, почему ничего не предпринимают для свержения ненавистного диктатора? И с ужасом отвечал себе: а что ты сам, Бух-Коломейчук, сделал для этого?

Неизвестно, что спасло его в лагерях – может, здоровье, может, слепой случай, а может, всё же судьба, решившая протащить его по всем кругам земного ада и добить уже на воле, среди родных и друзей? Может, и так.

«Всё может быть в этой жизни, неизвестно кем нам дающейся, неизвестно зачем забираемой в самый расцвет мыслительного процесса, – размышлял Алексей Максимович. – Все мы под Богом ходим. И хоть я материалист, я говорю и вкладываю в понятие судьбы и Бога предопределённость человеческого существования на Земле неодушевлённой природой, которой чужды страдания одиночек и которая откликается лишь на гигантские потрясения человеческих масс, затрагивающие и её движение во времени. Она – титан, не замечающий страдания муравьёв, копошащихся на её теле, пока они, муравьи, не сбиваются в общие кучи и не превращаются в единое целое, объединённое задачей, представляющей угрозу всему живому. К счастью, люди ни разу не смогли серьёзно ранить Мать-Природу, но отношения с ней испортили окончательно. Может, поэтому она так и мстит нам, извергая из недр своих монстров, безжалостно уничтожающих себе подобных? И сколько ещё она породит их, на какие дела даст своё ласковое материнское благословение? Куда заведут эти выродки род человеческий?»

\*\*\*

Сон

«Вчера ночью мне приснился странный сон: будто я умер, будто меня хоронят, будто собрались на похороны все друзья и знакомые – и живые, и мёртвые, а я лежу в гробу, и одновременно нахожусь среди провожающих меня в последний путь. Я всё слышу, что говорят обо мне и кто говорит, даже сам отвечаю на какие-то вопросы...

Странный сон.

Сладкий сон...

Я видел многих, кого уже и успел забыть напрочь. И мне приятно было их видеть, общаться с ними. И им было приятно со мной. Это были люди моего круга общения. Я был им понятен. И они были понятны мне.

И мы были нужны друг другу. Нужны...

Не знаю, как долог был мой сон, но я не хотел просыпаться, и очнулся только тогда, когда мой гроб накрыли крышкой, заколотили гвоздями, опустили в могилу и стали сыпать на него землю. Никто наверху не плакал, не произносил речей, все молча кидали пригоршнями комочки земли и просветлённые уходили от меня...

Кинул землю на свою могилу и я, оглянувшись вокруг и увидел, что могила одиноко стоит посреди безжизненной пустыни, а люди, милые мне люди, цепочкой уходят в сторону заката...

И вот тогда я проснулся окончательно...

Странный сон, вещий сон».

\*\*\*

### Семья

1953 год принёс перемены не только в личной судьбе Буха, но и в судьбе многих узников системы, он стал годом надежд и годом освобождения от гнёта тирании Сталина для миллионов эков. Правда, не всем эта свобода улыбнулась именно в год смерти "вождя мирового пролетариата", слишком большим экономическим и моральным потрясением было бы для страны освобождение столь громадного числа несчастных, поэтому их стали амнистировать и выпускать партиями.

После возвращения с севера в 1955 году Алексей Максимович очень осторожно навёл справки о своей бывшей семье и узнал новости, в очередной раз потрясшие его своей жестокой несправедливостью.

Его бывшая жена, несмотря на их ссоры последних лет, всё равно в общем-то тихая и робкая женщина, забитая этой проклятой жизнью, всегда и во всём слушавшаяся родню, официально отрёкшаяся от мужа по наущению своей матери ещё в тридцать седьмом году, сразу же после его первого ареста, и вышедшая вскоре замуж за старого, но ещё крепкого крестьянина-единоличника у себя на родине, была повешена немцами в числе других восьми женщин за связь с партизанами в 1942 году.

Алексей Максимович был потрясён её смертью. Ведь все эти годы он вёл с ней по ночам долгие разговоры, доверяя ей самое сокровенное, самое лучшее, что было в его голове и сердце. Он любил её и не мог, не хотел верить, что её больше нет, что все долгие годы лихолетья вёл тайные беседы с покойницей. С духом!..

Смерть страшна не тем, что человек исчезает с лица земли, а невозможностью для живущих его видеть, говорить с ним, прикоснуться к нему... Общаться с ушедшим. А он... Он так хотел вновь увидеть её, хотя бы издали, хотя бы на секунду запечатлеть образ любимой Сашеньки в своей памяти, увидеть её в этом времени, в этой новой жизни, а потом... хоть умереть... Лишь бы она жила и была счастлива... Лишь бы она была жива...

Сын его Виль, названный так в честь Владимира Ильича Ленина, рождения 1926 года, добровольцем ушёл на фронт и был ранен в конце войны, потерял глаз и пять пальцев на руках. Однако чудом смог устроиться работать на железнодорожную станцию, где однажды постарался предотвратить аварию, но, расцепив вагоны, сам уже не успел отскочить из-под них...

Алексей Максимович не мог представить сына инвалидом, как вообще не мог представить взрослым мальчика, от которого его увели в далёком тридцать седьмом году. И потому смерть сына на фоне потери любимой жены несколько потускнела по горечи восприятия, смазалась.

Дочери, к счастью, оказались обе живы. Одна работала на Украине, на свекольной плантации, и жила с мужем-алкоголиком. Вторая, младшая, заканчивала какой-то техникум (или училище?) и хотела продолжить образование в вузе.

Алексей Максимович не знал, как ему поступить и что делать. Открыться родным под именем Буха он не мог, это означало бы, что ему автоматически грозил новый срок по 58-й статье, а дочерям пришлось бы вновь хлебнуть лиха из тридцать седьмого года. Но и жить вдали от них ему было невыносимо. После стольких лет разлуки и стольких смертей Алексею Максимовичу хотелось домашнего тепла, ласки родных людей, видящих в нём не "врага народа", а отца. Ему нужно было простое человеческое общение, женская доброта, семья и дети. Его дети.

Физически он был ещё крепок и мог дать любому сверстнику сто очков вперёд, но он устал бродить по земле в полном одиночестве, устал носить на себе чужую шкуру, чужое имя...

Он прекрасно понимал опасность своего положения и мудро решил не торопить события. Сталин-то уже умер. Неужели ничего не изменится в этом мире с его смертью? Неужели невинно пролитая кровь не призовет к отмщению? Должна, обязана.

Да, не следовало торопиться, нужно было хорошенько осмотреться и разобраться в этой жизни, из которой его насильно увели почти двадцать лет назад и которую он совсем не знал.

И он устроился на работу.

\*\*\*

ГэБэ

В лагерях им было освоено множество профессий, но основной стала профессия строителя. Довольно скоро он занял место бригадира в одной строительной конторе и стал зарабатывать прилично по тем временам. Значительную часть денег высылал на имя младшенькой, не открывая истинного своего имени. Этим и утешился на время. А тут вскоре подоспел 1956 год и съезд партии, который, во всеуслышание заявив о культе личности Сталина, косвенно снимал с Буха обвинения по первой судимости.

Алексей Максимович воспрянул духом и сразу же бросился в КГБ. Там всё рассказал о себе в мельчайших подробностях, и увидел, с какой ненавистью смотрели на него некоторые бывшие энкавэдэшники в новенькой форме Комитета Государственной Безопасности. Но он уже не боялся их. Он искренне верил, что их время прошло, и настала пора всем репрессированным снова встать в полный рост и заговорить в полный голос.

\*\*\*

Вообще в те годы в стране царил удивительная эйфория разоблачительства. Появилась даже мода на репрессированных в семье и в родне. Как-то даже считалось предосудительным, если кого-то из близких родственников не постигла в тридцатые годы трагедия. И, как от любого перебора, в этом вихре срывания масок Бух почувствовал новую зреющую беду. Но в чём она заключалась, не мог сразу понять и, по своей давней привычке, внимательно прислушивался к настроению окружающих его людей, к радио, к информации в газетах, стараясь сориентироваться раньше многих и принять необходимые меры самозащиты.

\*\*\*

Пока кагэбэшный запрос о Бухе-Коломейчуке гулял по великому и могучему Советскому Союзу и по всем лагерям не менее великого арестантского Севера, Алексей Максимович решил не тянуть с объявлением на свет Божий под старым именем и написал дочерям о своём воскрешении из мёртвых, о запоздалом прибытии из зэковского небытия.

Вскоре к нему приехала младшая дочь. После освобождения Алексей Максимович поселился на юге и она, имея на то свои веские и пока тайные для него причины, решила, что ей будет лучше, если свою жизнь она начнёт строить вместе с отцом. Он был ей рад несказанно – всё родная кровинка рядом. И, хотя поначалу им пришлось снимать квартиру в плохо отапливаемом бараке, Алексей Максимович был счастлив настолько, что не обратил внимания на то, что дочь ждёт ребёнка...

\*\*\*

Когда родилась внучка, Алексей Максимович снова ощутил себя молодым и здоровым, сбросившим лет двадцать своей неустроенной холостяцкой жизни.

Дочери сказал, что отец, отказавшийся от своего ребёнка, не может считаться порядочным человеком, и поэтому ноги его в их доме не будет никогда.



Его дочь мечтала поступить учиться в институт. Наверное, ей генетически передалась отцовская тяга к знаниям. Может, из неё вышел бы хороший специалист...

В конце пятидесятых она была убита и ограблена ночью на улице, когда шла с работы после второй смены. Внучке было тогда три года.

\*\*\*

Бух перенёс и этот страшный удар судьбы. Он не отдал ребёнка в приют, как это ему советовали сделать сердобольные соседи, а вырастил и поднял её на ноги не хуже родного отца. На многие годы она стала его единственной радостью, единственной заботой и печалью. Единственной и настоящей опорой в жизни.

\*\*\*

Бумаги Алексея Максимовича "гуляли" по стране почти два года. Целых два долгих года! Всё это время где-то проверяли и перепроверяли его родословную, где-то сверяли факты биографии, а где-то зачитывались протоколами допросов и судебных приговоров.

И вот однажды, ещё при жизни дочери, его вызвали в республиканское управление КГБ.

Невысокое угловое серое здание, являющееся тыловой частью целого комплекса строений карательного ведомства республики, чем-то неуловимо напоминало дома, построенные пленными японцами на Дальнем Востоке, и вызывало неприятное воспоминание у Буха о недавнем прошлом. Скорее всего, это происходило оттого, что он уже знал о том, что в нескольких метрах от вполне приличных и привычных для обывателя чиновничьих кабинетов, внутри прямоугольника таких же уродливых построек, находилась бывшая внутренняя тюрьма НКВД, славившаяся своим жестоким обращением с заключёнными по всему югу Советского Союза. А может, просто он уже накопил достаточно информационного материала для оценки политического и экономического положения в стране, сложившегося к 1958 году, кто его знает. Он и сам вряд ли тогда мог бы определённо сформулировать своё отношение к режиму Хрущёва и своё отношение к его реформам в армии, в стране и в карательных органах. От эйфории первых месяцев "политической оттепели" Бух смог вылечиться довольно быстро, так как вновь увидел всю ту же неприличную игру политических авантюристов и выскочек хрущёвской эпохи, безболезненно перескочивших в неё из эпохи сталинской. Но в нём всегда жила надежда на лучшее в человеке, надежда на прекрасное. В нём жил и никак не мог умереть революционный романтик времён гражданской войны. И поэтому он уверенно смотрел в будущее.

Высокий и седой красавец в гражданской одежде, сидевший в почти пустом кабинете приёмной, привычно предложил сесть Алексею Максимовичу на единственный стул и равнодушно объявил:

– Ваше дело рассмотрено самым тщательным образом. Можете жить и работать спокойно, вы арестовывались напрасно. Вас реабилитировали. До свидания!

– А... А как с документами на моё старое имя? – только и спросил ошалевший от неожиданного приёма Бух, пытливо всматриваясь в ничего не выражающие глаза чекиста.

От этого вопроса хозяин кабинета встал во весь свой огромный рост и неожиданно пророкотал металлом в голосе:

– Вам что, гражданин Бух, не нравится имя Алексея Максимовича?

Над головой чекиста висел рисованный портрет Феликса Эдмундовича, сосредоточенно смотревшего куда-то в сторону такими же оловянными глазами, как и у его младшего коллеги по профессии.

– Нравится, – тихо пробормотал Бух и пошёл к выходу.

Голос.

Он узнал этот голос.

Так разговаривали с ним в лагерях и тюрьмах и наши, и немцы, и итальянцы. И вот теперь этот... И это уже сейчас, после всех решений и постановлений... Как это понимать?

Неужели снова возврат к старому? Неужели они непобедимы везде и всегда? Во всём мире, во всей Вселенной...

– А почему в своём заявлении вы не просите о восстановлении в рядах ленинской партии? – остановил Буха вопросом кагэбэшник.

Алексей Максимович замедлил шаги и сказал, глядя в пол:

– Не хочу получать вторую пощёчину. Прощайте!

Он ушёл униженным и раздавленным. И никогда больше не заводил разговора с начальством о своей старой фамилии. Он боялся снова услышать в ответ всё тот же проклятый народами голос – голос безжалостного охранника и палача. Его устраивало, что родственники знали о нём всё, а больше он никому не хотел навязывать себя и свои болячки. Единственное, что Бух позволил себе позднее, на склоне лет, так это табличку на воротах своего дома, где обе его фамилии красовались вместе, разделённые небольшой чёрточкой.

\*\*\*

### Александра Трофимовна

Женитьба – это ответственный момент для человека в любом возрасте. При вступлении в брак каждый супруг берёт на себя половину той ответственности на пути начинающейся семейной жизни, за которую рано или поздно ему нужно будет нести ответ или перед Богом, или перед людьми, или, что страшнее всего, перед самим собой.

Молодёжь в браке чаще всего желает самоутверждения и не хочет ни в чём уступать друг другу, тем более брать какую бы то ни было вину на самого себя. После двух-трёх крупных скандалов молодые супруги чаще всего делают скоропалительный и трагический вывод... Что касается людей старшего возраста, то у них брак заключается осознанно, и потому они умеют терпеливо переносить обиды и делают друг другу необходимые уступки.

В 1960 году Алексей Максимович женился во второй раз. По документам ему исполнилось 69, жене – 49. Жена его была ещё сравнительно молодая женщина, овдовевшая в конце войны. Детей у неё не было, из родственников остался только один брат, да и то двоюродный. К мужчинам Александра Трофимовна, так звали эту женщину, относилась равнодушно, поэтому и не смогла устроить свою судьбу после войны. Все годы вдовствовала одна, заботясь только о себе, и это ей в конце концов надоело, одиночество стало невыносимо, и вот тут-то она встретила Алексея Максимовича, которому в данный момент было совсем не до скуки и размышлений на возвышенные общечеловеческие и политические темы, нужно было ставить на ноги внучку, нужно было зарабатывать деньги и содержать в порядке квартиру. Но всё же, надо отметить, он с самого первого дня их знакомства обратил особое внимание на Александру Трофимовну и не столько за её выдающуюся внешность, сколько за имя.

\*\*\*

Александра...

Так звали первую жену. Она часто являлась ему во сне такой, какой он запомнил её при аресте: полуодетой, встревоженной, с растрёпанными волосами и каким-то странным, отсутствующим взглядом. Может, она уже всё решила про них двоих тогда, в тот момент? Всё может быть, горная лавина рождается с обрыва со скалы маленького камешка, а тут покатила глыба... И какая!..

Как бы там ни было, но он всё ещё любил её и думал о ней как о живой, потому что не хоронил её, не кидал последнюю горсть земли на могильный холмик, не закрывал её прекрасных глаз...

\*\*\*

Ещё при жизни дочери Бух сумел поставить за городом небольшой заливной домик из шлака, и с тех пор каждое лето его улучшал, делая пристройки. Постепенно в его усадьбе появилась добротная сараюшка, забор, сад. Южный климат не щадит подобные постройки, и

Бух каждый год красил своё жилище, белил. И всё это он делал один, без хозяйки, без помощи друзей, которых так и не завёл.

Со своей будущей женой Алексей Максимович встретился на работе, они трудились в одной организации, и оба сумели за два-три года знакомства присмотреться друг к другу. Александра Трофимовна, как считал Бух, заметила его не за красоту. Ей наверняка понравился аккуратный и работающий, непьющий старичок. Не болтун к тому же. Да Алексей Максимович и замечен был на работе, к нему относились с огромным уважением все члены его бригады, ребята тёртые и всё прошедшие на своём веку. Заслужить их уважение было непросто. А женщины всегда чувствуют и выделяют лидера из любого коллектива. Вот она и выделила его.

К тому же иногда Бух приводил с собой внучку, которая одиноко играла на песочке в куклы. А её дедушка в это время возводил очередной объект народного хозяйства. Как-то само собой у Александры Трофимовны вошло в привычку в свободное время играть с девочкой, и девочка тоже незаметно привязалась к ней. И вышло так, что вскоре одинокая женщина, продав свой домик в центре города, переехала в дом Буха, в который Алексей Максимович, будто загодя зная об этом, сумел встроить ещё одну комнатку.

Сборно-составной дом Буха строился им по весьма мудрёному проекту, завизированному в "нахалстрое". Этот район в городе так и прозвали – Нахаловкой, потому что никто никогда и никому разрешения на строительство здесь не давал, и каждый год все постройки грозились снести.

Люди в это не верили и продолжали строиться, потому что с жильём в городе была настоящая катастрофа. Кто знает, чем бы всё это кончилось, но в начале шестидесятых в этот южный город приехал Никита Сергеевич и, увидев, как люди живут, принародно заявил, что нужно поощрять строительство личных домиков. Тут же к нему стали пробиваться горожане с заранее заготовленными заявлениями и просьбами на строительство, на отведение земельных участков...

Многим в стране и за рубежом запомнилась эта удивительная картина единения руководителя великой страны с простым народом. Охрана генсека ничего не могла сделать, и тысячи людей пробивались к человеку, от подписи которого зависела их судьба. Сколько потом местное начальство ни пыталось грозить "нахаловцам" выселением, сделать было уже ничего нельзя. На большинстве заявлений жителей посёлка или пригорода (сейчас уже трудно определить статус этого района города) стояла подпись Никиты Сергеевича Хрущёва. Он всем ошарашенным жителям так и запомнился: озабоченный и радостный, устало раздающий подписи на разнокалиберных листках бумаги.

Жаркое южное солнце, испуганные лица охранников и местного начальства и толпа рвущихся к своему кумиру навсегда остались и в памяти Алексея Максимовича. Он тоже заимел его подпись. Она дорога ему ещё и тем, что он видел перед собой человека, впервые сказавшего о Сталине правду. Человека, впервые ставшего на путь объединения людей не путём насилия над ними, а путём взаимопонимания и прогресса. Человека, заставившего всех смотреть друг другу в лицо, не опасаясь быть оскорблённым презрительной кличкой "враг народа", сын "врага народа", внук "врага народа"...

После свадьбы, наполовину распитой бутылки домашней наливки, молодожёны зажили не то чтобы счастливо, но дружно. Каждый из них нашёл в браке то, что искал: собеседника, живую душу, с которой можно было и поговорить, и помолчать вместе.

Бух ценил в Александре Трофимовне скромность, невзыскательность, терпимость к неудобствам материального порядка, жертвенность совершенно невообразимую. Это касалось в основном внучки, которую она любила до безумия.

Впрочем, её поступок вызвал разные толки. Одни говорили, что правильно сделала старуха на пороге смерти – хоть поживёт с живым человеком последние годки. Другие называли её дурой, связавшей себя в таком возрасте браком со стариком и крошкой ребёнком, от которой всё равно, даже если и вырастет, толку не будет, выйдет замуж и... И, хотя в последнем злые языки оказались правы (внучка, выросши, вышла замуж за военного и

уехала с мужем на дальнюю заставу, откуда высылала только приветы и переводы), Александра Трофимовна не жалела о своём поступке никогда, Бух это знал точно. Она была счастлива в те годы, когда растила девочку. Видно, в ней не был удовлетворён инстинкт материнства, и она с опозданием, но своё, данное ей природой, взяла.

\*\*\*

Александра Трофимовна оказалась не только хорошей приёмной матерью и бабушкой одновременно, но и прекрасной домашней хозяйкой, у которой всё ладилось, и вскоре по двору усадьбы Буха забегали овцы, куры и кролики.

\*\*\*

С удивлением заметил Алексей Максимович, что отдыхает душой, выхаживая вместе с нею большое стадо тварей Господних, ему (надо же!) доставляло радость занятие сугубо крестьянским трудом, и он почувствовал себя самым счастливым человеком на Земле.

Как всё хорошо складывалось в тот год: и дом сразу стал домом, и внучка под строгим присмотром, и жена оказалась доброй, ласковой, работающей.

Что человеку ещё нужно?

Алексей Максимович иногда размышлял не только о судьбах человечества, но пытался осмыслить и более прозаические вещи. Например, что же такое есть соединение двух живых мыслящих существ как в плане чисто биологическом, так и в духовном. Хорошего из этого никогда не получалось. Размышляя в общих чертах о двух противоположностях, он приходил к умозаключению, что они могут и должны составлять единое целое по многим позициям, но как только переключался на частности, то есть на свои собственные взаимоотношения с прекрасным полом, у него всё шло кувырком, он ничего не понимал, ничего не соображал в их поступках и в их проклятой женской логике.

Как бы то ни было, но первые годы супружества были прекрасны, Алексей Максимович искренне верил, что так теперь будет до самой его смерти.

Во-первых, он не собирался ничего менять в своей личной жизни, надеялся, что так же думала и Александра Трофимовна.

Во-вторых, знал, дом – гордость Алексея Максимовича – простоит не один десяток лет, потому что кроме охранной грамоты, подписанной великим человеком, его район местонахождения вряд ли серьёзно заинтересует городские власти до конца века.

\*\*\*

И в этом он оказался прав. Дом стоял последним перед огромным колхозным полем, за которым уже начинался подъём в горы. Строительство новых микрорайонов шло в центре и на другой стороне города, здесь было затишье. О Нахаловке словно забыли в горсовете. И слава богу!

Александра Трофимовна со временем развела небольшой сад во дворе: посадила яблоньки, груши, вишню, черешню, даже воткнула в землю несколько прутьев винограда, каждое лето высаживала в грунт помидоры, дыни, огурцы...

Внучка была довольна своей новой жизнью. Ей прибавилось заботы разве только в уходе за овцами и кроликами, которых она любила и не видела особого труда в их кормёжке и уборке навоза за ними. Осенью девочка с удовольствием помогала взрослым срывать с деревьев яблоки, груши, летом – черешню и вишню. Александра Трофимовна была большая специалистка по части варенья, соленья и сушки всяких продуктов земли и всему этому с тщанием обучала внучку...

Так и шли годы. Старики незаметно для себя старели, становились всё более и более слабыми, дряхлыми, а внучка росла. Потом как-то неожиданно вышла замуж за курсанта пограничного училища и через год уехала с ним к месту службы. Алексей Максимович и Александра Трофимовна долго не могли привыкнуть к её исчезновению из их жизни, но со

временем притерпелись и к этому "несчастью". Два раза даже смогли собраться в гости к ней, но, как оказалось, это занятие уже не для них – езда на дальние пограничные заставы.

\*\*\*

Алексей Максимович всегда помнил, что где-то на Украине живёт и до сих пор работает на свёкле последняя его дочь – Зина. Точнее, Зірка, как она была названа и зарегистрирована при рождении, что означает по-русски Звёздочка. Во время оккупации мать переименовала её, боясь, что давний выбор этого имени отцом-коммунистом может быть для ребёнка опасен. Проклятый страх уродовал людей, заставлял думать о вещах, на которые раньше никто не обращал внимания. Но мать понять можно, время надвигалось страшное, жестокое, и всё могло быть, могло и имя послужить поводом для уничтожения даже невинного дитя. Мало ли негодяев по свету шатаются? Так лучше не рисковать, решила мать, и Зірка стала Зиной. Но Алексей Максимович так до сих пор и называет её первым именем, впрочем, нисколько не обвиняя за содеянное свою бывшую жену в стремлении спасти любой ценой жизнь своим детям.

После войны Зина выросла доброй дивчиной, хорошим человеком и отличным работником. Даже в областной газете не раз отмечали её трудовые достижения, о чём она каждый раз исправно уведомляла отца, сопровождая сообщение соответствующей вырезкой из газеты. Алексей Максимович гордился её трудолюбием и писал на Украину длинные письма, выражая своё искреннее восхищение.

Замуж она вышла за тракториста и комбайнёра, самого почётного человека на селе в те годы, но с замужеством ей не повезло. Муж попался никудышный: пьяница, эгоист, болтун и лентяй. Алексей Максимович лишь однажды встречался с ним в начале шестидесятых, но и этого раза ему хватило на всю жизнь. Не по душе он пришёлся Буху, не по душе.

Вся беда его заключалась в том, что он, как многие мужики из того послевоенного поколения, не смог вписаться в мирную жизнь, много куролесил, не вёл добропорядочного существования и крепко зашибал "горькую". Многое ему можно было простить, – разве он один оказался с изъяном по линии зелёного змия, или же один ходил от жены "на сторону"? – но трудно было понять и простить его склонность к издевательствам над женой, его убеждённость в том, что она пожизненно дана ему в прислуги, словно рабыня.

\*\*\*

В хорошем или же плохом воспитании детей в первую очередь виноваты сами их родители. Это истина, которую трудно опровергнуть. Во время войны, да и после неё, вся тяжесть тыловых лишений легла на плечи молодых женщин, оставшихся без кормильцев с целыми оравами малолеток. Несчастные вдовы перенесли на своих плечах все ужасы войны: холод, голод и непосильную работу. И так в это лихолетье незаметно для себя втянулись в каторжный труд, вросли, что ли, в него, что им стало казаться, что и их детям уготована та же участь, та же рабская подневольная жизнь до конца их собственных дней. Часто можно было слышать от таких родителей слова о том, что, мол, пусть отдыхают дети, пока маленькие, наработаться ещё успеют на своём веку... И по укоренившейся привычке сверх основной брали и всю домашнюю работу на себя...

И всё равно Алексей Максимович искренне не понимал, почему случилось так, что сразу после войны очень многие молодые и крепкие парни, сыновья победителей, стали отъявленными себялюбцами и алкашами. Жизнь они воспринимали только днём сегодняшним, и старались не думать и не загадывать на срок больший. При случае воровали, что попадётся на глаза, и постоянно находились в конфликте с матерями, основным финансовым источником их пьянства. В основе своей это были простые и даже симпатичные ребята, но когда они сходились вместе, то становились опасной стаей. С ними Алексею Максимовичу пришлось хватить немало "мурцовки" в строительной бригаде, и он возненавидел их всей душой, избавляясь от таких "подарков" судьбы в самое короткое время. От них, от этих избалованных матерями пацанов войны, пошли пословицы и поговорки, убивавшие интерес к жизни: "раз живём", "всё равно война", "атомный век"... Бух

не принимал и не понимал никаких извиняющих обстоятельств грубой и бесчеловечной эпохи. Человек, считал он, всегда должен быть человеком и сохранять своё человеческое лицо. Иначе во что может превратиться человечество?

Но это Бух видел, понимал и воспринимал молодое поколение и своего зятя таким, каким они казались ему с вершины его жизненного опыта, а вот его родная дочь Зина, сверстница мужа, видимо, что-то находила иное в этом человеке, и потому родила ему сына, а отцу внука.

К великому сожалению, растила внука главным образом бабушка по отцу. Ударная стахановская работа не дала Зинаиде возможности самой взяться за воспитание единственного отпрыска. И бабушка воспитала внука по своему любимому принципу: нападай на других, если не хочешь, чтобы напали на тебя.

Закваска этой нехитрой бандитской философии была у неё ещё с тех далёких лет, когда муж её пошаливал в Гуляй-поле у батьки Махно, за что получил свою порцию свинца неизвестно где и от кого. Он умер незадолго до новой волны массовой коллективизации, в тридцать шестом. Можно сказать, что ему просто крупно повезло в этом, а то бы гулял где-нибудь вместе с Бухом по бескрайним просторам Колымы, вспоминая своего любимого предводителя. Но вот ведь как бывает в жизни: несмотря на то, что остался от него пацан совсем мал-малёшенек, однако, вероятно, кое-чему сумел научить отец своего пятилетнего малыша, иначе нельзя понять садистских наклонностей уже взрослого и самостоятельного мужчины, в которого мальчик превратился через двадцать лет. А может, и впрямь права пословица: яблоко от яблони...

У самой бабки, конечно, кое-что осталось с той разбойной поры про запас на чёрный день, и она не бедствовала всю войну, спасла на награбленное сына от угона на работу в Германию, да и до наших дней, как оказалось, сохранила немало царских рубликов с портретом любимого императора. Вот на это замаранное кровью золото мужа вырастила и внука, здорового малого по имени Пётр Гнатюк, родившегося у Зинаиды в 1949 году.

\*\*\*

### Внук

Пётр Гнатюк после службы в ракетных войсках стал водителем автомашины в родном совхозе, пьяным поехал на машине в город, задавил где-то по дороге человека и сбежал с Украины от греха подальше на юг, сунув предварительно кому следовало несколько монеток из бабкиных запасов. Уголовное дело в родных местах замяли, но появляться в ближайшее время в совхозе Петру не следовало, и он решил основательно присмотреться к новым порядкам по новому месту жительства.

Пожив немного у деда, он понял, что и на юге жить можно в своё удовольствие. Взятки здесь берут не только рядовые милиционеры, но даже министры не брезгают подношениями, и берут не так дорого, как на родной земле. Там уж совсем "оборзели", совсем совесть потеряли. Проведя, таким образом, разведку, Пётр твёрдо решил обосноваться у деда надолго, так как положение дел в республике его устраивало вполне.

Обо всём этом Алексей Максимович догадался значительно позднее, когда внук уже жил в его доме на правах полноправного хозяина и понемногу терроризировал и его, и Александру Трофимовну. А в самом начале своего пребывания вдали от родимого дома он был милее милого, роднее родного. Внук сознавал, что единственное спасение на сегодняшний день – дед, его квартира, его защита, его имя, биография Алексея Максимовича и авторитет трудолюбивого работника, невинно пострадавшего в годы культа, бессребреника, ведущего большую работу с молодёжью, труженика, почти двадцать лет отработавшего на одном месте...

«Пётр так сумел подкатить ко мне, старому дураку, так смог разжалобить свалившимся на него несчастьем, что надолго выбил у меня желание хоть как-то критически оценивать поступки внука.

У Петра, кроме того, была ещё жена на Украине и сын, теперь уже мой правнук, которого я заочно полюбил неизъяснимой любовью старого человека, воочию ощутившего свой исчезающий след на земле, протянувшийся сквозь века. Да-а...»

Нехитрая одиссея Петра закончилась тем, что Бух прописал его к себе в дом, помог устроиться шофёром на предприятие, где работал до выхода на пенсию. Затем заставил привезти сюда же и жену с правнуком, опасаясь, что вдали от семьи внук может разбаловаться и не захочет потом жить в семье нормально. И это было самое счастливое время их совместной жизни. Целых два года они жили как добрые и ласковые друг к другу родственники, живущие настоящей единой семьёй.

\*\*\*

И всё же, несмотря на своё не критическое отношение к юному потомку, Бух довольно быстро разобрался в характере Петра и попытался исправить в нём кое-что, с его точки зрения, совершенно ненужное молодому человеку в жизни, но... Не тут-то было!

Внук почти с самого момента появления на работе сошёлся с дурной компанией, и приворовывал в группе друзей, верховодил которыми сам директор автобазы... Воровали всё: стройматериалы, сантехнику, фрукты, запчасти. Ворованным снабжали "своих" покупателей в радиусе до сотен и даже тысяч километров. Отправляли грузы не таясь, крупными партиями, не только на машинах, но и контейнерами по железной дороге.

Размах воровского предприятия поражал воображение. Но это было так. Бух смог узнать про это и от самого внука, и покопавшись в некоторых документах, которые он вроде бы случайно просматривал, заглядывая в гости на старую работу. Он совершенно неожиданно для себя открыл, что все годы после отсидки старался сознательно не замечать нарушений закона, делал вид, что всё идёт так, как нужно, в рамках существующего законодательства. А пока он так думал... Короче, Бух стал старательно вспоминать все случаи сомнительного свойства, которые происходили у него на глазах, начал выспрашивать у рабочих, стал прислушиваться к разговорам...

Его не боялись, он был своим человеком, и очень скоро ему всё стало ясно.

\*\*\*

### Рецидив справедливости

«Я многое в жизни знаю, многое видел, над многим размышлял в тиши тюремных камер и несмолкаемом шуме лагерных бараков, убеждён всем своим жизненным опытом, что человека плохим делают обстоятельства. Не сложилось что-то – и человек мог стать "врагом народа", ещё что-то не так сошлось – плен, посчастливилось – бежал, не посчастливилось – смерть или служба у немцев...

Но это всё тяжёлые времена, когда нужно решать по самому крупному счёту, а вот у внука-то что? Почему он безропотно влился в преступную группу? И жизнь другая – мирная, условия другие – не такие жестокие, какие выпали на долю старших поколений, и перспективы жизненные не идут ни в какое сравнение с нашими.

Да, я многое знаю, многое видел, но совершенно не понимаю некоторых шустрых представителей современности. Вначале я относил это к годам своей вынужденной изоляции, потом стал думать, что дело тут в другом. И именно поэтому рассказал о своих наблюдениях участковому милиционеру.

Далось мне это нелегко. И тут дело не только в том, что я фактически доносил на своего родного внука, а в том, что я... доносил. Разве сам я не пострадал в результате лживого доноса в тридцать седьмом? Разве мои товарищи не пострадали от этой проклятой болезни нашего века? И разве все "интеллигенты-политические" не презирали фискалов и доносчиков и не относили их к самым презираемым отщепенцам рода человеческого? Всё это так, но разве должен честный человек проходить мимо преступников, совершающих преступление?

Кажется, это Достоевский начал первым выяснять в литературе, нравственно или не нравственно доносить на ближнего? Что с него взять, ведь сей господин и сам был арестантом, поэтому уже одно это не даёт ему морального права ставить окончательную точку в столь деликатном вопросе. Он пристрастен. Пристрастен, как и любой из нас. Да и что бы тот же Достоевский делал, если бы, например, ему точно было известно, что завтра группа бандитов готовится пролить кровь так любимого писателем невинного ребёнка? Донёс бы он или нет? А если бы донёс, то кем бы он был?.. Интеллигент! Умел только вопросы ставить каверзные, и то половинчатые.

Я тоже долго голову ломал над этим вопросом. Должен ли я молчать? Нет, не должен. А что я могу реально предпринять против этой банды? Всё что угодно, только не молчать. Однажды мы уже молчали – и домолчались. Однажды мы старались не видеть преступления и стыдливо отворачивались от них – и доотворачивались. Даже с теми же доносами вышла полная ерунда. Нам не хотелось хватать за руку преступников, пишущих на честных людей подмётные письма, не хотелось вслух говорить о своих бывших товарищах, засевавших в кабинетах, только и внимающих этим письмам, не хотелось верить, что там, наверху, инспирируют эти потоки лжи... Нет, если бы тогда, в тридцатых, мы сразу бы схватились и с теми, и с другими, и с третьими, то они не смогли бы ничего сделать с нами. А мы сидели и молчали, а если не молчали, то стыдливо говорили о порядочности и не порядочности людей, совершающих гнусности, сотрясали воздух эмоциями. А впрочем, это не только мы делали. В России всегда творились гнусные преступления у всех на виду, и чем выше был чиновник, тем гнуснее были и его дела.

Взять того же князя Меншикова. Ну кто поверит, что за человеческую жизнь можно обогатиться таким несметным богатством, какое было у него к концу его карьеры? Естественно, что воровал. И крупно воровал. А что оставил в память о себе потомкам? Славу невинно пострадавшего опального государственного деятеля. Образец для подражания молодёжи: воруйте, обогащайтесь за счёт ближнего. И даже если вы попадёте на воровстве, то вас всё равно запомнят как умного человека, а не честного глупца, не сумевшего воспользоваться благоприятными обстоятельствами. Вот она, растлевающая мораль русского общества, порождающего преступников. Вор у нас всегда купается в лучах славы своего ремесла, а честный труженик презирается за глупость. Именно об этом пишутся книги, ставятся кинофильмы, рассказываются анекдоты. Недаром кумиром современной молодёжи стал Остап Бендер, мошенник и прощельга. Ни одно крупное преступление, совершённое высшими чиновниками, в последние годы не наказывалось по всей строгости закона. Всё решается кулуарно, келейно, по-партийному... Но народ не проведёшь, он всё видит, всё знает, и делает свои выводы. Грустно только, что расплачиваться потом будем все вместе: и воры, и честные труженики, и сторонние наблюдатели.

У нас, россиян, к великому сожалению, нет иммунитета против воровства. Мы считаем воровство естественным для человека, и это закладывалось в подрастающее поколение советскими руководителями с самого детства. Раньше это считалось грехом, а сейчас... Коммунисты истребили в людях последние корневые отростки совестливости, чудом прораставшие в чистых душах из глубины столетий. Не совести, а именно совестливости. Эти понятия, на мой взгляд, совершенно разные. И потому мы так легко отрицаем частную собственность и не можем принять то, что принимает и понимает весь цивилизованный мир, говоря: "Путём праведным не наживёшь палат каменных", а потому – экспроприируй экспроприируемое, грабь награбленное.

Я убеждён: в правдивых сигналах в органы, призванные наблюдать за соблюдением строжайшей законности, – основа народного контроля. В них, и только в них сила нашего правосудия и правопорядка. Просто у нас извратилось понятие о чести и бесчестии. Почему я должен делать вид, что ничего не происходит, и подавать руку подонку и вору, а не стремиться всеми силами к его аресту, к его изоляции от общества?



Нет, любое преступление должно быть наказано, и любой преступник, какой бы пост он ни занимал, должен понести наказание за совершённое злодеяние.

Всё это, конечно, так, но всё-таки...

Всё-таки я ищу себе оправдание».

\*\*\*

Промучившись с этим проклятым вопросом несколько дней, Алексей Максимович всё же пошёл к участковому милиционеру, и имел с ним многочасовую беседу. В результате на свет появилось длиннущее заявление.

Написав заявление, Бух долго переживал, даже заболел гриппом, потом ангиной с тяжёлым осложнением на лёгкие, и был помещён в свою маленькую комнатку, превратившуюся на длительное время в своеобразное КПЗ домашнего пользования.

Родственники к нему никого не пускали, и он лежал совершенно один и привычно размышлял о своей жизни, о жизни молодого поколения. Он знал, что болен серьёзно, и готовился к самому худшему, мысленно прощаясь со всем живущим на Земле. Он довёл себя до полной готовности к переходу в мир иной и стал внутренне и внешне походить на нечто неземное, неодоушевленное, светлое и умиротворённое.

Александра Трофимовна заказала молебен в церкви и купила ему всё нужное для погребения. Но ему не суждено было умереть и в этот раз в домашней обстановке.

Как только ему стало немного лучше, внук, до этого не заходивший в комнату деда, стал каждый вечер после работы навещать его с одним и тем же вопросом: "Ну что, Павлик Морозов, ещё не сдох?". И с тайной надеждой смотрел Буху в глаза.

Если бы не эта наглость родного человека, неизвестно, сколько бы он ещё провалялся в постели, но тут что-то произошло в его могучем, но обессилевшем организме, он встал на ноги буквально в несколько дней.

Выздоровев, тут же решил поговорить с внуком, но тот разговаривать не стал, повертел пальцем у виска и пообещал отвезти в психушку, если не уймётся. На худой конец, предложил самому, по собственной воле отправиться к праотцам, чтобы не коптить даром небо. Обещал, паршивец, и отравой снабдить.

"Вот оно, крапивное семя, – подумал Бух тогда, вспомнив деда этого щенка по отцовской линии. – Яблоко от яблони..."

– В-о-он! – орал он диким криком. – Вон! И немедленно! Жена и ребёнок пусть остаются, а ты – вон!

– Завтра, – сказал внук, криво усмехаясь. – Завтра я съеду, полицейская твоя шкура!

Алексей Максимович онемел от такой наглости и не скоро нашёлся, что возразить этому... этому молодому человеку. Но тот и не ждал возражений, широкая спина Петра Гнатюка уже мелькала под окнами дома.

\*\*\*

#### Благодарность потомков

«Господи! – думал Бух. – За что ты так меня, за что? Неужели за то, что я не пошёл той дорогой, которую ты указал мне в самом начале жизни? Вот ведь когда откликнулись годы бездействия в немецком тылу, вот когда выстрелил тот патрон, который предназначался мне в сорок первом. Разве кому-нибудь сейчас докажешь, что не хотел себе такой судьбы, что готов был умереть и умер бы ещё в тридцать седьмом, потом в сорок первом, и потом, в сороковых... Да и сейчас, день-два назад, разве не собирался в далёкий путь без стонов и сожалений? А этот выродок... "полицейская шкура"! Посмотреть бы на тебя в то время, да в тех обстоятельствах... Ты бы шкуры с живых людей сдирал, точно. Господи, Господи, ну почему я должен ещё и через это пройти?»

\*\*\*

На другой день после обеда Пётр появился возле дома на машине. Бух в это время возвращался из туалета, который прилепился к сараю, и сделал вид, что не видит внука. Как ковылял по тропинке, покрытой толстыми кусками чёрной резины, так и продолжал свой путь, но этот манёвр был ошибкой, поскольку Пётр, догнав деда на огороде, ударил его чем-то тяжёлым по голове. Когда Бух упал в грязь, Пётр наступил ему ногой на голову и вдавил в чернозём лицом.

– Ты думаешь, фашистская сволочь, за тебя кто-то заступится, кто-то вспомнит про тебя? Да мне все спасибо скажут, что я тебя на тот свет отправил.

Ещё несколько мгновений, и Алексей Максимович отдал бы душу Богу или чёрту (теперь он и сам не знает, кто больше там его ждёт), но тут появилась жена Петра и оттолкнула мужа. А Бух уже задышался в грязи.

Закричала, выскочив на крыльцо, и Александра Трофимовна. Сбежались соседи, все старики, но Пётр не обращал ни на кого внимания. В нём проснулась дикая злоба, дремавшая со времён деда-махновца, и вот она выплеснулась на отжившего свой век старика. Не добила в двадцатом, так хоть сейчас верх возьмёт. И взяла бы...

Под крики соседей Пётр встал одной ногой на голову деда, а второй ударил в грудь, под самое сердце...

Тут Алексей Максимович потерял сознание. Всё, что происходило потом, знает со слов Александры Трофимовны.

Увидев, что мужу жить осталось самую чуточку, она бросилась на насильника, схватила его за губу и в ярости разорвала ему рот. Только тогда озверевший Гнатюк оставил деда в покое, врезав кулаком и старухе за причинённое увечье.

Угрюмо глядя на сбежавшихся соседей, вытирая кровь с разорванного рта, он сказал:

– Этот фашистский холуй останется живым, если сегодня же отсюда смоемся. Поняли? А тебя, бабка, будешь путаться под ногами, свяжу и брошу в погреб. Там и подохнешь, проклятая, никто и знать не будет. Вот только сделай не по-моему. Только сделай! А вы чего выстроились? – обратился он всё к тем же напуганным соседям. – А ну пошли отсюда, пока я с вами по-своему не поговорил! Ну!

\*\*\*

Двадцать четыре дня пролежал Алексей Максимович в травматологии. Врачи после первого же дня пребывания в больнице потребовали, чтобы он написал заявление в милицию о привлечении садиста-внука к уголовной ответственности, вручив, как приложение к заявлению, медицинскую справку о полученных увечьях.

Бух и сам понимал, что оставлять без последствий подобное изуверство нельзя. Если этот зверь так со своими родными расправляется, что же он тогда будет делать с чужими? И, выйдя из больницы, Алексей Максимович сдал соответствующее заявление в милицию.

Участковый сделал запись в каком-то grossбухе о поступлении данного заявления от гражданина Буха Алексея Максимовича и пообещал в скором времени расследование по этому безобразному преступлению.

Бух поинтересовался судьбой своего первого заявления, и участковый уверил его, что первому заявлению уже дали ход и в скором времени компанию воров, расхитителей социалистической собственности, посадят на скамью подсудимых.

С нетерпением ждал Алексей Максимович вызова по первому заявлению в прокуратуру, полагая, что следователей должны интересовать детали этого, несомненно, огромного воровского синдиката, для чего им предстоит многовременное расследование и поэтому не беспокоился особенно невниманием к своей особе с их стороны. Зато очень торопил вызов в милицию по второму заявлению и мысленно обосновывал требование примерного наказания Петра Гнатюка, являющегося социально опасным человеком.

Время шло, никто из официальных лиц его не беспокоил. Участковый милиционер на протяжении нескольких месяцев при случайных встречах неоднократно повторял, что Пётр получит, безусловно заслуженные им три года тюрьмы со строгой изоляцией. Однако через

шесть месяцев оказалось, что заявление на внука каким-то таинственным образом исчезло из РОВД. Исчезло и первое заявление.

И только тогда Бух понял, что это неспроста. И он решил про первое заявление до поры до времени молчать.

Узнав о пропаже второго заявления, районный прокурор, к которому обратился за помощью настырный Бух, заставил Алексея Максимовича написать новое, и прямо у него в кабинете.

Буху понравилась такая заинтересованность в решении сложного вопроса и оперативность районного начальства. Он приободрился и снова стал ждать вызовов в прокуратуру.

Свои первые заявления он печатал на старинной машинке "Ундервуд", которую приобрёл по случаю у одной старухи, бывшей машинистки. Сперва печатал двумя пальцами письма родным и знакомым – его почерк с годами испортился окончательно и посылать письма, написанные от руки, было просто стыдно, – потом он освоил машинку лучше, видно, сказался давнишний навык, стал печатать тремя пальцами. И вот эту-то машинку после похода к районному прокурору у него изъяли. Изъятие производил всё тот же участковый милиционер и под тем предлогом, что, дескать, будет теперь старый Бух писать во всевозможные инстанции жалобы и кляузы, и тем самым отнимать драгоценное время у занятых государственными делами людей.

\*\*\*

И снова слёг Бух в больницу, здоровье вновь сдало. Наконец-то он осознал, что в стране происходит что-то неладное, и что снова оказался в самом пекле каких-то непонятных событий и свершений.

Что происходит?

Почему снова торжествует беззаконие?

Наверное, судьба устраивает очередную проверку на прочность, последнюю, решил он.

Алексей Максимович чувствовал, что на него надвигается нечто страшное и не-понятное, и он, испытавший на себе коварство тридцатых годов, ощутил за спиной холодное дыхание Севера и металлические голоса из прошлого.

\*\*\*

Ему нужно было во многом разобраться, и он попросил принести из дома старый учебник "Истории КПСС", то есть "Истории ВКП(б)", тот самый печально знаменитый краткий курс за 1938 год, и, когда удивлённая Александра Трофимовна выполнила эту просьбу, углубился в чтение статей, освещающих по старым, преступным канонам события тридцать пятого – тридцать седьмого годов.

Что в них выискивал – понять трудно, но что-то же должно было быть общего, если страна вдруг снова стала сворачивать на уже однажды пройденные дорожки.

Нет, ничего общего с теми годами он не нашёл, кроме, пожалуй, невероятного словотворчества в прославлении наших достижений и гигантских планов на необозримое будущее. Да ещё произвёл впечатление лексикон... Грубые жаргонные словечки, вкрапленные в книгу о партии, сейчас вызывали не привычный страх, а удивление своей вульгарностью и откровенной пошлостью.

Впервые эту книгу он нашёл и прочёл в пятьдесят шестом году, и тогда ещё она поразила его откровенной ложью и ничем не прикрытыми угрозами каждому, кто осмелится думать иначе. Вот во что вылился сталинский курс на строительство социализма, при котором врагов в стране должно быть больше, чем существовало их во время кровавой гражданской войны. Оказывается, в тридцатые годы по СССР свободно разгуливали "изверги из бухаринско-троцкистских банд", шпионы и отравители, диверсанты и убийцы, белогвардейские пигмеи, ничтожные лакеи фашистов... Да-да, фашистов! Внучок тоже называл деда фашистом и, кажется, прихвостнем.

«Вначале было слово»... – вспомнил Бух изречение из Библии. – Слово. И какое слово! А может, это лишь начало целого предложения, которое, обжившись в нашем времени, вернёт потом в обиход весь забытый лексикон НКВД? Ну нет, на этот раз я так просто не дамся! Не дамся! Не выйдет! Я буду бороться, буду!.. Буду... Буду, потому что... Потому что куда же мне идти теперь, какие сдавать позиции на этот раз? Какому Богу поклоняться?

\*\*\*

Когда Бух вышел из больницы, новый участковый милиционер подписал постановление об отказе в привлечении к уголовной ответственности Гнатыюка Петра и порекомендовал Алексею Максимовичу обратиться в нарсуд в порядке частного обвинения, обосновав это какими-то законодательными актами и положениями.

– Частное обвинение, частное обвинение! – ворчал Алексей Максимович, но в нарсуд пошёл, решив дойти до конца той цепочки, в которую завязалась тяжба.

И покатилося... Покатилося колесо бюрократического крючкотворства по хорошо накатанной дорожке...

С какой-то непонятной для посторонних решимостью ходил и бродил Алексей Максимович по разным инстанциям, добываясь самого малого в этой странной истории – наказания родного внука. О том, что за этим, возможно, стоят люди более высокого полёта, Бух уже и не заикался. Он понял, что ему с ними справиться невозможно, и решил лишь выстроить для себя ясную картину взаимоотношений с обществом нынешних настоящих врагов народа, выросших из его прошлых "друзей". Поэтому своё первое заявление в милицию он для себя на время похоронил.

\*\*\*

### Паутина

Чем больше увязал Алексей Максимович в этой грязной истории, тем пакостнее становилось у него на душе. Он не однажды добивался самых высоких аудиенций у лиц, поражавших его поначалу своим широким демократизмом, рождавшим неосуществимые иллюзии, но потом Буха уже не трогали ни порывы начальников встретить посетителя у самой двери своих кабинетов и проводить до кресла напротив своего стола, ни мягкие, вкрадчивые голоса, так отличавшиеся от тех, что он помнил с тридцатых, ни щедрые пустые обещания.

«Ждал как-то очередного "товарища" в приёмной ЦК КП республики, – вспомнил Алексей Максимович, – он должен был вот-вот подойти, его зачем-то вызвали наверх прямо в середине нашего разговора, сидел тихо, и вдруг залетает в кабинет с чёрного входа весёлый краснорожий парень лет тридцати, что-то напевает... Увидел меня – и онемел, бедняга. И через долю секунды от его весёлости и следа не осталось. Вместо лица – розовая маска. Маска непричастности, неприступности и чиновного величия.

Он не думал, что в такой тишине сидит посторонний, – там обычно плач, крики, жалобы...

Ох и нагладелся я там всякого! А вывод неутешителен: я знаю одну правду – свою, они, верхи, – свою! И никогда нам с ними, с краснорожими, не найти общую истину, не быть в одной упряжке.

А эти сытые и розовые лица мне потом во сне снились. Не знаю уж, какой едой они там себя пичкают, но розовый цвет – цвет всего высшего состава Политбюро и его опричников – я запомню до самой смерти. И если действительно есть там Господь Бог, то отличить ему, Всезнающему и Всеведающему, простых смертных от банды кровососов – труда не стоит. Лишь бы и там, среди апостолов Господа Бога, не оказалось своего Политбюро...»

После походов по высшим инстанциям Алексей Максимович уже не верил ни во что и, главное, не хотел верить. Всё, чем он жил, оказалось ложью, мифом, иллюзией. Почему только он раньше до этого не додумался? Неужели жизнь его нужна была только для того, чтобы к её концу он смог сказать себе, что жил напрасно?

Мечтал же он только об одном: хотел увериться, что проказа бездушия, воровства, бюрократизма и разложения поразила лишь незначительный регион великой страны. И он начал писать письма в самые высокие инстанции Союза. Со временем по его заявлениям начали работать газеты, нарсуд, партийные органы, профсоюз...

Он стал, как это ему не раз говорили многие "проверяющие", заурядным жалобщиком, и поэтому никто не хотел всерьёз заниматься его ничтожным делом. И вот тогда ему самому стало ясно, во что время и люди превратили его к старости. Но всё равно сдаваться он не хотел. Не желал! Это была его последняя битва на Земле, и он должен был выйти из неё победителем. Иначе...

Иначе зачем же он так мучительно и долго прожил жизнь?

Зачем так много и долго страдал?

За что отдали свои жизни его дети, друзья, товарищи по тюрьмам и лагерям?

Бух много думал над тем, как разбираются жалобы и заявления трудящихся, и пришёл к выводу, что это антидемократический способ делопроизводства. При такой системе проверки писем и заявлений возможны любые нарушения законодательства. И стал писать уже об этом, но ничего не помогало.

"Голос единицы тоньше писка...".

Тогда он решил написать басню. Да, да, самую настоящую басню. Никогда раньше Алексей Максимович не увлекался литературой и литературным творчеством, но тут на него однажды нашло что-то такое, накатило и не отпускало, пока он не выдал из себя следующие строки:

Однажды Льву писал Осёл:

"На много деревень и сёл  
В окрестных муромских лесах  
Волчище злой наводит страх.  
Дрожит зверьё, забившись в норы,  
От подлой пакостливой своры  
Его льстецов и палачей,  
Их много, много же, ей-ей!  
Пришло в упадок наше дело,  
Хвосты ж подонки держат смело!  
Спасти нам надо хоть крупицу  
Того, что было, и в столицу  
Я потому лишь бью челом,  
Что ты-то помнишь о былом.  
В лесах у нас не раз резвился  
И даже, помнится, женился...  
Так помоги, издай декрет,  
Всего один за много лет:  
"Чтоб жизнь в лесах не погубить,  
Злодеям лапы – отрубить!"  
Разумность меры всем ясна.  
И вот...  
Ответ вернулся через год.  
"Отныне пусть лесные звери  
Не запирают боле двери,  
Не строят потаённых нор,  
Своё получит тать и вор.  
Злодея нечего бояться,  
В сём деле...  
Волку разобраться".

Мне тяжело говорить о том,  
Что было сделано с Ослом.

Мораль.

Коль вместо лап имеешь ты копыта –

Писать не смей, зло – в них зарыто!

Басню Алексей Максимович назвал "Лапы", часто перечитывал, и с каждым разом находил в ней всё больше и больше достоинств. Наконец отправил её в местную газету, из которой получил довольно быстро ответ. Отрицательный.

Нет, его произведение не ругали, но достаточно твёрдо заявляли, что данный материал в газете напечатан быть не может. Вот не может – и всё!

«Да, трудно от них ожидать иное! – думал Бух. – Ничего, придёт время, и не такое печатать будет. Волки поганые и в природе не всеильны. И на них управа найдётся».

\*\*\*

И надумал Алексей Максимович написать на имя 26-го съезда партии. А что, ничего крамольного в этом он не видел. Да, он беспартийный большевик с октября 1917 года, и потому имеет право высказать своё отношение к нынешней жизни, обращаясь прямо к съезду – съезду коммунистов-ленинцев!

Писать о своих личных бедах не стал. Зачем загружать ненужной работой занятых людей? Решил поставить в известность руководителей партии и правительства о болячках, как он считал, более страшных. Решил написать о своих думах по поводу положения внутри страны.

\*\*\*

"Пятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя; и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания, и хулили Бога Небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялись в делах своих".

\*\*\*

«Эх, голова моя, головушка! Ведь с детства помнил слова святого Матфея: "блаженны кроткие..." Ведь это им и только им обещал Иисус, что они, кроткие, "наследуют землю и наслаются множеством мира"... Чем я наслаждался в жизни юной за непокорность – ясно, зачем же в старости кликать вновь на свою голову беду? Или не права народная мудрость, что обжёгшийся на молоке на воду дует?

Конечно, права, но мудрость мудростью, а строптивый характер до гробовой доски с человеком. От него и стремление к истине, от него любовь к святой правде, за которую и пострадать не грех.

Гордыня всё это человеческая, добровольно вериги на себя вздевающая. Сколько на Руси таких страдальцев за правду, за веру!.. И всем хочется претерпеть лишения, умыться собственной кровушкой...

Как хорошо быть сытым и спокойным.

Как хорошо сидеть на скамеечке у своего домика и тихонько обсуждать с соседом последние новости.

Как хорошо открыто говорить старым друзьям о том, что беспокоит тебя по ночам.

Но зачем же всё это выносить на съезд?

Зачем писать, что "членство в партии должно быть отягчающим вину обстоятельством при совершении членом партии сознательно спланированного преступления"?

Зачем выносить на съезд мысль о том, что "на руководящих постах не должно быть аморальных личностей"?

Чего тебе неймётся, старик? Ты давно на краю могилы!»

\*\*\*

Над письмом Алексей Максимович проработал почти два с половиной месяца, и когда закончил его, почувствовал себя бесконечно уставшим. Ведь ему пришлось проделать титаническую для его лет работу. Он часами торчал в республиканской библиотеке, читал подшивки газет последних лет, перечитывал работы Ленина, копался в словарях и справочниках... Он был убеждён, что делает нужное и, возможно, последнее дело в своей жизни, которое должно принести пользу людям.

Алексей Максимович вообще становился упрямым, когда речь заходила о вещах, в которых он не сомневался, в которые верил и хотел, чтобы поверили другие. Раньше он мог идти на компромиссы с совестью из страха перед смертью, теперь у него не было выбора. Времени на земное существование оставалось слишком мало, и уже никто не мог, даже если бы и очень захотел, помочь ему в этом вопросе. Так стоило ли сдерживать себя и свои помыслы перед тем, как уйти в неизвестность и забвение? Нет, он не хотел просто так уходить, он должен был оставить что-то ещё важное напоследок, и только после этого окончательно сгинуть в пучине вечности. Исчезнуть совсем, навсегда...

Бух и с делом Петра решил идти до конца, потому что верил: внука должно ждать наказание за преступление против... человека. Человека с большой буквы. Ведь не просто деда унижал молодой садист, а Человека. И задавил он на Украине тоже Человека. И именно поэтому его нужно было наказать. Сделать так, чтобы внук наконец-то посмотрел на себя и свои поступки тоже как Человек. А не существо, которому в этой жизни позволено всё. И Бух, несмотря на явную круговую поруку и заговор молчания в этом деле, всё же кое-чего сумел добиться.

Республиканская газета, куда он обратился за помощью, заставила собрать "товарищеский суд", на котором Гнатюк признался в содеянном и дал обязательство материально помогать Алексею Максимовичу, высылая по почте двадцать пять рублей ежемесячно. Обещался впредь даже близко не подходить к дому Буха.

Но что все эти обещания на суде, который зовётся "товарищеским"? Что они для существа, в товарищах которого были преступники?

Из всего обещанного внук выполнил только последнее: к дому деда не подходил больше никогда.

Потерпев поражение в судебных инстанциях в борьбе против собственного внука, Алексей Максимович, честно говоря, ожесточился. К тому же съезд партии, на который он так надеялся, ничего нового не принёс кроме всё той же красивой говорильни и многочисленных "перспективных" планов на беспредельно далёкое будущее.

Вдобавок ко всему его вызвали в обком партии и провели беседу по поводу письма на съезд. В основном выясняли, откуда у него такие "умные мысли в голове". Кто затуманил старую голову всяческими бреднями, отдающими "не нашими веяниями"? Интересовались здоровьем и предлагали всяческую помощь, в известных пределах, естественно. Потом заставили расписаться за что-то и отправили домой.

Это посещение обкома партии и этот лицемерный разговор не прибавили Буху радостного настроения и, чтобы хоть как-то занять себя, он снова ударился в сочинение басен. Написал он их не так много, всего пять штук, но, прочитав однажды все подряд, разорвал в мелкие клочки и больше к ним не прикасался. Нет, он устыдился не своей претензии на соседство в литературе с дедушкой Крыловым, просто в баснях он увидел себя неожиданно со стороны – и поразился той перемене, которая в нём произошла. Ведь если бы эти вирши попали к нему в руки в пору его далёкой молодости, в годы жестокой гражданской войны, то он, не задумываясь, шлёпнул бы их сочинителя как констриктора. То есть выходило так, что он позавчерашний убил бы себя сегодняшнего! В такое трудно поверить, но это было так. И дело не в том, что в своём творчестве Алексей Максимович что-то неверно и враждебно отражал, он, по большому счёту, никогда не вёл гнусных подкопов под саму социалистическую идею, и по сути своей не изменил идеалам юности до самой старости; всё дело было в настроении и в том глубоком скепсисе, который пронзал каждую

басню от начала и до конца. Веря в далёкое и светлое, он полностью отрицал настоящее, за которое было отдано столько светлых жизней честных бойцов революции. А всё оттого, что раскис старый солдат, столкнувшись с вражескими происками, поверил наветам малодушных, поддался на провокации замаскировавшихся в партии коммунистов врагов народа, врагов идеи коммунизма...

Конечно, если поверить всякой обкомовской мрази, что нет справедливости на белом свете и не будет, потому что это "объективная реальность развития живой природы", то жутко станет от одной мысли, что жизнь и мучения были напрасны.

Да, сейчас нет возможности защищать правду от кривды, но разве когда-то это было возможным в истории человечества? И всё равно люди шли за правду на баррикады и побеждали ложь. Разве завтра будет по-иному? Нет! Ложь и правда всегда будут воевать друг с другом, вот только поле битвы будет каждый раз новое. И, конечно, в далёком будущем правде будет значительно легче вести бой, у неё будет много союзников, много защитников. И вот тогда-то придёт его время, и вот тогда-то он точно скажет всю правду, и тогда он убьёт кривду... Убьёт в себе врага... Задавит в зародыше. А сейчас он ничего не может. Он слаб, немощен и хочет покоя. Правда, у него всё ещё есть цель в жизни. У него есть свет в конце туннеля. И он дойдёт до этого света, каким бы длинным туннель ни был. Он доживёт до радостных дней...

\*\*\*

Доживёт ли?

Алексей Максимович вдруг вспомнил одну интересную и поучительную историю, приключившуюся у него на глазах сравнительно недавно, всего несколько лет назад.

У него дома, прямо у входа в сарай, стояла большая собачья будка, в которой жил пёс Амур, здоровая беспородная собака, а над самой будкой Алексей Максимович пристроил дрова, которые привёз с пилорамы. Это были в основном длинные обрезки, которые можно было брать почти бесплатно. Алексей Максимович частично использовал их в качестве материала для ремонта надворных построек, дома, забора, и лишь самые негодящие легко рубил по осени острым топориком. В тот год получилось так, что дрова привезли очень длинные, и они слегка нависали над пёсым домом тонкими пиками, никому, впрочем, не мешая.

В то же лето взяла Александра Трофимовна в дом небольшого рыжего котёнка. Скучно, видно, стало без животного в доме, да и мышки завелись под полом. И повадился тот котёнок отдыхать на кончике тонкой пики над самой будкой Амура, вызывая у последнего просто приступы бешенства. При этом шкодливая тварь вальяжно устраивалась над самой мордой собаки, исходящей на нет, и, свесив вниз хвост, слегка им помахивала почти перед самой мордой пса. Конечно, смотреть на это первое время было весьма уморительно, но потом лай пса стал раздражать, и наглого котёнка сгоняли с дров при первом же вопле Амура.

Так продолжалось всё лето, а по осени случилось то, что и должно было случиться.

Всё предусмотрел хитрый котёнок: и высоту кладки дров, которую не мог одолеть несчастный пёс, и удобство лежанки, но только не мог учесть того, что сам рос не по годам, а по дням. И когда однажды его вес достиг критической величины, то дерево надломилось, и...

И Амур наконец-то смог отвести душу на тщедушном кошачьем подростке. То-то было потом слёз у Александры Трофимовны, искренне привязавшейся к смышлёному, но нерасчётливому котёнку.

Что же не рассчитал в своей жизни Алексей Максимович, не думавший над кем-то зло шутить или сознательно унижать чьё-то достоинство, чем он раздражает своего собственного Амура, которого в глаза не видел? И когда, наконец, когда же вес его "преступлений" сломает пику его жизни?



\*\*\*

### Космос

Вообще-то, считая себя закоренелым материалистом, Алексей Максимович представлял устройство вселенной совершенно иным, чем классики марксизма-ленинизма и их учёные последователи. Он думал, что человек и его душа только здесь, на Земле, представляют собой единое целое, а где-то "там", в далёком и неизвестном мире, душа имеет свою, отдельную от тела, вечную материальную прописку. Порой ему казалось, что есть мир, в котором души ведут своё собственное существование, и на Землю спускаются лишь затем, чтобы испытать и закалить себя в этих испытаниях, проверить на прочность. Он даже мысленно представлял этот мир похожим на игорный дом, в котором самое главное место было сосредоточено в помещении, напоминающем рулетку в казино. Каждая душа бросала свою фишку, и ей падал тот или иной жребий, та или иная жизнь, то или иное тело, в котором душе нужно было жить и страдать отведённое кем-то более старшим и начальствующим время пребывания на Земле. Там, в далёком и неизвестном мире, у душ наверняка были свои неземные привязанности и неземные браки. И, спускаясь на грешную землю, они искали свои прежние половинки среди людей, не узнавая в материальных телах своих подруг и друзей. Именно поэтому счастливы лишь те земные союзы, в которых те самые небесные половинки находят друг друга и, не помня о былой жизни, каким-то тысяча первым чувством догадываются о принадлежности друг другу. Это чувство есть любовь. Единственная субстанция, которая вечна во Вселенной и о которой говорил людям Иисус Христос, посланник Божий.

Настоящая неземная любовь – единственная награда небожителю, отважному покорителю земной жизни и земного времени. Она с ним будет и здесь, на Земле, и там, на небе, или где-то в другом мире, в другом измерении, в ином, непонятном для человека времени и пространстве.

"Тело человека, скорее всего, совершенная машина. Хотя и совершенным это творение назвать трудно. А может быть, всё это специально так задумано? И когда мы придём к тому, кто нас сюда послал, то будем вынуждены дать отчёт обо всём, что испытали, находясь в оболочке человека. Недаром в Библии говорится о страшном Суде, об отчёте перед Господом Богом по земной жизни и прочем. Так ведь не только у христиан написано, так ведь и у всех древних народов: человеческая душа обязана отчитаться о прожитом на Земле. Хотя тот, кого все на Земле называют Господь, и так всё знает, если верить той же Библии"...

Рассуждая так, Алексей Максимович иногда – как ему казалось, слегка – дотрагивался мыслями до Истины с большой буквы. Но, озарив его секундой просветления, она, как настоящая Великая Женщина Вселенной, бежала от него. И Бух решил, что вскоре всё равно раскроет эту тайну, раскроет... Но, видно, только на смертном одре. По-другому, видимо, смертной твари не дано понять небесное предназначение человека.

\*\*\*

### Личное

После "товарищеского суда" Алексей Максимович начал всерьёз подумывать о доме престарелых. Он видел в нём единственную защиту от наступающей кривды земного мира, единственный способ сохранения себя для будущей правды, для будущей встречи с неземной любовью, которая олицетворялась у него с образом казнённой жены, не узнавшей в нём, земном, своего вечного небесного спутника.

Иногда он вспоминал их первую встречу. Он делал это чрезвычайно редко, потому что каждый раз испытывал сердечную боль и мучительную депрессию от нахлынувших чувств. Ох, как он любил эту женщину! Как любил! Он и сам никогда до конца не признавался себе в этом. Но он любил её именно той самой неземной любовью, называемой романтической страстью, и очень хотел встретить её вновь на небесах, где, он был в этом уверен, обитала её чистая ангельская душа...

Они встретились на открытом комсомольском собрании в каком-то клубе. Алексей Максимович стоял впереди всех и горячо аплодировал очередному оратору, речь которого всем очень понравилась; желая увидеть лица товарищей, он оглянулся назад... и увидел её глаза. И больше он ничего не видел. И так всю жизнь. Как только он вспоминает её, то видит глаза... Он уже забыл её лицо, походку, он помнит только те глаза, которые смотрели на него насмешливо и с интересом. Она не была активисткой, она вообще даже не состояла в комсомоле, но как много она знала и понимала в этом мире! Как много интуитивно чувствовала...

Нет, конечно, Александра Трофимовна – человек большой и глубокой души, но первая любовь жила в Бухе всегда и как бы своей собственной жизнью, не мешая Алексею Максимовичу ни в чём, в том числе и во второй женитьбе. И он решил, что Александра Трофимовна – перст Божий, его земная награда за перенесённые страдания и мучения, и решил никогда и ни при каких условиях не расставаться с женщиной, принёсшей ему радость под старость лет.

\*\*\*

До поры и до времени Бух ничего и никому не говорил о своём замысле, хотел сделать всё "втихую", поставив домашних уже перед свершившимся фактом. Очень ему хотелось, чтобы в Дом престарелых он ушёл вместе с Александрой Трофимовной. И чтобы им дали комнатку на двоих, в которой можно было бы коротать последние деньки жизни, не скучая по миру, оставшемуся за стенами гостеприимного дома. Чтобы были там все удобства, о которых он слышал только от других и читал в книгах и газетах, чтобы медицинский персонал был на уровне требований современной жизни... А когда придёт долгожданная смерть... Когда придёт смерть... Хотелось, чтобы они оба ушли из жизни и этого проклятого мира тихо и спокойно, не причиняя никому лишних хлопот.

В народе очень плохо относятся к домам престарелых, всякие небылицы распространяют, сплетни... Бух это всё слышал сто раз и больше, и не хотел верить злым языкам.

«Что плохого в этих домах? – возмущался он. – Это ведь не старые богадельни, в которых тоже не все тунеядцы были. В будущем все так жить будут, – уговаривал он себя. – Это просто современный уход из мира, в котором ты уже стал лишним и жить не можешь полноценным гражданином; в котором ты стал никому не нужным, как это ни прискорбно осознавать. Ты не понимаешь людей, они не понимают тебя. Ты ослаб, и мир стал враждебен тебе. Если не уйдёшь вовремя, он может раздавить тебя. Значит, делать нечего, нужно хоронить себя заживо. Нужно искать спасение в уединении. А главное... Главное, я стал терять веру в Человека, в то, что он самый добрый и лучший на земле. Что он должен и, главное, может быть чище и благороднее. Я верю и должен верить, что Человек через страдания придёт к познанию прекрасного. К познанию смысла жизни. Может, и меня судьба провела по всем кругам земного ада именно для того, чтобы там, в полном одиночестве, я смог насладиться пониманием существа жизни, познал себя и людей в сравнении. И потом... Я избавлю родственников от своей немощной особы. И жену свою разлюбленную пристрою напоследок в хорошее место. Пусть оно будет прощальным подарком для неё. Нам будет легко вдвоём. Мы привыкли быть вместе... А эти... Эти пусть здесь живут и пусть мучаются без нас. Хватит, я устал. Я хочу отдохнуть перед смертью. Перед встречей с вечностью...»

\*\*\*

Алексей Максимович стал тщательно и не торопясь продумывать детали ухода в заветное место, собирать необходимые документы и справки, делать нужные обходы начальства.

Дело это оказалось хлопотное, но он понемногу его пробивал.

Однажды Алексей Максимович прочитал в газете статью "Свет доброты" о том, что какие-то Сотниковы сдали в Фонд мира одну тысячу семьсот рублей.

И тут его осенило: вот, вот что он должен ещё сделать! И это будет его последняя акция, направленная на торжество справедливости в глобальном масштабе. Пусть и его кровные грошики помогут обороноспособности нашей страны, помогут делу мира во всём мире. Пусть он капитулировал перед родным внуком, представителем жестокого племени, выросшего на костях лучших представителей старой России, капитулировал, уйдя в Дом престарелых, но зато он сохранил за собой право считать взяточниками работников советской милиции и советской юстиции. Он сохранил в себе Человека, способного творить добро для других.

И вскоре Бух внёс в Фонд мира 808 рублей новыми деньгами и облигациями. Вместе с деньгами отправил пространное письмо, в котором выражал наивную просьбу о том, чтобы эти деньги были направлены лишь на дела добрые.

Добрые...

Деньги-то он отправил, но совершенно оставил без средств к существованию себя и свою старуху. Жили они только на пенсию и на то, что получали с огорода. Но Александра Трофимовна привыкла к чудачествам мужа, и когда на вопрос "Где деньги?" он ответил, что занял на время знакомому, она ничего плохого не заподозрила.

До пенсии дотянули с грехом пополам, Александра Трофимовна ворчала, но терпела. А Буха поддерживала одна-единственная живительная мысль о том, что вот-вот должны оформить документы, и тогда...

Тогда он отправится в Дом престарелых. Отправится пока один, а затем переманит и Александру Трофимовну. Он потому и делал всё втайне от неё, что знал, как трудно будет её сманить с вольных хлебов на дармовое трёхразовое питание. Потомственная трудолюбивая казачка в жизни не терпела грязных нищих, приживалок, милиционеров, энкаведешников, закрытых помещений и прочих ограничений свободы. Сможет ли она жить там? Она сравнительно молода, сама себя кормит, и жизнь на воле ей не надоела, может ещё долго работать по дому и по хозяйству...

\*\*\*

Да, сманить жену в Дом престарелых было делом нелёгким, но Алексей Максимович, как всегда, был упрям, и надеялся соблазнить её отдельной благоустроенной палатой, всеми мыслимыми и немыслимыми удобствами и городским комфортом. Душевным покоем, наконец, который они смогли бы приобрести, не беспокоясь о проклятом теле. Заботой друг о друге, которая так необходима в старости. Сманить, сманить благоверную в Дом престарелых нужно было в очень и очень короткие сроки, потому что иначе им не дали бы отдельную площадь проживания. В каждом деле, что поделаешь, есть свои проблемы и свои нюансы! В то, что задуманное удастся, Алексей Максимович не сомневался. За двадцать лет совместной жизни они привыкли друг к другу, сроднились душами, и вряд ли кто-нибудь из них смог бы долго прожить без другого. Их будущее, как считал Алексей Максимович, было в совместном старении и медленном благостном угасании. Он в это верил, думал, что в это верит и она, и тихо радовался своей вере...

\*\*\*

Всё шло хорошо, как и было задумано Алексеем Максимовичем, но вот в последние дни проживания в своём родном доме Буха начала тяготить одна-единственная мысль: он остро ощутил свою вину перед обществом за своего гнусного потомка. Кажется – что он ему? Кто он ему? Почему он за него должен нести какую-то, пусть и моральную, но ответственность? И перед кем ему, Буху, держать за него ответ на Земле? Ан нет, выходит, кому-то он за него всё-таки должен дать ответ, коли так саднит сердце за мерзавца.

Алексей Максимович привык быть всю жизнь кому-то должным, и даже на старости лет не мог отвыкнуть от мысленного покаяния перед всем миром в своих реальных и мнимых

грехах. Нет, виниться, в общем-то, было не в чем, но он сам изводил себя несуществующей виной перед обществом за гнилое потомство своё, за поганое продолжение на Земле.

«За все свои прошлые вины я давно отстрадал сторицей в лагерях и тюрьмах, и только внук, последний тяжкий грех, остался непоплатенным...»

\*\*\*

Жизнь научила Алексея Максимовича, что сорняк должен быть своевременно выкорчеван, иначе он разрастётся, и общество будет деградировать до такой степени, что в будущем некому станет читать гуманистическую литературу. Вредный бурьян всегда будет засорять плодородные поля, каким бы сверхвысокосортным зерном, выращенным генетиками в лабораториях, их не засевали. Именно поэтому сорняк этот нужно всегда безжалостно вырывать. Везде! Как только появится он в поле – криком кричать нужно, собирая рать людскую на побоище с ним.

Бух и раньше видел бурьян в чистом поле полезных злаков, но не бился с ним, не кричал... Приученный к терпению и послушанию с детства – молчал, молчал, чтобы спасти себя, но кто оценил этот "подвиг" во имя несостоявшейся новой и лучшей жизни? Внучка – далеко, у неё свои проблемы, она – отрезанный ломоть. Пётр Гнатюк, внук, собственный и родной? Родной... Да, выходит, что вот он-то и является главным оценщиком прошлого своего деда. Он! Стоило ли огород городить ради такого судьи? Да и правнук тоже... Ещё неизвестно, что из него вырастет или кого из него вырастят. Так кто же будет добрым и строгим судьёй человеку за дела его? Кто?.. Сам человек, больше некому. Он – единственный судья всему хорошему и всему плохому, что было и есть в нём. Чем совестливее человек, тем страшнее будет этот суд, суд собственной совести. И нет ничего хуже этого суда! Именно после него некоторые и пулю в себя пускают, и карьеру губят. И многое другое делается по велению того, кто в нас самих запряган. Одна лишь особенность: чем старше человек, тем больше превращается он из безжалостного прокурора в умного адвоката, понимающего, что не только правда в жизни нужна, но и кривда бывает полезна и необходима, и молчание...

Один умный человек как-то сказал, что нужно жить по справедливости. Если нарушишь этот святой закон жизни и будешь хитрить, особенно со своими близкими, то всё равно это выйдет тебе боком.

Но люди на свете разные, и каждый живёт по своим понятиям. Одни стараются всю жизнь жить по справедливости, другие только к концу её понимают, что жили несправедливо, а к третьим лишь на смертном одре приходит мысль об этом. Есть и такие, которым на всю эту общечеловеческую философию наплевать до самой их кончины... И кто из них прав – не знает никто! И кто из них будет милее Господу Богу на том свете – тоже не известно никому.

\*\*\*

### Родственники

Сразу после изгнания Петра Гнатюка из дома к Бухам переселился брат Александры Трофимовны. Это был рыхлый, безвольный, с совершенно отсутствующим собственным мнением на окружающий мир участник войны, с гордостью носящий по праздникам медаль с профилем Сталина. Работал он в каком-то секретном учреждении в должности механика цеха. И всё у него в жизни было бы хорошо и прекрасно, если бы не женщины...

– Знаешь, сколько я их имел? Сколько их у меня было? У-уу! Я их и так и этак видал! Они у меня все в книжечку записаны, все четыреста двенадцать штук поимённо, – хвастал он не раз, пытаясь скрыть за цифрами убулочной бухгалтерии свои болячки и обиды.

Но кому, кому он хотел навести тень на плетень – Алексею Максимовичу? Бух научился смотреть немного дальше своего носа ещё в те годы, когда хвастуна и на свете не было. Слушать его было стыдно и противно, потому что шурин в обращении с женщинами был великим недотёпой по всем статьям. Высокий и стройный не по годам, он в молодости,

наверное, был видным парнем, которого слегка портили следы оспы на лице. Может, именно поэтому у него и появился комплекс неполноценности, и он всегда стремился доказать всему свету, что мужик он хоть куда. Да это в послевоенные годы было и не так-то трудно сделать. Не все вдовы хранили верность мужьям, и понять их можно чисто по-человечески. Трудно понять таких, как шурин, записывающих в записные книжки адреса, фамилии, места встреч и тонкости интимной близости...

Пять раз он был женат. И все разы неудачно. А всё потому, что не он выбирал себе жён, а они его. Пожив вместе несколько лет, накопив капиталец какой-никакой, наглые бабы обирали его до нитки и выгоняли простофилю вон. Так и последняя жена, получив от его работы трёхкомнатную квартиру, выгнала мужа с треском и развелась с ним, поделив всё нажитое. Другой-то на его месте сразу бы отсудил себе хоть комнату, а этот индюк надутый выбрал за лучшее роль приживала у родной сестры.

– Не хочу судов, не люблю ссор, – заявил он Бухам. – Пускай хоть всё берёт, не обеднею. Старики разубеждать его не стали.

Нет, это даже хорошо, что шурин к ним перебрался, всё новая и живая душа, но когда в доме скверно – любой гость в тягость. А шурин ещё и прижимистым оказался, будто последнюю копейку проедал. И деньги ведь у него были. Были! И немалые деньги! Хоть и прост умом человек, но про свои сберкнижки жёнам не рассказывал. Свихнулся, наверное, от многочисленных романов, и стал скопидомничать, запастись деньгу на чёрный день, потому что один на один со старостью воевать надумал. Сестру свою и то в прислугу превратил, и тянул с неё по мелочи, тянул...

«Ах, как неприятна всё-таки скупость, и такое вот "умение жить" за счёт других!»

\*\*\*

Уходя в Дом престарелых, Алексей Максимович сообщил своей благоверной, что его срочно отправляют врачи на длительное лечение в новую городскую больницу за городом. Просил не приходить к нему до тех пор, пока он сам не напишет. В письмах обещал указать точный адрес и номер палаты.

Александра Трофимовна, как всегда, поверила мужу, и тот уехал в город, сложив в небольшой чемоданчик личные вещи и две-три книжки из своей библиотечки.

Через неделю он написал Александре Трофимовне подробное письмо, объясняющее поступок, просил прощения за обман и изложил свою просьбу-предложение о её приезде к нему на постоянное местожительство.

Ответа не последовало. Подождав неделю, он решил, что пора напомнить о себе более действенным способом, и поехал в свой бывший дом, который незадолго до этого перевёл на имя жены.

Дома Александры Трофимовны не застал, зато там был шурин. По привычке многих лет Бух достал из шкафчика хлеб, налил борща, по которому уже успел соскучиться в общей столовой, и начал есть.

В это время вернулась Александра Трофимовна.

Увидев мужа, она строго спросила:

– Кто тебе разрешил здесь обедать?

Алексей Максимович вначале принял это за шутку с её стороны, но Александра Трофимовна так же строго сказала:

– Выписался – значит, нечего тут рыпаться и скрипеть дверями. Уходи!

Тут и шурин вмешался:

– Правда, зачем пришёл? Можешь забрать телевизор, холодильник, пишущую машинку и что там ещё нужно, и уходи! Уходи! Нечего здесь появляться, нервы раздражать.

Так несолоно хлебавши и уехал Алексей Максимович из своего бывшего дома в Дом престарелых, прихватив в узелок с десятков книг, оставшихся от тех, которые заблаговременно передал в районную библиотеку. Жаль, пишущую машинку не смог

унести, он её всё-таки выцарапал из милиции с помощью республиканской газеты сразу же после "товарищеского суда".

«Здорово осерчала старуха, – думал Бух, отлёживаясь в палате. – Такого разлада за все двадцать лет меж нами не было ни разу. Вряд ли скоро отойдёт. Характер у неё крутой, не в пример брату... Но ничего, время своё возьмёт, и тогда мы снова будем вместе. Плохо только, что она брата слушает больше мужа...»

Бух жалел Александру Трофимовну, потому что знал, как будет ей тяжело одной с овцами, кроликами, огородом и непутёвым двоюродным братцем.

Ох уж этот братец! Он не ужился с пятью жёнами, платил алименты на троих детей, он так прожил свою жизнь, что даже подумывал на старости лет о самоубийстве, от которого его спасло переселение к Бухам, и вот, нате вам, именно он, глупый бабник и неудачник, так грубо вмешался в жизнь Алексея Максимовича.

А ведь Бух по собственной инициативе, для того, чтобы взбодрить совсем одичавшего шурина, заказал "вывеску" в гравёрной мастерской, где кроме адреса поместил поверх своей двойной фамилии фамилию брата жены, чтобы он счёл себя главой стариковской семьи и таким образом ощутил ответственность ещё за две жизни на этой земле. И шурин охотно воспользовался такой возможностью, объявил себя "содержателем двух немощных ветеранов", затем прикупил ещё двух баранов и голубей, и сделал "иждивенцев" настоящими батраками. В семейном бюджете он не участвовал, жил за счёт пенсии опекаемых (семидесяти трёх рублей Алексея Максимовича и пятидесяти – Александры Трофимовны). На его сберкнижке – а Бух это знал точно – было свыше семи тысяч рублей в новых деньгах. Шурин получал пенсию полностью, плюс зарплату механика.

Конечно, и Бух лукавил с шурином, он сам искал на старости лет моральную и физическую поддержку в жизни, и с удовольствием хотел переложить часть своих забот на плечи молодого пенсионера, но тот – вот незадача! – перехитрил Алексея Максимовича.

Нет, Бух не сердился на шурина, каждый, в конце концов, живёт как может, хочет и умеет, но он жалел свою жену, свою дурёху, попавшую на старости лет в полную зависимость к нечестному человеку.

У Александры Трофимовны здоровье было совсем неважноецкое. В пятьдесят лет после гриппа случилось у неё тяжёлое осложнение во всём организме: печень, жёлчнокаменная болезнь открылась (семь месяцев стационарного лечения не принесли пользы из-за порока сердца), три операции из-за гайморита...

«Ей жить нужно на строжайшей диете, в тепле, в покое, а она... Нет, лучше Дома престарелых всё равно ничего не найти! Вот не найти и всё тут!» – упорно твердил Алексей Максимович.

Он уже давно внушал ей мысль о подобном повороте дела при нынешней обстановке в доме, а она всё держалась за братца. Всё ей нужно было "за ним присмотреть"! Эх, какое там "присмотреть" за таким бугаём, когда она, голубка, сама на ладан дышит!

Алексей Максимович честно помогал жене в трудах по дому до последней возможности, пока врачи не предупредили его однажды, что ему нельзя оставаться одному без сиделки (у него было пять случаев "обострения инфаркта миокарда"). С тех пор он не мог ухаживать за овцами и голубями в отсутствие домашних. И всё это время он не переставал убеждать её в необходимости переселения в более удобное место жительства. И она уже почти согласилась, да вот незадача – братец!

«"Нужно присмотреть за братом!". Да что он, малолетний? – хорохорился Алексей Максимович. – Водку пьёт не закусывая, а один жить не сможет?.. Впрочем, может, и не сможет, потому что сам внутри гнилой и ленивый, как пень трухлявый. В больнице на постоянном учёте состоит из-за повышенного кровяного давления и пониженной температуры тела, лечится перманентно...»

Вообще же, считал Алексей Максимович, сам он поступил правильно и целесообразно. Дом престарелых и инвалидов – очень важное и своевременное учреждение. Советская власть большое внимание уделяет старикам, даже слишком большое, потому что здесь

нашли приют многие из тех паразитов, кто, по существу, не должен был пользоваться этим благом, завоёванным другими. От них, от этих паразитов, нужно было любым способом обществу давным-давно избавиться, как-то утилизировать их, что ли...

«Наш закон слишком гуманен и демократичен там, где не нужно, – рассуждал Бух. – И всё-таки громадному большинству здешних обитателей в этом доме гораздо лучше живётся, чем жилось в своём собственном. Это факт и нужно признать, факт страшный. Жизнь, можно сказать, многие здесь увидели по-новому, себя впервые людьми ощутили».

Бух настолько был уверен, что его жена в конце концов последует за ним, что вскоре ещё раз собрался к ней в гости, чтобы ускорить подготовку к переходу Александры Трофимовны в Дом престарелых, и заодно хотел захватить оставшиеся кое-какие мелкие, но привычные в обиходе вещи. Но из этой встречи получился очередной конфуз. Шурин назвал его "окончательно чокнутым" и объявил "персоной нон грата" в их доме, жена запретила появляться, и неожиданно потребовала деньги за остатки книг, которые он хотел отдать в библиотеку Дома престарелых. Пишущую машинку тоже не отдали. И всё твердили в два голоса, что он их опозорил, уйдя в Дом престарелых, предал, и поминали те 808 рублей деньгами и облигациями, которые Алексей Максимович без их ведома отослал в Фонд мира.

Ночью после этого похода Бух долго не мог заснуть.

«Как же так получается, – думал он, – если правильно, беспристрастно оценить долг моих родственников, которым я, кроме дома и хозяйства, оставил свою любовь, искреннее уважение, честно заработанные за все годы деньги... Хотя здесь можно и оспорить моё утверждение, деньги-то вместе тратили. Но всё равно, всё равно! Мои заработанные деньги, мой титанический труд в домашнем хозяйстве и прочее, и прочее, что сделано мною в семье, это можно оценить не одной тысячей рублей. А теперь выходит, что даже остаток библиотеки и пишущую машинку, которая там никому не нужна, я должен выкупать у любимой жены? Сама же Александра Трофимовна и мною, и Домом престарелых брезгует. Ну, дела!»

\*\*\*

Неожиданно он вспомнил своего соседа по дому в Нахаловке. Высокий семидесятивосьмилетний старик любил долгими летними вечерами стоять совершенно один у изгороди и смотреть на пустынный переулочек. Последний раз Алексей Яковлевич видел его именно там, под большой сливой, усыпанной созревшими сизыми плодами, на любимом месте соседа.

На земле валялись перезревшие сливы, оранжевый диск солнца быстро опускался за горы, после трудового дня было тихо и умиротворённо вокруг. Старик, как всегда, смотрел вдаль и о чём-то думал, улыбаясь.

Его стройная фигура в светло-серой рубашке чётко выделялась на фоне голубеющего дерева и выдавала в нём бывшего военного.

Да, он был военным до весны 1946 года.

В сорок первом он был призван на фронт, и к концу войны смог дослужиться от рядового до майора. Дома его ждала жена с двумя детьми, дом, родители. Летом сорок пятого жене принесли похоронку. Мол, погиб храбрый майор, подорвавшись на mine аж в самом Берлине. Не поверила новоиспечённая вдова, и стала наводить справки. Долго искала, и нашла. Уже на Дальнем Востоке. Жив-здоров был майор, к тому же женат на враче из медсанбата. Похоронку отправил сам на себя. Думал, никто проверять не будет, ан нет!..

Из партии майора, конечно, попросили, с новой женой развели, и отправили в запас. И так поступили только потому, что действительно храбрым офицером был в своё время старик. В противном случае дело могло обернуться военным судом – подделка документов не шутка!

Несостоявшаяся вдова встретила мужа сурово. Однако детей вырастили и состарились вместе. Вот только прежней жизни у них так и не получилось. Старуха не могла простить измены, и на каждом шагу, по каждому поводу и просто без повода, ругалась на мужа,

выливая свою злобу. А он отмалчивался, загадочно улыбаясь, и уходил к изгороди. О чём он думал, о чём вспоминал – знает только он один. Но Бух теперь догадывался о его думках, и жалел человека, которому ни за что сломали настоящую любовь и целую жизнь.

«Соседскую старуху понять ещё можно, – думал Бух. – Как мою-то дуру раскусить, с какого боку подступиться?»

\*\*\*

### Корни

Где-то в то же время в соседней палате он увидел книгу, которую читал в детстве, не удержался и попросил дать почитать. Это была книга Рони-старшего, в которую вошли его повести "Вамирэх", "Пещерный лев" и "Борьба за огонь".

Давно уже не испытывал Алексей Максимович такого потрясения от книги.

«Оказывается, если верить автору, ничего в людях с тысячелетиями эволюционного развития не меняется. Ничего! Та же непонятная злоба человека к человеку, то же стремление вырваться наверх, урвать лучший кусочек общественного пирога, взять лучшую женщину племени или лучшего мужчину, занять командное положение в стае или в стаде... И пусть книга написана не тысячелетия назад, а всего лишь сто лет назад, но автор достаточно точно подметил основные инстинкты "хомо сапиенса" на всём периоде его жуткой истории, начиная от первобытного человека. Обнажил главные линии всех житейских интриг и коллизий. Как был человек диким животным, так и остался. Выживают лишь сильные и мускулистые, тупоголовые, с мощными челюстями и хорошим желудком. Именно они дают физически качественное потомство, так необходимое для продолжения рода человеческого. Хилые и слабые способны лишь быть подручными и подпевалами в общей стае у вечных хозяев жизни. Весь мир и все люди принадлежат тем или иным стаям, называемым партиями, движениями... Человек эгоистичен, он всегда и везде одинок. Коллектив для него лишь временное убежище от самого себя. И как это я в детстве не понял этого? Ведь автор уж совсем примитивно, для гимназистов, выписал то, что я осознал только к концу жизни. Великий писатель этот Рони-старший!» – угрюмо размышлял Алексей Максимович над прочитанным.

Занимательные приключенческие повести старого автора он воспринял как-то уж очень лично и трагично.

Жизнь после таких потрясающих открытий в конце пути становится бессмыслицей. Бух вдруг нутром прочувствовал, что всё, что делается вокруг него, уже когда-то и где-то было, уже когда-то и где-то пройдено другими человекоподобными сотни миллионов раз. Зачем же нам, думал он, понимающим это, нужно каждый раз повторять старое на новом витке жизни? В чём здесь смысл? Зачем это нужно всезнающему Богу?

Впрочем, Буху всегда казалось, что людьми управляет не Бог, а некто земной, который страшнее любого дьявола и любой преисподней, потому что он живёт в душе каждого землянина с момента его рождения, с момента осознания человека себя человеком. И Бух вдруг захотел умереть.

Забиться.

И чтобы про него все забыли.

Забвение на некоторое время стало для него желанным...

\*\*\*

### Последний сон

Вчера он снова видел во сне свою первую жену. Сон был цветным.

«А говорят, что цветных снов не бывает – врут! Бывают. Всякие сны бывают. Бывают и такие.

Не знаю, как начинался сон, но помню, что вдруг я очутился в нашем заводском клубе. За кулисами. Место я хорошо помню, частенько раньше, в тридцатых годах, в президиумах посиживал, а вот во время концертов ни разу там не был. А тут вроде бы концерт идёт на



сцене, народ в разноцветных костюмах туда-сюда снуёт, а мы с Сашей вроде бы сидим в закулисном буфете за одним столиком, но не разговариваем друг с другом. В споре мы будто. И так это всё жизненно во сне, как будто наяву. Даже сердце тоскливо заныло. Сидим мы, а между нами какая-то старуха и чашка с едой. И будто бы в чашке не еда, а сырое мясо. Очень жирное и только с одним кусочком мясной мышцы. И мясо будто бы всё большое и круглое, как яйцо. Мне нехорошо стало от вида этого жёлто-красного блюда, но я не подал вида. Столик наш в углу стоит, две его стороны в синие, крашенные масляной краской, стенки упираются, а мы к двум другим сторонам стола прижимаемся. В центре же эта старуха. Кто она – не знаю!

Потом вдруг все забегали, и моя жёнушка тоже вскочила и вместе со старухой побежала по коридору через сцену. И я за ними. Саша будто бы меня к себе знаками манит и убегает. И вот я уже догнал её и даже обогнал. Бежим рядом по каким-то деревянным настилам, я – радуюсь, чувствую, что мир между нами, по второму, по третьему этажу бежим...

И высказываем... в кочегарку.

Странная это была кочегарка. На самой крыше. Пол у неё покрыт был шлаком, и кое-где из-под шлака вырывались языки алого пламени. Я осторожно сошёл с помоста на шлак, подал Саше руку, она первая, легко, почти не касаясь пола, перебежала кочегарку и вскочила на противоположную сторону, где находился трап, ведущий вниз. За ней старуха. Пока я шёл за ними, проваливая шлак, из-под которого вырывалось пламя, они уже были под трапом. Я взбегал за ними... и не нашёл места, где они успели соскочить вниз. Передо мной находилась глухая стена, а вместо трапа – широкие застеклённые оконные рамы, которые под моими ногами стали трещать и брызгать в разные стороны разбивающимися стёклами. Саша была уже глубоко внизу и оттуда призывно махала мне рукой. А я стоял и не знал, что мне делать, как мне догнать её...

Так я и остался на том трапе... А она – внизу, со старухой. И видел я, что любила она меня снова, что хотела искренне бежать со мною куда-то... То ли помочь мне в чём-то хотела, то ли сказать что-то важное...

Господи, Господи!

Зачем же ты меня так обидел, что даже во сне вместе с ней не оставил?

Зачем одиноким волком в геенну огненную бросаешь? Без любви, без сострадания, без жалости...»

Алексей Максимович давно знал и чувствовал, что вся его жизнь была лишь подготовкой к чему-то самому главному и самому важному, что могло бы с ним произойти на Земле, он ощущал это всем своим существом, но не знал и даже не мог предположить, в чём же будет заключаться его наивысшее предназначение среди людей. Он терялся в догадках о том, что же он может и должен сделать ещё в этой жизни. Его постоянно преследовала в последние дни мысль о какой-то незавершённости его личной жизни, об ущербе её без этого. Он понимал, что история с родственниками – не последняя капля в потоке странных событий. И он ждал. Ждал сверхъестественного вопреки собственному рассудку.

\*\*\*

#### Отдушина

Бух сильно переживал по случившемуся, тосковал по дому и Александре Трофимовне и, чтобы отвлечься от своих мрачных дум и размышлений, стал отпрашиваться у врачей ходить на главпочту для того, чтобы получать там корреспонденцию до востребования. Он давно ходил на главпочту, с тех самых пор, как перестал доверять своим родным, в особенности Петру Гнатиюку, и перевёл получение всех своих писем сюда, в центр города. Но если раньше Бух ездил на почту раз в месяц, то теперь каждый день. Времени у него было предостаточно, здоровье наладилось и позволяло совершать длительные прогулки по городу без какого-либо ущерба для самочувствия старого человека. Раньше он был рад каждой такой вылазке в город, сейчас с мрачным нетерпением ждал возможности прекратить все и всяческие поездки и отлучки из Дома престарелых, для того, чтобы навсегда уединиться в

своей палате. Он уже успел предупредить всех своих знакомых по переписке о смене адреса, и теперь ожидал только одного-единственного письма, после которого у него рвались все связи с внешним миром, миром, в котором он, Бух-Коломейчук, стал лишним.

Он уже давно знал по имени-отчеству всех операторов, обслуживающих отдел "до востребования", и даже успел послушаться от них массы всяких историй о их жизни, жизни соседей, клиентов, и вообще о жизни города, страны, мира... Более словоохотливых людей он никогда не встречал. Немолодые уже женщины знали и видели многое и могли часами рассказывать занятные истории, просто переполнявшие их. Не всегда рассказы давали повод для веселья, чаще наоборот заставляли задуматься о несовершенстве человека, его души, взаимоотношений с другими людьми и самим государством. Была в этих рассказах и радость, и печаль, и подлость, и настоящая дружба, и любовь, и предательство, верность и разлука... Женщины ничего не придумывали, они просто пересказывали тысячи историй, знакомых им по рассказам клиентов.

Они пересказывали сюжеты трагедий и комедий, которые разыгрывались у них на глазах.

Вот, например, совсем недавно показали Буху солидного толстяка, назвав его крупный пост, и рассказали, что он уже с год получает письма "до востребования" от одной миленькой девчушки, с которой у него возник небольшой роман. Словоохотливые болтушки тут же предсказали и дальнейшую судьбу этого гражданина: его должны вскоре перевести "по состоянию здоровья" на более низшую должность, дабы не делал глупостей на виду у всего города и республики. Так уже не однажды случалось с его предшественниками, не умеющими прятать концы в воду и неосторожно выставляющими напоказ свои слабости. Алексею Максимовичу искренне стало жаль симпатичного толстячка, которого он однажды видел садящимся у почты в большую чёрную "Волгу" новой модели.

«Машина-то новая, – думал он, – правительственная, а поступки и дела стары, как мир. Если уж так тебе мила эта девчонка, так женись на ней, чудак! Нет, не женится, будет путаться, пока в конец не испаскудятся оба...»

Тут он вспомнил историю одного крупного в республике партийного деятеля, которого впоследствии Брежнев, простив, забрал на повышение в Москву. Так вот тот ловелас оказался подлинным виртуозом по части амурной изобретательности и устроил себе место свиданий в больнице, где работала его пассия. С ней он запирался в процедурном кабинете и проводил приятные минуты и часы в общении с любимой женщиной. И так продолжалось до тех пор, пока одна медсестра не рассказала обо всём мужу этой... этого врача.

И вышел огромный скандал на весь город и республику. Обманутый муж, старый человек с раненой ногой, ходивший опираясь на большую суковатую палку, прямо в процедурном кабинете бил уважаемого в республике партийного деятеля этой самой палкой и выгнал его чуть ли не в исподнем на улицу.

\*\*\*

Алексей Максимович никогда не торопился уходить от милых его сердцу женщин, буквально державших в руках историю судеб многих и многих тысяч людей, и операторы были рады ему за это. Особенно старалась одна из них, толстая пожилая женщина с грубыми манерами одесской торговки и неприятным визгливым голосом. Очень часто она срывалась на крик в разговоре с клиентами, но те на неё почему-то не обижались. Бух в начале знакомства очень рассердился на грубиянку, и даже хотел отчитать её по первое число, потом понял, что она была по натуре очень добрая и по-своему хорошая, вот только внешне напускала на себя всякую чертовщину и дурь. Она и работник была прекрасный, работала на своём месте лет тридцать, и знала почти весь город в лицо и по фамилиям. Женщина эта, звали её Валентиной, могла выложить о любом из своих подопечных такое, что тот и сам о себе не знал. Но в принципе она была несчастной женщиной, воспитавшей оболтуса сына и не менее пропавшую дочь, и Бух, поближе познакомившись с Валентиной, понял, что за напускной грубостью скрывала она свою незащищённость в этом мире от всяких напастей, так и валящихся на неё со всех сторон: то умерла ненавидимая мачеха и её нужно было

хоронить ей, в то время как родные мачехины дети даже носа не сунули в квартиру матери, выкачав из неё предварительно все деньги; то сын попался на "конопле" и Валентина доставала деньги на взятку милиции, схватившей сына на Чуйском тракте, и срочно устраивала, за взятку же, его поспешный призыв в армию; то дочь побил муж, и она лежала в больнице, и срочно нужно было достать остродефицитный церебролизин для уколов беспутной девчонке...

У каждого свои болячки, свои проблемы, но если бы всё это происходило лет за десять-пятнадцать обычной человеческой жизни, а то все её несчастья сконцентрировались в год-полтора. И Бух терялся перед их наплывом и искренне завидовал упорству и сопротивляемости этой немолодой женщины, и ранее, по её рассказам, не видевшей в жизни ничего хорошего.

И думал Алексей Максимович, что есть, несомненно, его личная вина в том, что у заматанной и задёрганной Валентины нет нормальной жизни.

Да, он виноват в этом.

Он вообще за всё случившееся в мире виноват: и за хорошее, и за плохое.

\*\*\*

### Последний день

В тот день, когда пришло наконец долгожданное письмо из Москвы, Бух задержался на главпочте дольше обычного. Он понимал, что больше уже никогда не придёт сюда, и хотел запомнить и этот дом, и людей, толпящихся в нём, надолго. Он сознательно оттягивал последнюю минуту пребывания в мире, который оставлял навсегда.

На главпочте строители только что закончили косметический ремонт, и посетителям впервые представилась возможность увидеть отремонтированное здание во всей его новой красе. Впрочем, ничего нового сделано не было. Чуть посвежели краски здания, немного по-другому расположили участки разных служб, да на огромной глухой площади стены нарисовали картину с портретом Попова, слушающего сигналы бедствия с корабля. Хотя нет, не корабль терпел бедствие, а рыбаки, нарисованные тут же на льдине. И к ним шёл на помощь мощный ледокол "Ермак". Но это уже потом Алексей Максимович догадался про сюжет изображённого. Картина ему понравилась, он долго стоял и размышлял, глядя на неё.

Занимала его странная мысль: почему именно эта картина стала его последним видением настоящего изобразительного искусства в этом мире?

Работа художника была действительно хороша для столичного почтамта. Не настолько, чтобы её можно было помещать в Третьяковскую галерею, но всё-таки это была работа неплохого мастера. Бух достаточно видел картин в жизни, чтобы иметь своё представление об искусстве художника, и мог отличить плохую вещь от стоящей сразу и верно. И радовался тому, что мог понимать и ценить одно из самых древних в мире искусств. И теперь тоже радовался, глядя на произведение, которое будет много лет служить людям как предмет наслаждения прекрасным, и вместе с тем будет отличной агитацией за победоносные идеи Великого Октября.

Над рыбаками, чудом спасшимися в своё время, горело красное знамя, вмонтированное в центр картины вместе с группой красноармейцев, окруживших Владимира Ильича Ленина у аппарата "Морзе".

Политический аспект круто завязан с развитием телеграфного дела в России, а вот портрет вождя...

Нет, всё правильно, всё верно. Именно так и должно было закончиться прощание Буха с остающимися здесь, в этом суетном, жестоком и прекрасном мире... Всё верно, всё правильно...

Спасибо тебе, товарищ художник!

Бух со слезами в глазах повернулся спиной к картине и встал в очередь за своим письмом "до востребования".

Он никогда не рвался к этому окошку без очереди. Как и в других очередях, не пользовался привилегиями возраста и заслуг. И теперь с удовольствием прислушивался к тому, что происходило вокруг него.

А вокруг кипела жизнь!

Очередь мало интересовало новое оформление старого здания, ей нужны были письма, телеграммы, переводы и посылки. Кто-то впереди громко ругался с Валентиной, она что-то в этот раз не поделила с полупьяным гражданином и громко, на весь зал, выговаривала ему всё, что думает про него, про его жену, бабушку, дедушку, внуков. Она умела это делать азартно и смешно. При этом успевала сказать кому-то в очереди, что для него ничего нет сегодня, а кому-то – наоборот, с кого-то что-то требовала, кому-то объясняла что-то, размахивая широко руками. Ругаясь, она краснела, её чёрный короткий парик моментально сбивался набок, она поправляла его большими и толстыми руками с крохотной татуировкой на левом плече, плохо прикрываемой коротким рукавом, потела крупными капельками пота, выступающими на маленьких усиках, глазки её отчаянно блестели и становились ещё меньше, чем были на самом деле.

Когда дошла очередь до Буха, Валентина уже почти успокоилась, но всё, как затухающий гейзер, моментами кипела и клокотала.

Алексей Максимович и сейчас, лёжа на кровати, прислушиваясь к раскатам далёкого, затухающего грома, с удовольствием вспоминает голос Валентины, мечущий нестрашные молнии. Он сохранил в памяти тот день в самых мельчайших подробностях, специально старался запомнить всё, что с ним происходило тогда...

– Отец, тебе письмо! – сказала Валентина, обращаясь к Буху на "ты", так же, впрочем, как и ко всем в очереди. – Из Москвы. Ох, добьёшься, отец, опять тебя посадят. Ты же сам знаешь, с сильным не дерись, с начальством не судись! У них вся власть.

Поблагодарив Валентину, но не попрощавшись, обрадованный Бух поспешил отойти от заветного окошка. Ему хотелось, чтобы эту их последнюю в жизни встречу она тоже запомнила надолго.

Когда Валентина совсем "отошла" от вредного клиента, Бух начал разговор издали – расспросами о делах дома.

Не стесняясь очереди, Валентина тут же коротко пересказала новости последних дней. И Алексей Максимович понял, что она в очередной раз подцепила себе в сожители какого-то подозрительного субъекта, от которого не может избавиться даже с помощью милиции и КГБ, внештатным сотрудником которого была практически всё время работы на почте. И Бух с горечью подумал, что иной жизни эта несчастная женщина не знала с самого детства. Не видела она другого и не хотела видеть, хотя и знала, что где-то есть иные люди и иные взаимоотношения между ними, но они существовали для неё как будто на другой планете, на которую её нога уже не сможет ступить никогда, а значит, и думать, и мечтать о ней не имело смысла.

Быстро перечитав своё письмо ещё раз, Бух дал прочесть его и Валентине. Признаться, он был по-мальчишески горд тем, что именно ему лично ответил сам чемпион мира по шахматам, занимающий в Фонде самый главный пост. Не мелкая сошка, седьмая вода на киселе, а сам чемпион мира!

"Дорогой Алексей Максимович! – писал он. – Позвольте мне, от имени нашей организации, поблагодарить Вас за Ваш щедрый дар и благородный поступок..."

Алексей Максимович никак не ожидал этого. Ведь это... Это был человек, которому устраивали торжественные приёмы короли, президенты, премьеры многих стран мира. Он был вхож в лучшие дома планеты, а Бух – всего лишь житель Нахаловки, изгой, человек, утративший даже своё настоящее имя. Он – почти небожитель, а Бух – травинка ничтожная...

«Нет! – подумал Алексей Максимович. – Значит, и я, Бух-Коломейчук, хоть что-то, а значу в сей жизни, если мне ответил Он. Значит, и я хоть что-то смог сделать на старости лет

полезное для Родины, которую нечаянно обидел в своё время непониманием к её нуждам и бедам, если такой Человек заметил и оценил меня... Меня... и оценил»...

Он чуть не плакал от переполнявшего его счастья. Ему срочно нужно было поделиться с кем-то своим чувством, иначе он, кажется, мог взорваться.

Валентина по-бабьи пожалела его и пожелала всяческих удач в жизни. Он попрощался с нею, как с родной дочерью, потом повернулся, чтобы навсегда покинуть этот зал, и...

И увидел группу красноармейцев,двигающихся прямо на него.

И аппарат "Морзе"...

И показалось бедному Алексею Максимовичу, что красноармейцы эти только что вместе с ним стояли в очереди за письмами и внимательно слушали рассказы Валентины о своём нерадостном житье-бытье. И вообще они всё видели и слышали. Всё! И так было всегда в их новой рисованной жизни, но они смотрели на живых со своей стены поверх голов, смотрели в невидимую уже для стоящих у них под ногами даль. И эту даль Бух видел вместе с ними лишь один. Он единственный понимал их и хотел скорее встать к ним в общий многомиллионный строй... Но примут ли они его таким, каким он стал сегодня? Не спросят ли слишком строго за прожитую жизнь? Ведь тогда, в тридцать седьмом и чуть позже, когда он ещё активно жил и был физически относительно здоровым человеком, едва не прикончили контрики социализм в стране. Едва и ему самому не свернули вместе с головой мозги набекрень. Целую жизнь пришлось потом положить на возвращение в светлорадостное состояние веры в истину, отбросив все сомнения, впервые испытанные ещё в семнадцатом. Долог был путь в начало. И не его одного в этом вина. Но поймут ли товарищи, простят ли, подадут ли руку при встрече и возьмут ли в свой строй?

\*\*\*

...Гроза давно кончилась. Затих и дождь. Уже часа три светит яркое солнышко. Где-то в кустах и на деревьях поют птицы. Но Дом престарелых ещё спит. Спит и сосед Буха. Пальцы его рук, сложенные поверх простыни, бессознательно выбивают какую-то ему одному знакомую дробь. А может, это и не дробь барабана, может, это он за спусковой крючок автомата дёргает, добывает во сне Алексея Максимовича? Бог ему теперь судья! Пусть спит. Ведь все спят. Все! Спит и далёкий город, откуда не слышно ни гула машин, ни перезвона трамваев, ни криков людей. Все спят, досматривая последние, самые сладкие сны. Не спит лишь Алексей Максимович. Он просто лежит и смотрит на радио. Ждёт, когда оно заговорит, когда же оно произнесёт наконец то самое главное, что должно было произнести в последние пятьдесят лет, после чего, как сказано в священных библейских книгах, он познает истину, и истина сделает его свободным. Он верил, что однажды так это и будет, что так должно быть, иначе зачем всё это творится на Земле?

Он верил, свято верил, что когда-нибудь познает выстраданный им высший смысл пребывания человека на Земле и, в награду за свои муки, освободится от всего, что так долго давило на него, убивая в нём всё лучшее, данное ему природой при рождении.

Когда?

Когда??

Когда???

\*\*\*

И вот радио заговорило.

И вот уже пропело великий гимн.

Прочитало все новости, какие скопились за последний день и ночь в радиокomiteте.

Стало передавать сводку погоды по республикам и областям Советского Союза...

Сейчас будут передавать утреннюю гимнастику...

В приоткрытое окно неожиданно влетела крупная бабочка и села на спинку кровати Алексея Максимовича. Широкие разноцветные крылья беспечной красавицы то соединялись вместе, то раскрывались на две прекрасные половинки единого узора, усики шевелились, а

ножки медленно переносили владелицу роскошных крыльев по гладкой деревянной поверхности с одного края кровати на другой. От её присутствия в палате вдруг стало светлее и просторнее. В воздухе появились новые дразнящие запахи лета, остро запахло свежескошенным сеном, даже во рту появился забытый с детства вкус сладких цветков клевера...

И тут он...

Тут он заплакал.

Две крупные слезинки скатились по дряблым щекам и сразу же впитались в сухую казённую подушку. Сердце сдавила невероятная тоска и жалость к самому себе и своей загубленной жизни.

Вдруг он вспомнил откуда-то всплывшие из глубин памяти дерзкие, отчаянные стихи:

"Я всё простил тебе, судьба.

С твоим раскладом я согласен.

Пусть я убог – но мир прекрасен!..".

И тут же вспомнилось читанное в детстве: "И увидел я мёртвых и великих, стоящих перед Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мёртвые по написанному в книгах сообразно с делами своими...".

Перед глазами мелькнуло смутное изображение лица первой жены, внучки, живущей на границе, сына и каких-то людей, которых он уже не мог вспомнить по именам и делам, но ощутил тепло, идущее от них...

Бух тяжело вздохнул и устало закрыл глаза.

Навсегда.

Свободен...

Теперь наконец свободен!

Тень лёгкой улыбки озарила его лицо и застыла навек.

\*\*\*

"Седьмой Ангел вылил чашу свою на воздух; и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: совершилось".

\*\*\*

Прости его, Господи!

За всё прости!

1984-1986 год.

## Содержание

Сап.....	2
Обида.....	21
Curriculum vitae, или Исповедь изгоя.....	46
Житие человека .....	153

Вёрстка – Александр Рубан  
Корректор – Ирина Сердюк  
Рисунки – Александр Толкачёв